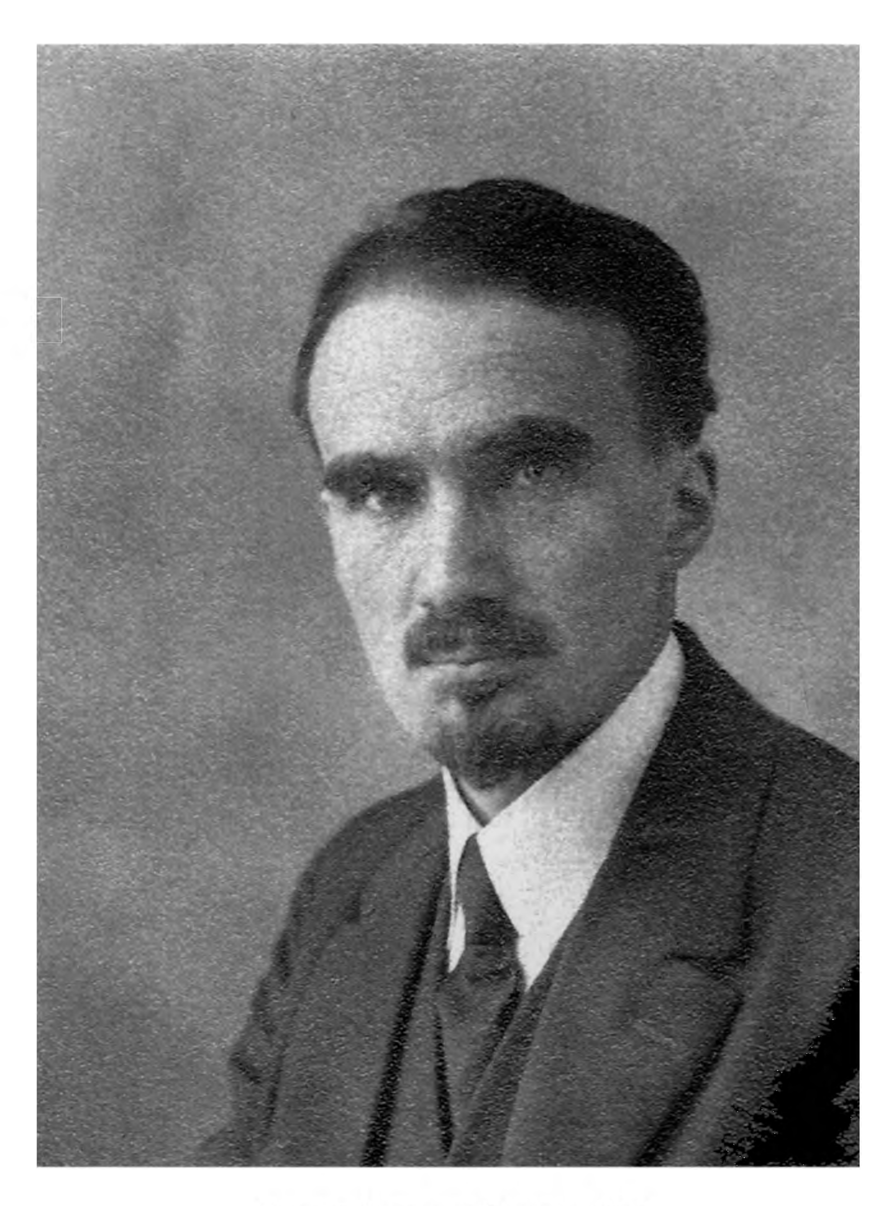
Г. П. ФЕДОТОВ

ТОМ VII



Георгий Петрович Федотов. 1930

Г. П. ФЕДОТОВ

Собрание сочинений

SAM & SAM

Г. П. ФЕДОТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

SAM & SAM
2014

Г. П. ФЕДОТОВ

ТОМ СЕДЬМОЙ

Статьи из журналов
«Новая Россия», «Новый Град»,
«Современные записки»,
«Православное дело», из альманаха
«Круг», «Владимирского сборника»



SAM & SAM
2014

ББК 87.3
Ф 34

Федотов Г. П.
Ф 34 Собрание сочинений в 12 т. Т. 7: Статьи из журналов «Новая Россия», «Новый Град», «Современные записки», «Православное дело», из альманаха «Круг», «Владимирского сборника» / Примеч. С. С. Бычков. — М.: Sam & Sam, 2014. — 488 с.

В состав 7-го тома собрания сочинений Г. П. Федотова вошли его статьи из журналов «Новая Россия», «Новый Град», «Современные записки». А также из третьего номера альманаха — «Круг» и статья из «Владимирского сборника», выпущенного в Белграде. Хронологически эти статьи охватывают вторую половину 30-х годов прошлого столетия и завершают европейский период творчества мыслителя. Основной состав тома — статьи, которые мыслитель публиковал в журнале «Новая Россия», издаваемом под редакцией А. Ф. Керенского в Париже. Едва ли не в каждом номере журнала появлялись статьи, посвященные событиям, происходившим в СССР. Федотов внимательно следил за всем, что происходило на родине и откликался на самые значимые события. Его анализ поражает точностью и полным отсутствием каких бы то ни было иллюзий. В разделе Приложения публикуются ранние работы мыслителя, не увидевшие свет при его жизни. А также неизвестные работы начала 30-х годов, написанные по просьбе дипломата Н. А. Базили.

ISBN 5-7248-0037-3
ISBN 978-5-905999-43-7, т. 7

Судьба «гнилой» концепции

Та громкая всероссийская пощечина, которую только что получил Бухарин, редактор «Известий», от руководителей «Правды» несомненно встретила сочувственный отклик в русской эмиграции. Бухарин получил ее за оскорбление России.

В своей поминальной статье[1], посвященной Ленину (21 января), он осмелился назвать русский народ «нацией Обломовых», «российским растяпой», говорить о его «азиатской лени», «азиатчине» и прочее. Эта характеристика Бухарина объявлена «гнилой» концепцией, антиленинской и антимарксистской. В цитатах из Ленина «Правда» воздает должное русскому народу, его революционной энергии, гениальным созданиям его «художественного творчества и научной мысли» и даже грандиозности его государства, «занявшего 1/6 часть суши земного шара».

Нам совершенно неинтересно, сможет или нет оправдаться Бухарин перед судом ленинского трибунала. Нам сдается, что эта «гнилая» концепция русского народа, как Обломова и растяпы, была очень и очень ленинской. По воспоминаниям Горького видно, как сильно ненавидел Ленин эту ленивую русскую душу и как яростно он собирался колотить по голове Обломова — не только «мыть», но и «драть» его, чтобы строить свой крепкий, жестокий «социализм» из этого мягкого, податливого материала. Через голову Бухарина здесь Сталин сводит счеты скорее с самим Лениным. И это делает расправу с Бухариным особенно интересной. В ней общий и длительный процесс национализации революции вступает в новую фазу.

До последнего времени советский патриотизм избегал имени России: его объектом была «страна», «Союз» народов, строителей социализма. Революция и ее географические рамки — вот, что было легализовано в новом сталинском патриотизме. Теперь получает амнистию и русский народ, до сих пор искупавший свой грех империалистического великодержавия. Его культура, его история составляют предмет революционной гордости. Для него не только становится дозволенным то, что вчера было разрешено для татарина, для узбека, даже для украинца: любовное погружение в свою этнографическую среду. Нет, получивший равноправие русский народ делается неизбежно первым среди равных. Амнистию получает не только его этнография, но и его история. Попытка пересмотра исторической литературы по указке Сталина является доказательством этой новой революционно-национальной потребности.

Конечно, пока во главу угла русского исторического процесса будет полагаться история партии Ленина-Сталина, живая традиция будет калечиться безбожно. Лишь с того момента, когда Сталин выбросит в мусорную яму саму партию, может быть освобождена из гипса и лубков и живая ткань русской истории.

«Гнилая» концепция Бухарина имеет за собой почтенную историческую давность. Не с одним Лениным сводит счеты Сталин. Всем известно, что эта концепция лежит в основе щедринской сатиры на историю России. Для поколений русской интеллигенции эта форма — «ненавидящей» и «презирающей» любви была единственно возможным отношением к России. Рождение этой концепции восходит к 30-м годам николаевской России: к Белинскому и Чаадаеву. Тогда именно официальной победной схеме русской империи была противопоставлена другая, подрывная схема. Самодовольству и пошлости правящей России — самоуничижение и покаяние России мыслящей. Русская революционная совесть рождалась в рефлексии гамлетизма, и сама прекрасно сознавала свою болезненность. Источником ее было, конечно, чувство бессилия и выброшенности из русской жизни — чувство, окрашивающее, при всем ее героизме, революционную борьбу или, вернее, страдания русской интеллигенции.

В победоносной революции нет места слабости и всему комплексу рождающихся из слабости эмоций. Революция убивает

самую природу революционной психики, ее породившей. Сталин, конечно, максимально свободен от наследия русской интеллигенции. Бухарин — интеллигент. Сталин — вахмистр, фельдфебель, из-за которого выглядывает тень самого Николая I.

Но вот этот-то николаевский облик крепостной, воинственной, торжествующей сталинской России отравляет для нас чистую радость преодоления «гнилой» концепции. Сталин хочет реабилитировать русских классиков. Знает ли он, что то, что делает русскую литературу действительно единственной в мире, — это не ее словесные, художественные достижения, которые можно подсмотреть, перенять революционной России — это ее неподкупная совесть. Та совесть, которая провела первую трещину между Россией Николая I и Россией Гоголя, Лермонтова, Тургенева. Та совесть, которая заставила отвернуться от блеска побед и славы «на 1/6 части суши» к страданиям крепостного мужика. И, что замечательно, эта совесть вне всяких политических направлений жгла самых реакционных русских писателей — Толстого, Достоевского, — создавая общий фронт русского сердца против русской власти.

Ныне круг повернулся на 180 градусов. Революция, родившаяся из слез о страдающем человеке, вступила в наследие царей и давно перестала считаться со страданиями народа, на костях которого она строит новую Россию. Но мы ждем, когда, наконец, перебирая полученный от предков инвентарь, примеряя на свои плечи царские и дворянские мундиры, новые люди наткнутся на этот побочный продукт старой роскоши — русскую совесть. А наткнувшись, задумаются: не удовлетворяла ли эта, столь основательно забытая ими, «гнилая» совесть какой-либо чрезвычайно важной социальной и национальной потребности?

Открытие совести будет величайшим открытием революционной России. Оно одно способно перекинуть подлинный мост между Россией прошлого и Россией будущего. Вне совести старая Россия останется для своих внуков и наследников огромным, бездушным телом, секрет жизни которого потерян навсегда.

Фельдфебеля — в Буало

Новый курс в России торжествует по всем углам и закоулкам.

Не совсем только видно отсюда, как его следует понимать. Как определить новое направление генеральной линии? Куда оно ведет: вперед, назад или делает зигзаги? Последние веяния в художественной политике (в СССР есть и такая) сбивают с толка.

Всем памятно, как один советский композитор, опера которого давно шла в государственных театрах, считаясь образцом революционного искусства, пал жертвой нового курса. В один прекрасный день анонимная статья «Правды»[1] обрушивается на несчастного. Его произведение разоблачается как сплошная футуристическая какофония, противная и классической мелодике, и социалистическому реализму. Этого было достаточно, чтобы организованное собрание музыкантов произвело инквизиционный суд над своим коллегой и осудило его без милости. Музыкальная карьера Шостаковича окончена — разумеется, если он не пожелает приспособиться к новым требованиям господ.

Этот случай не одинок. «Правда» открыла систематический поход против левого искусства: против футуризма, зауми, «штукарского формализма», которые извращают революционную литературу. Неясно, как быть с Маяковским: с одной стороны, футурист, с другой — сам Сталин похвалил недавно. Выходит неувязка. Но общий смысл приказа ясен: пишите просто, без вывертов, как классики писали, чтобы каждый рабочий (и сам Сталин) мог понимать вас.

Один из лучших критиков в эмиграции увидел в этом новом литературном нажиме дух коммунистической реакции. Он обратил, очевидно, внимание на политическую форму нового эстетического диктата: покушение на свободу искусства. Так как коммунизм в России есть, несомненно, удушение свободы, то легко впасть в ошибку (и в нее впадают почти все наблюдатели русской жизни), заключив, что всякое удушение свободы есть рецидив коммунизма. Неправильность этого заключения бросается в глаза. Россия не переживала до сих пор никакого, даже частичного освобождения. Она живет, по-прежнему зажатая в кулак. Меняется, и меняется радикально, само содержание фельдфебельских приказов, само направление диктатуры. И здесь не всегда легко разобрать, какой смысл имеет каждый новый лозунг: революционный или контрреволюционный. Остатки марксистской словесности окутывают все дымовой завесой.

В данном случае смысл нового художественного похода нам представляется ясным. Прежде всего, это возврат к здравому смыслу. Его нужно ставить в связь с общей линией культурной реставрации. Возвращение к русской грамматике, к русским классикам, к дореволюционной школе – все это, прежде всего, есть возвращение к здравому смыслу. Русская революция была не только социальным, классовым восстанием. Ее «планетарное» сознание хотело перевернуть все вещи вверх ногами. Все угнетенное, «пролетарское» в культуре поднималось наверх: все левые течения в искусстве, все неудачливые или фантастические теории в науке. Полунаучные домыслы Марра[2], полусумасшедший бред Н. Морозова[3] имели свой час торжества. Все должны были учиться ходить на голове. Нельзя отрицать, что именно это обстоятельство заставило приветствовать революцию многих поэтов и художников. Настоящий пролетарий ворчал, просветительные госфабрики кормили его передвижничеством, но почетный угол оставался за левым искусством. Революционная совесть мешала выгнать его за дверь.

Теперь, когда революции объявлена война, когда леваков гонят всюду: в политике, в марксистской теории, в исторической науке, нет ничего удивительного, что пришел последний час и для революционного искусства.

«Правда» права во многом – что греха таить? Много было фальши, штукарства в революционной художественной левиз-

не. Если остаться в пределах литературы, то напряженная, патетическая форма — наследие символизма, — искусственное отстранение жизни, формальный и абсолютно пустой внутри мистицизм должны были прикрывать наготу революционного содержания, убожество которого не выдержало бы дневного света честного реализма.

Но здравый смысл, по которому, действительно, изголодалась Россия, палка о двух концах. Здравый смысл лишь обманно выдает себя за общечеловеческий. Чаще всего это просто старый смысл: привычный быт, последний органический стиль жизни и культуры, последний привал перед новым восхождением. Возвращение к здравому смыслу, поэтому, может быть синонимом реставрации. Для России, вот уже четыре десятилетия мчащейся по революционным рытвинам, здравый смысл это возвращение к эпохе Александра III. В искусстве опасные стороны этой реакции всего нагляднее.

Здравый смысл чудесная вещь в политике, в хозяйстве, в жизни — всюду, где большевики нагородили фантастические облака бреда. Неплохая вещь и в эмпирической науке. Но высшая культура, хотя бы математика, начинается с преодоления здравого смысла. Искусство, в которое бред (мечта) входит необходимым ингредиентом, от избытка здравого смысла умирает.

Проблема левого искусства в России имеет и свою социальную сторону. Ведь искусство, как и вся жизнь, целиком обобществлено. Нет театров, кроме государственных. Рабочий люд, который заполняет театры, содержащиеся на его кровные рубли, имеет право требовать, чтобы государство давало ему здоровую, простую пищу — по его зубам и желудку. Бесчеловечно угощать его экспериментами — понятными, может быть, лишь одному автору.

В буржуазном обществе жертвы в борьбе за новое искусство несут свободная богема и меценат. Ни той, ни другого не существует в социалистическом государстве. Отсюда грозная опасность для культуры. Я не говорю, что она неустранима. Она должна быть устранена. Государство должно провести четкую грань между тем, что оно обязано делать для народа, и тем, что оно обязано не делать, а терпеть — для вечности: для безграничных и таинственных требований человеческого духа. Университет и исследовательский институт, книга для

народа и книга для немногих, народный театр и театр «авангардный» – и то и другое должны найти себе место в рамках социалистической культуры, если вообще культура должна жить.

Но это большая тема будущего. Сейчас я спрашиваю себя, подлинно ли поход на левое искусство в России вызывается заботами о духовном хлебе для масс? Признаюсь, я этому не верю. Сейчас менее чем когда-либо Сталин думает об интересах этих масс. В то время, когда выжимают весь пот из рабочего стахановским тэйлоризмом, откуда эта чуткость к его художественным вкусам? В России все творится для сильных, для нового отбора, новых господ жизни. Искусство тоже должно приспособляться к их вкусам.

Моя гипотеза: Шостакович погиб потому, что его музыка не нравится Сталину. Больше ничего. За анонимными передовицами «Правды», как и за всем в России, стоит сейчас одна и та же мрачная, но пытающаяся улыбаться, фигура. Его воля, его вкусы, его личные капризы определяют все. Сталин недаром считается любителем театра, недаром любит бывать на литературных вечеринках. На беду артистов он пристрастился к заманчивым для его полудикой натуры блюдам. Здесь его революционный аскетизм дал трещину. Нельзя безнаказанно изо дня в день слушать музыку и быть «хорошим марксистом». Россия может быть благодарна театру, разложившему Сталина, но бедный театр первый приносится в жертву.

Современная эпоха в России имеет много положительных черт. Новые сдвиги по содержанию своему соответствуют потребностям жизни. Но все, самое ценное и бесспорное, в России покупается за счет свободы. Никогда еще в самые жестокие времена коммунизма диктатура не сжимала так своей петли. Перед удушением искусства останавливался Ленин и в те годы, когда разрушался университет. В то время, если не ошибаюсь, с 1925 года – когда ЦК партии принялся обсуждать вопросы искусства, он ограничивался общими директивами. Советские цензоры проводили их на практике. Теперь впервые мы видим, что политическая газета выносит приговоры художникам и писателям, и этот приговор принимается, без апелляции. Художники спешат проводить их в жизнь, топча ногами своих впавших в опалу товарищей. До такого позора еще не доходила Россия.

Старый режим неоднократно пытался осуществить угрозу Скалозуба и дать России «фельдфебеля» в «Вольтеры» для насаждения или искоренения наук. Революции выпала на долю сомнительная честь дать своего «фельдфебеля в Буало»: в непогрешимого судью художественного вкуса.

Недавно Сталин сек Бухарина за щедринский взгляд на Россию. Сейчас сам Сталин вписывает новую, самую яркую главу в историю города Глупова. Но мы даже не в силах смеяться.

Лен зеленой

Вчера была свекла и хлопок, сегодня лен и конопля. Лен и конопля целую неделю покрывали газетные простыни «Правды» и «Известий». Среди льняных и конопляных простынь совершенно тонут вершки петита, скорее прикрывающие, чем разъясняющие трагедию русской культуры. Мы можем не беспокоиться особенно за судьбу российского льноводства, даже в обстановке сталинско-стахановского головотяпства. Уничтожать лен и коноплю в России никто не собирается. А вот над духовной культурой снова занесен топор.

Известно, что лес загорелся из-за статей «Правды». Как пишет справедливо в «Известиях» некий г. Иоганн Альтман[1], «значение последних статей «Правды», посвященных вопросам искусства, трудно переоценить. Высокая принципиальность этих статей, идейность, «большевистская ясность» и т. д. не позволяют сомневаться в том, что статьи эти инспирированы, если не продиктованы, самым гениальным писателем человечества — Сталиным. Иначе непонятна произведенная ими буря. Всюду собираются организации писателей, музыкантов, художников для самокритики и самосечения. Особый «Комитет по делам искусства» при СНК[2] под председательством Керженцева[3] объединяет и регулирует эту кампанию повальных харакири. Вот каются два представителя конструктивизма в архитектуре. Веснин[4], «один из крупнейших», «решительно отказывается от упрощенного понимания функций сооружения»... Архитектор Гинзбург[5] указывает, что «длительная попытка его и его товарищей найти в машине... решение проблемы

взаимоотношения между формой и содержанием... ни к чему не привела». Известный писатель Шкловский (основоположник формализма) «правда, в не вполне связной форме /еще бы!/ отрекался от своего формалистического прошлого». И однако власть не довольна. Покаяния текут недостаточно спонтанные и всеобщие. Керженцевым и Кирпотиным[6] приходится подхлестывать. В частности, первые два собрания московских писателей приводят «Правду» в чрезвычайное раздражение. С особенным мужеством защищает свободу искусства Пастернак. Хам-рецензент, изуродовавший его речь, издевается над его пророческим пафосом: «Поэт есть прорицатель, он должен прорицать, идти впереди своего времени, а вы, критики, хотите, чтобы я изображал сегодняшюю жизнь»... Бедный Пастернак! На следующем собрании пришлось покаяться и ему. В «Стране Восходящего солнца» социализма харакири удел всех, кто головой выше толпы. Не смеем бросать камнем. Пройдем молча перед трагедией художника. Вероятно, Пастернак понял теперь, что в государстве Сталина, как в Риме Тиверия, молчание есть единственно достойное состояние независимого человека.

В свете этого нового похода на искусство как стыдно многим, вероятно, вспоминать свои восторженные речи на прошлогоднем писательском съезде. Целый том мечтаний и лганья, которое, как всегда в России, невозможно отличить от мечтаний. Искусство подавало руку власти. Заключался союз, казалось, прочный, между строителями социализма и строителями новой культуры. Не учли одного: степени цинизма одного из контрагентов, который не знает по отношению к интеллигенции других воздействий, кроме подкупа и угрозы. В прошлом году подкуп, в нынешнем угроза. Но это нюансы тактики. Суть дела не изменилась: искусство живет под командой фельдфебеля и управляется «комитетами».

За последний год Пастернак мог пользоваться иллюзией свободы. Его звание первого признанного поэта республики, казалось, обеспечивало его от грубых окриков. Может быть, он думал, что завоеванное им положение в поэзии подобно исключительной привилегии Павлова[7] в науке. Горькая ошибка. Собачьи, хотя бы условные, рефлексы на кусок мяса понятнее для властителей России, чем тонкие рефлексы поэта на жизнь и смерть. Вот если бы Пастернак был забойщиком

в шахте или хотя бы сапожником-кустарем, его социальное существование было бы лучше обеспечено. Каждый поэт должен иметь ремесло в стране тоталитарного государства. Сапоги для народа и рифмы для Бога и для женщины, которая слушает его. Нет, мы не смеем судить тех, которых унижают там. Но Леонов[8], который здесь, дыша воздухом свободы, объявляет, что ему и советской литературе свобода не нужна, что он добровольно отдает себя на служение государству... Какому господину вы продали свою шпагу, свое перо, Леонов!

Попытаемся понять, что хочет хозяин от своих работников. Отрицательная «критика» или ругань достаточно ясна — и широка. Война объявлена на два фронта: формализму и натурализму. Эти две тенденции, несовместимые друг с другом, покрывают почти все поле советского искусства. Искусства символического ведь не существует. Формализм считается особенно тяжким грехом. Его подозревают в идеализме, разыскивают его корни у опального философа Лосева[9] и у немецкого искусствоведа Вельфлина[10]. Можно не быть поклонником конструктивизма в современной архитектуре и музыке, можно сочувствовать рабочим, принужденным жить в унылых и голых коробках передовых строителей, но все же невозможно понять, как могут музыка и архитектура не быть искусством чистой формы прежде всего.

Если не натурализм, и не формализм, то что же? Статья Альтмана настаивает на «социалистическом реализме», приправленном «народностью». За этим идут «требования философской, политической и художественной устремленности». Пытаясь объединить все это, мы прямо приходим к тенденциозно-революционному искусству 60-х годов. Эти годы прямо объявлены кульминационными в русском искусстве — годы «могучей кучки» в музыке и «таких гигантов литературы, как Чернышевский и Добролюбов». Впрочем, пример конкретного романа берется не из 60-х годов. «Мать» Горького объявляется образцом истинной народности.

Теперь все становится ясным. Разрушение искусства идет по линии глубокой реакции. Зачеркивается весь путь от Толстого до Леонова (да, и Леонова, понимаете ли вы это, Леонов?) во имя подновленного Шеллера-Михайлова или Горького в его самом слабом эпигонском выражении. От искусства требуют,

как во времена Чернышевского, политической полезности и общедоступности. Это называют художественной правдой.

Утилитаризм снова торжествует по всему культурному фронту. На мартовской сессии Академии Наук известный физик Д. С. Рождественский[11] выступил с критикой доклада академика А. Ф. Иоффе[12]. Ученый обвиняет ученого в пристрастии к интересам чистой науки. Иоффе виновен в том, что «не жил нуждами социалистической промышленности». Это обвинение поражает особенно после доклада академика Иоффе, подчеркивающего почти исключительно прикладные стороны успехов своей научной дисциплины. Очевидно, для власти всего этого мало. Она все еще недостаточно усвоила себе, на чем растут желуди. И серьезный, большой ученый, Д. С. Рождественский, по неизвестным нам мотивам, взял на себя роль сикофанта по отношению к своему коллеге и предателя своей науки. Счастлив Сталин, которому служат такие люди, как Рождественский и Леонов. Но бедная Россия, где, ради потребностей текущего момента, сводятся вековые культурные насаждения. Хуже: вырубаются под корень еще не поднявшиеся молодые побеги.

Я хотел бы, чтобы пример этих «пьяных илотов» утилитаризма образумил наших юных спартанцев[13], грешащих часто той же болезнью политизации сознания. Всевозможные национальные союзы молодого поколения должны понять, что сейчас у них и у Сталина общая цель: государственная мощь России. И они должны отдать себе отчет в том, является ли эта цель для них последней. Что выше: Государство или культура, созданная — не им, но под его защитой — народом? Что можно отдать в воображаемой и страшной мене: Россию за Пушкина или Пушкина за Россию? Ответ на этот вопрос проводит последнюю черту, которая разделяет людей по отношению к государству настоящего и к государству будущего.

Защита России

Эмигранты всех времен и народов боролись с оружием в руках против своей родины. Афиняне и спартанцы, гвельфы и гибеллины, французы Великой революции и русские за XIX и XX столетие. Плутарх или Иловайский[1] прославили для нас со школьной скамьи имена великих изменников: Фемистокла, Павзания, Кориолана. У нас князь Курбский и Герцен не колебались идти с врагами России. Мы, кстати, только теперь, в изгнании, вполне оценили значение Курбского, и Герцена для русской национальной чести. Курбский и митрополит Филипп — эмигрант и святой — одни спасают достоинство России в век Ивана Грозного. Нравственный смысл измены, — хотя и трагический — заключается в том, что родина не является высшей святыней: что она должна подчиниться правде, то есть Богу. Западная Церковь, начиная с блаженного Августина, учила о допустимости для христиан принимать участие лишь в справедливой войне. Тем самым суверенитет отечества лишается своей абсолютности. Отсюда один шаг до возможности и даже обязанности бороться против неправедного, беззаконного и тиранического отечества. В средние века, в эпоху христианской культуры, в этом не могло быть сомнений.

Почему же теперь для нас, и христиан, и революционеров, измена сталинской России ощущается не только как политическая ошибка, но и как моральный грех? Просто ли это наша дурная русская привычка морализировать политику и употреблять слово «подлец» в смысле английского «достопочтенный джентльмен»? Я думаю, что дело сложнее и что в нас говорит

опыт нового чувства России, выношенного в боли и муках последних десятилетий. Это чувство я определил бы, за отсутствием другого слова, как чувство хрупкости России.

Когда человек не молод и уже знает, что в мире есть смерть, тогда он относится к любимому существу с бережностью, непонятной для юноши и в которой постоянный страх борется с нежностью. Все старые счеты, незаконченная распря целой жизни, смолкают пред симптомом рокового недуга. В великую войну мы впервые испугались за жизнь России. Раньше мы могли, по политической традиции, говорить о слабости России, повторять слова о «колоссе на глиняных ногах», но в глубине души не верили им. Россия представлялась нам несокрушимо прочной, гранитной, монументальной, в стиле того памятника, который Паоло Трубецкой[2] создал отходящей в вечность эпохе. Не только консерваторы, но и революционеры – мы были загипнотизированы Александром III. Такую махину – можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь – освобождение крестьян, за Порт-Артур – конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан уже дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию.

Война раскрыла нам глаза. Такой войны еще не было в истории. Впервые не правительства, не армии, а народы стояли друг против друга. Война на истощение, в которой не мужчины даже, а матери решают дело, вскрыла страшную слабость России. За гнилой властью, за бедной техникой мы увидели народ, который отказался защищать родину, народ, который сказал себе: «На что мне Россия? Плевать мне на Россию! У меня один враг – мой буржуй, а я и под немцами проживу». Была еще одна страна, подданные которой рассуждали приблизительно таким же образом. Это была древняя монархия Габсбургов: она не существует более.

В то время, когда национальное сознание казалось умершим в народе русском, все остальные народы рухнувшей Империи переживали бурный экстаз своего национального рождения. Их пробуждение, даже самое существование многих из них, мы так же прозевали, как выветривание русского патриотизма. Нам и в голову не приходило сопоставлять национальную

структуру России с Австро-Венгрией. До того мы смотрели на вещи глазами победоносцевской эпохи. 1917 год поставил нас перед вполне реальной возможностью расчленения России. Оно началось, отторгло от России все западные окраины, но было приостановлено неожиданным пробуждением русского революционного патриотизма.

Для миллионов обращенных в нигилистическую веру рабочих и крестьян революция оказалась если не родиной, то центром кристаллизации нового элементарного чувства родины. Россия, освобожденная от буржуев, мужицкая Россия была своя. Ее стоило защищать, хотя и очень еще был слаб инстинкт самозащиты в изъеденном моральной гангреной организме. Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможностей исторического существования. Придется признать, что Россия исчерпала себя за свой долгий тысячелетний век и, подобно стольким древним государствам и нациям, ляжет под пар на долгий отдых или под вспашку чужих национальных культур.

Еще очень трудно оценить отсюда силу и живучесть нового русского патриотизма. Он очень крепок у молодой русской интеллигенции, у новой знати, управляющей Россией. Но так ли силен он в массах рабочих и крестьян, на спинах которых строится сталинский трон? Это для нас неясно. Сталин сам, в годы колхозного закрепощения, безумно подорвал крестьянский патриотизм, в котором он теперь столь нуждается. Но и сейчас, в горячке индустриального строительства, он губит патриотизм рабочих, на котором создавалась Советская республика. Мы с тревогой и болью следим отсюда за перебоями русского надорванного сердца. Выдержит ли? Выдержит ли оно новое военное напряжение, которое, вероятно, будет тяжелее прежнего, перед лицом опасностей несравненно более грозных?

Эти сомнения еще не безнадежность: вопрос — не отрицание. В России есть силы жизни, которые энергично борются с болезнетворными, смертоносными процессами. Исход не предрешен до конца. Иногда кажется, что чашки весов почти уравновеши-

вают друг друга. Тогда для нас, для жалкой кучки эмигрантов, отрезанных от родины и даже от политического дела, может выпасть страшная роль «последней соломинки». Такой соломинкой должен ощущать себя каждый из нас. Соломинкой, которая может переломить хребет перегруженной лошади.

Вот почему так не похоже наше время и наши споры на все исторические прецеденты и почему так бессмысленна сейчас политическая арифметика, сложение плюсов и минусов возможных результатов. Там, где одна из возможностей есть смерть России, расчеты смолкают.

Кто не с Россией в эти роковые дни, тот совершает, — может быть, сам того не сознавая — последнее и безвозвратное отречение от нее.

О чем должен помнить возвращенец

За последнее время вопрос о возвращенчестве приобрел новую остроту. Изменилось нечто и в самом составе возвращенческой среды и в отношении к ней эмиграции. Раньше мы знали, что в полпредство идут из эмигрантов или люди, безнадежно измученные и отчаявшиеся, или же просто продавшиеся. Раздумывать здесь много не приходилось. Сейчас в Россию потянулась честная молодежь, которая хочет служить родине. Среди них встречаются имена из старшего поколения, которые мы привыкли произносить с уважением. Вместе с тем стала тоньше стена, разделяющая этих людей от эмиграции. Они появляются на кафедре в эмигрантских политических собраниях. К ним начинают относиться, как к некоторому течению эмигрантской мысли.

Эта перемена, конечно, связана с теми сдвигами, которые происходят в России. И Россия сейчас приблизилась к нам. И Бухарина мы слушаем уже не так, как слушали бы раньше. Ведя по-прежнему борьбу с диктатурой Сталина, мы стараемся говорить и чувствовать, как бы находясь внутри России. Хотим найти общий язык и в борьбе.

Если эволюция России будет совершаться в сторону роста свободы, то в известные моменты — для одних раньше, для других позже — откроется возможность возвращения. Пока все, что мы можем сказать: момент политического возвращения не наступил ни для одной из общественных групп эмиграции. Я даже думаю, что нет пока и намека на ту эволюцию, которая бы сделала его возможным. Сталин мог изменить коммуниз-

му, стать черносотенцем или шестидесятником, или, что всего ближе к истине, черносотенным шестидесятником, но одним он не грешит: пристрастием к свободе. Он с каждым годом пока закручивает туже свой деспотический режим, меняя его направление. Ему нужны послушные слуги и холопы, а не свободные сотрудники.

Но политическая эмиграция и беженство не одно и то же. Мы это хорошо знаем. Что невозможно для политиков и граждан, то возможно для рабочих и обывателей. Для этой категории возвращенцев отпущение грехов было дано давно, я говорю о левом нашем лагере. Но так ли просто и легко обстоит дело и с обывателем?

Приходится и здесь различать. Учителю, философу, журналисту нечего делать в нынешнем СССР, для инженера или врача путь открыт — пока, впрочем, теоретически. Для несчастного, затравленного бродяги, ночующего под мостом (а это наш нансеновский[1] символ), работа в России, хотя бы полугодовалая, на полукаторжном заводе, представляется раем. Однако только эти профессиональные соображения определяют возвращение беженца?

Если он не окончательно одурел от чтения «Известий», он должен помнить, что едет не в свободную страну, а в тюрьму. Никакая лояльность, никакая законопослушность не спасут его от неожиданного ареста, ссылки, каторжных работ — без всякой вины и даже видимого основания. Просто по соображениям высокой политики понадобится нажим винта, определенная цифра жертв или даже бесплатная рабочая сила в лагерях — и он, как бывший эмигрант, один из первых имен в списке. Но он готов на это. Это, может быть, даже жертва, которую он приносит России. Пред этой жертвенностью можно только преклониться.

Но он должен знать и другое. Кроме жертвы и чистых страданий ему прийдется пройти через унижения. Они начинаются уже здесь. Он должен будет отречься от своих убеждений, подписывать заявления и анкеты, за которые ему прийдется краснеть. Так как в России курс меняется каждый месяц, в зависимости от прихоти самодержца, то он не знает заранее ни даже, на каком Евангелии или «Капитале» ему придется присягать и от чего отрекаться завтра. Если он верует в Бога, он должен

скрывать свою веру; если у него есть какие-нибудь научные или даже профессиональные взгляды, он должен в любой момент утверждать прямо противоположное, если этого захочет ближайшее начальство. Он готов и на это. Это жертва честью. Советский гражданин не имеет права на личную честь. В традиции русской мысли всегда лежала тенденция недооценки чести. «Полюби нас «черненькими». Это связывалось всегда даже с русским смирением. Я не верю, чтобы бесчестное смирение можно было оправдать. Но его можно простить, и простить при одном условии: если оно приемлется от безвыходности страдания.

Но есть еще и третье, о чем должен помнить возвращенец. Ему прийдется не только лгать и унижаться. Весьма возможно, что он должен будет стать и предателем. Он-то уж в первую голову из советских граждан — он, который должен искупить свое прошлое. И нельзя вперед давать зарок. Кто может поручиться за свои нервы в условиях научно организованных, хотя бы «моральных» пыток? В любой момент, когда понадобится состряпать политический или вредительский процесс, ему предложат подписать бумагу, которая отправит его товарища или совсем неизвестного человека на расстрел. Глубочайший имморализм советской системы — не в терроре, а во лжи и предательстве, которые стали нормальным, будничным фактом. Последние попытки постановок стахановских процессов инженеров, последняя травля и доносы со стороны художников, ученых на своих коллег показывают, что система не изменилась. Если идеологические доносы поощряются при свете дня, можно представить себе, что творится в застенках! У советского гражданина нет выхода кроме петли. Поэтому даже Иудин грех отсюда мы не судим. Но свободный человек, который добровольно и заранее соглашается жить в условиях, которые могут принудить его стать Иудой, не заслуживает снисхождения. Никакое служение родине не оправдывает предательства. Никакая родина не стоит этой жертвы. Или можно сказать иначе: принимающие эту жертву духовно губят Россию, растлевают ее.

Граница между грехом личного унижения и предательства мало заметна в теории. Но Достоевский никогда не переступал ее: он мог защищать и любить проститутку, но не пытался

оправдать Иуду. Страшно думать, что в России эта граница уже стерлась.

Если представить себе, что может ожидать там юношу, хотя и глупого, но чистого, который, не подозревая правды, хочет ехать служить родине, то всякая слабость и снисхождение с нашей стороны, а тем более умиление перед его энтузиазмом просто отвратительны. Не раскрывая ему глаз, мы сами становимся соучастниками в возможном растлении его души.

Конец педократии

Косарев[1], бесспорно, один из самых сильных, умных и ловких деятелей новой России. Не даром Сталин доверил ему воспитание комсомола, т. е. всей русской молодежи, т. е. всей будущей России. Его речь на X съезде комсомола (апрель 1936 г.) шедевр политической дипломатии. Глядя на его деревянную, улыбающуюся физиономию, трудно представить себе, до чего гибок и изворотлив этот ответственный проводник сталинизма. Весьма вероятно, конечно, что каждый параграф его речи задан и просмотрен Сталиным, лично явившимся, чтобы пожать овации и одним своим присутствием подавить возможную оппозицию. Но каково исполнение!

Трудность Косаревской задачи заключалась в том, что перед ним в Большом Кремлевском дворце были собраны тысячи юношей, в которых ярче всего догорающее пламя революционного энтузиазма и слабее всего спасительные инстинкты страха. И этих юношей собрали, чтобы объявить им высочайший выговор за их дурное поведение и самонадеянность, сказать им, что Россия больше не нуждается в их управлении, и что им отныне предоставлено одно — учиться и учиться. Какая молодежь стерпела бы эти нравоучения? Правда, прежде, чем собрать эти тысячи, десятки тысяч комсомольцев пошли в тюрьмы, в ссылку, на лесозаготовки. Революционная оппозиция была заранее сломлена. Но все-таки, браво, Косарев! Какое искусство!

Нигде, ни одной фразой не обмолвиться о грандиозной ломке старой идеологии. Революционный барабан заглушал отступле-

ние. Цитаты из Маркса и Энгельса, клятвы в верности коммунизму прикрывали измену. Весь секрет речи заключался в распределении эффективных мест. Революционный марш начала захватывал аудиторию, убаюкивал бдительность. Со второй половины начинается спуск на тормозах: от героики к учебе, к трем «частным замечаниям» – о «хулиганской романтике», непочтительности к старшим и циническом отношении к девушкам. Ужасающая картина организационных беспорядков, безделья и безответственной болтовни, царящих в комсомоле, заканчивает эту квази-героическую симфонию. По известному закону ораторского искусства, конец всегда перевешивает начало. Начало для разбега, для накопления движущей силы, ударное слово всегда в конце.

Отсутствие композиции на советских собраниях приводит к тому, что роль критики должна брать на себя правящая группа, которая выступает попеременно с победными трубами и обличениями. Лишь центральная роль обличительных мест указывает на перемену курса. Однако, если функция адвоката и прокурора режима соединены в одном лице, ему трудно избежать противоречий. И не удалось это и Косареву. Вопиющим противоречием зияет в его речи оценка роли комсомола в социалистическом строительстве России. В последнем выступлении мы слышим, что молодежь до 23 лет равнялась 34% всех рабочих страны, что на ведущих предприятиях она составляет даже больше половины. Молодежь на фабриках, молодежь в колхозах, молодежь в советах и управлении, молодежь всюду. Впечатление таково: эта молодежь строит новую Россию. Впечатление, вероятно, близкое к действительности – к действительности вчерашнего дня. Эта роль молодежи в России противопоставляется ее второстепенной роли в западных фашистских странах. «Ни в одной стране мира нельзя наблюдать что-либо подобное». И вдруг после этих гимнов ушат холодной воды: «Наша организация вместо того, чтобы организовать учебу молодежи, все хочет руководить и управлять – для этого есть другие организации – партия, советы».

Одно из двух, товарищ Косарев: либо строить, либо учиться. Либо управлять, либо повиноваться. То, что было великолепно вчера, то не годится для сегодняшнего дня. Это различие

между вчера и сегодня генеральный секретарь комсомола ловко скрыл от своей аудитории. Но задача сегодняшнего дня подчеркнута со всей ясностью: «нам надо перестать философствовать» о наших задачах, прекратить болтовню о профинплане, о снижении себестоимости... и прочих других важнейших государственных задачах, как будто мы их решаем. Бороться за грамотность, культурность и интеллигентность каждого юноши и девушки — вот, что от нас требуется, товарищи!»

Каждый русский, дорожащий культурой и будущностью своей страны, с радостью отметит эти слова. Конец педократии, эта политическая болезнь, о которой столько красноречивых слов сказано в Библии — власть подростков Россией изжита. Непосильное бремя труда и ответственности не будет возлагаться более на слабые плечи, на несозревший мозг и тело, безвременно изнашивая их.

Подумаем минуту, что означает это царство молодой активности. Россия управляется молодежью. Россия помолодела (впечатление всех путешественников в СССР). Как чудесно!

Но боюсь, эти цифры отличают два факта, один трагичнее другого. Молодежь школьного возраста должна бросить учение, чтобы идти на фабрику, на непосильный, изнуряющий труд, подобно странам капитализма, да вдобавок — идти в политическую и полицейскую, разлагающую морально и физически работу. На молодых опричниках строилась пятилетка, строились колхозы. Поколение пятилетки (1928–1932) выжималось, как лимон, и бросалось в мусорный ящик. Не менее печален и другой факт, вскрываемый этими цифрами. Если работает везде молодежь, то где же старики? На отдыхе, на пенсиях, в государственных санаториях или в лоне счастливого семейства? Бессмысленные для сегодняшней России мечты. Старики в могиле, они не вынесли лишений, зверской борьбы за существование. Омоложение России есть иное выражение для ее ранней смертности, для скорой изнашиваемости ее населения. Двадцатилетнему юноше льстит, конечно, что сегодня он уже призван к деятельности. Он забывает о том, что в 40 он из жизни уйдет или станет инвалидом. 40 лет — это такой далекий возраст. Кто из юношей не хотел бы умереть молодым, чтобы не видеть первых седых волос. Но выиграет ли Россия от этой безумной растраты человеческих жизней и сил?

Косарев оправдывает этот процесс изнашивания молодежи указанием на рост ее физического здоровья за последние годы. Охотно верим, что эти годы смягчения голодной нужды и отступления педократии сказались благоприятно на народном здоровье. Россия еще богата физическими силами народа. Большевистская диктатура со всем ее голодом и болезнями не подорвала организма нации. Верим даже в то, что она создала возможности (в демократизации культуры) повышения своих природных сил. Но для этого пора положить конец расточению ее молодых сил.

X съезд комсомола вообще принес нам немало утешительного. Новая программа комсомола покончила с классовым началом, объявила комсомол беспартийной организацией, положила, даже принципиально, конец воинствующему безбожию. Если не Миланский эдикт[2], то подготовка к нему. Мы приветствуем раскрепощение молодой России, снятие цепей с ее сознания, выход на дорогу более чистой, более здоровой культуры. Только одно, — и вечно это одно, как тяжела цена за процесс выздоровления России. Это одно — моральное и политическое унижение вчерашних героев. Науку подхалимства должны они изучить прежде всех других наук в школе своего центрального секретаря, чтобы увидеть путь к «счастливой и веселой жизни». Отдав Сталину свою свободу, свою волю и мысль, молодая Россия получает право дышать и жить давно забытой, простой и здоровой человеческой жизнью.

На смерть Горького

Смерть Горького не у одного из нас заставила сжаться сердце. В последние годы наши отношения с Горьким были вконец испорчены. Мы пережили с недоумением и болью то, что считали и продолжаем считать его падением. Но мы не можем забыть, чем был Горький для каждого из нас — и для всей России — на известном отрезке нашей жизни. Мы хотели бы понять смысл его жизни, его конца. И у кое-кого, должно быть, шевелится мучительная мысль: нет ли в таком конце доли нашей вины?

Горький, бесспорно, был одним из крупных русских писателей. Не самым крупным, конечно, из своих современников. Теперь его не поставят рядом с Чеховым, как ставили когда-то. Но, вознеся его на не совсем заслуженный пьедестал в начале века, ухаживая за ним, льстя и развращая, в один прекрасный день его несправедливо сбросили и забыли. Новые кумиры вытеснили из сознания старого властителя дум. Со времен первой революции, буревестником которой Горький выступил, он сошел с большой сцены русской литературы. И это забвение его, эта неблагодарность были роковым симптомом. Горький был не один. За ним стояла революция, за ним стояла новая Россия.

Судьба Горького-человека, Алексея Максимовича Пешкова, важнее, историчнее судьбы писателя. Горький и Шаляпин, в истории русской культуры, были первыми выходцами из иного мира — не просто разночинцами, но представителями «четвертого сословия». Отсутствие нивелирующей средней школы помешало им слиться с русской интеллигенцией, столь демократической по идеям и даже по происхождению, но замкнутой

по образовательному цензу. С начала XX века кадры интеллигенции стали прорываться снизу давлением огромной народной массы, стремящейся к знанию и творчеству. Новая демократия не успевала отмывать своих черных рук, и между ней и интеллигенцией образовался ров: из русской грамматики, географии и истории — особенно истории народничества.

Горький никогда не был русским интеллигентом. Он всегда ненавидел эту формацию, не понимал ее и мог изображать только в грубых карикатурах. Зато он знал и умел изображать такой угол русской жизни, какого не знал никто. Как это ни странно, лучше всего ему удавались не романтические босяки, не суровые пролетарии (тут идеология портила живой опыт), а крепкий и жестокий быт купечества, который он ненавидел сознательно, но уважал за органичность и силу. Не только в «Фоме Гордееве», но и в «Деле Артамоновых», древняя, допетровская Русь нашла силы для последнего вскрика перед гибелью.

Горький не был рабочим. Горький презирал крестьянство, но у него было всегда живое чувство особого классового самосознания. Какого класса? Этого не скажешь в трафаретной терминологии. Но ответ ясен: тех классов или тех низовых слоев, которые сейчас победили в России. Это новая интеллигенция, смертельно ненавидящая старую Россию и упоенная рационалистическим замыслом России новой, небывалой. Основные черты нового человека в России были предвосхищены Горьким еще сорок лет тому назад.

Верность своему классу может быть добродетелью — когда этот класс — ниже всех, и когда человек так высоко над ним вознесся. Эта верность классу вместе с отчуждением от интеллигенции, проходит в жизни Горького с начала до конца и многое в ней объясняет. Многое, что казалось изменой для этой интеллигенции, для Горького было лишь долгом верности.

С этой точки зрения, его жизнь — почти вся, но не вся — получает осмысленность. Верность классу требовала политического служения. Горький глубоко чуждый политике, был членом социал-демократической партии. Как поэт революции, он должен был стать на левом крыле ее, с большевиками. Но марксизм, который все время душил большевистскую бунтарскую волю к борьбе, не мог импонировать Горькому. Он всегда был

с еретиками, с романтиками, с искателями, которые примешивали крупицу индивидуализма к безрадостному коллективизму Ленина. Отсюда его связь с Богдановым и Луначарским, его школа на Капри.

Когда пришла война, он естественно оказался среди немногих антипатриотов, защищавших Европу и человечество. И здесь Горький был не столько с Лениным, сколько с Ромен Ролланом. Это он доказал в 1917 году, когда продолжал идти против течения, на этот раз против победоносной революции.

Статьи Горького в «Новой жизни»[1] – бесспорный патент на благородство. Здесь он шел не против старого мира, а против хаоса и безумия, обуявшего *его* класс, его Россию.

Изменил ли Горький своему классу в 1917 году? Конечно, нет. Но он был настолько кровно с ним связан, что мог позволить себе и дерзости. Дело в том, что Горький никогда не был только буревестником, т. е. голосом стихии. В нем всегда сидел моралист, учитель жизни – позиция, которую интеллигенция никогда не хотела признать за ним. Действительно, его учительство слишком оторвано от подлинной культуры и подлинно гуманистической морали. Но уважение к культуре и элементы гуманизма в нем присутствуют. Это как раз те элементы культуры и этики, которые сейчас выбиваются в России на поверхность, торжествуя над звериной моралью победившего класса.

Горький уважает человека, уважает науку – как уважали их в XVIII столетии. Ненависть к Богу – один из ингредиентов этого сомнительного гуманизма. Его любовь к человеку – ненавидящая любовь. И ненависть направлена не только на тьму, жестокость и неправду в человеке, но и на его слабость и глупость. Добрая прививка ницшеанства в юности сблизила Горького с Лениным в этой готовности бить дураков по голове, чтобы научить их уму-разуму. Но, в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и не разнуздывал зверя. Тьме и зверю он объявил войну, и долго не хотел признавать торжества победителей. Горький эпохи октябрьской революции (1917–1922) это апогей человека. Никто не в праве забыть того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции. Это он устраивал Дома Ученых и Дома Искусств, чтобы накормить и согреть замерзавшую и голодную русскую интеллигенцию. Это он создавал «Всемирную Литературу», чтобы дать ей рабо-

ту. Это он вымаливал у палачей человеческие жизни, — и чьи жизни! Всем известно, что Горький отчаянно, хотя и безуспешно, боролся за спасение великих князей в Петрограде. Все, что он делал тогда, он делал не для своих, а для чужих, во имя чистой человечности. Его сердце билось, конечно, не с интеллигенцией, а с тем жестоким и темным народом, который тянулся к правде и свету, через ложь и кровь.

Интеллигенция никогда не понимала этой драмы Горького и, принимая его за одного из своих — но не совсем своего — судила его безжалостно и беспощадно. Нужно правду сказать, она проявила по отношению к своему спасителю черную неблагодарность. Эта неблагодарность проявилась во всей своей остроте в годы добровольного изгнания Горького.

Не станем обвинять всех. Но, вероятно, большинство эмиграции относилось к Горькому с нескрываемой враждебностью и прямо травило его. За что? За то, что он не мог до конца проклясть революцию рабочих и крестьян и не порвал связей с теми, кого не уставал обличать и поучать? Но там был его народ, его класс — его партия, наконец. Горький не был эмигрантом, но лишь инвалидом революции.

Узнаем ли мы когда-нибудь, сколько горечи скопилось в его сердце за эти годы? Его старость была отравлена, его гуманизм замутился и, наконец, волна злобы, с которой он боролся вокруг себя, захлестнула его. Таково наше объяснение его падения, заключающее в себе признание нашей вины. Конечно, будь Горький человек исключительной нравственной силы, он, может быть, и выдержал бы это последнее испытание. Но Горький не был сильным человеком. Само его миросозерцание не защищало его достаточно от духа злобы. И он не выдержал одиночества.

Вполне понятно, что Горький вернулся в Россию, должен был вернуться в нее — в годы строительства, когда весь мир глядел на Россию и ее достижения. Его высокое положение гарантировало ему известную независимость. Можно понять и то, что Горький был, как и многие другие, очарован зрелищем новой цивилизующейся России и особенно энтузиазмом юных строителей. Пышная встреча, которую молодая и официальная Россия устроили вчера опальному писателю, была таким контрастом с одиночеством соррентского затравленного

волка. Не удивительно, что Горький сделал свой выбор – с ними против нас.

Но вот что удивительно. Как он мог не заметить страданий народа, на костях которого шла стройка? Как мог смешать он энтузиастов с чекистами и скрепить своим именем бесчеловечность беломорской каторги[2]? Что это – слепота, наивность? Да, конечно, но уж в каком-то смысле вольная слепота, слепота усталости, которая не хочет правды. Слишком горька правда, и старый человек хочет успокоиться на подушке «достижений». И не только успокоиться. Хочет и отомстить. Его большие фельетоны последних лет отравлены ненавистью. На этот раз – к побежденным, бессильным, к жертвам ежедневно распинаемым там, в России. Объяснить это возможно лишь той неразрывной связью, которая образовалась в сознании дряхлеющего Горького между внутренними жертвами советской власти и ее – *его* – зарубежными врагами. В этом злопамятстве сгорели остатки когда-то великодушного, но слабого его гуманизма. Справедливое возмездие не замедлило. Поскольку за последние годы все более широкие слои народа приносятся в жертву торжествующим победителям, имя Горького становится ненавистным и для масс, еще вчера видевших в нем своего писателя. Горький поставил ставку на энтузиастов первой пятилетки. Когда этот энтузиазм выдохся, он остался снова в страшной пустоте. Хуже, чем в пустоте: один на один со Сталиным.

Душевная драма Горького не может не вызвать на мрачные мысли о немощи современного гуманизма и человека вообще. Сколько их – вчера благородных людей – предающих свои убеждения. Хотя бы в одной Германии... Гуманизм в наши дни – хрупкая вещь, ибо он не поддерживается больше общим потоком жизни и требует очень глубоких корней для своего существования. А человек сейчас звучит совсем не гордо, как некогда для Горького. Человек так слаб, грешен и беззащитен. От его величия к низости – один – и такой маленький шаг.

Оттуда

Под этим заголовком «Современные Записки» в своем шестидесятом номере напечатали письма русской женщины из России за ряд последних лет. Каждый из наших читателей должен прочесть их. Они дают нам совершенно новый, захватывающий по интересу материал для суждения о том, что происходит в таинственной глубине России: не в «толще» народных масс, а в узком кругу элиты, связанной с утонченной интеллигенцией прошлого поколения и не порвавшей этой благородной традиции.

Мы совершенно не в состоянии здесь, в нескольких строках, передать содержание этих писем. Единственное, что мы можем — это предложить род критического ключа к пользованию этим материалом. Постоянная ошибка, в которую мы впадаем, слыша новый голос из России — это отождествить его со всей Россией, если он нам нравится, и отбросить его, как тенденциозный, если он идет вразрез с нашими представлениями. Но все голоса из России — отдельные голоса не спевшегося, какофонического хора. А уж построить музыку целого — особая задача, может быть, сейчас для нас непосильная.

Каковы качество и тембр этого голоса? Он принадлежит женщине, всем прошлым своим связанной с декадентско-символическим кругом нашей интеллигенции. Она живет и поныне Блоком, Белым, Гете... Поразительно, что этот тип души, столь хрупкий и аристократический, мог сохраниться в наши суровые дни. Уже с первых строк, с первых слов о «богопокинутости, ничем не озаренности» по поводу обледенелой советской

квартиры, мы чувствуем себя в потонувшем мире, который кажется дальше от нас, чем романтизм 30-х годов прошлого века.

И однако русская диалектика не только жива, но живет высоконапряженной духовной жизнью, и не к старому, а к новому тянется всем своим существом. Ее жизнь – сплошное страдание, физическое, но не нравственное, ибо все силы ее души, как у стоиков, истрачены, и не бесплодно, на то, чтобы превратить эти страдания в источник возвышенных переживаний. Ею руководит безошибочный инстинкт самосохранения. Чтобы жить, не имея веры (а она ее не имеет), нужно обрести сознание значительности своей жизни. Для человека без веры, не имеющего особой глубины и совершенно личного пути, эта значительность жизни открывается в слиянии с целым, космосом, коллективом, Россией. Отсюда ее восторженное приятие новой жизни в России, в которой она не участвует, отсюда ее Goethe-Kur (гетевские ванны)[1] , которые она считает типическими для ее поколения. Она, вероятно, не ошибается. Гете для натур пассивных (всеединство) и Гегель для натур активных (диалектика) в нашу эпоху дают возможность жить людям, не имеющим веры. Гете и Гегель снижают трагедию, освобождая от сознания добра и зла. Автор писем, при всей своей возвышенной духовности, лишен этого сознания. Поэтому он может жить и быть счастливым. Страдание преодолеть с полгоря! А зло преодолеть попробуй!

Критический результат анализа: в письмах нельзя искать отражения зла, царящего в русской жизни – как и во всякой жизни. Но можно найти гимн светлой русской жизни, в безусловной уверенности, что жизнь сама по себе светла, и будущее страны не может не быть изумительным.

Но за всем тем, после всех критических оговорок остаются факты, которые автор наблюдает из своего внутреннего далека. Остается и более кровная связь с новой Россией через детей, тех юношей и девушек, которые уже активно участвуют в жизни. Новая оговорка: дети «декадентки» не порвали духовной связи с ней. Ее влияние на них, по-видимому, очень сильно. Поэтому и в них (в поэте Мите, например) больше от старой, чем от новой России. Отсюда у него, (более юного и сильного, чем автор) припадки пессимизма, увлечение Шпенглером, нравственная раздвоенность: между «добром» и «страстями»

художника. Эту тонкость и аристократичность Митиной натуры нельзя проектировать на советский молодняк. Для живописания его, этого более далекого молодняка, автор писем употребляет знакомые нам краски: «естественность, простота, бодрость, хотя уровень развития, конечно, невысокий». Но вот что замечательно: Митя не страдает от одиночества, он может найти культурную среду, в которой он чувствует себя не только среди равных, но и ниже других. Эту среду он находит в Московском университете. Его — на этот раз уже Митины — показания настолько важны и неожиданны, что не могу удержаться от цитаты: «Я только-только подготовлен к тому, чтобы понимать язык тех книг, которые штудируют все (!) студенты. Подумай, что большинство (!) читает даже французские математические книги!... Студенты восхищаются стройностью математики, как я, так же интересуются философией числа и учатся по призванию, а не для того, чтобы получить диплом. И кроме того они также любят стихи, не хуже меня во всяком случае». Эта характеристика математического факультета дополняется указанием на культурных «искусствоведов», переводчиков Гете из рядов молодежи, — которые отчасти знакомы и нам по советским изданиям. Изысканные книги «Academia»[2] читаются не одними доживающими стариками, а по свидетельству автора писем (здесь конкретное указание), находят свой путь в «хату». В этих фактических указаниях и заключается объективно-ценное этих писем.

Мы давно знали о том, с какой жадностью стремятся к науке и культуре массы русского народа, особенно юные слои его. Для некоторых из нас это знание было отравлено зрелищем общего опускания культуры. Количество прибывало за счет качества. Теперь мы можем видеть иное: нарождение новой элиты, высокого качества и не оторванной от масс. Лучше подождать с обещаниями и слишком радужными прогнозами. Но *это* есть! И ничто не мешает ему расти — вернее ничто не в силах помешать. Но, если это так, то цепь преемств, разорванная между поколениями, уже связывается. Россия выпрямляет свой тяжелый духовный вывих. И можно быть уверенным, что новый дух, ее оживляющий, не может быть беспредметной и вне-этической духовностью старого поколения, отрекшегося от Христа для Гете. Среди новой молодежи, которую рисует автор писем,

есть московский юноша, Сережа, о котором восторженно пишет тот же Митя, им побеждаемый в философском споре: «Во всех словах его есть что-то органическое, связанное со всей его жизнью... В его речах преобладают слова, которыми так беден мой лексикон: *должно* быть, *надо* идти к и т. д.» Нелегко угадать основу Сережиной философии, которая стремится к синтезу искусства и науки и «горит одинаково разрушительным порывом» против идеализма и механицизма. Да это пока и неважно. Важно вот это «должно», т. е. нравственная установка в жизни, которая уже перенесена из плана чисто технического строительства в сферу духовной культуры. Такие непримиримые и сильные не соблазняются созерцанием жизни, как таковой, не прийдут в восторг от чужой силы и победы, а пожелают быть сами победителями жизни в борьбе за свою правду. «Оправдание добра» (должно!) после затянувшегося Goete и Hegel Kur русской интеллигенции и будет началом духовного возрождения России.

Шестнадцать

Расстрел шестнадцати коммунистов в Москве поразил всех своей неожиданностью. Тяжелый воздух сталинской «веселой жизни» и захолустной скуки висел над Россией. Это не мешало нам смотреть на нее, как на выздоравливающего больного и с надеждой отмечать каждый новый симптом морального восстановления. Толковали о гуманизме. Диктатор улыбался. И вдруг, без всякого внешнего повода, улыбка исказилась звериной судорогой, и на нас глянула такая харя, от которой становится страшно за человека.

Последнее изобретение советского гуманизма, оказывается, состоит в том, что люди, которых обвиняют в заведомо несовершенных преступлениях, не только признают себя виновными, не только отказываются от защиты и обливают сами себя грязью, но просят для себя казни. Ни одному тирану, ни одной инквизиции не удавалось так растоптать человека, как удалось Сталину.

Перед этим моральным фактом, право, бледнеют все политические стороны «процесса». Они для нас еще не вполне ясны. Ясно, конечно, что новые казни лишь звено в старой борьбе Сталина с партией. За троцкистами и зиновьевцами удары направлены на ленинцев. Опасность, нависшая, было, над Рыковым и Бухариным, самоубийство Томского[1] это подтверждают. Сталин торопится расправиться над всеми учениками Ленина, которые еще не забыли Октября и не изменили коммунизму. Вот почему эти убийства находят порой столь радостный отклик и в эмиграции и в Европе – не сомневаюсь, и в России.

Но почему Сталин пожелал, нарушив завет Ленина, придать форму кровавой расправы длительному процессу ликвидации партии, нам неизвестно. Представляет ли левая коммунистическая группа политическую силу в России? Сомнительно. Боится ли Сталин исходящей из этой группы угрозы для своей жизни? Возможно, хотя скудость обвинительных данных скорее доказывает обратное. Возможно и третье предположение. Опасность Сталину грозит совсем не со стороны левой оппозиции, а со стороны подавленных им рабочих и крестьянских масс. Он и торопится направить их негодование по ложному руслу — старой партии — и, выбрасывая народу ненавистные коммунистические головы, спасти свой непрочный трон.

Но, может быть, вообще искать политический смысл во всех поступках тирана значит оказывать ему слишком много чести. Может быть, для него это просто акт личной мести, лелеемой целые годы, смакуемой во всех подробностях и поданной, как лакомое блюдо к столу людоеда, когда разыгрался его аппетит. Понадобились годы тюрьмы и ссылки, чтобы превратить Зиновьева и Каменева в окончательную труху. Просто убить врага — недостаточно вкусно. Надо насладиться до конца его унижением. Не в этом ли самое простое абдул-гамидовское[2] объяснение для кавказского падишаха?

Сбивчивость политических оценок московского дела только подчеркивает бесспорность морального факта. Здесь Сталин превзошел самого себя. В этой международной Олимпиаде подлости, современниками которой мы являемся, снова первое место, недавно оспариваемое Германией, принадлежит России. Что нового представляет московский процесс в прогрессирующей технике унижения человека? Два момента в нем оказываются рекордными: 1) никогда еще жертвы, публично опозорившие себя, не требовали для себя смерти, 2) никогда еще эта комедия публичного позорища не заканчивалась действительной казнью. Мы привыкли к тому, что жизнь обвиненных покупалась ценой чести. Теперь Сталин берет все: и честь и жизнь. И страна, все эти голосующие стада, от академиков до заводских цехов, не просто выполняют механическую жестикуляцию, но проливают настоящую человеческую кровь. Круговая порука палачества связывает Россию. В том-то и заключается специфическая гнусность современного вождизма, что тиран

заставляет весь народ соучаствовать в своих злодействах. То, что для Медичи и Висконти[3] выполняли наемные убийцы, для Иванов IV и Генрихов VIII их палачи, то должен теперь выполнять для своего господина весь народ, превращенный в миллионнорукого палача. Даже дети не избавлены от этой повинности крови. Знал ли мир что-нибудь более гнусное, чем письма советских школьников, чем стихи девочки, требующей расстрела «бешеных собак»? Какие моря страданий ждут еще русский народ, чтобы смыть с него этот позор!

Самое мучительное в переживаниях московского дела — стыд за Россию. Напрасно было бы стараться провести разграничительную линию между Россией и партией, Россией и диктатором. Они живут в общей атмосфере аморализма, в том спертом «русском духе», где свежему человеку нельзя дышать, где и муха, казалось бы, должна умереть, но который в пределах одной шестой земного шара кажется нормальным воздухом. Доказательство этому — в той интернациональной публичности, с которой Сталин поставил свою трагикомедию. Он никак не ожидал, что дух московских застенков может кому-то прийтись не по вкусу в Европе — в Европе, которая ему нужда до зарезу для собственной безопасности. Московский процесс внес трещину в народный фронт на Западе, надломил коммунистические партии, облегчил чрезвычайно моральную позицию Гитлера против Москвы. Сталин не ожидал! Его никто не предупредил. В Москве никто не ожидал такой брезгливости западных друзей. Знали бы, покончили бы без свидетелей, не вынося сора из ГПУ. Но как было знать, когда моральное чувство атрофировано, как обоняние при насморке?

И, наконец, последнее. После страны и падишаха — его жертвы. Шестнадцать большевиков, из которых многие — сподвижники Ленина, герои октября. Знаю, что их рабская низость перед лицом смерти доставила многим из нас, их врагов, минуту злорадного удовлетворения. Эти люди — или большинство из них — пожали то, что посеяли. Они были творцами и деятелями той системы, которая измолола их в порошок. Но почему же, почему же все-таки они проявили так мало человеческого достоинства?

Зиновьев был, бесспорно, низким человеком. Каменев никогда не отличался большим мужеством. Но мы читаем письма

старых большевиков, лучших из старой гвардии, которые заранее торопятся взять на себя свою долю подлости. Раковский, Преображенский,[4] Крупская... (Одному Томскому не спасти чести партии).

Мне стыдно за них. Я не радуюсь их унижению. Я унижен вместе с ними. Ибо их позор — тоже, в конце концов, позор России. Ведь эти люди когда-то победили Россию. Они оказались сильнее всех ее вождей. Они кичились своей несокрушимой «большевистской» волей. И эта сила и эта воля оказались мнимыми. Когда-то воздух революции вышел из этих пустых резиновых шаров, они свернулись в жалкие тряпочки.

Но их мнимая сила была некоторым утешением в трагедии русского народа. Злая сила, но все-таки сила. Великий народ — велик и в своих злодеяниях, в своем безумии.

Каждый народ стоит своих вождей, по крайней мере, на данный отрезок своего исторического существования. Оказался ли бы Сталин сильнее их на их месте? Не знаю. Сомневаюсь.

За Сталиным и Зиновьевым, за всем разнообразием личных характеристик большевистских вождей, маячит зловещая фигура Ленина, который воспитал это поколение, который своим принципиальным, циническим аморализмом, своим отрицанием личной чести, правдивости и достоинства убил в зародыше возможность большевистского благородства. Растил палачей, но не героев. И по образу этих растленных, на все готовых слуг, творил новую Россию — рабыню Сталина.

Тучи над Францией

В то время, когда правительство Народного Фронта пришло к власти, и Блюм[1] огласил свою программу реформ, для многих было ясно: ни о какой социальной реконструкции не могло быть и речи, пока Франция сохраняет свой дорогой франк. Стесненность экспорта дорогой валютой удушает ее промышленность, плодит безработицу и допускает лишь подлечивание хронически больного организма. Но мы понимали также, почему Блюм, как глава Народного Фронта, остановился перед девальвацией, которой он, как социалист, должен был сочувствовать. Девальвация означает конфискацию капиталов, которая всей тяжестью ложится на мелких держателей. Разорению подвергается вся масса мелких рантье, пенсионеров, крестьян, собирающих франки в чулке — словом, вся Франция. Кто во Франции не делает сбережений? Русские эмигранты да, может быть, часть рабочих, которые предпочитают пропивать их. Франция все еще гордится своей бережливостью — как национальной экономической добродетелью. Но в наше время кризисов эта «добродетель», которая раньше искажала моральное лицо Франции, стала одним из *социальных* пороков, губящих народное хозяйство. При такой экономической психологии (бережливость) и при соответствующей ей социальной структуре (рантье), Франция оказывалась страной, где социальная реформа в широком стиле (подобно американскому new deal[2]) наталкивалась на трудности, почти непреодолимые.

И однако через пять месяцев Блюм решился на ту меру, от которой все время отрекался. Не будем гадать о степени его искрен-

ности. Нет сомнения, что в той обстановке, в какой девальвация происходит, она является неизбежной. Сейчас всякая партия во Франции должна была бы на нее пойти. Растущий бюджетный дефицит, прогрессирующая дороговизна, финансовая паника, утечка золота — все это должно было автоматически сорвать франк с его золотой высоты. Fata nolentem trahunt[3].

Даст ли теперь девальвация те экономические выгоды, которые она могла дать полгода тому назад, сказать не беремся. Современная экономика таинственна и стихийна. В ней почти нет места законам и очень много «психологизма». Но это дает право и не-экономисту оценивать «психологические» предпосылки экономических событий.

Не может быть спора о том, что девальвация чрезвычайно усилит число врагов современного режима. Миллионы крестьян, рантье, интеллигенции будут брошены в объятия реакции. От власти потребуется огромная энергия и решимость, не останавливающаяся ни перед чем, чтобы удержать в своих руках водительство нацией.

Гадательно и спорно — и вполне зависит от психологических факторов, удастся ли правительству предотвратить быстрый и общий рост цен. А между тем в своей реформе оно на это рассчитывает. Если бы все цены (в том числе и заработная плата) поднялись ровно настолько, насколько упал франк, погибла бы вся международная и индустриальная выгода реформы. Осталась бы просто конфискация 15–18 миллиардов, которая лишь временно заполнила бы прореху в бюджете. Блюм хочет бороться против дороговизны. Он уже угрожает тюрьмой за спекулятивное повышение цен (Ленин не мог справиться с рынком даже расстрелами!). Но уже подготовлявшийся закон о подвижной шкале оплаты труда показывает, что у правительства нет веры в свою способность стабилизировать цены.

Почему Англии удалось провести свою девальвацию без всяких потрясений, сохранив уровень всех цен на старой высоте? Это чудо (с точки зрения классической экономии, это просто чудо) было достигнуто *единством национального сознания*. Правительство могло ждать и требовать, чтобы ни один класс не стремился к обеспечению своих, хотя бы законных, интересов за счет целого. В Англии, как в Америке и в Бельгии, правительство может требовать жертв от всех. Общая готов-

ность на жертвы медленно вознаграждается: жертвы возмещаются с избытком.

Во Франции, увы, правительство не может ни от кого ждать добровольных жертв. Еще в мае правительство Народного Фронта имело некоторый национальный капитал доверия. Оппозиция почти умолкла. Недавно еще столь крикливый фашизм ушел в подполье. Страна выжидала результатов неизбежного «опыта» и, может быть, принесла бы жертвы, если бы они были потребованы ото всех.

Мы знаем, что произошло. Сразу началась непрекращающаяся и поныне волна экономической борьбы. Справедливость требует признать, что, к сожалению, первый удар Блюму нанес пролетариат. В советской России его психологию назвали бы «рвачеством»: но как и назвать иначе это стремление урвать, что можно, используя политическую конъюнктуру, не дожидаясь ни указаний вождей, ни общих законодательных мер? За рабочими пошли торговцы — отчасти уже вынужденные к самообороне, за ними крупные финансовые спекулянты, поведшие атаку на золото Французского банка. Девальвация происходит не в атмосфере национального единения, которая одна бы могла обеспечить ее успех, а среди всеобщей экономической борьбы классов. Может ли девальвация остановить ее? Все основания думать, что она ее обострит.

Каждая экономическая группа ищет «безопасности» и преимуществ в экономической войне, совершенно так же, как нации вооружаются в предведении войны настоящей. Если не случится непредвиденное — некое психологическое чудо, предстоит гонка цен, в которой раздавлены будут слабейшие. Слабейшие, в современном обществе это не рабочие — это, прежде всего, интеллигенция и те хозяйственные группы, которые принято называть средними классами. Рабочие защищены крепкой организацией. Крестьянство может отстоять себя, моря голодом города. Промышленники и торговцы сумеют защитить себя ростом цен (если, действительно, не будет уничтожена всякая свободная торговля по русскому методу). Остальные — а их немало — гонимые голодом и отчаянием, будут покупать револьверы и идти за тем, кто сумеет достать пулеметы.

Непосредственная *политическая* опасность угрожает Блюму справа. Но экономическая, которая сейчас всего грознее,

скорее — *слева.* Если бы в этот решающий момент его судьбы французский рабочий нашел в себе способность к дисциплине и хотя бы малую готовность к жертвам, его правительство, опираясь на силу принуждения, могло бы потребовать и добиться жертв у других классов. Но он, беспечный и плохо осведомленный, искренне думает, что «богатые заплатят», что их денег хватит на все.

Не сегодня-завтра военная диктатура воцарится в Испании, и Франция, последняя великая демократия континента, окажется в кольце фашистских держав. Пример Испании показывает, что фашизм сейчас является такой же интернациональной угрозой, как был коммунизм эпохи Ленина. Внешние враги Франции сделают все, что в их силах, чтобы сломить в ней режим демократии. Для Гитлера победа фашизма во Франции или гражданская война одинаково означают свободу рук — в России.

Над Францией сгущаются тучи. Мы не можем оставаться равнодушными к ее судьбе. Как демократы, мы с волнением смотрим на борьбу ее свободных учреждений с угрожающими опасностями. Как русские, мы не можем не видеть, что безопасность России сейчас связана с обороноспособностью и мощью Франции.

Эта судьба находится в руках одного человека. Он несменяем, ибо его некем заменить. Он для всех — для друзей и даже для врагов — единственная преграда, отделяющая борьбу партий от гражданской войны. Блюм, социалист и еврей, волею судьбы воплощает сейчас национальное единство Франции. Я знаю православных людей, которые молятся за Леона Блюма. Можно ли этому удивляться? Демократия сейчас — единственное убежище человечности. А человечность — единственное, что еще сохраняется в современном мире от христианской цивилизации.

«Пассионария»[1]

Передо мной портрет испанской героини, распространяемый во Франции друзьями испанской свободы. «Пассионария» перед микрофоном. Не лицо, а маска, искаженная судорогою страсти. Не романтическая Марсельеза, не прекрасная Марианна, в которых еще живут черты Афины-Воительницы, а подлинное лицо революции. Все человеческое здесь сгорает: благородные чувства, идеи, идеалы... Остается страсть — бессмысленная и беспощадная. Такова несчастная Испания — не худшая из дочерей Европы. Наверное, даже лучшая: самая непосредственная, жертвенная, героическая. Испания, которая, отсидевшись за Пиренеями, в бедламе мировой войны, сохранила благородные традиции XIX века. Страна наших дедов, современница Герцена, Бакунина, Мицкевича, Маццини[2]. И такое лицо!

В прошлом номере «Новой России» Ю. Фельзен[3] признается, что он не может стать в испанской трагедии ни на чью сторону: он твердо и резко против обеих. Я, непосредственно, готов был бы присоединиться к его словам. Но остаток политического долга, мысль о мировых отражениях испанской войны заставляет все же занять позицию — с внутренней дрожью и отвращением. Я с Пассионарией, потому что я с демократией.

Эта позиция морально чрезвычайно облегчается сознанием обреченности Пассионарии и ее дела. Быть с побежденными — это завет русской интеллигенции. Каковы бы ни были зверства испанских революционеров, последнее слово будет принадлежать контрреволюции. И если сейчас зверства обеих сторон как будто уравновешивают друг друга, победа генерала Франко

резко наклоняет чашку весов. Мадрид потонет в крови, и эта кровь, как было с Парижской Коммуной, смоет все преступления побежденных.

В ожидании, достаточно посмотреть на физиономии победителей. На генеральских лицах лежит, как полагается, отпечаток холодной жестокости. Сравнивая лица генерала Франко и Пассионарии, мы понимаем разницу в характере белого и красного террора в Испании: холодная и организованная жестокость генералов против ярости безумной черни. Признаюсь, генеральское зверство для меня отвратительнее; в нем больше сознания и больше ответственности. А когда я узнаю, что эти палачи, убивающие врагов даже в церквах, выдают, себя за защитников христианства, мой выбор окончательно сделан: я предпочитаю им одержимых, которые жгут монахинь и ругаются над трупами. Те, по крайней мере, не знают, что творят.

Если труден моральный выбор позиции, то едва ли менее труден политический. Самое ужасное в испанской гражданской войне с ее неслыханной жестокостью, это отсутствие целей, программы, знамени. За что они дерутся? Оба стана представляют коалиции самых несходных элементов. Этот хаос, несомненно, значительнее в стане революции, чем, вероятно, объясняется ее поражение. Партизанство партийных отрядов бессильно против единства военного командования. Дикие сцены между защитниками Ируна[4], когда анархисты убивают коммунистов из-за разногласия в тактике отступления, показывают, чего можно было бы ожидать Испании в случае победы мадридского правительства. Что объединяет буржуазных демократов, социалистов, коммунистов и анархистов в Мадриде? Только общая опасность. Их победа явилась бы началом новой гражданской войны.

По-видимому, анархисты являются самой влиятельной и активной группой в коалиции. Это исключает возможность концентрации вокруг самой крайней из революционных партий (по типу якобинцев и большевиков), — к чему ведет всегда тенденция гражданской войны. Менее сего возможна победа буржуазных демократов, которые формально представляли испанскую республику в начале восстания. Победивший, народный фронт, конечно, поставил бы ребром проблему социальной революции. Он имел бы на это право, это было бы даже его

долгом. Но как может он приступить к ней, когда у него нет и отдаленного намека на пути ее решения. Есть лишь обманчивый опыт России. Но он не пригоден для Испании, где отсутствует вековая традиция царского самодержавия, вынесшая Ленина из хаоса.

В стане генералов есть монархисты и республиканцы, фашисты и сторонники правового государства, защитники капитализма и его критики. Их объединяет тоже лишь — весьма естественно — страх гибели и социальной революции.

В конце концов, в Испании стоят друг против друга, в голом виде, социальные классы: рабочие против аристократии (которую, вероятно, как и в России, называют буржуазией) при молчании крестьянства. У врагов нет знамени, но есть нечто его заменяющее: политическая традиция. В Испании (как и во Франции) левые стоят против правых, причем это различие левых и правых (как и во Франции) не находит себе выражения в программах, а исчерпывается ненавистью к лицам и партиям: «На виселицу Блюма!» (Или же де ла Рока[5]!).

Каково же имя тех традиций, которые, за отсутствием программ, раздирают современные демократии? Одна из них — традиция Великой Революции 1793 года. Другая, называющая себя по преимуществу национальной, представляет те силы старого общества, которым Великая Революция нанесла жестокий, но не смертельный удар. До середины XIX века борьба этих традиций была содержательна и потому оправдана. Еще было или казалось возможным воскресить старый порядок, и потому было нужно защищать наследие революции. Но что значит сейчас и это наследие, и его отрицание?

Перед миром стоит сейчас гигантская проблема социальной реконструкции, и здесь обе старых традиции немотствуют. Французская революция жила пафосом освобождения. Но как может жить этим пафосом современный мир, который должен дисциплинировать, связать, подчинить стихийные силы экономических процессов? Свободу нужно сохранить в социальной революции. Свобода стала консервативным началом. Но ее недостаточно для действия.

Враги демократии выдвигают — верно почуяв это требование жизни — момент дисциплины, порядка, организации. Но забывают о творческом акте. Новый порядок требует уничтожения

старых классов, старых отношений собственности. Требует жертвы от имущих и организующих. Эту неотложную жертву они стараются отодвинуть, заговаривая зубы «национальными» речами. Вопли Пассионарии о свободе и равенстве бессодержательны. Разглагольствования генерала Франко о национальной испанской цивилизации просто смешны. Франко – и Сид[6]! Франко – и Сервантес! Франко – и Греко! его кузены, Гитлер и Муссолини, усердно разрушают все, что оставалось лучшего в национальных культурах Германии и Италии. По-видимому, Испанию ожидает та же судьба: денационализироваться под флагом национальной цивилизации.

Факт тот, что обе традиции – и революционная, и национальная – давно сгнили. Их борьба – это разложение старого мира, а не рождение нового. Для рождения нового, т. е. для социального строительства, необходим тесный союз национальных и революционных сил: традиции равенства и свободы с традициями порядка и служения. Лишь там, где этот союз возможен – в англо-саксонских странах, в Северной Европе, – есть шансы на подлинный выход в будущее.

Напрасно объяснять испанскую трагедию из особенностей испанского характера. Испанская импульсивность лишь придает особую остроту той драме, которая протекает по всей территории демократической Европы. Испания – это Италия накануне Муссолини, Испания – это Франция сегодняшнего дня. Испания падает жертвой за грех Европы, за наш общий XIX век. Поймет ли Европа – прежде всего демократическая Европа – смысл этой жертвы? От этого зависит ее судьба.

Испания и Россия

В последние дни то, что называется невралгической точкой Европы, локализировалось в Испании. Не только потому, что там льется потоками горячая человеческая кровь, что мир с волнением и страстью – заинтересованной и нечистой – следит за агонией народа, почти безоружного и изнемогающего в борьбе с фашистскими армиями... Нет, сама по себе судьба Испании, может быть, и не способна была бы взволновать нас так глубоко. Но мы давно уже начали предчувствовать, что в Испании решается наша судьба, судьба всей Европы – и прежде всего России.

В Испании с самого начала лилась русская кровь. В марокканских войсках генерала Франко сражается немало белых русских офицеров. В последнее время красные добровольцы из России и Парижа начали появляться в рядах рабочей милиции. Итак гражданская война уже разделяет и нас, русскую эмиграцию. Но дело, конечно, не в эмиграции. Россия в Лондоне сделала жест, последствия которого трудно исчислить. Это был очень неприличный жест в благовоспитанном обществе лицемеров. Майский[1] отказался участвовать в комедии предательства испанской республики Европой. Он указал на факты всем известные. В гражданской войне побеждает сейчас не «белая» Испания, и даже не ее – наполовину мавританская армия, а иностранная артиллерия и авиация во главе с офицерами из Германии и Италии. Остановить эту интервенцию Европа не смеет – несмотря на подписанные всеми соглашения. Страх всеобщей войны заставляет демократическую Европу

предавать Испанию фашистским державам. Еще один кусок живности полетел в волчью стаю. Берите Испанию, только не троньте нас!

Нельзя не признаться: жест России на лондонской конференции был морально очень выигрышным. Вопрос лишь в том, что за этим жестом стояло. Не был ли он вполне безответственным, рассчитанным на пролетарскую галерку, и тогда, вдвойне, утонченно лицемерным?

Одно время мы склонны были так расценивать внезапную московскую горячность. Говоря по правде, она сильно запоздала. Не сегодня-завтра от красной Испании ничего не останется, и тогда никто не потребует у Сталина платить по векселям. А капитал революционного благородства останется — у рабочих Франции хотя бы, от которых сейчас зависит так много. Так мы предполагали... Но вот лорд Плимут[2], выведенный из терпения, опубликовал цифры советских военных грузов в Испанию — за последние дни: 18 аэропланов, 18 танков на одном лишь пароходе от 15 сентября. Это серьезно. Эти аэропланы и танки могли бы пригодиться и в России. Если это только демонстрация, то она довольно дорого стоит.

Мы стоим перед вопросами огромной важности. Как далеко пойдет решимость Сталина на испанском фронте, и чем можно объяснить внезапный активизм Москвы? Решать про себя — не превращаясь окончательно в гадалку, можно, конечно, только второй вопрос, но первый открывает перед нами совершенно новые перспективы. Для Испании: помощь России могла бы спасти уже безнадежное дело Народного Фронта. Если генералы ведут войну, опираясь, действительно, лишь на буржуазное меньшинство нации, то несколько десятков аэропланов и танков, помощь военных специалистов могли бы сразу дать перевес побежденной стороне. Но допустит ли это блок фашистских держав? Не начнут ли немцы и итальянцы топить русские суда, и не вызовет ли это немедленно уже европейскую войну? Это именно то, чего мы знать не можем. Если Германия чувствует себя готовой к войне, она ее начнет. Если ей нужно еще несколько месяцев или лет подготовки — она может, конечно, рискнуть, но может и обождать. Об этом сейчас знает лишь генеральный штаб в Берлине, да, может быть, и он не знает. Такие решения принимаются в самую последнюю минуту.

Но вот второй вопрос: зачем Сталин рискует войной, которая не сулит ему ничего доброго, которая может с такой легкостью погубить его, но не может ничем помочь ему в построении «социализма» в одной стране?

На это может быть два ответа. Один в лубочно-нюрнбергском стиле, столь популярном в русской эмиграции. Он гласит: Сталин только притворяется Абдул-Гамидом. На самом деле он троцкист и только мечтает о том, чтобы зажечь мировой пожар. Революция — в Испании, во Франции, повсюду — для него самоцель. Признаюсь, на такую романтику я не считаю способным Сталина. Рисковать властью — и какой властью! — ради миража — для этого он действительно должен быть Троцким. И приписывать ему эти октябрьские иллюзии в то время, когда он добивает последние остатки революционных коммунистов в России — это уже верх глупости. Чем держать в тюрьме Радека и Пятакова[3], их могли бы выпустить в Испанию, если бы дорожили революционной, а не военной стороной испанских событий.

Сейчас московские газеты полны Испанией. Все внутренние вопросы отошли на задний план. Все корреспонденции, резолюции, речи на испанские темы, конечно, густо мазаны революционной краской. Кажется, что октябрьская Россия переживает свою вторую молодость. Трудно отрицать возможность известной искренности в этом испанском увлечении. Кое для кого в России — для молодежи, во всяком случае — эта революционная героика не лишена обаяния. Марсельеза во Франции и через полтораста лет может волновать сердца французов — и таких, которые менее всего склонны грозить тиранам (tremblez tyrans!)[4] революционной войной. Сталин может подогревать в России выдохшийся революционный романтизм, может ставить на карту испанской и какой угодно революции, но будем покойны: в меру его интересов. А это значит: в меру интересов подвластной ему России.

Остается второй ответ: в Испании ведется борьба за Россию. Нетрудно понять связь этих далеких стран — мир сейчас такой «неделимый» и тесный. Победа фашизма в Испании 1) означает военную победу Германии и Италии, которые, конечно, закрепят свои успехи — мы не знаем еще, в каких формах — на Средиземном море, 2) — и это еще важнее — она сделает

чрезвычайно трудной защиту демократии во Франции. Внутренние силы реакции против «Блюмовского опыта» найдут военную помощь из трех углов. Пулеметы и танки явятся в распоряжение де ла Рока и Дорио[5]. Если сейчас уже для Блюма становится так трудно защищать русско-французский союз, то для фашистского режима примирение с Германией за счет России вполне возможно. Эти правые традиционалисты – от «Фигаро» до «Аксион Франсез»[6] – живут ненавистью к Германии. Молодой фашизм скорее сделает выбор в пользу Берлина и против Москвы.

Даже если дело не дойдет до фашистского переворота во Франции, победы Германии на испанском фронте окончательно разлагают французский лагерь в Европе. Уже сейчас он находится в состоянии паники, близкой к предательству. Уход Бельгии вызывает смуту и перегруппировку сил в Центральной и Восточной Европе. Франция становится все более изолированной. И Россия теряет вместе с ней единственного возможного союзника. Политика уступок и отступлений со стороны демократических держав – Англии и Франции – за последний год нанесла непоправимый ущерб остаткам «Антанты». Во внешней политике, как и во внутренней, нерешительность и пассивность губят демократии. Они глядят, как зачарованные в глаза германскому удаву и ждут того, когда он проглотит их поодиночке одну за другой.

Может быть, тактика Сталина, тактика активизма, окажется более правильной. Насильник, поощряемый слабостью, может остановиться перед внушительным отпором. Но даже если этот расчет не оправдается, и Германия нанесет свой давно подготовляемый удар, для Сталина выгоднее принять его сейчас, когда не все союзники потеряны, когда есть еще шанс. Но его шанс сейчас – это шанс России. Нельзя забывать этого. Игра ведется большая. В тумане неопределенных возможностей нам не ясны очертания не только будущего – на даже и настоящего. Возможно, Европа получит еще отсрочку. Но, может быть, двенадцатый час уже близок. И в Испании сейчас решается судьба России.

«Вмести предисловия» к книге Андрэ Жида

«Возвращение из СССР» есть факт гораздо более значительный в биографии французского писателя, чем в нашем познании современной России. Все, что он пишет о России, нам, конечно, известно. Трудно было бы ждать от иностранца, сколь бы проницателен он ни был, без языка, за каких-нибудь четыре месяца путешествия, настоящих открытий в быте или душе народа. «Возвращение» есть событие в мире моральном. Закрывая эту книгу, говоришь с облегчением: да, в мире не окончательно пропала совесть. Когда Андрэ Жид ехал в Россию, сколько людей говорили себе: «Неужели и этот?». Большинство торопилось отвечать, заранее смягчая горечь возможного разочарования: «да, конечно, и этот. Чем он лучше стольких других — смотревших и ничего не увидевших?» И вот, однако же, увидел. Не подкупили, не заласкали, не засыпали глаза конфетти коммунистического карнавала... Не без удовлетворения признаюсь, что я принадлежал к тем, кто сохранил веру в искренность Жида, хотя и сознавал, какие огромные трудности ему предстоит преодолеть.

Моральное (и политическое) значение свидетельства А. Жида не ослабляется, а усиливается тем обстоятельством, что он не потерял веры ни в коммунизм, ни в будущее СССР. Это пишет не враг, но друг, которому «дело», («культура», «человечество») дороже СССР, а истина, вероятно, дороже человечества.

Для нас, однако, СССР, или скрывающаяся за ним Россия, имеет свою совсем другую самодовлеющую ценность. И при всем нашем интересе к А. Жиду и его духовному пути, нас больше

всего интересует свидетельство о России — как бы скромно и ограничено ни было его объективное значение. Но тогда прежде всего нужно установить точный смысл этого свидетельства.

Первый вопрос: что видел А. Жид в России? Его книга не дает нам полного итинерария[1], но из перечня местностей, из самых умолчаний, приходится сказать: видел немногое. Географически: Москву, Петербург, Кавказ, Крым. Он не описывает ни русской деревни, ни чисто русской провинции, ни новых фабричных городов. С точки зрения социальной анкеты, маршрут не особенно удачен. Он ничем не отличается от шаблонного туризма. А Жид видит в России то, что в ней есть самого легкого для обозрения, самого красивого и комфортабельного. При этом наименее русского. Он больше говорит о Грузии, чем о России. Характерно, что Москва не произвела на него никакого впечатления. Ни древность, ни новизна ее не волнуют человека со вкусом слишком изощренным. Он предпочел ей Петербург — мы рады слышать это — но Петербург напомнил ему Францию. Черное море тоже не очень далеко от Средиземного. В России Жид не выходит из рамок прекрасного, но слишком западного пейзажа... Как это бывает со всеми путешественниками, архитектура Петербурга и природа юга должны покорить заранее, до всяких личных встреч, его воображение.

А теперь выбор социальных объектов анкеты. Фабрика — но образцовая, сверкающая последним словом техники и благоустройства, колхоз, но образцовый, счастливый колхоз на Черном море, детский дом, но для самых привилегированных детей СССР, отели в Сочи и Сухуми, но первоклассные, не уступающие заграничным. Конечно, не Жид выбирает свои достопримечательности. Он послушно следует гидам. Он вполне сознает исключительность, непоказательность того довольства и роскоши, которые видит кругом. К чести его, он сумел поймать беглым взглядом нищету, которую от него скрывают. Он видит в России «бедных», от зрелища которых он бежал с капиталистического Запада. И не только бедность, но и неравенство в очень жутких формах, зарождение новых привилегированных классов. Он это видит, но видит издали. Нищета, как горизонт замыкает его зрительный пейзаж, являющий картину довольства и счастья. Оттого, при самых честных намерениях автора, его краски кажутся и слишком нарядными. Ни единого

черного луча из каторги, из концлагеря, из бесправной нищеты лишенцев не омрачает веселой картины.

Хрустальный дворец строится. Автор не сомневается, что он может быть достроен по этому плану. А что остается за светлой чертой круга, что думает и чувствует народ — не строитель, а объект строительства, об этом Жид не ставит себе вопроса. Из этого темного полушария России до него не дошел ни один звук, ни один стон. В этом существенное ограничение его опыта. То, что он видит и описывает, это не вся Россия, а ее современный отборный «актив». Начиная с детей аристократического детдома, через артистическую и другую молодежь, кончая офицерами военного корабля, автор живет среди победителей, оптимистов, гордых и радостных строителей жизни. Он покорен этой молодостью, заражен энтузиазмом, очарован открытостью и привлекательностью этих людей. Примем и мы его свидетельство без протеста, но, может быть, с одной оговоркой. Эта открытость, этот энтузиазм — Жид видел их в необычной праздничной обстановке. Он сам был объектом их симпатии, их энтузиазма. Трудно не переоценить симпатичность людей, которые относятся к вам с такой симпатией.

И вот в результате общения с этим отбором счастливых активистов, А. Жид пришел к своему горькому заключению. То, в чем он упрекает новую Россию, может быть выражено в двух словах: самодовольство и конформизм. Мы знали это. Каждая страница советской газеты или журнала дышит ими. У А. Жида, эти черты, несмотря на чрезвычайно мягкую характеристику — приобретают особенно жуткий оттенок: чего-то окончательного, последнего. А что, если это и есть подлинный человек коммунизма, о котором пророчил Достоевский? Не навсегда ли это? Не ожидает ли весь мир та же участь? Бодрые уверения автора, оптимистическая концовка не успокаивают нас. Но есть один пункт, который заставляет задуматься.

Что Жид от всех русских людей слышал одни и те же речи, повторяющие передовицы «Правды», нас не удивляет. Могло ли быть иначе при официальном характере его путешествия, его окружения? Но соответствуют ли вполне и всегда эти высказывания убеждениям людей? Не переоценил ли Жид конформизм своих собеседников? Это вопрос очень важный, на который мы не имеем ответа.

Конформизм или ложь? — вот дилемма, перед которой стоит русский зарубежный читатель Жида. Порой нам кажется, что автор совсем не заметил всего потрясающего факта общеобязательной лжи, которой живет Россия. Один только раз он столкнулся с фактом этой обязательной, почти наивной лжи. Художник X. («очень культурный») с пафосом обличает искусство, непонятное народу, громит Шостаковича, формализм, упрекает самого А. Жида в буржуазности. Разговор происходит в зале отеля. Через несколько минут X. появляется в номере Жида и шепотом объясняет: «Я прекрасно все знаю... Но нас там слышали и... моя выставка скоро должна открыться». Не будь этого случайного объяснения, гость мог бы остаться в убеждении, что имеет дело с фанатиком-марксистом.

Из этого шепотком законченного разговора А. Жид не сделал никаких выводов. Он не ставит проблему лжи. Он верит честности глаз, на него устремленных, не может ни минуты допустить неискренности молодого энтузиазма. Не ложь, а конформизм. Что же, вероятно он прав для того избранного круга энтузиастов, среди которого он жил. Нам трудно понять такой конформизм и потому мы слишком часто предпочитаем гипотезу лжи. И однако мы легче допускаем конформизм, чем ложь для социально-аналогичных культур Европы: Италии, Германии. В мире быстро убывает разум и растет слепая вера — конформизм.

Но вопрос этот не так прост, особенно для России. Каждый день, читая новое потрясающее известие о падении человека, мы спрашиваем себя: что это — атрофия разума или совести? Для разных людей, вероятно, по-разному. Для старых, дышавших воздухом иного мира, вероятно — болезнь совести. Для молодежи — скорее болезнь, или инфантильная недоразвитость разума. Что предпочесть? Что менее унизительно для России? Если без совести, то что же осталось от лица России? Если без разума, то как же она найдет свой путь?

Действительность, вероятно, много сложнее. И разум и совесть не могут исчезнуть без остатка. В этом надежда на изживание всех конформизмов и лжи. Надежда на исцеление и выпрямление России.

СССР и фашизм

В разных странах Европы коммунизм и фашизм ведут между собой ожесточенную войну. Этот факт, который было бы бессмысленно отрицать, хотя точность требует признать, что сейчас коммунизм нигде не выступает под собственным именем. Противник фашизма называется «народным фронтом» или демократией, и коммунизм является в этом лагере лишь одним из союзников, далеко не самым сильным (Испания). Можно видеть в этой политической скромности вчера столь агрессивного коммунизма — притворство, тактический ход, который должен привести окольными и извилистыми путями к той же цели: социальной революции. Судить сейчас о подлинном лице европейского коммунизма нелегко. В нем соединяются самые разнообразные элементы: революционные массы рабочего класса, идеалистические круги интеллигенции и ловкие политики, живущие на русские рубли. Бесспорно, что пока правящая головка идет на поводу Москвы. Поэтому до сих пор ключ к тактике мирового коммунизма (Коминтерна) находится в Москве. И всякий анализ отношений коммунизма к фашизму должен начинаться с России.

Что может значить этот антагонизм для самого СССР? Московские газеты ежедневно кричат против зверств, молодежь воспитывается в ненависти к фашизму и в ожидании нападения с его стороны на СССР. Но конкретно, этот фашизм всегда означает Германию (иногда и Японию). Идейные противоречия, которые властителям СССР хотелось бы видеть (ср. речь Литвинова[1] на съезде Советов), прикрывают интересы наци-

ональной обороны. Спросим себя серьезно, без полемического задора: что в строе СССР является несовместным с духом и строем фашизма?

Долгое время демократия брала за одни скобки фашизм и коммунизм на основании лишь формально-политического сходства. Тоталитарное государство, упразднившее всякую личную свободу, управляемое единой партией под властью неограниченного вождя. Сходство действительно разительное, которое объясняется не социологическим параллелизмом, а сознательным изобретением и подражанием. Изобретателем был Ленин, а Муссолини и Гитлер заимствовали у него политическую систему: абсолютизм, партия, вождь. Но, конечно, в эту политическую систему они вложили совершенно иное идеологическое и социальное содержание. Вместо диктатуры пролетариата – власть надклассового государства, опирающегося главным образом на средние слои; вместо интернационала – религия нации. За всем тем у врагов оставалось общим антикапиталистическое острие, но сильно смягченное в фашизме. Экономический этатизм[2] роднит фашистский строй с социализмом в такой мере, что партия Гитлера называется рабочей и социалистической. Буржуазия видит в фашизме своего спасителя; она выбирает его, как меньшее зло. Исторически можно рассматривать фашизм, как форму самозащиты буржуазии против пролетарской революции. Но это нисколько не меняет того факта, что сам фашизм не очень жалует буржуазию и стремится – хотя и очень нерешительно – подчинить личный экономический интерес государственному интересу и плану.

За последние годы социальное и идеологическое содержание сталинской диктатуры совершенно переродилось. Государство перестало быть классовым и перестало быть марксистским. В России, конечно, нет буржуазных классов, но есть, по крайней мере, три класса, если причислять интеллигенцию к военно-служилому сословию. Государство не отождествляет себя ни с одним классом и отменяет классовые привилегии (рабочих) и классовые ограничения (лишенцев). Этому соответствует в идеологии борьба с марксизмом и постепенная замена его элементами национальной культуры. Марксизм, не отмененный официально, подвергается сейчас разгрому во всех частных

сферах: в истории — борьба с нигилизмом школы Покровского, в литературе — борьба с классовым подходом, в педагогике — борьба с педологией[3], и т. д. Национальное сознание в очень острой и повышенной форме — национальной гордости и даже тщеславия — сменило прежний интернационализм. Спрашивается: что же отделяет теперь строй и миросозерцание СССР от фашистских держав? Прав ли А. Ф. Керенский, назвавший сталинскую Россию страной фашизма?

И да, и нет. Скорее, да. Как страна националистического социализма, СССР бесспорно стоит в ряду фашистских государств Европы. Целая пропасть отделяет его жизнь и идеологию от революционного мира Европы. Лишь барьер языка (не говоря о более низменных влияниях) мешает довести этот факт до сознания европейского пролетариата. Сталинизм, конечно, фашизм, и притом в самой отвратительной форме. Из всех фашистских стран в России свобода удушается всего последовательнее, и методы управления являются наиболее зверскими.

Несколько лет тому назад, в начале второй пятилетки, эта характеристика была бы вполне точной. Сейчас она нуждается в поправке. Жизнь перевернулась на несколько градусов и в России больше, чем где либо в мире. Политически, Россия переросла уже стадию фашизма. Из трех политических элементов фашизма — вождь, партия, народ — вождь уничтожил партию, как носительницу самостоятельной идеологии, и не нуждается более в подогревании народного энтузиазма, в длении революционной лихорадки. Вождь и народ разошлись слишком далеко, да и революция в России началась гораздо ранее, чем в Германии и в Италии. Пафос выветрился, угли догорели. Но истинный фашизм немыслим без пассивного волнения масс, отзывающихся на клич вождя. Политические карнавалы Сталина отличаются совершенной холодностью и искусственностью. Вот почему Сталин не вождь, а властелин, и его строй есть юридически неоформленная монархия. Сталин не успел еще начисто покончить с остатками фашистского режима (партия), но его государство занимает среднее положение между фашистской диктатурой и царским самодержавием (отвлекаясь, конечно, от несоразмерной низости и жестокости его политических средств). Не случайно, поэтому, Сталин хочет чувствовать себя укорененным в истории России, требует своего апофеоза в ко-

стюме Петра Великого и настаивает порой на реабилитации не только Петра, но и Николая I.

Трудность понимания современной России зависит от густой дымовой завесы лжи, которая окутывает все. Маркс еще не выброшен, вслед за русскими марксистами, на свалку. Марксизм остается официальной идеологией, хотя никто уже в России не знает, что такое марксизм. Фашисты верят в свой идеал — нации, расы, государства — верят в слова вождя и в свои собственные. Коммунисты в России не верят больше ничему, менее всего словам вождя и своим. Оттого так нестерпима духовная атмосфера России и становится все удушливее, чем дальше национализируется жизнь и сознание, чем глубже расходится слово с делом.

Что же мешает Сталину провозгласить конец марксизма и установить новую, подлинно-национальную идеологию? Очень многое. И собственная бескрылость, и презрение к идеологии, свойственное пореволюционным эпохам (ср. Наполеона), и еще один очень немаловажный социальный факт. Все существование нового правящего класса и его главы связано с октябрьской революцией. Они могут отказаться от чего угодно, но не от культа Октября, а, следовательно, и Ленина и от того знамени, под которым Ленин привел их к победе. Иронии судьбы угодно было, чтобы это знамя было марксистским. Марксизм и останется, вероятно, официальным наименованием русского фашизма, по крайней мере, в сталинский или октябрьский его период. Если Гитлер марширует под красным знаменем социализма, почему и сталинским дельцам не совершать, время от времени, обязательные поклоны в сторону марксизма? Лишь бы только из марксизма было выпущено все революционное содержание. Обмануть они могут только русскую эмиграцию — но до нее им дела мало — и европейских рабочих: но их-то обмануть очень интересно. Для них одних стоит играть Интернационал на кремлевских курантах.

Восстание масс и свобода

Одна из самых страшных черт нашего времени – это попрание свободы со стороны восставших масс. Мы привыкли ждать угрозы для свободы от королей, стремящихся к самодержавию, от генералов, идущих на захват власти. Но эта схема XIX века совершенно непригодна для объяснения событий нашего времени. Опасность пришла не с той стороны, откуда ее ждали. Свободу разрушает восставший в разных революциях, под разными знаменами народ, отдающий свою волю, свою совесть и душу в руки врагов свободы.

Вполне естественно поэтому в поисках объяснений современному тоталитарному деспотизму связывать оба эти явления: появление масс на исторической сцене с удушением свободы. Говорят: никогда еще широкие массы в такой мере не являлись деятелями истории. XIX век знал демократию только по имени. Буржуазия и интеллигенция правили именем народа. Народ передавал высшим классам выражение своей воли и оставался пассивным. Ныне война всколыхнула его до дна. Она потребовала от всех самых пассивных и темных слоев населения героической активности. Но они, эти слои, хотят теперь сами, по своей буйной воле и по своему темному разумению, творить свою судьбу. Это объяснение очень распространено и, на первый взгляд, правдоподобно. Во всяком случае, оно многое объясняет в судьбах России. В России-то, конечно, массы впервые ворвались в историю. Не удивительно, что они натворили в ней много бед.

Но, чем более я думаю об этой схеме в применении к Европе, тем менее она удовлетворяет. Старая демократия держится

в Англии и во Франции. Она разрушена в большей части Центральной и Восточной Европы. Значит ли это, что в Англии массы пассивнее, чем в Германии, что в Англии менее широкие слои вовлечены в политическую жизнь? Это предположение нелепо. С другой стороны правда ли, что Гитлер опирается на самые темные, самые угнетенные слои народа? Нет, еще недавно (о настоящем не берусь судить) за ним шла интеллигенция, шло студенчество. Его движение даже определяют, как самозащиту средних классов против пролетариата. Для Германии схема явно непригодна. Едва ли в Италии рабочий и крестьянин проявляют больше активности, чем в англо-саксонских странах.

В чем же дело? Мне хотелось бы остановиться на примере Германии. В ней, еще недавно культурно ведущей стране Европы, лучше всего искать ключ к катастрофе.

Теперь после всего германского позора, принято скептически относиться к германской политической культуре прошлого. Но всякому, кто жил в старой, довоенной Германии, не легко согласиться с этой отрицательной оценкой. Нет, Германия была не только страной великой науки, но и страной политической культуры. Массы не с Гитлером впервые выступили на общественную арену. Они давно уже организованно работали на ней. Либкнехту и Бебелю[1] удалось организовать миллионы рабочих в социал-демократическую партию и в примыкающие к ней профессиональные союзы. Сотни тысяч работали в союзах христианских и либеральных. Ремесленники имели свои экономические организации. Всевозможные культурные общества и кружки охватывали всю нацию. Германия была страной «ферейнов»[2] по преимуществу. Правда, люди редко выходили на улицу и свою активность проявляли в кабачках и залах для собраний. Но спрашивается, почему обязательная еженедельная маршировка по улицам является более высокой формой активности, чем обсуждение докладов и работа в кружках самообразования?

Что радикально изменилось — это не состав политического актива нации, а его запросы, его требования к вождям.

Рабочие массы Германии любили своих вождей, верили им, но сохраняли по отношению к ним трезвость оценки, свободу критики. Дискуссии, волновавшие партию, вовлекали самые широкие массы. Непогрешимых авторитетов не было. Были

вожди, но не было вождя. Форма мышления массового человека в общем не отличалась от мышления интеллигента. И в этом все дело. Народ передоверял интеллигенции защиту своих интересов, потому что он верил в тот же разум (науку), в который верила и она.

Между интеллигенцией и массой существовала живая и действенная прослойка поднимающейся снизу рабочей полуинтеллигенции, которая, однако, не приводила к разрыву двух культурных пород. Общие идеалы жизни роднили их; годы упорной работы над собой вводили самоучку в высший круг партии и приобщали его к водительству (Бебель). Школа самообразования играла тогда не меньшую роль для рабочего, чем политическая или профессиональная ячейка. В процессе освобождения рабочего класса это интеллектуальное движение — «к свету и знанию» — играло едва ли не первую роль. И это верно не для одной Германии. В России мы видели то же самое.

Но пока есть уважение к мысли, есть и свобода. Свобода в том демократическом смысле, в каком она отрицается ныне, есть прежде всего свобода выбора. Потребность в ней существует лишь для ищущей мысли. Пока жив дух научной культуры, как искания истины, жива и свобода. Скептицизм и догматизм равно убийственны для свободы.

Свобода пошатнулась в мире потому, что пошатнулась вера в истину и в разум, как орган ее познания. Первыми предали свободу не массы, а культурная элита, с конца XIX века увлекаемая потоком иррационализма. Вот где истинная trahison des clercs![3] В безрелигиозной культуре, изверившейся в силе разума, чем может определяться живая активность? Инстинктом и слепой волей. Таково было трагическое мироощущение Ницше. Незадолго до него Маркс нанес сильнейший удар разуму в своем отрицании объективной, сверхклассовой истины. Маркс и Ницше царят над современностью, как ее темные пророки, вызвавшие иррациональные бури сперва в царстве духа, потом в царстве политической воли. Их торжество в современном мире означает взрыв темного энтузиазма, и этот энтузиазм оказывается окончательно губительным для свободы, уже подточенной червем сомнения.

Если критическая работа ума, если познание не приближает нас к идеалу, не дает счастья, то рождается иное понимание

счастья и свободы: как активности, изживающей себя в действии. Цели и средства становятся второстепенными. Чистая активность сама оправдывает себя. Но если так, то свободу можно обрести в подчинении чужой воле, лишь бы эта воля повышала мое динамическое самочувствие. Но эта слепая воля ведет к гибели? Не важно. Для темной религии нового язычества гибель не страшна. «Хорошая война оправдывает всякую цель». Юный наци готов погубить Германию, если вместе с ней погибнет ненавистная Европа. Коммунист, конечно, более морален или более корыстен. Он хочет создать новый лучший мир. Но как создать и какой мир, это не его дело; про то знают вожди. Его дело драться, убивать и умирать.

Современный массовый человек отражает в своем темном стремлении духовную опустошенность интеллигенции. Философия Клагеса и Гейдекера[4] лучше объясняет власть Гитлера, чем психология немецких масс.

Массы очень чутки к колебаниям духовной температуры. Нельзя руководить массами, потеряв веру. Но руководить ими в свободе возможно лишь при условии *разумной* веры. Разумность не означает диктатуры разума над всеми подавленными сферами сознания. XIX век слишком часто понимал разумность, как торжество малого здравого смысла над религиозной верой, над эстетикой и даже моралью. Банкротство неудачной его диктатуры привело к взрыву подавленных сил человеческой природы. Убивая в свою очередь разум, они правят теперь свои дикие оргии. Политическая катастрофа наших дней есть лишь следствие духовной революции, обостренное войной.

Возвращение в мир свободы возможно только при возвращении разуму его водительского (не тиранического) положения в составе духовной природы. Образ привычный древности: разум – возница, управляющий колесницей страстей, – хотя и не возница в конечном счете, определяет направление пути и выбор конечной цели. Пока разум не восстановлен в своих правах в духовном мире, свобода будет гибнуть жертвой энтузиазма.

Пушкин и освобождение России

Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина. Читают не в порядке юбилейного заказа, наспех, напоказ, для проработки на собраниях. Мы знаем, его читают уже давно, много лет – читают, как никогда раньше не читали. Пушкин стал любимым народным поэтом.

Или и это ложь, одна из подробностей генеральной линии, и Пушкина навязывают народу, как некогда навязывали Маркса? Мы так часто обманывались, и так трудно что-нибудь разглядеть сквозь советскую ложь, что и эти искусительные мысли приходят в голову. Если бы Сталину не хотелось, чтобы народ читал Пушкина, разве узнали бы мы, что его читают? Сумели бы замолчать, если не задушить. Если Сталин хочет, чтобы его читали, что стоит ему создать культ Пушкина, подобно тому, как он создает культ стольких эфемерных героев строительства? Но нет, слишком уже вопиющее противоречие между Пушкиным и сталинизмом, чтобы можно было серьезно остановиться на гипотезе обмана. Да, и Сталин хочет нагреть себе руки в огне Пушкинской славы. Здесь, в этой точке, каким-то непостижимым образом сошлись вкусы диктатора и народа. Что же, и здесь, в эмиграции, самые жестокие враги соединяются на этом имени. Лишнее свидетельство Пушкинского универсализма:

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык».

Через сто лет пророчество поэта исполнилось. Исполнилось с лихвой. Не только назвали, т. е. услышали о его имени, но и читают — действительно читают на всех языках России: и финн, и тунгус, и калмык. В этом, может быть, и состоит единственное подлинное достижение революции.

Да, через 100 лет Пушкин дошел до народа. Вчерашние крепостные читают «Евгения Онегина» — без зависти и злобы. Современные барышни-крестьянки вздыхают над судьбой Татьяны, а не ее сенных девушек. Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом.

Почему не сказать и всей правды? С тех пор, как Россия потеряла своего поэта, никогда русская интеллигенция, русское общество не читали его с таким единодушным упоением, с каким должны (мы убеждены в этом) читать его сейчас в России. В XIX веке культ Пушкина теплился в «часовне» культурного и революционного меньшинства, почти секты. Для большинства он был слишком далек, классичен, холоден. Изумительная цельность Пушкинского мира, едва поэт успел закрыть глаза, была разорвана его наследниками: Гоголем, Лермонтовым, Герценом, Хомяковым. Толстой и Достоевский заставили заглянуть так глубоко в темные извилины человеческой природы, что надолго отбили вкус к «прозрачной ясности». Лишь XX век воскресил Пушкина — правда, ища в нем своего: своих эстетических и мистических (менее всего нравственных) ценностей. Это был Пушкин, прошедший сквозь Брюсова и Мережковского.

И вот теперь его читают так, как могли читать в 20-х годах прошлого века. С доверчивостью почти наивной, с восторгом почти детским, с цельностью восприятия, почти адекватной самому Пушкину. О, конечно, современный читатель — варвар. Он стоит на такой примитивной ступени сознания, что Пушкин для него должен быть и труден и сложен. И все же этот читатель должен быть ближе к Пушкину и Пушкинскому веку, чем все, прошедшие через Гоголя и Достоевского.

Дорого дали бы мы, чтобы узнать, что именно пленяет в Пушкине современного русского читателя. Может быть, когда-нибудь и узнаем; но сейчас осуждены на гадания. Мне думается, что в Пушкине сейчас должно нравиться цельное приятие Божьего мира, картины мирного, прекрасного быта, амнистия

человеку – вне героического напряжения и подвига – человеку просто, который хочет жить и хотя бы мечтать о счастье. Это значит не Болдинские трагедии, а «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» должны прежде всего открывать Пушкина советскому читателю.

За мирным бытом дворянства, давно разрушенных усадеб встает образ России в ее величии, в ее истории Пушкин был последним у нас поэтом империи, и вековая вражда между империей и русской интеллигенцией немало мешала нам воспринимать Пушкина. Эта преграда пала. Народ, преемник царей, принимает державное наследство исторической славы. Пушкинский Петр, герой государственности и просвещения, должен говорить сердцу новой интеллигенции, строителям новой России. Здесь, вероятно, и есть точка совпадения правящей и трудящейся России в их общей оценке Пушкина.

Пореволюционная Россия явно ближе к XVIII веку, чем к XIX. Она повторяет не только его уродливые гримасы: обожание техники, власть временщиков, уродливую лесть поэтов (Оды к Фелице и «Рассуждения о пользе стекла»). Дух империи и дух просвещения – новое соединение государства и культуры, давно разорванных в России – вот что перекидывает мост из XVIII века в XX. И Пушкин возрождается, как поэт завершитель, не зачинатель, как «остальной из стаи славных Екатерининских орлов».

Повторяю, мы не знаем, как понимают Пушкина в России, что берут, мимо чего проходят. Но вот на чем нельзя не остановиться. Для Пушкина империя была связана не только с просвещением, но и со свободой. Пушкин был, всегда сознавал себя певцом свободы. С отроческих, лицейских лет и до последнего вздоха (предсмертный «Памятник») он не уставал славить свободу. Менялось ее содержание, революционер превращался в лояльного монархиста, политическая свобода отходила на задний план перед свободой духа, творчества, но в каждый момент своей жизни Пушкин пел свободу. Для него свобода была тоже, что дыхание, что жизнь. Неужели в Москве забыли разницу между Пушкиным и Тредьяковским?

Мы читаем, что на Пушкинских празднествах в России принято декламировать: «Вольность», «Кинжал», «Послание к Чаадаеву» («Гаврилиада», слава Богу, вышла из моды).

Неужели за славянизмами полудержавной речи никто в России уже не понимает ее смысла? Никто, так-таки никто, не расшифрует «девы-Эвмениды[1]» и не узнает, кому предназначается ее кинжал? Я убежден, что такие эрудиты найдутся. Но и без комментариев, на слух ясно, что пушкинский кинжал обоюдоострый, грозит на обе стороны: царям и Маратам. Как могли это проглядеть в Кремле?

Кто это «исчадье мятежей»? О ком это?

«Презренный, мрачный и кровавый
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник».

Пусть никто уже в России не помнит имени Марата (а кажется, ему было посвящено в России немало улиц и площадей). Но разве уж так трудно подставить под это имя его русский эквивалент?

Мы слышали, что в Москве решено восстановить пушкинские строки на его памятнике. Какая смелость! В стране Сталина эти слова будут гореть как клеймо на лбу каторжника:

«Что в мой жестокий век восславил я свободу

(Чей это век?)

И милость к падшим призывал».

(Уж не всенародным ли требованием казней?)

Насколько спокойнее для деспота приличная строка Жуковского: «прелестью полезен» — что же, пользу можно извлечь из всего, даже из Пушкина — до поры до времени. Теряешься в догадках, не зная, как объяснить политическую дерзость реставраторов. Пушкин сам нам подсказывает. В одной из юношеских заметок о Петре Великом он выражается о нем — несправедливо, конечно: «Петр не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество». Только презрением к человечеству — или к русскому народу — можно объяснить пушкинский либерализм Сталина: это быдло никогда не поймет! А что, если поймет? Если Пушкин, наконец, станет «сеятелем свободы» в родной стране?

Александр Невский и Карл Маркс

После лжи, безвкусия, бестолковость — наиболее бросающаяся в глаза черта советской печати. Впрочем, это лишь эстетическое выражение той же самой лжи. Люди потеряли совершенно способность понимать, что с чем вяжется и что кричит, как нестерпимое противоречие. Немедленно после звериной недели о Пятакове идиллическая неделя о Пушкине. Вчера — «расстрелять троцкистских собак»; сегодня: «милость к падшим призывал». Вчера самохвальство, сегодня передовая о «большевистской скромности». Невозможно вообразить себе, что передовицы «Правды» пишет один и тот же человек, или что их пишет вообще человек, или что он думает о том, что пишет. Ничего из того, что пишется, не родится свободно в человеческом сознании, как своя мысль, свое чувство или порыв. Работают машины: склеивают, растягивают, расцвечивают лозунги. А лозунги каждый день новые и каждый день противоречивые.

Нам хотелось бы остановиться на этих попытках сочетания несовместимого сталинскими публицистами. Беру одну из этих попыток, так как она не была еще оценена по достоинству в эмиграции. А между тем дело идет об основном вопросе русского духовного сознания. Символический смысл этой арлекинады огромен.

Не так давно «Правда» посвятила передовицу славе «великого русского народа». Поразительно, что начинается эта слава цитатой из Маркса: «Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Европе». Если бы Маркс выступал лишь в роли барда русской революции, это было бы

в порядке вещей. Но через несколько строк уже противопоставляемый гитлеровскому германизму бедный Маркс делается апологетом русского народа и русской государственности, жестоко им ненавидимой. Это очень искусный трюк, который сделали возможным усердные штудии Маркса в Рязановско-Бухариновский период русской революции. Как известно, в России опубликовали множество черновиков и записок Маркса из разных периодов его жизни (особенно молодости), которые не имеют ничего общего со зрелым, сложившимся марксизмом. Это дает возможность — не в одной России — интерпретировать марксизм в таком духе, от которого сам Маркс пришел бы в бешенство. Приведенная на этот раз выдержка «Правды» побивает все рекорды.

«В недавно опубликованных отрывках из «Хронологических выписок» К. Маркса сжато и красочно рассказано о том, как немецкие «псы-рыцари» шли походом на славян, грабили их, жгли, резали население и ссорились из-за дележа добычи. Но русский народ выступил против немецких рыцарей. Он разбивает их на льду Чудского озера, так что прохвосты были окончательно отражены от русской границы». — Урок Гитлеру!

Две вещи останавливают внимание русского патриота при чтении этого отрывка. Во-первых, для оживления памяти о Ледовом побоище, столь знакомом каждому школьнику старой России, но совершенно неизвестном России пооктябрьской, понадобилось тревожить тень Маркса. Во-вторых, и здесь, в этой реабилитации национальной славы, есть какие-то границы, какое-то неискорененное чувство коммунистических приличий. Оно выражается в характерном умолчании. Кто, собственно, разбил рыцарей на Чудском озере? Русский народ. Но под чьим водительством? — Стыдливое молчание. Еще недавно Дмитрий Донской был причислен к национальным героям России в связи с памятью о Куликовской битве. Ледовое побоище остается анонимным. Не потому ли, что герой его был канонизован церковью? Это очень отягощающее обстоятельство, конечно, и для восстановления в правах Александра Невского пока недостаточно и цитаты из Маркса. Поживем — увидим.

Эмиграция — великая школа терпения. Мы стали так скромны и благодарны, что малейшее движение жизни в России вызывает чуть не умиление. Можно умиляться и этому зрелищу:

Карл Маркс выступает на защиту Александра Невского. Доселе Александр Невский, как и все содержание национальной русской истории, интерпретировались в духе расизма. Теперь Маркс интерпретируется в национальном духе. Недурно?

Но есть нечто глубоко лживое и уродливое в этой интерпретации. Нельзя не видеть, что рождение нового национального сознания в России протекает в тяжких, болезненных формах. Это такие муки родов, которые заставляют вспомнить о кесаревом сечении.

Официальная Россия, бесспорно нуждается в оформлении своего национального сознания, но, столь же бесспорно, она не в силах осуществить его. Как склеить обрывки старого марксизма, материализма 60-х годов с национализмом новых государственников? С потребностью рецепции великой русской литературы? Синтез, о котором мечтает Сталин, явно неосуществим. Или, вернее, он осуществим путем полной передвижки всех ценностей. Но на нее у самодержца не хватает ни смелости, ни, может быть, воображения.

Как не пожалеть тех людей в России — педагогов, пропагандистов, которые обязаны нести в народ новый синтез — Маркса и Дмитрия Донского? Что, кроме словесного, и при том варварского, сочетания имен способна дать такая попытка? Мы с нетерпением ждем новых советских учебников истории — давно уже ждем. Но боимся, что не один недостаток бумаги и пресловутая отсталость Наркомпросса[1] мешают отпечатать казенные образцы нового исторического миросозерцания...

Прежде, чем популяризировать надо мыслить. Прежде учебников — исторические исследования попытки синтеза в новом стиле. Но сталинизм еще не создал даже своего Покровского. И у несчастных учителей и писателей нет других источников вдохновения, кроме передовиц «Правды».

Возвращаясь к той же передовице, которая делает из Маркса оруженосца невидимого Александра, мы находим в ней интересный список великих имен, на которых должно покоиться новое национальное сознание. Вот это список: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Горький, Добролюбов, Чернышевский, Менделеев, Сеченов, Павлов, Ломоносов, Лобачевский, Попов, Пржевальский, Миклухо-Маклай, Лаптев, Дежнев, Седов... Что сказать об этих именах? Благодарить ли за то, что Сталин воз-

вращает народу Пушкина, Лермонтова, Толстого, или пожалеть об отсутствии Достоевского, место которого явно узурпировано Горьким? При всем уважении к памяти Добролюбова и Чернышевского, их имена все-таки уводят новую Россию в глушь и провинциализм журналистики 60-х годов. И потом, если есть Чернышевский, почему нет Некрасова? Или потому, что в Сталинском доме нельзя говорить о веревке — о страданиях народа и о его духовной (христианской) красоте?

Но мы готовы примириться (скромны стали!) со всеми дефектами этого списка. Только — мы еще не дочитали его до конца. Вершиной русской культуры является ленинизм — самое передовое, самое научное учение, которое знала история человечества. Понимайте, как знаете. Вам дали намек, а вы, тысячи, миллионы русских учителей и культурников, сумейте это расшифровать. Вы должны примирить Ленина с Пушкиным, Ленина с Толстым. Решить квадратуру круга и этим оправдать репутацию гениальности русского человека.

В действительности дело обстоит так. Пока в России жил и процветал ленинизм — русская культура — культура Пушкина и Толстого удушалась. И это было совершенно последовательно и законно. Теперь Сталин хочет амнистировать русскую культуру, не сводя Ленина с пьедестала. Более того, оставляя ему первое место в этой, органически с ним несовместимой культуре. Но пусть он сам покажет, как это нужно сделать!

Он, впрочем, и пытается показывать — более кулаком, чем членораздельной речью. Шостакович, Демьян Бедный выбирались жертвами для отрицательного определения новой ортодоксии. Но положительная формулировка с каждым днем становится все более затруднительной. Пока приходилось мирить Ленина с Горьким (с прибавкой Толстого-художника), можно было пятиться к шестидесятым годам: социалистический реализм! Но когда Ленина надо мирить с Карамзиным, тут воображение отказывается работать. Уста немотствуют, и цитаты из Маркса спасают безнадежно запутавшихся ковачей русского национального синтеза.

Февраль и октябрь

Февраль и октябрь — нельзя сказать, чтобы очень приятные месяцы русского года — надолго останутся для России политическими символами. Октябрь будет скоро праздновать двадцатую годовщину своей победы. Февраль уже отметил для себя, в молчании и скорби, двадцатилетие своих несбывшихся надежд. Но, странное дело, побежденный февраль не хочет умирать. И, чем дальше идет время, чем более исчерпывает себя и духовно опустошает октябрь-победитель, тем настойчивее встает вопрос о его преемнике. И февраль, как легитимный претендент, как «король в изгнании», представляет свои права.

В каком смысле можно противопоставлять февраль и октябрь? Конечно, не в социологическом анализе русской революции. Исторически они оба входят в этот грандиозный процесс, как его моменты. Для историка всегда останется февраль-зачинатель и октябрь-завершитель. Завершитель того распада государственной власти, который не в феврале, конечно, начался, но в нем дал свой первый взрыв: свалилась корона. Те же силы, которые вызвали взрыв февраля, произвели и октябрь. Самая глубокая и самая простая правда о 1917 годе состоит в том, что народные массы не пожелали продолжать непонятную и ненавистную войну. Лозунг «долой войну» все время был самым популярным, самым массовым, хотя и долго заглушался другими, на него наброшенными благородными словами. Февральский переворот был произведен петроградским гарнизоном; октябрьский — самовольно демобилизованной армией. Осенью, как и весной, массы дали увлечь себя вождям, с которыми,

в сущности, они не имели ничего общего и которые пытались использовать энергию стихийного обвала для своей политической работы. Люди октября в этом успели потому, что в своем безграничном имморализме открыли все шлюзы низким страстям. Февралисты говорили о жертвах, о долге, о родине и свободе, октябристы – о прекращении войны, о грабежах, о классовой мести. Психологически борьба была неравная. Лишь позднее октябрь предъявил свой счет издержек: десятки миллионов трупов и десятки лет нищеты.

Смотря на вещи объективно, двадцать лет спустя, видишь, что другого исхода не было; что при стихийности и страшной силе обвала русской государственности февраль мог бы совладать с разрушением при одном условии: если бы он во всем поступал, как октябрь. Временное правительство – всякое правительство 1917 года – могло бы удержаться, если бы заключило «похабный» мир и отдало высшие классы, от офицерства до интеллигенции, в жертву народной ярости. Вероятно, еще сейчас есть немало черных душ – пореволюционных и контрреволюционных большевиков – которые не могут простить февралю того, что он не пошел по этому пути. Но чем бы он тогда отличался от октября? Экономической программой? Неужели стоило идти на поражение и разгром России, на истребление интеллигенции и торжество Держиморды во имя спасения капитализма?

К чести России и ее интеллигенции, в ее среде не нашлось Растопчиных, бросающих Верещагина на растерзание толпы. Впрочем такие Растопчины-Крыленки имелись в изобилии, но русская интеллигенция извергла их из своей среды.

На вопрос, в чем основное различие между февралем и октябрем, следует искать ответа не в анализе политических событий и творящих их классов, а в сознании возглавлявших их групп. Есть немало охотников стирать эти различия и видеть в большевиках прямых и достойных завершителей дела русской интеллигенции. Что они выросли из одного с ней ствола – от Радищева или, скажем, от Герцена – это бесспорно. Но уже рано, с 60-х годов, две линии русской революции разошлись достаточно далеко. Нечаев[1] был отвергнут поколением 70-х годов. Ленин был одинок в породившей его социал-демократической среде. Он ненавидел интеллигенцию более страстной

ненавистью, чем капитализм или самодержавие. Он должен был искать себе поддержки в людях полукультурных, даже полуграмотных: в Зиновьевых и Сталиных. Между ним и революционной интеллигенцией проведена черта — не его максимализмом (максимализмом нельзя было испугать русскую интеллигенцию), а его абсолютным имморализмом.

Печатью этого имморализма отмечен весь октябрь и его дело — вплоть до последних трансформаций Сталина. Это Нечаевский корень, который принес свой достойный плод в русском варианте фашизма. (Кстати, и весь мировой фашизм поднялся на ленинских дрожжах). Февраль не только не породил октября в этом смысле, но в противостоянии ему нашел себя. Если и были в нем, в разных течениях русской интеллигенции, некоторые соблазны имморализма, то они перегорели в очистительном огне испытаний. Остатки разбитой армии духовно не разоружились. Они лишь глубже осознали свое призвание и свою духовную генеалогию. За ними стоит великий XIX век в основной линии русской свободолюбивой и человеколюбивой мысли. А еще глубже — забытые, но еще живые заветы русского деятельного христианства, прошедшие сквозь разум западного, тоже христианского гуманизма. Так обнаруживается, что символ февраля, очищенный от всех случайных исторических наслоений — есть символ гуманизма, символ деятельного, социального христианства. И прежде всего символ Свободы.

Все остальное в феврале — все детали его демократических программ, вся его полу-якобинская, полу-марксистская фразеология, неуверенная тактика — будут забыты и получат историческую амнистию. Но как забыть, что на рубеже новой исторической эпохи, на рубеже нового «тоталитарного» деспотизма, нависшего над миром, февраль в последний раз развернул знамя свободы? Настанет время — мы не знаем, близко ли оно, когда растоптанный, униженный человек (ведь, он, в конце концов, не термит, а бессмертный дух!) взбунтуется и потребует своих прав: уже не на пищу, не на спорт, не на зрелища, а на мысль, на свободу, на нравственную ответственность. Это первое пробуждение человека и будет воскресением февраля — в России. Вероятно, немало времени пройдет, пока духовные принципы свободы найдут свое выражение и в общественной жизни. Для этого и февралю придется повозиться,

как Николаю-угоднику, над завязшей в грязи телегой русского мужика[2]. Придется сделать выводы политического реализма из горького опыта поражений. Новый февраль будет тверже, суровее. Никто не может упрекнуть его в толстовском непротивленчестве. Но, обнажая меч власти для обуздания зла, он не забудет, что этот меч поднят, в конечном счете, *для защиты человека и стоящей над ним правды*. В этом различие между духом февраля и духом всех октябрей, абсолютизирующих чисто социальные ценности. Для кого нет ничего выше рабочего класса или Великой России, те не остановятся ни перед чем ради своего идола. Насилие не только не отвратительно для них, но даже является настоящим источником злой радости. Ведь в основе всякого социального коллектива — класса или государства — живет пафос силы, а сила любит ощущать себя в насилии. Вот почему мы видим сейчас, как дух ленинского имморализма оживает в стане реакции. Точно старый большевизм, издыхающий в России Сталина, нашел для себя новую телесную оболочку. Так умирающий Святогор вливает, вместе с могильным дыханием, чудовищную силу свою Илье. В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения. Мало сказать: все средства хороши. Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха. Чем гнуснее, тем надежнее. «Мы не слюнтяи. Для нас перевешать 2–3–5 миллионов — плевое дело.» Так растут у пня поваленного белого движения ядовитые грибы новой всероссийской чеки.

От чекистов настоящих и чекистов будущих, от торжествующего и раздавленного насилия да спасут нас, в эти дни траурной памяти о побежденном феврале 1917 года, стоящие за ним в тени подвижников и героев, из века в век проливающих свою кровь за освобождение человека.

Рецидив безбожия

Известно, что советская печать существует не для того, чтобы освещать Россию, а для того, чтобы скрывать ее — от нее самой и от нас. Бесполезно искать в «Правде» или в «Известиях» какого-нибудь ключа к той политике, которую ведет сейчас диктатор. Она хитра, сложна и извилиста — умна ли, это другой вопрос. Если секретари партии на местах черпают директивы из передовиц «Правды», а не из секретных циркуляров, то у них должно быть очень сильное искушение — взять и удавиться. Ничего разобрать невозможно. В одном городе бьют за то, что не дочистили, в другом — за то, что перечистили, здесь — за «административное», там за ротозейство. Если понимать все буквально, то идеальная, математически чистая генеральная линия требует напряженной активности, бдительности и прочих большевистских добродетелей при абсолютной легальности и демократизме средств. Но кто посмеет понимать это буквально, когда наверху партии Сталин расправляется со своими соперниками простым наганом? Можно ли представить себе такой строй, где все подручные, городничие, урядники превратились вдруг в демократических агнцев, и лишь наверху Абдул-Гамид один рубил бы головы в качестве ежедневного гигиенического упражнения? Может быть таков и есть политический идеал Сталина. Конечно, и Николай I искренне желал обуздать Сквозник-Дмухановских, да и настоящий Абдул-Гамид — своих пашей. Но только это неразрешимая задача.

Может быть, первые «демократические» выборы покажут, чего, собственно, хочет Сталин от страны и от партии. До тех пор

мы останемся в потемках, и все остроумные попытки истолковать Сталинскую конституцию, признаюсь, этих потемков для меня не рассеяли.

На фоне общей политической путаницы наше внимание привлекает новый зигзаг религиозной политики.

Последние годы в России были отмечены явным выдыханием антирелигиозной борьбы. «Союз безбожников» сходил на нет. Его издания прекращались одно за другим (сейчас выходит только теоретический «Анти-религиозник»). По личным указаниям Сталина, в программе комсомола «беспощадная» борьба против религии заменена «терпеливым» просвещением. Конституция принесла гражданские права религиозным лишенцам — служителям культов. Это была политика относительного религиозного либерализма — которая нисколько не мешала власти продолжать закрытие храмов и держать в тюрьме и ссылке около 9000 священников. Но Сталин делал ставку на беспартийных большевиков — героев труда и обороны. В этой среде немало верующих. Раздражать их невыгодно, и мы привыкли даже читать время от времени комплименты искусной работе то старообрядцев, то сектантов.

И вдруг что-то изменилось. С некоторых пор бездеятельность «Союза безбожников» начинает беспокоить власть. Ярославского (еще не арестованного!) извлекают из нафталина и заставляют публично извиняться, на показательном собрании Московской организации, в своей пассивности. По этому случаю мы узнаем, что в религиозном стане большой подъем. Получившие права религиозники готовятся организованно участвовать в выборах. Неожиданно отмечаются их успехи среди молодежи, среди рабочих. Верующие — лучшие мастера, чуть ли не все стахановцы. Необходимо дать им отпор — о, конечно, совершенно легально, словом и убеждением. Напоминать ли, что верующие лишены как раз этого оружия, ибо религиозная пропаганда, как и все виды вне-храмовой работы, остаются по-прежнему запрещенными?

К делу борьбы с возрождением религии призывается не одна дезертирующая армия Ярославского, а и вся партия. Подчеркивается атеизм, как основной догмат большевистского credo. Справляются, как будто случайно, поминки Дидро, как одного из первых отцов и учителей атеизма.

Что это значит? На первый взгляд, колоссальная политическая глупость. Сталин, впервые давший тайное голосование своим подданным, хочет вооружить против себя государственной агитацией ту часть населения — и не очень малую и хозяйственно очень ценную — которую он только что решил привлечь к себе дарованием прав. Дать права — и осыпать оскорблениями, нападать, не позволяя открыть рот для защиты, а потом, лишний раз подтвердив несовместимость коммунизма с религией, послать к урнам своих врагов — которых он мог бы иметь союзниками. Не верх ли это политического легкомыслия? Не считая Сталина ни гением, ни даже крупным деятелем, но не отказывая ему и в средних человеческих способностях, надо искать другого объяснения.

Фанатизм? Найдутся люди, которые с восторгом ухватятся за этот повод, чтобы лишний раз заявить: коммунисты не эволюционируют, это безбожная материалистическая секта, для которой политика и экономика лишь средства к сатанинской цели. Согласимся насчет коммунизма. Но мы говорим не о них, а о Сталине. Коммунисты, «которые не эволюционируют», давно в тюрьме или в подвалах чеки. Сталин слишком ясно показал, что готов все принести в жертву своей власти. Не сомневаюсь в его атеизме и даже в том, что для него (как для французских радикалов или даже для уважаемых П. Н. Милюкова или Е. Д. Кусковой) религия и просвещение несовместимы. Но отсюда далеко до того, чтобы делать на безбожии политический лозунг — и притом связанный с выборами.

Если искать политического смысла в этом политическом повороте, то он как будто намекает на то, что власть ошиблась и старается исправить свою ошибку. В чем может быть эта ошибка? Не в том ли, что власть недооценила силу и активность религиозного сектора страны? Слишком понадеялись на его раздавленность и унижение. Решили, что его можно практически игнорировать и выразили это игнорирование дарованием свободы. Оказалось, по-видимому, нечто иное. Оказалось, что на первых тайных выборах единая, монолитная партия может встретиться не с человеческой пылью, голоса которой, хотя и тайные, совершенно невесомы, а с некоторой организованной группой. Действительно, при полном отсутствии политических и даже вообще каких бы то ни было свободных общественных

организаций, культовые общины — единственный противовес партии. Мы не знаем их настроений. Может быть, они аполитичны и сверхлояльны. Но они не вполне прозрачны и не вполне податливы для власти. От них можно ожидать сюрпризов. Без всякой политики, достаточно членам двадцатки перешепнуться: голосуйте за Ивана Ивановича, и, пожалуй, этот Иван Иванович может пройти вместо кандидата партии. Сталин делает вид, что это его не пугает. Что опасность грозит лишь низовому разложившему аппарату партии. Позволительно этому не поверить. Выборы должен сделать Сталин. Он один знает, в какой пропорции микстура из коммунистов, стахановцев, орденоносцев даст нужную нам опору. А тут неизвестное, X — какие-то религиозники. Чем активнее они себя ведут, тем больше опасений у диктатора за исход затеянной им игры.

Конечно, у него есть и другой выход: он мог бы сыграть на религиозниках, как играл на беспартийных. Но для этой политики первых недель революции: «поскольку-постольку» — он должен решительно стать за свободу совести. Впрочем, свобода совести не дана для деспотизма. Его выбор должен быть сделан за религию и против безбожия. Это ход Бонапарта. Что не хватает для этого Сталину, ума или бессовестности, мы не знаем. Может быть, опыта. Он еще не знает — не знаем и мы — как высоко может котироваться в России политически такая невесомая величина, как религиозная совесть. Стоит ли она того, чтобы покупать ее? А платить придется совестью безбожной, популярной среди новой интеллигенции, им же воспитанной. В этой среде, беря под свое покровительство религию, Сталин рискует показаться смешным или отсталым. Выбор во всяком случае для него нелегок. Но и позиция беспристрастного арбитра в тоталитарном государстве невозможна. Даже идейная борьба не может не перейти в административный зажим. Призыв к активности Ярославского, вероятно, сопровождается соответствующими указаниями Ежову[2].

Для нас этот новый маневр — свидетельство о том, что «в глубине России» тишина нарушена. Несмотря на видимость всеобщей покорности, на склоненные головы академиков и поэтов, диктатор не очень верит мужику и рабочему. Ему лучше, чем нам, ощутимы признаки народного пробуждения. А что если в России и впрямь лед уже тронулся?

На распутьи или в тупике? Методы выкорчевывания и разгрома

В течении четырех недель мы с удивлением следим за повальным самосечением ВКП. Повсеместно секретари партии каялись перед собранием актива, актив, т. е. рядовая масса, с необычайной горячностью отчитывал своих руководителей. Если влетало мало, вмешивалась «Правда», которая учила, как надо бить покрепче. Настоящие процессии флагеллантов[1]. Мы спрашивали себя, что значит вся эта аранжировка: подготовляет ли Сталин *роспуск* партии, публично компроментируя ее, или хочет ее радикальной переделки, продолжая пользоваться ею, как политическим орудием? Что дело очень серьезно, показывает крушение карьер ряда самых крупных вельмож — испытанных сталинцев: Постышева и Ягоды[2]. Что отдушина народного гнева открыта твердой рукой, которая знает, чего хочет, об этом говорит однообразие критики, повторяющей не только одни и те же темы, но и остроты («идиотская болезнь беспечности»). Когда в России начинают изо дня в день пережевывать какое-нибудь новое словечко, можно быть уверенным, что автором его является Сталин. Так и теперь, через четыре недели, мы с удовольствием узнаем в нем автора «идиотской болезни».

Речь Сталина, сказанная на пленуме ЦК 3 марта и опубликованная лишь 29 марта, многое уясняет в великопостном покаянии партии. Здесь мы находим систематизированными все обличения местных организаций. Многое по-прежнему остается прикрытым густой завесой лжи. Но есть пункты, или не вызывающие сомнения, или достаточно прозрачные. Попробуем по-своему систематизировать их.

1. Сталин «сигнализирует» опасность. Враги гнездятся в самой партии; в сущности, о партийных врагах только и идет речь. Они «проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты». Убийство Кирова было «первым серьезным предупреждением». Троцкистские процессы вскрыли всю серьезность угрозы. Но кто эти могущественные враги? На это вопрос Сталин отвечает *мифом*, или, вернее, двумя: мифом троцкизма и мифом «капиталистического окружения». Мы знаем, какую цену имеет эта политическая мифология. Внешнее политическое положение Советского Союза довольно благоприятное. Большая часть капиталистического мира — с ним в дружбе и союзе. Что касается троцкизма, то давно уже известно, что в России под ним понимается всякая партийная оппозиция.

2. О характере этой оппозиции мы узнаем от Сталина лишь то, что «троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе», что он тщательно прячет от массы свои взгляды, больше того, что он ничем не выдает своего оппозиционного настроения. В настоящее время его характеризует «маскировка своих взглядов, подобострастное и подхалимское восхваление взглядов своих противников, фарисейское и фальшивое втаптывание в грязь своих собственных взглядов». Печальное, и, вероятно, правильное признание. Вот результаты двадцатилетнего террора. Среди всеобщего раболепия самодержец не имеет возможности различить своих врагов. Чем больше подхалимствуют, тем меньше внушают доверия. Что у них на уме, у этих верноподданных троцкистов? Сталин уверяет, что все это шпионы-диверсанты капиталистических держав. Так выгоднее представить дело массе, отдавая ей на растерзание предполагаемых врагов. Что хотят враги, вероятно, Сталину известно, но об этом мы, конечно, от него не узнаем.

3. Перед этой незримой, но грозной опасностью в партии, другая, вполне надежная часть ее проявляет «идиотскую болезнь бесконечности». Она всецело погружена в хозяйственную работу и за достижениями на этом фронте забывает о «большевистской бдительности» и даже вообще о политической работе. Эти верные Сталину большевики отличаются «беспечностью, благодушием, самодовольством, чрезмерной самоуверенностью, зазнайством, хвастовством»... «Хвастунов

у нас развелось видимо-невидимо». «Размагниченные люди» почивают на лаврах, а враг (троцкизм!) овладевает массами, «пользуясь политическим доверием». Ни успехи хозяйства, ни стахановское движение не спасут от катастрофы — особенно в случае войны.

4. Необходимы новые методы борьбы с «современным троцкизмом»... — «не методы дискуссий, а *методы выкорчевывания и разгрома*». Готовится, и уже проводится, под видом перевыборов, небывалая чистка партии. Мы знаем из газет, в каких масштабах и какими приемами. На этот раз чистят не комиссии инквизиторов, а партийные массы (с участием беспартийных!), в порядке — «демократии». Происходят повсеместные перевыборы комитетов. С какими результатами? Вот маленькая иллюстрация. В Киеве перевыбирается комитет «коммунистов, работающих в продуктовых магазинах» (приказчиков). «Из старого состава партийного комитета уцелели только двое. Пять членов комитета — новые, свежие, передовые люди». Позволительно спросить себя, что остается от старой партии Ленина и ее традиций после нового ее «разгрома»?

5. Не сомневаемся, что «демократические» выборы производятся самыми испытанными сталинцами (хотя как разобраться среди всеобщего подхалимства?). Но этот *новый актив*, новая бюрократия партии нуждается в обучении и воспитании. Самое поразительное и действительно новое в «разгроме» Сталина — это всеобщее *переобучение*, которому он подвергает всю партию. Все партийные секретари, от низовых ячеек до областных и национальных республик, обязаны прослушать шести или восьмимесячные курсы сталинизма. Люди, которые учились марксизму по самому Марксу или Ленину (таких осталось, вероятно, немного) должны будут идти в переделку. Другие, вероятно, впервые от сталинских инструкторов услышат, что такое пресловутый «ленинизм-сталинизм». Из речи Сталина мы узнаем, конечно, в чем будет заключаться особенность новых программ. Косвенно на это намекает энергичная травля Бухарина и Покровского, которые объявлены фальсификаторами марксизма. Да разве еще имена тех троцкистских врагов, которые для Сталина олицетворяют «капиталистическое окружение»: «пройдоха Шефль[3] в Норвегии, пройдоха Суварин[4] во Франции», «господа из Германии, всякие там Рут Фишер[5],

Масловы[6], Урбанисы[7]»...; «известная орда писателей из Америки во главе с известным жуликом Исменом[8]». Сомнения нет: добиваются остатки марксистской ленинской школы, лицемерно сохраняя имена Маркса и Ленина. Подвергнув Маркса и Ленина хрестоматической экспургации[9] ad usum delphini[10], надеются сохранить преемство партии, вернее, преемство власти и символики в ее разгроме.

6. В сущности, дело идет о *создании новой партии*, партии русского национал-коммунизма (сталинизма), которая призвана заменить отработанную партию Ленина. Конечно, создать и оформить новую идеологию нелегко. У Сталина нет под рукой своих Бухариных, да и задача безнадежна по своей трудности: обосновать фашизм на марксистском предании. Это можно делать в лозунгах или в речах: всякая попытка дать теорию неизбежно вскроет все противоречия. Вероятно, настоящей теории для новых «фюреров» сталинской партии и не требуется; они удовлетворяются изучением речей (самых последних) «великого и гениального». Сам же он еще не чувствует себя достаточно великим, чтобы бросить Ленина в мусорный ящик вслед за всеми его учениками.

7. Последний и еще недостаточно ясный вывод из сталинского разгрома. Он производится при участии партийных низов. Простая ли это инсценировка, или Сталин, действительно, пытается — как столько тиранов в истории — *опереться на массы*, бросив им головы наиболее ненавистных опричников? Отставка Постышева и других верных слуг диктатора говорит, как будто, в пользу последнего предположения. Вместе с подготовкой к выборам по новой конституции, вместе с некоторыми другими явлениями (см. нашу статью в прошлом номере «Новой России») тактика Сталина может свидетельствовать о пробуждении — партийных и беспартийных — народных масс. Это дало бы ключ к таинственной опасности, о которой кричит Сталин. Едва ли одни недобитые ленинцы могли бы привести его в состояние такого возбуждения.

Потерянный писатель

А. И. Герцен. 1812–1870

Русская революционная интеллигенция не богата художественными талантами. Ее сила в другом: в героическом подвижничестве, в самоотречении, в мученичестве. В сущности, лишь два больших писателя останутся в веках, чтобы представлять революционную традицию XIX века. Герцен был одним из них. (Другой, конечно, Некрасов). Тем непонятнее и горестнее его судьба в истории русского общества. Это не забвение — Герцен никогда не был забыт совершенно. Это не отрицание — с ним никогда не спорили. Он просто никогда (за исключением, может быть, 50-х годов, точнее 1855–1863 гг.) не доходил до сознания, не затронул глубоко той молодой России, для которой писал, для которой пожертвовал родиной. Безмерно трагично его одиночество. Потеряв семью, друзей, которые окружали его романтическую молодость, пережив крушение всех своих политических надежд (1848 г.), старея в изгнании, он не имел утешения видеть преемников своего дела, ни даже слышать дружеские отклики с родины. Для молодых людей его поколения, для либералов, воспитанных в идеях 40-х годов, он был слишком смел, слишком мечтателен, даже просто опасен. В публичных отречениях от Герцена — в 60-х годах — есть и эта горькая доля трусости. Для радикалов, для революционеров — он слишком мягок, слишком аристократ, барин, чужой человек. Между ними и Герценом легла пропасть — не только идей, но гораздо более глубокая — классов. Революционеры до самого конца не желали признать его своим. Его, социалиста, упорно считали либералом. Если где и хранилась благоговейная память о Герцене,

то в немногих либеральных дворянских семьях, с которыми связано земское движение конца прошлого века. Родичев[1] был, в своем ораторстве, учеником Герцена. Казалось бы, по содержанию своих идей — которые как раз делают его чуждым нашему времени — Герцен должен был удовлетворять шестидесятников. Материалист, как и они, революционный социалист с чертами народничества, относившийся презрительно к парламентско-демократическим формам, он должен был бы прийтись по вкусу всем друзьям Чернышевского. Но нет, они готовы были признать своим учителем Бакунина, даже Ткачева[2], и относились к Герцену с нескрываемым презрением.

Почему, за что? Неужели только из классовой зависти плебеев к дворянину? Даже если это так, какие нравственные элементы могла заключать в себе эта плебейская зависть — зависть людей, которые умели же умирать за свою правду?

Бесспорно, Герцен был последним представителем в политическом мире России блестящей дворянской культуры начала XIX века. У него много общего с декабристами, с людьми 20-х годов, с современниками молодого Пушкина. Философская идеалистическая школа 30-х годов, ненавистная Пушкину, едва задела Герцена. Он сбросил с себя легко чуждые его натуре философские вериги и вернулся в старый, легкий, галльский мир. Секрет его блестящей прозы, столь поразительной на фоне общего упадка языковой культуры, — помимо его огромного темперамента, именно в этой благородной французской школе. Вернее, в той свободе и изяществе, которые эта школа давала природному темпераменту публициста и борца. Через эту французскую вторую родину проза Герцена роднится с Пушкинской, не классической прозой повестей, а вольной и буйной прозой писем. Утрата этой галльской традиции с 50-х годов сообщила русской литературе унылую серость, неуклюжую тяжеловесность, от которой даже усилия целого поколения символистов были бессильны отучить ее.

За прозой — человек. Проза Герцена никогда не была только манерой, школой. Он нашел в ней изумительно гибкий инструмент для выражения своей природы, самого себя, именно себя, а не своих идей. Через Герцена ощущаешь себя в атмосфере предельной свободы, какая только достижима в границах культуры. Эти границы — оковы форм, шаблонов, традиций почти не чувству-

ются. Перед нами кипит, играет сама жизнь. От нежной элегии до пламенного гнева — все оттенки человеческой эмоциональности на языке полуотвлеченных идей и совсем не отвлеченных, и очень конкретных политических пристрастий. В писаниях Герцена поразительно то, что человек всегда впереди, всегда важнее своих идей. Он не скептик и никогда не играет идеями. Но и не становится на колени перед ними. «Шишка благоговения» ему действительно чужда. Вот жизнь и мысль, которая протекала в «изживании себя», последовательно, до конца — неизбежно трагического. Он никогда не подвергал себя аскезе — даже аскезе научного познания, даже аскезе политического действования. Во всем и всегда, в самых глубоких моральных реакциях своих, он остается чрезвычайно «артистичен».

Не это ли больше всего раздражало желчевиков 60-х годов? Герцен резвился — там, где они ненавидели. Герцен легко — не позировал, нет, а фехтовал идеями, которые были для них символом веры. Они правильно учуяли аристократизм в этой легкости, этом изяществе, этом гуманизме, который казался им неуместным в суровом мире исповедничества и борьбы. Его свобода должна была казаться им духовной распущенностью. Новые поколения революционеров — с 60-х годов — весьма мало ценили свободу. Они искали, прежде всего, чему поклониться, т. е. чему пожертвовать свободой: народу, пролетариату, или готовой системе светской теологии. В их верующем, самоотреченном отрешении к жизни была большая моральная правда. С этим новым историческим образованием — русской интеллигенцией — пробилось наружу глубокое народное наследие русского кенотического христианства. Но вместе со всеми его пороками и недостатками. Нечувствие к свободе и к миру культурных гуманистических ценностей составляет обратную сторону русского религиозного наследия, особенно обостренного в сектантстве. Беспоповцы старообрядчества и безбожники интеллигенции — в одной традиции сердца. Эта порода, великая подвижничеством, но скудная светом, извергла из русской культуры Герцена, как пыталась извергнуть Пушкина. Оба они гуманисты, хотя и столь разные — были чужды юродивым и столпникам. Пушкин устоял, ибо искусство имеет элементы нестареющие, вечные. Герцен еще не умер, но, конечно, все, или почти все, в составе его идей и миросозерцания умерло. Остался человек и его человечес-

кая драма — протекающая одиноко в мире любви и в мире идей. Остался воздух свободы, окружающий этого человека, в каждом его движении, в каждой его мысли.

Бесплодно, но искусительно мечтать о том, какова была бы русская политическая мысль и политическая борьба, если бы она восприняла глубоко влияние самого одаренного из своих отцов. Больше свободы. Больше человечности. Меньше рабства перед формулами, перед доктринами. Политика не в качестве лженауки и лжерелигии, а как одно из выражений нравственной и социальной активности человека. Это вопрос не только о преимуществе того или иного психологического типа, но и о действенности его, о политических результатах. Если бы русская революция творилась не сектантами, а свободными людьми, разве был бы возможен Ленин и его торжество? Но, с другой стороны, с одним наследством Герцена, с этой опустошенной легкостью человека, не знающего ничего над собой, было ли возможно жить, бороться, умирать? Герцен ведь, не столько боролся, сколько выражал свое негодование перед лицом действительности. То, что нам было нужно, это не Герцен, а прививка Герцена, как один из ингредиентов целостной личности. Гуманизм Герцена, хотя он и вскормлен духовной пищей 30-х и 40-х годов Франции — самым религиозным и социальным продуктом гуманизма на почве Европы — был дефективен. Герцен сам с чересчур большей легкостью совершил его усечение, когда в ранней юности выбросил за борт все религиозные и философские его элементы. С тех пор гуманизм его остался растением без почвы, или даже без корней, заранее обреченным.

В наши дни торжества антигуманизма в России и в мире, человечность и свободолюбие Герцена — единственно прочное в его наследии — волнуют и притягивают. Но нельзя заблуждаться. *Так* и в *таком* виде ни свободы, ни человека сохранить нельзя. Не большевики и не фашисты первые их предали. В России предательство их, тонкое и завуалированное, идет с 60-х годов. С Герцена начинается, в Герцене самом, процесс распада человека и утрата, ибо опустошение его свободы. Горький пессимизм его старости отвечает религиозному самоубийству юности. Спасти свободу и человечность в мире можно на иной, бесконечно большей глубине, чем та, на которую случалось спускаться Герцену.

Неизбежна ли революция в России?

Спор А. Ф. Керенского с М. В. Вишняком[1] в прошлом номере «Новой России» ставит на очередь один из самых острых и мучительных вопросов русской жизни. Можно бы сказать – самого бытия России. Нельзя не поразиться горькому парадоксу в самой его постановке. В те годы, когда мы с нетерпением ждали революции, которая свергла бы тиранию коммунистической партии, она не приходила. Теперь, когда большинство демократической эмиграции отказывается от ставки на революцию – при внешних и внутренних условиях, угрожающих гибелью России – она становится реальной, близкой – иным кажется неотвратимой. Если она действительно неотвратима, тогда нужно готовиться к революционной ситуации, приспособляться к ней, скрепя сердце – в поисках наименьшего зла.

Думается, что прежде, чем решиться на ответственный выбор пути, следует строго отдать себе отчет в том, почему, собственно, мы считаем революцию в России неизбежной или хотя бы вероятной. Какие у нас данные? Наши сведения о России скудны и отрывочны. Они не говорят ни о каких революционных движениях в России. Не говорят даже о таком активном политическом недовольстве, которое грозило бы вырваться в открытые восстания.

Все, что мы знаем, сводится к двум вещам. Положение трудящихся масс в городе и в деревне так тяжело, что их недовольство находит себе выражение в мечтах о войне, которая приведет к свержению режима. С другой стороны правительство, т. е. Сталин, делает судорожные и жестокие усилия в борьбе

с действительными или мнимыми врагами, которые заставляют думать о серьезно угрожающей ему опасности. И то и другое еще не дает права говорить о надвигающейся революции.

Недовольство масс в России не ново. Оно было очень сильно в эпоху военного коммунизма, а потом в эпоху уничтожения свободного крестьянства. И Ленину, и Сталину удалось с ним справиться: Ленин своим нэпом дал деревне настоящее и полное удовлетворение. Сталин загнал недовольство внутрь, обескровив и обессилив крестьянство. Сейчас оно носит совершенно пассивный характер. И вредительство, и пораженчество суть выражения последней политической пассивности.

Можно удивляться терпению народа, который, свергнув старый режим, несет ярмо государственного крепостничества. Но самый опыт пережитой революции, усталость от борьбы, бесплодие жертв, отвращение к политике достаточно объясняют современную пассивность народа. Где и когда мы видели контрреволюции, совершаемые по типу революции, т. е. как всенародное восстание? Ни Робеспьеру, ни Наполеону, ни Кромвелю с этой стороны опасность не угрожала. Другие силы полагают конец революционным тираниям: заговоры, перевороты, вмешательство армии — наконец, война. Я не хочу сказать, чтобы это был непреложный закон истории. Таких законов не существует. Вполне возможно, что в России вспыхнет новая революция, но это вовсе не неизбежно и даже маловероятно.

Новое направление сталинского террора подсказывает, откуда ему грозит опасность. Прежде всего, от коммунистов-ленинцев, которых он уничтожает беспощадно под именем «троцкистов», на верхах и в низах партии. Эта борьба ренегата с породившей его партией понятна, и в ней сочувствие страны на его стороне. В последнее время удары диктатора падают на людей иного, близкого ему, доверенного круга: Ягода, Постышев, Тухачевский не ленинисты; это «свои люди». Возможно, что Сталин боится заговора, исходящего от своих. Его личная тирания, его циничная беспощадность к собственным агентам делает жизнь близ него невыносимой. После первых казней коммунистов вопрос пошел уже о головах. Каждый дрожит за свою и, может быть, подумывает, как бы предупредить удар.

Есть кроме террора и спешной ликвидации марксизма еще одна сторона новейшей сталинской политики, которая возвращает нас к настроениям масс. Это то, что в советской прессе именуется возвращением к «демократии». Как относиться к толкам, декретам и даже действиям, выдержанным в этом духе? Пока речь шла о конституции и о демократических выборах в условиях полной несвободы, естественно было считать это блефом — для Европы. Но Сталин проводит уже демократические выборы в партии, а теперь и в профсоюзах. Насколько можно видеть отсюда, партийные перевыборы не блеф или не совсем блеф. Это сталинский опыт. Власть на время устранилась и смотрит, что из этого выйдет. Выходит лишь путаница и беспорядок, так как за 20 лет народ отвык совершенно от нормальной, организованной демократии. Но, в основном, цель правительства достигнута. Недовольство низовых слоев было сконцентрировано на непосредственном начальстве, которое и было разгромлено. Это входило в расчеты Сталина, ибо ему надо было уничтожить настоящих коммунистов, которые, конечно, составляют командный состав партии. В административном, советском аппарате положение иное. Сталин не заинтересован в поражении своих агентов. Но он легко пойдет на него. Ему важно направить народное недовольство со своей головы на бюрократию, на «средостение». Во всем виноваты вредители, извращающие смысл его мудрых предначертаний. По всему видно, что Сталин начинает большую игру, и неизвестно, чем она кончится. Игра ведется краплеными картами, самая основа ее лжива по существу, но результаты могут быть неожиданными. Разумеется, Сталин не откажется ни за что от своей самодержавной власти, а его «демократия» может иметь значение лишь низового самоуправления. Но чтобы быть реальным, это самоуправление предполагает хозяйственное раскрепощение. Колхозный раб не может быть гражданином. Но почему Сталину не раскрепостить колхозов? Каждая весна, каждая осень приносит ему все новые разочарования. Колхозы в их теперешней организации поддерживают режим недоедания в России, недовольство в пролетариате, угрозу в случае войны. Сталин не доктринер социализма, и новый поворот экономической политики не является для него заказанным.

Во всяком случае, для примирения власти с народными массами недостаточно играть в демократию. Насущно необходимы широкие реформы — как хозяйственного, так и политического порядка.

Способен ли Сталин осуществить их? Мы этого не знаем. В этом позволительно сомневаться. При всей его ловкости и хитрости, «этот повар умеет готовить только острые блюда» (слова Ленина). Обрызганный кровью с ног до головы диктатор вряд ли годится на роль умиротворителя. Но тогда эту роль выполнит кто-нибудь другой. Если Сталин станет поперек дороги — широкой дороги русской истории — он будет устранен. Вот и все. Для этого, конечно, нет надобности в революции. Вопрос о преемнике Сталина — вот действительно актуальный вопрос в России.

Мы же, русские патриоты и демократы, должны делать ставку не на народную ярость, хотя бы и законную, и, конечно, не на Сталина, хотя бы поумневшего, а на разум новой русской интеллигенции, которая, стоя между диктатором и подавленными массами, найдет в себе силы и веру строить Россию и защищать ее.

Где выход?

То, что происходит в России, с трудом поддается разумному объяснению. Сталин швыряется головами, как мячиками в теннис, и среди этих голов мы видим уже не только старых ленинцев, «троцкистов» — возможных его врагов — но и его собственных ставленников, верных исполнителей и палачей. Сталин против сталинцев — можно было бы назвать этот последний фазис русской политики. Дальше, кажется, идти некуда. Диктатор изолирует себя от того правящего класса, который вместе с ним через революцию пришел к власти. ГПУ, Красная армия в лице ее маршалов, виднейшие сановники из наркомов и их товарищей — оказываются под ударом. Недоверие к армии находит свое выражение в новой системе политического контроля над ней. Арест начальника ГПУ сопровождается потоком грязных разоблачений. Сталин не щадит не только людей, но и созданной им системы. Если поверить ему, то СССР, управляемый изменниками и казнокрадами, превосходит по гнусности все, что может представить себе историческое воображение.

Что это — политика или безумие? Какую цель может преследовать глава государства, столь беспощадно разоблачающий свое правительство и устраняющий все силы и лица, на которых держится власть? Кое-что допускает политическую интерпретацию. Разоблачая мнимых троцкистов, Сталин сваливает вину с больной головы на здоровую, выдает массам на расправу их непосредственных эксплуататоров, чтобы спасти себя самого от ответственности. Но даже и это сопряжено с большими опасностями. Сталинизм опирался до сих пор на новую «знать». Предавая ее,

он наверняка теряет свою социальную опору. Приобретается ли этим популярность масс, давно им преданных? Сомнительно. Риск этой игры ва-банк усугубляется грубой обнаженностью ходов, неприкрытых политическими условностями. У Сталина министры не выходят в отставку, а отправляются в тюрьму. Пытки, казнь или самоубийство — вот что ожидает их, вот о чем должен думать каждый из фаворитов, еще стоящих у ступеней трона.

Быстрая и беспорядочная смена людей в составе правительственной группы напоминает последние дни императорского режима. Это само по себе знамение конца: признак паники, растерянности, потери пути. Но формы этой «чехарды» — насильственные и кровавые — делают игру бесконечно более опасной для Сталина, хотя, может быть, менее опасной для России.

В самом деле, нет ничего более тяжкого для страны, чем длительное гниение власти. Разлагающие процессы опускаются все ниже и ниже, отравляют гангреной весь организм. Когда, наконец, происходит взрыв, он не освобождает, не очищает воздуха. Он приводит к новым и новым болезненным процессам — к тому тяжкому и опасному для жизни недугу, который именуется, смотря по обстоятельствам, или Смутным временем или Великой революцией. То, что могло бы несколько лет назад разрешиться одним ударом (coup d'État)[1], сменой нескольких лиц или лица, теперь, когда упущено время, требует миллионов человеческих жизней и разрушения чуть ли не всей национальной культуры.

Русское дворянство в XVIII веке обладало той смелостью, которая необходима для излечения кризисов в самодержавном режиме. Перевороты, передавшие трон Елизавете, Екатерине, Александру, обеспечили России столетие славы и процветания. За XIX век политическая атония правящего класса в России сделала такие успехи, что подобное решение оказалось невозможным в годы мировой войны, когда оно одно могло спасти Россию от «великой» революции. Принять личную ответственность, личный риск — оказалось свыше сил для русских патриотов, окружавших разваливающийся трон. Личная ответственность была не по плечу и русской интеллигенции, которая умела приносить жертвы, умела умирать, но всегда «миром», отдаваясь течению исторического потока. Неужели эта наследственная болезнь воли передалась и новым людям, вышедшим из огня революции? Хочется думать, что нет. Хочется верить, что хоть в этом

одном — в цельности воли — новые люди, столь резко порвавшие историческое преемство — стоят выше своих предшественников. В годы гражданской войны и первой пятилетки они проявили чудовищную энергию, бесстрашие и жестокость. Они, которые не дрожали в боях, дрожат ли теперь перед тираном? Они шли за ним, пока он вел их по тому пути, который совпадал с их интересами, с пониманием задач России. Теперь вождь сбился с дороги — не потому, что дороги нет. Она лежит перед ним — ясная, торная дорога истории. Почему сбился вождь — мы не знаем. Потерял власть над нервами? Поддался низким инстинктам страха или мании величия? Все возможно. Вполне ясно лишь то, что Сталин ведет к гибели своих соратников, вероломно играя их жизнью. И более или менее ясно, что ставка не ограничивается их жизнью, но игра ведется и на Россию.

Редко в истории складываются положения, выход из которых бывал бы столь определенным. Если останется Сталин, он своими судорогами доведет Россию до новой революции, т. е. до разгрома. Освобождение от Сталина, конечно, не решает еще всех политических вопросов, но сделает возможным их решение. Оно ставит нелегкий вопрос о преемнике, открывает новый период борьбы за власть. Несомненно эта перспектива только и спасает еще диктатора от окружающих его врагов. Но через это пройти неизбежно. Иначе вопрос о власти в России будет решаться Гитлером. Устранение Сталина — это первый шаг к распутыванию всех противоречий. Это, прежде всего, конец всей невыносимой лжи, в которой страна задыхается уже столько лет, и которая делает невозможной всякую прямую и честную политику. Конец затянувшегося маскарада, когда национальные задачи России облекаются в мнимую марксистскую идеологию, с одинаковым предательством и марксизма и русской культуры. Конец Сталина — это свежий воздух, открытые окна в отравленной миазмами курной избе. Мы знаем, новая Россия, при всех ее социальных противоречиях, полна жизненных и творческих сил. Эти силы буйно рвутся наружу во всех сферах культуры. Но лживая политика отравляет и парализует их. Эти силы требуют иной, достойной их организации — водительства, а не тирании. Неужели тлетворный дух Ленина так глубоко отравил русскую революцию, что среди ее героев нет ни одного, кто нашел бы личное мужество и дерзание в этот ответственный момент?

России нанесен тяжкий удар. И сознание непоправимого несчастья, совершившегося в России, преобладает над волнением политической сенсации и над интересами политических спекуляций.

Расстреляны восемь вождей Красной армии, среди них лучшие. Кто заменит их в случае войны? Так ли много сейчас в России образованных и даровитых полководцев, чтобы швыряться их головами? Красная армия обезглавлена в тот момент, когда Россия находится под угрозой.

Последствия этого поистине изменнического удара уже сказываются: в падении престижа России. Доверие к ее военной силе подорвано в кругах ее теперешних союзников. И без того союз с СССР, с его нынешним политическим возглавлением, не вызывал ни в ком энтузиазма. Для Франции и Англии это был брак по расчету, страховка от более непосредственной германской опасности. Теперь закрадываются сомнения в серьезности этой силы, в правильности расчетов. Какие выводы будут сделаны со временем в Париже и Лондоне из этого разочарования, мы еще не знаем. Может быть, Россия не будет сброшена окончательно со счетов Европы. Но достаточно и того зла, которое уже совершено, чтобы признать в Сталине *первого вредителя России*. До сих пор, пока он истреблял собственную партию, многие сочувствовали ему — в России и здесь. Сейчас он убивает не коммунистов, не левых, не политиков, а беспартийных (по существу), скорее правых, незаменимых спецов той специальности, которая ему самому и России сейчас

всего нужнее. Он убивает тех людей, на которых делал ставку в своем головокружительном спуске. Два объяснения напрашиваются сами собой, и оба они убийственны для диктатора. Или он окончательно потерял душевное равновесие, оказался во власти бредовых идей — страха, мании преследования — судьба столь многих тиранов — и тогда каждый лишний день его власти является бедствием для России; или он борется за свою власть и жизнь со свирепостью первобытного человека, забывая при этом об элементарной политической осторожности. Значит, его власти действительно угрожает опасность, и эта власть признана вредной и опасной для России людьми, для которых оборона России (не доктрины) является главным делом жизни. Если заговор был, и Сталин защищался, то это значит, надо выбирать между ним и Россией. Значит там, в России, признана необходимость этого выбора, признана опасность пребывания у власти этого человека.

Кем признана? На этот счет лучше не делать себе иллюзий.

Признана теми, кто стоит наверху страны, кто видит реальности. А остальные? Интеллигенция, молодежь, массы? Что они видят, что знают? Это для нас загадка. Казалось бы, нетрудно сделать это коперниковское открытие? Если верить Сталину, то в измене и вредительстве повинна вся страна или, во всяком случае, весь ее правящий слой — сверху до низу. Каждый день газеты приносят раскрытия все новых и новых измен. Не сомневаюсь, им долго верили. Массы легко поверили в измену Троцкого, Каменева, Зиновьева. Но когда круг вредителей расширяется бесконечно, казалось бы, сама собой приходит в голову догадка: кто же честный, верный? Один Сталин? Не проще ли, не правдоподобнее ли предположить, что главный, если не единственный, изменник и вредитель — это он сам? Чем заставлять все звездные миры кружиться вокруг земли, не проще ли дать ей самой вращаться?

Но, как ни естественно открытие Коперника, мы знаем, что для него понадобились тысячелетия. У меня нет уверенности, что вся Россия, или даже вся культурная Россия, этот вывод сделала. Хорошо вспомнить то, что Андре Жид говорил о советском конформизме, об этом коллективизированном, стадном мышлении. Политической мысли в России нет. Головы механически наполняются ежедневной порцией грязной жижи из

«Известий» или «Правды». В таком состоянии политического идиотизма многие, может быть, верят в измену маршалов. Эта обстановка делает понятными, по крайней мере, позорные (т. е. уже заведомо лживые) резолюции писателей и академиков с требованиями казней. Один страх, пожалуй, не объясняет этих заявлений. Люди, подписывающие их, должны же считаться и с окружающей средой. Если бы эта среда кипела негодованием против диктатора, такие заявления были бы безопасны.

Что из этого? Те, кто не додумался еще до вредительства Сталина, поверят в него, когда в один прекрасный день прочитают о нем в «Правде». И будут топтать поверженного властелина с яростью, равной только сегодняшнему подхалимству перед ним.

Последние события говорят о том, что этот день недалек. Мы так долго ждали, что, если не разумом, то сердцем, изверились в наших ожиданиях. Но из той дилеммы, которую Сталин поставил теперь перед страной – я или Россия – вывод только один. Пожелаем, чтобы этот вывод был сделан людьми дела раньше, чем все слепые прозрят. Потому что ярость их будет ужасна.

Для нас, для русской эмиграции, события в России – напоминание, *сигнал*, третий звонок. Готовы ли мы к возвращению? С чем приедем в Россию? Что скажем им, тамошним строителям или пленникам? Об этой встрече нельзя подумать без содрогания – радостного и жуткого в одно и то же время. И в какой обстановке совершится это возвращение? Не завидуем тем несчастным, которые возвращаются сейчас на каннибальский пир Сталина, чтобы окунуть и свою руку в невинную кровь... Но не завидуем и тем, которые собираются (и действительно могут) вернуться в Россию в армии завоевателей, чтобы принять участие в дележе и добивании родины. Между этими двумя возвращениями – какие разнообразные и сложные возможности, о которых сейчас как раз время подумать каждому из нас. Конечно, не с мыслью о своей личной судьбе и не только о счастьи увидеть родную землю хотя бы для того, чтобы умереть на ней. Но прежде всего о том, чтобы отдать ей те годы или дни жизни, которые еще остались.

Война и мир

Только что закончившийся в Оксфорде всемирный конгресс христианских церквей осудил войну с такой силой, с какой она, быть может, еще не осуждалась никогда — во всяком случае ответственными представителями церквей. «Война предполагает принудительную вражду, дьявольское надругание над человеческой личностью и беспредельное искажение истины. Война представляет особенное выражение власти греха в этом мире, вызов правде Божией, откровенной в Иисусе Христе распятом. Никакое оправдание войны не смеет скрывать или преуменьшать этого факта.» В те дни, когда текст обращения вырабатывался и принимался единогласно на христианском конгрессе, генерал Франко бомбардировал Мадрид, и Япония, без объявления войны, воевала с Китаем. Война локальная все время тлеет или вспыхивает кострами и при массе горючих материалов, накопившихся в мире, грозит всеобщим пожаром.

И вот, насколько единодушно отношение к войне современной христианской совести, настолько неуверенно и смутно ищет она путей спасения от войны. И в Оксфорде собравшиеся богословы разошлись в определении конкретного отношения христианина к войне. Разошлись по тем же трем дорогам, по которым шла русская интеллигенция: оборона родины, участие только в справедливой войне, безусловный отказ от всякого участия в ней. Для нашего времени существенно, что оборончество не является абсолютным (в завоевательной войне христианин участвовать не должен), а пацифизм даже в его абсолютной форме перестает считаться сектантским уклоном; это серьезное

течение, захватывающее все более широкие христианское круги. За последние годы во Франции все более учащаются случаи, когда молодые пасторы, призываемые к воинской повинности, отказываются от нее и идут в тюрьму. Их церковь не только не отрекается от них, но окружает их подвиг глубоким уважением. В Оксфорде и некоторые оборонцы признали objection de conscience[1] , как право личного исповедничества немногих призванных. В Англии абсолютный пацифизм сейчас особенно распространен среди христианской и радикальной молодежи.

Вот тут и начинается демоническая диалектика истории, столь хорошо нам знакомая по толстовско-соловьевскому спору[2]. Переходя из религиозной сферы в политическую, пацифизм невольно становится пособником насилия. От пацифизма сейчас свободны страны диктатуры. Здесь антихристианский культ войны справляет свои небывалые оргии. Пользуясь миролюбием старых демократий, молодые хищники начинают наступление для нового передела мира. Где они остановятся завтра? — после Абиссинии, Китая, Испании? Каждый месяц дипломатия демократической коалиции отступает перед насильниками. И как раз в этих странах — пацифизм — христианский и нехристианский — особенно силен. Если для них, героических максималистов, он означает готовность к мученичеству, то для других, особенно в странах, не знающих воинской повинности, он сплошь и рядом прикрывает национальный и личный эгоизм, малодушие, слабость. Английская рабочая партия окончательно запуталась в этом противоречии. С одной стороны, негодование против воинственных хищников, чувство международной солидарности заставляют ее требовать активной политики, защиты подвергшихся нападению, — с другой традиционная (и правая) ненависть к войне внушает ей протесты против английских вооружений. Активная политика без оружия, защита без войны, или хотя бы угрозы войной — но ведь это бессмыслица. И от этой бессмыслицы рабочая партия в Англии теряет свой престиж. Парадоксальным образом, пацифистами в странах демократии оказываются консерваторы, а революционеры, открещиваясь от войны, играют с огнем. Где выход?

Увы, выхода нет, если под выходом понимать ясное, прямолинейное указание пути. Ощупью, жизненно можно находить какие-то решения, которые теоретически кажутся несовмести-

мыми. Так «толстовский» жест священников и вооружение Англии одинаково укрепляют мир. Почему? Потому что и то, и другое продиктовано миролюбием и миротворчеством. С другой стороны, политическая партия, которая стояла бы на позиции абсолютного пацифизма, и церковь, которая продолжала бы сейчас, в своей проповеди, традиционное оправдание войны для защиты родины — одинаково разрушали бы дело мира.

Мы, эмигранты, и в этом вопросе, как во многих других, слишком отстаем от жизни. Для нас и сейчас решения, мучительно выстраданные в 1914 году, являются определяющими. Поэтому мы даже не хотим понять новой правды христианского пацифизма. А между тем соловьевские аргументы 1900 года теперь в значительной мере теряют свой смысл. Если оборона страны или тыла от неприятельского разрушения невозможна, если последствия войны для победителей не менее тяжкие, чем для побежденных, если война заканчивается не миром, а распадением цивилизации, всеобщей революцией и хаосом, как, при таких условиях, идти на войну с мыслью о победе? Война, почти неизбежно, означает гибель не только мою, но и моей родины. Однако и абсолютное непротивление насильнику, означает ту же гибель, когда завоеватели, овладевшие моей родиной, будут вести войну на ее территории и с человеческим материалом моего народа. Отказавшись сражаться за Россию, я буду вынужден сражаться за Германию или за Японию...

Исхода нет, вне того внутреннего, морального преодоления войны, при котором она делается психологически невозможной. Утопия? Во всяком случае такое движение в социальной морали существует. Оно крепче, чем когда бы то ни было, наряду с таким же ростом милитаристической этики. Здесь происходит водораздел современного нравственного сознания. В помощь этой растущей совести должны быть поставлены политические средства: равновесие сил, сдерживающее агрессоров, вооружение миролюбивых народов при удовлетворении законных интересов всех. Все тот же меч в защиту мира? Но меч спасительный лишь до тех пор, пока он не вынут из ножен. И так как духовное оружие войны и мира сейчас важнее материального, то по-иному мы должны относиться и к подвигу христианского непротивленчества, которое в наши дни, как на заре христианства, становится одним из путей героического исповедания истины. «Могий вместити да вместит».

Как Сталин видит историю России?

Наконец-то дошла до нас долгожданная книжка проф. А. В. Шестакова[1] «Краткий курс истории СССР» – учебник для 3 и 4 классов, одобренный, премированный, единственный пока в России элементарный курс русской истории, по которому миллионы детей и юношей будут знакомиться с прошлым своей родины. Через три года со времени постановления Совета комиссаров и ЦК (16 мая 1934 года) с осуждением социологического насилия в школе страна дождалась новой, сталинской схемы своей истории. Борьба власти с наследием Покровского и с экономическим материализмом, казалось, обещала действительное оздоровление в этом педагогическом секторе. Но годы шли. С начала 1936 года особая (Ждановская) комиссия рассматривает проекты новых учебников. Сам Сталин, вместе с Кировым и Ждановым[2], три года тому назад дали свои директивы будущим авторам. И только теперь первый опыт появился в свет. Промедление понятное. Сталинская национальная идеология, поскольку, например, она отражается на страницах «Правды», настолько противоречива, что у самых смелых составителей должны были опускаться руки. Дело шло не более или менее как о том, чтобы сочетать Маркса с Александром Невским, Сталина с Петром Великим. А. В. Шестаков явился победителем на конкурсе 46-ти представленных учебников. Но первой премии не получил и он. Ждановское жюри заранее себя застраховало. Несомненно, каждая страница учебника инспирирована и исправлена. Рецензент официального органа партии «Большевик» (№17), понятно, не находит ни одного критическо-

го замечания. Но кто знает, сколько вредительских промахов обнаружится завтра?

Отдав должное прекрасной внешности, бумаге, картам, иллюстрациям, нельзя не сознаться, что книга Шестакова принесла нам большое разочарование. Это, правда, не социологическая схема, но это и не история. Правильно было бы ее назвать конспектом агитатора. Самая тема ее – в сущности, история русской революции. Непосредственно революции (с 1905 года) посвящена половина книги (117 стр. из 216). И большая часть первой половины занята революционными движениями и бичеванием старой России. Само собой разумеется, что история революции трактуется, как история Сталина. Даже здесь искажена вся историческая перспектива. Жестоко расправляется автор с народничеством, эсеры и меньшевики с самого начала предатели, как и все сподвижники Ленина первого призыва. Несчастный школьник и не догадается о роли Троцкого в революции. Вся военная оборона ее отдана Сталину, который неизменно сопровождает Ленина. С 1905 года имя Ленина почти ни разу не упоминается без его спутника. «Ленин и Сталин» соответствуют чете – «Маркс и Энгельс». Только эта четверка и заслужила отдельные большие портреты в учебнике истории СССР.

Таким образом, вся история России, включая и XIX век, должна служить введением к октябрю и его двум героям. Изложение сталинской конституции и портреты вельмож 1937 года (какая неосторожность!) завершают книгу.

Тем не менее было бы несправедливо обойти молчанием и некоторые «достижения». Одним из них мы считаем первый опыт включения в историю России восточных ее народов. Несколько строк, правда, – но грузины, узбеки или «казахи» могут узнать кое-что о прошлом своего народа. Это налагает на сталинскую историю неумышленно евразийский отпечаток. Но другой и не может быть история империи или федерации. Однако эта приятная новизна покупается ценой крупных недостатков. При чреватой краткости, внимание *русского* школьника разбивается между множеством этнографических имен. Русский процесс тускнеет, и память загромождается удивительными героями: Сарымани Датовыми, Амагельды Имановыми[3] и прочими. В противоположность этому вниманию к Востоку

западные соседи Руси — Польша, Литва, немцы — рисуются самыми черными красками (поляки не иначе именуются, как панами). О скифах южной России читатель узнает больше, чем о греках (о которых, вероятно, советский школьник третьего класса вообще ничего не знает). Поэтому греческая культура Византии (о которой дальше идет речь), как и генезис европейского Запада, остаются загадкой. Запад вступает в русскую историю с французской революцией (с Маратом). Самые эти провалы драгоценны для нас, как свидетельство нового национального сознания сталинской знати и ее вождя. Сталин, несомненно, смотрит на историю России из Азии — точнее, с Кавказа. О личном корне советского евразийства напоминает подчеркнутое упоминание Грузии — задолго до включения ее в империю. Странным образом с Грузии (а не с Греции или скифов) и начинается история СССР. «Самые древние государства в нашей стране возникли на юге Закавказья. Это было около 3000 лет назад. Первое государство Закавказья называлось Урарту в районе Арарата... Это было государство родоначальников нынешней Грузии».

Вторым достижением можно было бы признать некоторые попытки реабилитации государства русского в древнейшие моменты его истории. Оптимисты, конечно, найдут в этом большое утешение. Но как робки и противоречивы эти попытки! Прежде всего, в социологическом введении, происхождение государства, совершенно по-марксистски, объясняется из классового господства и завоевания. В соответствии с этой вульгарной схемой вся внутренняя история России, как и ее соседей изображается, как классовое грабительство, вся внешняя — как захват. С утомительным однообразием, без всяких отличий, на всех уровнях культуры, продолжается это градостроительство и эта эксплуатация. В сущности такая точка зрения не допускает никакого развития или прогресса. Лишь успехи техники и новое время заполняют содержание культуры, остающейся в древние эпохи вполне загадочной для несчастного подневольного читателя. Естественно поэтому, что автор уделяет так много места всем не только революционным, но и просто бунтарским движениям, направленным против государства — в Киеве, в Новгороде, в Москве. Иной раз он высасывает их просто из пальца (например, глава: «Стихийные восстания

в Киевском княжестве»). Все разбойничьи атаманы именуются уважительно по имени и отчеству. Но тут возникает важное и, может быть, плодотворное противоречие. Государство русское, грабительское и захватническое с начала и до конца, представляется все же положительным явлением, даже в имперской своей экспансии. Это специально подчеркивается для Украины (даже с грубой идеализацией присоединения) и для Грузии. Конечно, вся эта российская экспансия оправдывается телеологической ориентацией на революцию. Порабощенные Россией народы ждут своего конечного освобождения. Иначе говоря, становятся подданными Сталина. В этом ключ к основной двойственности всей концепции. Сталин чувствует себя преемником не только разбойников и казаков, но и царей российских, которые для него собирали и ширили государство. Царь — Пугачев. Если бы Пугачев заказал Швабрину в свое время учебник русской истории, он выглядел бы вроде Шестаковского. Впрочем у Пугачева религиозный и монархический идеал власти скрепил бы лучше противоречивые элементы схемы. У Сталина и Шестакова мы не выходим из вопиющих противоречий. До известной степени, распределение красок выдерживается хронологически. До XVI века — положительный процесс построения государства. С XVII оно становится чистым объектом ненависти — фоном для революции. Об этом переломе оценки свидетельствуют самые заглавия глав: I — Наша родина в далеком прошлом. II — Киевское государство. III — Восточная Европа под властью московских завоевателей. IV — Создание русского национального государства. V — Расширение русского государства. До сих пор рамки схемы, если не содержание, вполне удовлетворяют и историка, и русского националиста. Но с VI главы начинают сводиться счеты: VI — Крестьянские войны и восстания угнетенных народов в XVII веке. VII — Россия XVII века — империя помещиков и купцов. Царская Россия — жандарм Европы. Внутренне этот резкий перелом оценок ничем не мотивирован. Ведь империя — будущее царство Сталина — продолжает расширяться и в последующие века. Отметим некоторые абсурды, к которым автора приводит схема. Петр I, в общем, герой положительный, и в борьбе со старой Русью, и в борьбе с внешними врагами. Но почему-то с бесспорным сочувствием изображается восстание Булавина («Кондратия

Афанасьевича»), между тем как ни реакционные стрельцы, ни «изменник» Мазепа сочувствием не пользуются. Совершенно чудовищно Петру приписывается цель «укрепить силу и власть дворян». В событиях Смутного Времени внимание и сочувствие все время раздваивается между героем Болотниковым и героем Мининым. Нужно принять и холопское восстание и национальную оборону от панов. А что делать с Тушинским и прочими ворами, неизвестно (о них, к счастью, ни слова). А главное, как построить цельный взгляд на смуту?

Обращаемся к древнейшему, ныне реабилитированному периоду. Сколько и здесь недосмыслия и неувязок. Славяне, «храбрые и мужественные», славно бьют греческие войска. Варяги, в таких же походах на Византию, оказываются просто «разбойничьими шайками». Первые князья, даже легендарные, удостоены и легендарных характеристик. Хорошо, что русский школьник будет знать имя Рюрика и Олега, слышать рассказы о мщении Ольги и подвигах Святослава. Но это было бы хорошо, как легендарный пролог к героической истории. А истории-то и нет. Даже Святослав и Владимир занимаются грабежом. Ярослав создает Русскую Правду, как свод правил, чтобы «оберегать права рабовладельцев, владельцев земель и купцов». Принятие христианства подчеркнуто объявляется «шагом вперед». Но мотивом крещения для Ольги и Владимира выставлено желание «укрепить княжескую власть содействием греческого духовенства». Само крещение изображается в тонах глумления: «Греческие попы читали над стоящим в воде народом свои молитвы. Это называлось крещением».

Известно, что Сталин реабилитировал Александра Невского. Но как испакощен Великий Новгород — с точки зрения классовой борьбы! Никакого сочувствия к республиканской свободе. Вся ненависть направлена на аристократизм его боярского строя. Довольно объективно изображается монгольское иго — не только в России, но и в Азии. Здесь грузинский патриотизм Сталина отверг евразийско-татарскую схему. С сочувствием изображается роль Москвы в ее освободительно-объединительном деле. Но так как не умалчивается об имморализме ее политики, то эти главы должны быть признаны наиболее циничными и деморализующими в воспитании нового национального чувства. Не без удовольствия мы узнаем, что настоящий

сталинский герой — это Иван Грозный (после Ивана III). Вся вина за его характер и за опричнину возлагается на боярство.

Но довольно. Уже достаточно ясно, какой характер носит сталинский национализм. В истории России он приемлет ее экспансию, оставаясь совершенно чуждым внутреннему содержанию русской культуры. Только это и отличает его от традиционного черносотенства, в которое он сплошь и рядом скатывается. Против аристократической свободы (Новгород) за демократическое самодержавие (Грозный и Пугачев) — такова политическая установка Сталина.

Сейчас нас поражает бессвязность и противоречивость выполнения этой политической схемы. Книжка Шестакова даже не мозаика, а костюм, сшитый из лоскутков — сплошная заплата. Как сочетать Маркса, Грозного и Пугачева, Сталин и сам не знает. Он неуклюже топчется в новой для него области. Временами он делает открытия — Александр Невский, прогрессивное значение христианства. Но так как эти открытия случайны и бессвязны, и пришиваются эти лоскуты к основному — не марксистскому, но бакунинскому — красному пиджаку, то получается безвкусный и даже шутовской наряд. Учебник Шестакова отражает бесстильность настоящего дня русской культуры. В том состоянии рабства, в котором она находится, всякая независимая мысль, научная, патриотическая, революционная — заранее исключается в необходимом деле построения национально-исторического синтеза. В России думать разрешено одному Сталину. К сожалению, мысль Сталина ворочается с тяжестью мельничных жерновов. Не сомневаюсь, что опыт Шестакова (Сталин 1937 года) скоро будет объявлен вредительским. Но когда еще новый синтез найдет свое выражение! И даже оформленный, он сулит мало радости нам и России. В сущности дело идет только о том, чтобы из триады национальных героев окончательно исключить Маркса и потеснить Пугачева в пользу Грозного. На большее в царствование Иосифа Джугашвили рассчитывать не приходится.

Возвращенцы и активисты

Страшные дни. Один за другим вскрываются гнойники предательства и преступлений. Самый воздух, которым мы дышим в русской эмиграции, кажется отравленным. Каждое утро, раскрыв газету, с волнением спрашиваешь себя, кто еще сегодня скомпрометирован? Быть может, в предгрозовом предвоенном удушьи, в котором живет сейчас мир, наша русская эмигрантская агония покажется совсем ничтожной. Но это наша жизнь. Мы должны ею жить, другой нам не дано. В этой боли и унижении – наша неразрывная связь с Россией, расплата за общий национальный грех.

Сами по себе предательство, измена – не могут удивить никого. История полна именами Иуд. Вспомним, кто был тот Иуда, чье имя сделалось нарицательным. Но есть измена и измена. Бывают эпохи, когда предательство становится заразительным, эпидемическим. Это уже не личный грех, а общественное явление. Для него создана подходящая почва, как бульон для бактерий. В благоприятном «климате» предатели плодятся, как грибы. Таким благоприятным климатом является обыкновенно изложение героической идеи, которая некогда вела людей на борьбу, а ныне уже перестала вдохновлять их.

Предоставим подлежащим органам расследование преступлений и разоблачение провокаторов. Не будем отягощать и без того отравленный воздух взаимными подозрениями и безответственными обвинениями. У эмиграции сейчас есть более важное дело; внутренняя чистка, чистка не столько людей, сколько идей, политических привычек и предрассудков.

Достаточно уже вскрытых зловонных гнойников, чтобы отдать себе отчет в той политической болезни, которая нас грызет. Ее можно назвать *моральным обольшевичением*, понимая под ним соединение политического максимализма с полной неразборчивостью средств. Гражданская война во многих из нас воспитала политический цинизм, доходящий иногда до полного отрицания всякой связи между политикой и моралью. Крушение «белой мечты» могло только обострить горечь озлобленных душ. Политический макиавеллизм легко развивается на чувстве бессилия и горечи поражений.

Это обольшевичение поразило — и в этом нет ничего удивительного — оба крайних фланга эмиграции. Было бы неточно называть их правым и левым — ибо различие происходит не по существу идей, а по отношению к советской власти. Непримиримый «активизм» и «приятие» сталинской России могут давать сходные результаты. Во всяком случае уже разоблаченные имена террористов и провокаторов ведут нас к этим двум полюсам эмиграции: к активистам и возвращенцам. Не одно ГПУ сумело объединить в общей сети преступлений выходцев из того и другого лагеря. Их внутреннее сродство сказывается в легкости переходов, которые происходят на наших глазах, когда вчерашний белый активист, разочаровавшись в своих путях борьбы, сразу оказывается, если не на rue Grenelle[1], то в ближайших окрестностях. Как типична в этом отношении биография Кондратьева[2]!

За последнее время политическая обстановка складывается так смутно и двусмысленно, что и «правый» и «левый» большевизм делаются естественной школой провокации. Для правого роковое значение имело пришествие к власти Гитлера. С этого момента на германского диктатора с надеждой смотрят тысячи людей, считающих себя русскими патриотами. Некоторые русские националисты возлагают надежды на разгром России ее национальными врагами — Германией и Японией, — где можно, активно сотрудничают с ними и предают, на путях политической диалектики, ту самую идею, вокруг которой в 1917–1918 гг. зачиналась белая борьба. Неизбежная конспирация, которой требует новая политика, темные связи с иностранными контрразведками, которые завязывает доведенный до отчаяния активизм, сами по себе создают психологию провокаторства,

которая с величайшей легкостью используется ГПУ. Генерал Скоблин[3] был активистом — в глазах общевоинского союза, да, может быть, и в своих собственных. Были же указания на его двойную связь: с ГПУ и с Гестапо.

На противоположном фланге двусмысленная эволюция Сталина соблазняет не менее антикоммунистических речей Гитлера. С тех пор, как Сталин сделался «русским националистом», тяга к возвращению в Россию чрезвычайно усилилась. Ни казни, ни ложь, ни предательство не могут удержать от рокового шага. Для рядового возвращенца тоска и бесцельность его беженского существования покрывают все известные ему — но столь далекие — тени России. Для сознательных возвращенцев, для политиков моральные преграды между ними и СССР относятся к категории сантиментального, подлежащего преодолению. Все оправдывается с чрезвычайной легкостью — и казни, и подлость — оправдываются государственными интересами России. Родина выше всего: выше чести и совести. В конце концов это вывих той же самой национальной идеи: прямолинейно-абсурдной у эмигрантов-сталинцев, диалектически выродившейся в свою противоположность у русских гитлеровцев.

Нам известно, как тщательно ГПУ охраняет двери в Россию, какими унижениями и реальными услугами оно обставляет возвратный путь. Для людей, сжегших свою совесть «во имя родины», выбора нет. *Они обязаны выполнять всякую грязную работу*, какую им дадут. В последнее время Сталин, кроме грязи, требует и крови. Одни, несчастные, но все же более счастливые, проливают кровь в Испании. Для них путь в Москву лежит через Мадрид. Другие, более квалифицированные или менее разборчивые, должны оказывать содействие в Париже, в Швейцарии, где еще... Наемные убийцы? Это неточно, и, пожалуй, слишком низко для них. Террористы? Но это, во всяком случае, слишком высоко. Военные шпионы и диверсанты дают более близкую аналогию. Страх собственной гибели или личная карьера покрываются именем России.

Смотря глубже, нельзя не увидеть, что наш эмигрантский позор, наша грязь и кровь, являются переплеском той крови и грязи, в которой тонет Россия. Иначе и быть не может. Эмиграция жива Россией. Как бы ни был резок наш видимый отрыв от нее, тысячи нитей связывают нас с Россией, не толь-

ко былой, воображаемой, любимой, но и настоящей, живой, даже ненавидимой. Нам не отгородиться, не уйти от нее. Это не призыв к резиньяции[4]. Ведь и там, в России, идет незримая, глухая борьба за спасение духа. И там происходит внутренняя чистка и разделение. Эмиграция не лучше и не хуже России. Но, более свободные, мы можем производить нашу чистку при свете дня. Не будем же лишать себя этого единственного нашего преимущества.



**Парижская квартира Федотовых в Париже.
Рождество в литературном «Соленом кружке». Писатель Геннадий Озерецковский сидит в центре, как председатель этого кружка**

1. Озерецковский Геннадий Евгеньевич (1895–1977) – штабс-капитан, агроном, литератор, преподаватель, общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета, Павловское военное училище, участвовал в мировой и Гражданской войнах. Эмигрировал в Югославию. В Загребе окончил агрономический факультет. В 1926 переехал во Францию. Защитил докторскую диссертацию по социальным наукам при Русской академической группе в Париже (1931). Профессор. Участник экономических семинаров профессоров А. П. Маркова (1931–1933) и А. Н. Анциферова (1931–1935).Читал курс лекций по аграрному законодательству в Русском коммерческом институте (1930-е).Преподавал русский язык и литературу. Служил агрономом на различных французских предприятиях. Один из основателей и председатель русского литературного сообщества «Соленый кружок» (1930–1977).Деятельный член кружка «К познанию России» (1933–1936).С конца 1920-х член Русского студенческого христианского движения (РСХД); выступал с лекциями о русской культуре в Студенческом клубе. Начальник старшего отделения летнего лагеря в Напуль (деп. Приморские Альпы).Член ревизионной комиссии РСХД (1935–1936). В Париже издал книги: «Червь земли» (1969), «Малая Россия. Русский блистательный Париж до войны» (т. 1, 1973), «Малая Россия. Война и после войны» (т. 2, 1975), «Последние из могикан – поседевшие молодые люди» (1977).Печатался в «Русской мысли», «Новом русском слове», альманахе «Мосты».

2. Озерецковская (урожд. Бакунина) Наталия Алексеевна (1907–1991) – жена Геннадия Озерецковского, медсестра, прозаик. Дочь Э. Н. и А. И. Бакуниных, сестра Т. А. Осоргиной, мать Михаила Г. Озерецковского. В марте 1926 эмигрировала с родителями и сестрой в Германию, в том же году переехала во Францию. Работала медсестрой в хирургической клинике. Член Ассоциации Тургеневской библиотеки. В 1960-е под псевдонимом Ярцева

публиковала прозаические произведения в журнале «Родные перезвоны» (Брюссель), в других эмигрантских изданиях. Оставила воспоминания о семье и Т. А. Осоргиной (фрагменты включены в книгу В. Сысоева «Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина», Тверь, 2005).

3. Федотов Георгий Петрович

4. Морозов Андрей Вадимович (1897–1985) — инженер, участник Русского студенческого христианского движения (РСХД), иподиакон. Учился на физико-математическом факультете университета в Одессе. Участник мировой и Гражданской войн. Участвовал в эвакуации Добровольческой армии. В 1922–1925 годах жил в Германии, окончил Политехникум, получил диплом инженера. В 1925 приехал во Францию, работал в различных технических организациях, в начале 1930-х — в конструкторском бюро по производству кабелей «Lachaîne cable».Принимал деятельное участие в работе РСХД, председатель РСХД во Франции (1928–1936), участник его съездов. Был летописцем РСХД, записывал все доклады и выступления. В течение 50 лет член церковного совета при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, помощник старосты, псаломщик. Член Литературного общества «Соленый кружок» с его основания в 1930, вел записи докладов на всех его собраниях, выступал с докладами. Во время Второй мировой войны работал в Компьене инженером, помогал проводить богослужения в пересыльном лагере. Многолетний член правления Союза русских инженеров, член суда чести (с 1952).Секретарь Союза русских военных инвалидов во Франции (с 1973).

5. Кароль — друг Озерецковского.

6. Федотова (урожд. Нечаева) Елена Николаевна(1885–1966). Историк, переводчик, общественный деятель. Жена Г. П. Федотова.

7. Стоят слева направо — Петр (Пьер) Робертович Карпушко(1902–1984) — общественный деятель. Окончил 3-й Московский кадетский корпус. Участник Гражданской войны. Эмигрировал во Францию, жил в Париже, работал электротехником. Занимался с русской молодежью: был инструктором по плаванию на судах (1930-е). Работал в лагерях Русского студенческого христианского движения (РСХД).Переселился в Швейцарию. Занимался общественной деятельностью, устраивал спектакли и концерты, приглашал артистов из Парижа. Преподавал русский язык.

Рядом с ним — неизвестный. Далее — Сергей Павлович Жаба (1894–1982) — журналист, публицист, педагог. Секретарь объединения «Православное Дело». Между Жаба и Карпушко сидит жена Карпушко — Елена, покончившая жизнь самоубийством в 1944 году..

«Солёный кружок» — литературный кружок при Русском Студенческом Христианском Движении. Геннадий Озерецковский вспоминал: «Я часто бывал у Федотовых на ул. Монж в их маленькой квартире на седьмом этаже. Заставал беспорядок. Угощали чаем, довольно жидким, прямо на клеенке. У них также застал я раз Поплавского-поэта...

Профессор Б. Я. Вышеславцев и профессор Г. П. Федотов были членами «Солёного кружка».Они приходили туда и чувствовали себя совершенно свободными от оков профессорства и всезнайства. Получали право сомневаться и сообща обсуждать.

Творчество литературное, философско-научное, артистическое, — всё было, но не было связи с французами...Русская жизнь била ключом....Поэты, кроме того, объединялись в «Кочевье» и собирались отдельными группами, например, в «Таверн Альзасьен» был литературный кружок, называвшийся «Солёным». «Кружок по изучению России» собирал полный зал на 10, бульвар Монпарнас, полный зал собирала «Зелёная лампа»... 1930.»

Октябрьская легенда

В истории нередко случалось, что великие преступления делались символами величия. Сколько политических режимов и даже национальных традиций покоятся на изначальных злодеяниях. Непрерывность английской государственной традиции восходит к норманнскому завоеванию — почти пиратскому предприятию, в его первоначальном смысле. Французская республика избрала своим символом взятие Бастилии — один из бессмысленных и кровавых эпизодов революции, который в действительности не имел никакого освободительного значения. Память народов коротка, а история творится по ту сторону добра и зла. Такая судьба — освободительного символа — казалось, была уготована октябрю. Для миллионов рабочих во всем мире и для значительных слоев левой интеллигенции русский октябрь — начало новой эры: «освобождения трудящихся, царства социализма».

Преступление, лежащее в основе октября, миром забыто. Большинство о нем никогда не слышало. В наш век — век мифов и легенд — на Западе уже укрепилась легенда об октябре, как восстании против царизма. Что же говорить о России, где государство, обладающее монополией лжи, в течение 30 лет культивирует октябрьскую легенду?

Да, октябрь имел шансы стать краеугольной легендой новой России — нашим национальным 14 июля. Для этого нужно было лишь одно условие: стабилизация революции. Нужно было не только потерять живую память о 1917 годе, нужно было забыть о всей крови, голоде, страданиях этих «страшных лет России»

Забыть о ненависти, расколовшей сверху донизу великий народ. Лишь примирение уцелевших классов, мирный труд и равный для всех закон могли бы вывести Россию на широкий путь подлинно новой, трудовой демократии. Дважды в истории революции, в годы НЭПа и в начале второй пятилетки, этот путь открывался. И всякий раз враги октября — люди, сохранившие память, — проявляли большое великодушие. И там, в России, и за рубежом готовы были забыть о прошлом, работать для будущего нашей общей Родины. Но оба раза все тот же великий вредитель раздувал вновь и вновь огонь гражданской войны, напоминая: «октябрь не кончен!», и делал амнистию невозможной.

Сейчас Россия дальше от гражданского мира, чем когда-либо, и вся ее революция, вместе с бытием ее, как великой державы, поставлены на карту. Освобожденные революцией народные силы вновь скованы, огонь потушен, огромное в динамизме своем пробуждение народной России заканчивается в мрачном и тупом унынии.

Своеобразие нового этапа гражданской войны, к двадцатой годовщине октября — в том, что она ведется Сталиным против самих деятелей октября. Все сподвижники Ленина оказались предателями. Сам Сталин, к октябрю почти не причастный, должен совершать чудовищную фальсификацию, чтобы изгладить из октября имя Троцкого и занять его место. Вот здесь-то и происходит *взрыв октябрьской легенды*. С Лениным и Троцким она могла бы жить в веках. С Лениным и Сталиным она столь грубо неправдоподобна, что не может пережить своего фальсификатора. Но открывающийся по смерти Сталина пересмотр октябрьской легенды угрожает не только узурпатору, но и подлинным творцам октября.

В самом деле у Троцкого, побежденного и бессильного, нет никаких шансов утвердить свое толкование октября. В книгах его единомышленников, бывших и настоящих, проводится другая, определенная схема, противополагающая идеальному, революционно-чистому октябрю Ленина и Троцкого его сталинское искажение. Троцкистская схема сама оказывается легендой. Достаточно сказать, что она предполагает умолчание о массовом терроре, организованном Лениным и проводимом Троцким, о подавлении всякой оппозиционной мысли и государственной монополии культуры. Бесспорно, что Сталин довел до геркулесо-

вых столпов систему Ленина, но не он был ее изобретателем. Троцкий и Сталин – оба являются учениками Ленина, в разных направлениях развивающих наследие учителя. Троцкий отразил революционный и интернациональный дух Ленина, Сталин – его деспотические и русские (или евразийские) черты. Иммурализм Ленина они усвоили оба: по крайней мере, его безграничное презрение к человеческой личности и свободе. Ложь Ленина, т. е. сознательное введение в политический арсенал большевизма, досталась Сталину – может быть, потому только, что ему достался и государственный аппарат, без которого ложь становится орудием обоюдоострым.

Итак, Сталин и Троцкий в своей борьбе *разрушают* единственно серьезную легенду октября: ленинскую легенду. Уже канонизированному Ильичу придется неизбежно дать посмертный ответ перед Россией и миром в содеянном.

Нужно ли напоминать о преступлении, которое лежит в основе «октябрьской эры»? Преступление октября не в восстании, не в пролитой крови, не в почине гражданской войны. Кровь дешева в эпохи революций и войн. Но есть нечто похуже крови в активе октябристов[1]. Это худшее может быть сведено к следующим пунктам: 1) октябрь был восстанием против свободы и установлением *деспотизма*, небывалого в русской истории; 2) октябрь был грандиозным *обманом* народных масс, которым обещался «мир, хлеб и свобода», а готовился удел войны, голода и тирании во имя мировой революции; 3) октябрь был *предательством* республиканской России и союзных демократий и выдачей их императорской Германии; 4) Октябрь был *первым* в истории опытом *политического фашизма*, который из орудия коммунистической революции стал формой буржуазной реакции в половине Европы.

Вот политический формуляр октября. Последний пункт принадлежит не прошлому только, но *настоящему и будущему*. Не одна Россия, а весь мир может благодарить Ильича за создание фашистской системы государства. Сравнительно с тем страшным разрушением, которое производит фашизм в системе культуры и духовного строя личности, второстепенное значение имеет вопрос об экономической системе фашизма: в интересах каких классов, пролетариата, буржуазии или средних слоев, используется чудовищный аппарат тоталитарного государства. Здесь перед

нами один из тех случаев, когда форма важнее содержания. Как при оценке инквизитора мало значения имеет его credo: Торквемада[2] это или Дзержинский, так и при оценке фашизма идеология и политическая родословная диктатора отходит на задний план. Фашистская система, созданная Лениным (и названная им советской) оказалась непревзойденной, — во всяком случае в издании его преемника. Все иностранные копии оказались уже смягченными. Остается фактом, что мировой *социализм получил глубокую рану от меча, выкованного Лениным.*

Мы не закрываем глаз на то, что фашистская форма революции в России имела долгое время в России народное содержание. Русская революция двигалась действительным восстанием народных масс, и в этом движении, вместе с классовой ненавистью к угнетателям, был подлинный пафос правды, было стремление к истине и свободе. Этот культурно-творческий порыв народа освещал, и до сих пор освещает политический мрак советской России. Но, конечно, не октябрем этот порыв вызван к жизни. Массы вышли на сцену уже в феврале, и если октябрь, видимо и на время, дал волю народному движению, то лишь для того, чтобы крепче сковать его. Если бы дело шло лишь о политических целях, наложенных октябрем на революционную стихию, он был бы, может быть, оправдан. Анархия революции всегда обуздывается деспотизмом. Но цена октября оказалась куда дороже. Скован был дух народа. Его благородный порыв каптирован[3] в каналах чужой и пошлой доктрины. Ум и совесть России подверглись растлению — на 20 лет. Невероятная система лжи создала над страной особую аммиачную атмосферу, в которой умирает все живое. Меняются лозунги, изгибы генеральной линии, самое содержание доктрины. Остается неизменным одно: ее лживость и общеобязательность. Люди вырастают духовными слепцами и самые возможности русской культуры подсекаются на корню.

С горечью и без всякого злорадства мы констатируем эти постоянные черты октября, еще более заострившиеся (как перед смертью) к 20-летнему юбилею. Время подведения окончательных итогов еще не пришло. Но поистине нужно быть самому вольным или невольным слепцом, чтобы за перечнем разных действительных или мнимых достижений забыть об основном пороке октября: его изначальном и неизменном имморализме.

Тяга в Россию

Существует ли она? Своевременно ли говорить о ней теперь, когда Россия окутана кровавым пологом, и не один человеческий, т. е. подлинно-человеческий, голос не слышен оттуда? Как будто надо быть безумцем, чтобы стремиться туда, на свою собственную погибель!

И тем не менее я утверждаю, что такие *безумцы есть*. Быть может, число их немного убыло за последний год, но они существуют и задают нам нелегкую психологическую загадку. Французам дана тут благодарная тема для философствований насчет «ам слав»[1], но можем ли мы вполне рационально разобраться в этом явлении, не опускаясь в потемки, в извилистые подземные коридоры «славянской» (т. е. русской) души?

Есть существенная разница между возвращенчеством старого времени и возвращенчеством последних лет. Когда-то в «союз» шли опустившиеся, потерявшие облик человеческий. Теперь, мы знаем, там есть люди, которые, по крайней мере, сами себя уважают. Возвращенчество приняло с некоторых пор как бы «идейный» характер. Слово «идейный» плохо выражает его сущность. Дело тут не в идеях, а в иной, конкретной реальности: эта реальность, конечно, родина, Россия. Идеи могут быть те или другие — коммунистические или националистические, но Россия останется — тот костер, на который летят бабочки.

Серьезность возвращенчества, как явления, состоит в том, что небольшое, зарегистрированное ядро — сжегших свои корабли — окружено широким, расплывающимся пятном сочувствующих, вздыхающих, томящихся. Если бы то была лишь тоска

по родине! Кто из нас ее не знает! Но варварский монизм (или следует назвать его тоталитаризмом?) наивной мысли торопится подсказать тождество: Россия = советская Россия = большевистская власть = Сталин.

Не одни иностранцы ловятся на русскую музыку и пляску. Есть и среди нас люди, которые начинают с умиления перед русской природой, русской молодежью в советских фильмах и кончают — панегириком Сталину. Таким людям не *мешают даже казни*. Во-первых, сейчас льется больше коммунистическая кровь. Многие испытывают, при известиях о московских казнях, низкое чувство удовлетворения. Ведь, и популярность Грозного в народной традиции (даже научно-исторической!) связана не в малой мере с качеством проливаемой им — боярской — крови. Во-вторых, казни Сталина даже усиливают его политический престиж. Они представляют его бесспорное — если не единственное — достижение. Перебил стольких людей — и, казалось бы, сильных людей — и до сих пор сам цел: значит, гений. Так рассуждает детская логика.

Возвращенчество — *болезнь* русского национального чувства. Главная слабость русского национализма — в его органическом или растительном натурализме. Растение, вырванное из почвы, засыхает. Человек свободно движется по лицу земли. Но русский человек все еще слишком похож на растение. Для него она прежде всего — не мысль и даже не слово, а звучание, тембр голоса. Вне этой узкой природной среды трудно жить. Другие народы — греки и римляне, британцы и немцы — смело бросали родину, неся ее богов и культуру в чужие страны. Но для нас и культура, и сама вера кажутся нежизненными без родного чернозема (и краснолесья). Это большая слабость, как бы неразвитость мужественной человечности. Если прибавить к этому привычку к коленопреклоненной позе, то вот уже и почти готовая формула «славянской души» и вместе с тем диагноз русского возвращенчества.

Конечно, иначе приходится судить молодежь, почти денационализированную, о родине не тоскующую, но ищущую приложения своих сил, талантов и дипломов. Здесь все *гораздо проще*. Юноша предпочитает быть рабом, но по своей специальности, чем безработным на свободе. Окружающая его европейская упадочная культура привила ему изрядную дозу общественно-

го имморализма, или, вернее, у него никогда и не рождалось общественного сознания. Можно пожалеть его, но во всяком случае пора перестать умиляться над ним. Не стоит искать жертвенности в простом, естественном эгоизме.

Но все же еще раз: каким образом люди, едущие в Россию, старые и молодые, не боятся за свои головы? Жизнь в России так дешева и такая тонкая стенка отделяет благополучие устроенного существования от каторги или подвала ГПУ! Ну, и это понять можно. Для молодежи здесь есть элемент риска, почти спортивного, может быть, даже повышающего остроту чувства жизни. Так, вероятно, молодежь в России с закаленными нервами ходит весело по краю могилы. Для других, вырванных из почвы и засыхающих, нет выбора; лучше смерть на родине, чем жизнь на чужбине. Здесь все так постыло, что хуже, кажется, быть не может. Тоже типично русская иллюзия — даже не иллюзия, а чувство: хоть гирше, да иньче[2]. Но что можно сказать самоубийце, который находит, что за глоток русского воздуха, за один взгляд на московский переулок — не слишком дорого заплатить смертью.

И однако же мне кажется, что сказать можно, хотя, подходя к этому пункту, я испытываю большое затруднение. Почему-то не раз, говоря об этом с разными людьми, я наталкивался на непонимание. А между тем мне самому это представляется таким ясным. Дело в том, что едущий в Россию рискует не только своей головой, но и головой других людей. *Рискует оказаться предателем и* соучастником в их *гибели.* Мы знаем все, как организуются политические и вредительские процессы в России. Когда нужно погубить человека, требуют оговора его в несуществующих преступлениях от друзей, знакомых, даже незнакомых. Для получения этих оговоров людей арестовывают, подвергают моральным пыткам и держат в тюрьме так долго, пока не добьются требуемого лжесвидетельства. Многочисленные оговоры на всех процессах показывают, как могущественны средства воздействия, и как трудно им сопротивляться. В России это знают, и, вероятно, не осуждают невольных предателей. Не бросаем в них камня и мы. Но совсем иное отношение к связанному по рукам и ногам советскому гражданину, у которого нет выбора, и к эмигранту, который на свободе имеет возможность трезво обсудить все условия своего возвращения

и своей жизни в России. Он, конечно, знает об этой роковой возможности. Вероятно, он не считает себя героем и не может поручиться за свою стойкость на допросах под пыткой. Но он успокаивает себя мыслью, что, ведь, эти трагедии не так часто случаются; что не всем обывателям, особенно маленьким людям, как он, приходится выступать в иудиной роли. Больше шансов за то, что эта чаша меня минует. Да, конечно, больше шансов. Ну, а если все-таки выпадет в лотерее черный выигрыш? Разве я не несу за него ответственность? Ведь мой выбор был свободен, и я предвидел этот черный шанс. Значит, я заранее согласился — на худой конец — стать предателем, послать в подвал мне неизвестного X, чтобы подышать перед смертью воздухом России.

У Свифта в «Путешествии Гулливера» изображается фантастическая утопия деспотизма в стране лилипутов. Там, чтобы удостоиться королевской аудиенции, нужно ползти на животе, «лижа прах у подножия трона». Русская утопия рабоче-крестьянского рая прибавила к этому еще одну подробность этикета: доползши до трона, нужно выстрелить в затылок кому-то по указанию церемониймейстера. В стране Сталина это считается простой придворной формальностью.

Но спрашивается: *как* отнестись к путешественнику, который, зная о порядках в стране московских лилипутов, все же едет туда? Даже, если не всякий иностранец, а один из десяти приглашается на высочайшую аудиенцию? Даже, если эта страна его родина? «Лизать прах» — свойство человеческое, слишком человеческое. Но стрелять в затылок — это уж чересчур!

Советский павильон

Парижская выставка закрылась. Погасли огни, умолкли фонтаны, кончился затянувшийся до глубокой осени праздник. Давно подведены итоги достижениям и неудачам. Для многих выставка была ненужным и утомительным, до головной боли, нагромождением случайных и разнохарактерных вещей: мировым балаганом. Конечно, всякая выставка — даже музей — имеет в себе что-то мертвящее. Но где, при современной разорванности мира, при все возрастающей трудности путешествий (особенно для нас, апатридов[1]), мы могли бы увидеть столь полную картину мира, или хотя бы, в разрезе, его схематический чертеж? Сюда свезли все народы, со всех континентов то, что они считают самым ценным в своем культурном строительстве. Сколько материалов для суждений о современной культуре, которая всегда, ведь, и характеризуется своей шкалой ценностей!

Я хотел бы поделиться одним своим впечатлением — прежде всего политического порядка, но смысл которого выходит за чисто политические рамки: речь идет об основном явлении современной культуры. Это полный провал, на декоративном фронте, фашистских держав. Павильоны Италии, Германии, СССР были самыми неудачными. При внешней грандиозности и несомненном стремлении произвести впечатление — пафос колоссального — все три фашистские страны дали безвкусно нагроможденные склады разных товаров, лишенные всякого национального стиля. Специалист, вероятно, оценил качество немецких или итальянских машин, но профан, все равно, не заметил бы, если бы вдруг, каким-нибудь чудом, все вещи

переместились из одного павильона в другой. (С необходимой оговоркой о советской продукции, более ординарного, более низкого качества, чем ее фашистских сестер).

Признаюсь, это впечатление было ошеломляющим. Я ожидал как раз обратного. Фашизм живет показом, агиткой, рекламой. Он мастер устраивать пышные праздники, шествия, спектакли. Он вообще высоко ценит декоративное искусство. И вдруг такой провал! СССР задался целью создать из своего павильона агитационный центр. Италия и Германия сознательно хотели спрятать свои политические когти в демократическом Париже. Результат один и тот же — полная бездарность. Конечно, есть нюансы. Италия — это товарный склад. Германия — магазин, СССР — ярмарочный балаган. Но это и все. Поразительно — и тоже неожиданно — отсутствие всякого национального лица у этих национально-мистических купцов. Вера в голую силу, в технику, в железо иссушила видимо живые источники народного искусства и ремесла. Завод и фабрика скрывают землю. Диктаторы не пожелали показать нам ни лица своей земли, ни лица своего народа. Для них это просто сырой материал для фабричного производства. Капиталистический купец XIX века нашел в этих мнимых националистах достойных завершителей своего рационального, абстрактного, разрушительного прогресса. Вот почему таким удушьем давят эти дворцы — даже там, где, как в Германии и Италии, удалено все, что говорило бы о духе насилия, о самих вождях и политическом режиме. Переходя из павильона Италии в соседнюю — совсем не замечательную — Швейцарию, или из Германии в Норвегию, сразу чувствуешь, как легко становится дышать. С благодарностью и растроганным умилением смотришь на самые простые вещи, на самые заурядные фотографии пейзажей, чувствуя, что человек еще жив, и что земля по-прежнему прекрасна.

По общему признанию настоящими победителями на выставке оказались малые народы — почти все. Их успех был безошибочен. Они стремились показать то, что им всего дороже: пейзаж родной земли и остатки уходящего народного искусства. Чувствуется, что для них национальная идея не утратила еще того романтизма, той иррациональной прелести, которая уже улетучилась в «великих» нациях, поглощенных индустриальным строительством и борьбой за гегемонию. Будучи вполне

справедливым, надо признать, что маленькая Португалия, страна диктатуры, сумела дать один из лучших павильонов, несмотря на то, что в основу его положена, надо сознаться, необычайно искусная агитация. Но фашизм Салазара[2], видимо, не убивает человека и не насилует так родной земли и ее традиции, как фашизм великих держав.

Даже великие демократии оказались не на высоте — кроме Франции. Однако, скучные павильоны Англии и Соединенных Штатов не давили и не мучили тяжестью вещей. Просто, у американцев не оказалось никакого вкуса, а англичане пожелали выставить магазин комфортабельных вещей. Но английские вещи служат человеку, а не человек вещам или идеалу количественной продукции. А в этом все дело.

Франция была очаровательна, радовала повсюду, — и тоже неожиданно. Главным ее шедевром была сама выставка, настоящее чудо декоративного искусства, показавшее, что третья республика владеет тайной версальских садов. Одним из сюрпризов был городок французских провинций, намекающий на то (да простят нам назойливость политических уроков), что в регионализме лежит сейчас залог обновления национального чувства великих народов.

А теперь о советском павильоне. С каким волнением мы его ждали — ждали встречи с далекой родиной на нейтральной парижской земле. Клянусь, что никакого предвзятого чувства не было у меня, когда я подходил к башне, увенчанной серпом и молотом. У меня ли одного? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что у массы рядовых эмигрантов громче говорил голос патриотизма, чем политической непримиримости. Мы понимали, что на международный конкурс вышла не просто советская власть, а вся страна, с ее новой интеллигенцией, с ее пробуждающимся к культуре народом. И мы желали ей успеха.

Тем острее было разочарование. Можно сказать спокойно, ничего более тяжелого, чем советский павильон, нельзя было увидеть на этом международном смотре. Были представлены страны бедные, с низким уровнем техники, но такого сочетания вульгарности с кричащей претензией, как в *нашем* павильоне, нигде больше не увидишь. Основное — это нагромождение хлама. В Москве хотели показать, что у них есть все — от яблок до мехов, и от театров до автомобилей — точно боясь, что им

не поверят. И завалили длинное коридорное здание — массой никому не интересных, ненужных вещей. Забыли о самых элементарных условиях декоративности. Как эти несколько яблок на полочке, несколько шкурок — должны создать впечатление природных богатств России! Посмотрите, как Канада сумела показать свои фрукты, свои меха на фоне своих бесконечных просторов. Почему-то о просторах в советской России не подумали, не показав ни ее стилей, ни тайги, ни, конечно, самого человека. Фабричная дешевка заслонила народное искусство — все еще живое, мы знаем, но, по-видимому, менее близкое сердцу владыки, чем продукция его заводов. Люди? Мы их видим в фантастических хороводах вокруг обожаемого вождя, повторяемого, как в зеркальных отражениях, десятки раз. Но эти люди — фальшивые манекены — не имеют ничего общего с народами России.

Куда девался декоративный вкус, столь отличавший последнее поколение русских художников? Как аляповато пошлы наружные рельефы башни, самый герб республики, все это обрамление, погубившее неплохо задуманные формы здания. Все оно прибито, придавлено чудовищной скульптурной группой на его крыше. Есть люди, которым нравятся эти серебряные комсомольцы ростом с колокольню. На меня они действуют своим кричащим противоречием той русскости, которую они должны изображать. Нет ничего более противного русскому духу, чем эта поза, эта крикливость, эта риторика. И в довершение нелепости серебро — живое отрицание яркости и крика самих истуканов.

Откуда это убожество, эта пошлость художественного обрамления павильоне? Еще недавно советская страна была богата декоративными талантами. Ленин получил в наследство от императорской России целый ряд первоклассных мастеров по фарфору, по стеклу, по камню, архитекторов, живописцев, резчиков. Сталин получил их от Ленина еще живыми. Что он сделал с ними за 10 лет своего владычества? Может быть они еще живы, т. е. влачат свое существование. Но в Париж их не допустили. Это значит, не пускают и в России. На вкусы нового барина работают и потрафляют другие люди, а, может быть, и старики снизошли до заданий «эпохи». На всем советском искусстве лежит печать лучших вкусов временщика и его кли-

ки; печать провинциализма, пошлости, уводящая нас как раз от нашей эпохи, с ее своеобразным, хотя и бесчеловечным величием, в пустоту и пошлость русской провинции конца прошлого века. Пошехонье на 1/6 части суши – такой показывает Сталин миру свою Россию.

И сотни тысяч пролетариев прошли через эти залы, захлебываясь от восторга, ничего не поняв, не увидев, кроме заветного символа: красного флага и серпа и молота. Не нужно и обманывать того, кто только и просит быть обманутым.

После выборов

Итак, Россия проголосовала. 90%, 100%, или даже более 100% выразили свою беспредельную преданность Сталину. Но загадка, поставленная перед нами новой советской конституцией, остается. Долго еще мы будем разгадывать сталинскую крестословицу.

Россия окутана для нас густым туманом. У нас нет прямых свидетельств о ее внутреннем состоянии. Вернее, эти свидетельства противоречивы или приходят с таким запозданием, что мы не можем обойтись без дедукций в суждениях о ее сегодняшнем дне. О глубочайших процессах, совершающихся в России, мы вынуждены судить, как химик о присутствии мельчайших частиц элемента по реакции, вызываемой им, или астроном о невидимом небесном теле по производимой им пертурбации.

Слава Богу, мы никогда не возлагали надежд и не питали никаких иллюзий, связанных со сталинской конституцией. Ее показной характер казался нам несомненным. Вопрос был только в том, на кого рассчитана новая комедия: на внешнюю или на внутреннюю публику? Если же на внутреннюю, то не может ли, спрашивали мы себя, значение этой демократической демонстрации перерасти рамки задуманного фарса? Но, признаемся, обстановка, в какой эта комедия поставлена, привела в изумление нас и весь мир. К чему понадобилось подвергать Россию этому вселенскому позору? После того, как более года взоры всего мира искусной агитацией привлекались к этому новому опыту «самой демократической конституции», проде-

монстрирован был самый обычный фашистский плебисцит. Сталинские выборы отличаются от гитлеровских только аккомпанементом расстрелов. Политическое значение выборов для советского гражданина свелось к единственному выбору: Сталин или смерть. Невозможно допустить, чтобы единственной целью тирана было подчеркнуть лишний раз, вовне и внутри, кровавый и лживый стиль своей диктатуры. Эта невозможность становится совершенно очевидной, когда мы вспомним, как еще недавно в России рисовалась будущая обстановка выборов. Сталин обещал предвыборную борьбу, несколько избирательных списков, грозил партийной бюрократии народным судом. Открывалась новая перспектива: диктатор, опираясь на массы, сводит окончательные счеты с партией, для него уже излишней и опасной. Сталин сам поощрял оппозицию, поскольку она направлена была на местных сатрапов, — конечно, потому, что сатрапы казались ему опаснее масс. Что же изменилось? Почему в последний момент переделана вся программа спектакля, который отменять было поздно, и пришлось ставить кое-как, на явный провал и позор режиссеров?

Единственным возможным ответом — хотя и дедуктивным — будет следующий: в стране проявилась оппозиция, и ее характер оказался не тот, какого ожидали наверху. Оппозиция была, очевидно, направлена не против местных только Держиморд, но и против всероссийского Городничего. Или, может быть, если она не имела личного характера, то в своих требованиях все же пошла дальше высочайших указаний. Такое предположение подтверждается сведениями о начале избирательной компании и направлением ежовского террора. В начале 1937 года много писали об активности населения и об оживлении антисоветских элементов. Для примера и острастки церковников. Писали о том, как серьезно отнеслись к выборам церковные круги, и какую опасность для советской общественности могли бы представить кандидаты церковных двадцаток. Отсюда возрождение грубейших форм преследования церкви, расстрелы и аресты епископов, даже попытки массового закрытия храмов. Наган Ежова работал направо и налево. Теперь, уже на основании свидетельских показаний, не может быть сомнения, что не одна коммунистическая оппозиция была взята на прицел. Все слои общества, особенно в провинции, оказались внутренними

врагами. Террор 1937 года возвращает нас к 1930–1931 годам по своему размаху, но отличается от последних более уравнительным (равенство перед смертью!), более, если угодно, демократическим характером.

Можно ли уточнить это впечатление о широкой российской оппозиции? Относительно целей ее и направления мы пока не знаем ничего. Ее программа? Но, может быть, и не было никакой программы, т. е. программа не успела выработаться. Если недовольны все, то всякий, вероятно, по-разному. Оппозиция коммунистов и верующих, рабочих и крестьян питается разными мотивами, которые сходятся на отрицании существующего, т. е. сталинской формы русского фашизма.

Можно ли сделать предположение, что оппозиция приняла уже революционные формы? Думаю, что такое предположение было бы ошибочным. Многочисленные судебные процессы последних месяцев не говорят ничего о конкретных революционных действиях. Обвинительные акты предпочитают сочинять средневековые легенды о вредительстве, об отравлении детей, о всеобщем шпионаже, но не о восстаниях, не о стачках, не о террористических актах. Может быть, не говорят потому, что не хотят говорить? Но вот был поставлен сомнительный процесс о покушении на Сталина... только состряпан он был из фактов трехлетней давности. С другой стороны, при серьезном революционном брожении в стране та грубейшая лесть и подхалимство перед Сталиным, в которое вовлекаются все новые представители интеллигенции, были бы трудно вообразимыми. В революционной обстановке ренегат и прислужник власти рискует головой. Нет, Россия все еще поставлена на колени и мстительные чувства, которые в ней живут, не выливаются ни в какие действия. При бессилии, злобе, загнанной внутрь, могли бы казаться естественными настроения, близкие к пораженчеству. Но посмотрите, на чем, главным образом, строятся официальные, хотя бы заведомо ложные, мотивировки судебных приговоров. Обвиняют в измене, в пораженчестве, в союзе с врагами России. Можно быть уверенным, что, будь эти настроения всеобщими, или хотя бы широко распространенными, власть отказалась бы от их популяризации. Советские прокуроры все же рассчитывают на сочувствие масс. Сталинский режим все еще построен на демагогии. Значит, обвине-

ния в измене дискредитируют врага в глазах народа. Вероятно, пораженческие настроения существуют. Но они еще не успели отравить всего народного организма. Еще проводят различие между родиной и властью, еще не отказываются защищать родину. Кто, какие слои, с какой энергией, мы не знаем. Знаем только, что все направление внутренней политики, вся эта опричнина, губящая всех без разбора, не может убивать здорового патриотического чувства, не может не деморализировать страны.

В этом состоит главная опасность сталинского режима. Фашизм, себя до конца не определивший, вымещающий на всех классах населения свою собственную неуверенность и свои шатания, ведет войну со страной накануне все более вероятной внешней войны. Пути национального примирения обозначились давно уже с достаточной ясностью. Сталин видел новую дорогу, но оказался неспособным пойти по ней. Почему? Неистребимые ли остатки марксизма, переродившиеся в его сознании в какую-то религию террора, дикая ли и мрачная тяжесть его натуры, ценящая сладость мести выше государственного расчета, прямая ли потеря душевного равновесия, – кто знает? Для России важен не сталинский психоанализ, а голый факт: Сталин не годится в народные вожди. За такого вождя Россия может заплатить дорогой ценой. Бессилие оппозиции грозит отравить весь организм нации, разложить всякую социальную активность и сделать страну опять, как на исходе старого режима, жертвой военного разгрома.

Певец империи и свободы

Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остается связанным с историей русского политического сознания. В 20-е годы вся либеральная Россия декламировала его революционные стихи. До самой смерти поэт несет последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался, в глазах правительства, всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И, как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном своем памятнике он все же высек слова о свободе, им восславленной.

Пушкин-консерватор не менее Пушкина-революционера живет в кругу политических интересов. Его письма, его заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком (как не был ученым-историком). Но у него был орган политического восприятия, в благороднейшем смысле слова (как и восприятия исторического). Утверждая идеал жреческого, аполитического служения поэта, он наполовину обманывал себя. Он никогда не был тем отрешенным жрецом красоты, каким порой хотел казаться. Он с удовольствием брался за метлу и политической эпиграммы и журнальной критики. А главное, в нем всегда были живы нравственные основы, из которых вырастают политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.

Могло ли быть иначе при его цельности, при его укорененности во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему

философии? Пушкин никогда не отъединял своей личности от мира, от России, от народа и государства русского. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчиненное эстетическому, не позволяло принять все действительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая I. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречься от того, что составляло основу его духа, от свободы. Свобода и Россия — это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.

Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственном — природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужеском — государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой дается одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и Свобода.

Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада — духа и силы — не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист, — Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией — русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается. К нему самому можно приложить его любимое имя:

Сей остальной из стаи славных
Екатерининских орлов.

Изучая движение обеих политических тем Пушкина, — мы видим, что одна из них не перестает изменяться, постоянно сдвигает свои грани, и в общем указывает на определенную эволюцию. Выражаясь очень грубо, Пушкин из революционера становится консерватором. 14 декабря 1825 года столь же грубо можно считать главной политической вехой на его пути. Мы постараемся лишь показать, что, как в декабрьские свои годы, Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании. Зато другая тема, тема империи, остается неизменной. Это константа его творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два «Воспоминания в Царском селе». Одно лицейское 1814 года, то самое, которое он читал на экзамене перед Державиным, другое 1829 года, по возвращении, после долгих лет изгнания, в священные сердцу места. При всем огромном различии художественной формы тема не изменилась; остались те же сочетания образов: «великая жена», Кагульский памятник[1], столь дорогой ему по воспоминаниям отроческой любви.

Увы, промчалися те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия, —

вздыхает отрок. И зрелый Пушкин отвечает:

Еще исполнены великою Женою
Ее любимые сады.
Стоят населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Героические воспоминания минувшего века окружают детство Пушкина. Летопись побед России воплощается в незабываемых памятниках, рассеянных в чудесных садах Екатерины. Личная биография поэта на заре его жизни сливается с историей России: ее не вырвать из сердца, как первую любовь.

Гроза 1812 года глубоко взволновала царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения.

Но замечательно, что за ней он прозревал век еще более могучий, которого последними отпрысками были герои 1812 года. Слагая оды Кутузову, Барклаю де Толли, он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков же для него и генерал Раевский — «свидетель екатерининского века» прежде всего, и уже потом «памятник 12 года». Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века — века славы — из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, князь Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н. К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал. Нахлынувшие в молодости революционные настроения нисколько не поколебали у Пушкина этого отношения к империи — не только в прошлом ее великолепии, но и в живой ее традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изучать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так называемых байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» — там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:

Свобода, он одной тебя
Еще искал в подлунном свете...

Байрон — и Вальтер Скотт — конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между черкесами и казаками. Чтобы примирить свое сердце с имперским сознанием, — свободу со славой, — он делает русского пленником и подчеркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казацкие линии и русские штыки становятся сами символом свободы:

Тропой далекой,
Освобожденный пленник шел,
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в Эпилоге гимн завоевателям Кавказа — Цицианову[2], Котля-

ревскому[3], Ермолову[4], не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встает Котляревский, — «бич Кавказа». Стихи, ему посвященные:

Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена, —

вызвали в свое время гуманные и справедливые замечания князя Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести... Гимн поэта никогда не должен быть славословием резни».

Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а, следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне империи находит свою параллель в оде «Вольность» — гимне свободе.

Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» дает настоящее разрешение пронесшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией проносится, как примиряющее и возвышающее воспоминание:

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал...
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой...

В «Полтаве», в «Медном Всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент; она составляет самую душу поэм: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Петр, истинный ее герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Этот памятник, с теми же аполлиническими и грозными чертами императора, оживает и в петербургской поэме. В «Медном Всаднике» не два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение! Нева кажется почти живой, одушевленной, злой силой:

Осада, приступ! Злые волны,
Как воры, лезут в окна...

Продолжая традиционную символику — законную, ибо Всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу — стихии? Ясно, что это тот самый змей, которого топчет под своими копытами всадник Фальконета. Но кто он или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царем. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж, конечно, не стихийным было 14 декабря. Пугачевщина скорее напоминает разлив волн. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконета, как для людей XVIII века, змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Петр: скорее всего старую, московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение — это все иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, бунте. Русская жизнь и русская государственность — непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня империи или в волнах революции.

Конечно, и Всадник империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:

Ужасен он в окрестной мгле.

Называя его «кумиром», поэт подчеркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» божествен:

Он весь как Божия гроза.

Но что это за божество? Кто это «бог браней» со своей благодатью? Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение отрока поэта? — «Дельфийский идол», «полон гордости ужасной» и дышащий «неземной силой».

Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос империи, которым живет Пушкин. Мы уже видели срыв военных строф «Кавказского пленника». Этот срыв неизбежен в песнях войны. На бранном поле Аполлону трудно сохранить

благородство своей бесстрастной красоты. Где кровь, там торжествует стихия: «И смерть и ад со всех сторон».

Пушкин любил войну — всегда, от детских лет до смерти. В молодости мечтал о военной службе, в тридцать лет, в Эрзерумском походе, мчался — единственный раз в жизни — в казачьем строю против неприятеля. За отсутствием военных впечатлений, всю жизнь возился с оружием, искал в дуэлях волнующих ощущений. Даже Николай Павлович импонировал ему «*войной*, надеждами, трудами».

Бесполезно поэтому видеть в империи Пушкина чистое выражение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта, как и в жизни государства — отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольские оды («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») являются ярким воплощением политического аморализма:

> Славянские ль ручьи сольются в Русском море,
> Оно ль иссякнет?

Это чистый вопрос силы. Самая возможность примирения враждующих славянских народов, возможность их братского общения игнорируется поэтом. И здесь, как в гимне Котляревскому, Пушкин имеет против себя князя Вяземского — и А. И. Тургенева. Зато можно представить себе, что былые друзья его — декабристы были бы с ним в этом отношении к польскому восстанию 1830 года. Имперский патриотизм был не менее сильной страстью революционеров 20-х годов, чем самое чувство свободы. Великодушное отношение к Польше императора Александра глубоко их возмущало. В этом нечувствии к Польше, к ее национальной ране, Пушкин, как и декабристы, принадлежит всецело XVIII веку.

Но, если это так, если империю нельзя очистить до значения нравственной силы, не разрушает ли она свободы? Каким образом Пушкин мог совмещать служение этим двум божествам?

Вернемся к «Медному Всаднику», который дает ключ к пушкинской империи. В этой поэме империя представлена не только Петром, воплощением ее титанической воли, но и Петербургом, его созданием. Незабываемые строфы о Петербурге лучше всего дают возможность понять, что любит Пушкин в «творении Петра». Совестно цитировать то, что мы все пом-

ним наизусть, что повторяем ежедневно, как благие чары против тоски и смуты нашей жизни. Но, не цитируя, стоит лишь напомнить, что все волшебство этой северной петербургской красоты заключается в примирении двух противоположных начал: тяжести и строя. Почти все эпитеты парны, взаимно уравновешивают друг друга: «громады стройные», «строгий, стройный вид», «узор чугунный». Чугун решеток прорезывается легким узором; громады пустынных улиц «ясны», как «светла» игла крепости. Недвижен воздух жестокой зимы, но легок зимой «бег санок» и «ярче роз — девичьи лица». Как торопится Пушкин набросить на гранитную тяжесть своего любимого города прозрачную ясность белых ночей, растворяющих все «громады» ее спящих масс в неземном и призрачном. И даже суровые военные потехи марсовых полей исполнены «стройнозыблемой», живой «красивостью». Пушкин, как и Николай I, любил военные парады. Но, несомненно, они должны были по-разному воспринимать их красоту.

Империя, как и ее столица, для Пушкина, с эстетической точки зрения, это прежде всего лад и строй, окрыленная тяжесть, одухотворенная мощь. Она бесконечно далека от тяжести древних восточных империй, от ассирийского стиля, в котором, например, послебисмарковская и современная Германия ищет воплотить свой идеал мощи.

Но эта эстетическая стройность империи получает — по крайней мере, стремится получить — и свое нравственное выражение. Пушкин по-разному видит Петра. То для него он полубог или демон, то человек, в котором Пушкин хочет выразить свой идеал светлой человечности. Таков он в «Арапе Петра Великого», таков в мелких пьесах. «Пир Петра Великого» — это апофеоз прощения. В стансах 1826 года он «незлобен памятью», «правдой привлек сердца». Но еще более, чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл империи: он «нравы укротил наукой», «он смело сеял просвещенье». Преклонение Пушкина перед культурой, еще ничем не отравленное, — ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, — почти непонятное в наши сумеречные дни, — не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществленной Истории Петра Великого свою

жизнь. И, хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра; подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены» в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, — включая и прозаическую поэзию — Пушкин чтит в венценосцах XVIII века — более в Петре, конечно, — творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между империей и свободой. Мы понимаем, почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 года Пушкин выразился о своем императоре: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения»... В другом месте назвал его «révolution incarnée»[5], со всей двойственностью смысла, который Пушкин — и мы — вкладываем в это слово.

* * *

Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немыслим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта. В известном «Демоне» 1823 года Пушкин дает такой инвентарь своих юношеских — а, на самом деле, постоянных, всегдашних — святынь:

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

При видимой небрежности этого списка, он отличается исчерпывающей полнотой. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что к этим четырем «чувствам» сводится все откровение пушкинского гуманизма. Свобода, слава, любовь и творчество — это его vertutes cardinales[6], говоря по-католически. Правда, это еще не весь поэт. Пушкину не чужды и vertutes theologales[7], на которые он бросает намек в «Памятнике»: «милость к падшим». Чем дольше Пушкин живет, тем глубже прорастают в нем христианские семена (последние песни «Онегина», «Капитанская дочка»).

Но «природный» Пушкин — иначе говоря, Пушкин, созданный европейским гуманизмом, — живет этими четырьмя заветами: свободой, славой, любовью, вдохновением. Он никогда не изменяет ни одному из них, но, если можно говорить об известной иерархичности, то выше других для него свобода и творчество. Он может, во имя свободы, указать на двери любви:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица...

и во имя ее же поставить славу рядом с рабством:

Рабства грозный гений
И Славы роковая страсть...

Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.

Следя за темой империи у Пушкина, мы в сущности следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать ее политическими рамками. Движение этой темы у Пушкина, во всей ее полноте, может многое уяснить и в изменчивой судьбе его политической свободы.

«Свобода, вольность, воля»... особенно «свободный, вольный»... нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так часто, что мы к ним привыкаем, и они перестают звучать для нас (в этом омертвении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаем ли мы вполне смысл таких строк:

Как вольность, весел их ночлег?..

Чувствуем ли мы всю странность этого образа:

...под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна, —

издевающегося над всеми законами астрономии?

В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно умному цензору, разглядеть серьезность и почти религиозную силу пушкинского свободолюбия:

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?

В чем только, в каких образах Пушкин не искал воплощения своей свободы! В вине и пирах, в орле, «вскормленном на воле» и в беззаботной «птичке Божией», в волнующемся море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо не удавшегося юношеского «Вадима»): «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Цыганы». Из поздних свобода, конечно, одушевляет «Анджело».

Но, в отличие от темы империи, тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит все новые ее воплощения, от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.

В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеянном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприемниками свободы Пушкина, как Державин — его империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи — серьезное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и к революционным композициям Давида[8]. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв порабощенных чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, заволакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя все той же, но высшей свободы.

Алеко порвал «оковы просвещения», «неволю душных городов», и это первое освобождение — байроническое — остается

непререкаемым. Он прав в своем бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатрами свободы, и не находит. Почему? Пушкин верит, или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:

Здесь люди вольны, небо ясно...

Но этой ясности Алеко не дано. Он несет в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:

Но, Боже, как играли страсти
Его *послушною* душой.

Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы:

Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли.

Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение — от страстей, на которое Алеко не способен. Способны ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: легкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви; вольнее птицы младость. Кто в силах удержать любовь?

В оптимизме старика-цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин все же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастью детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьезный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году не простая разлука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее прощание с Байроном, революцией — все еще дорогими, но уже отходящими вдаль, но уже невозможными.

С тех пор, на севере, свобода Пушкина все более утрачивает свой страстный, дионисический характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она все более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Ее все более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошел Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью: уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами ее. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова ее, приправленная горечью, последняя декларация (так называемое «Из Пиндемонте»):

Иная, лучшая потребна мне свобода...
Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать...
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права...

Но, если здесь свобода как бы снижается до себялюбия, до индивидуалистического отъединения от мира людей, то на противоположном полюсе она начинает для Пушкина звучать религиозно. Не смея касаться мимоходом чрезвычайно сложного вопроса о пушкинской религиозности, не могу не отметить, что во всех, не очень частых высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстоит ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира, и не в эросе сверхземной любви, а в чаянии последнего освобождения.

Так он вздыхает, заглядевшись на монастырь в горах Кавказа (1829):

Туда, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине,
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Здесь важна интуиция Пушкина, что Бог живет в царстве свободы, и что приближение к Нему освобождает.

Переводя из Беньяна[9] (1834) начало его суровой пуританской поэмы, весьма далекой от всякого чувства свободы, Пушкин роняет стих, который, очевидно, имеет для него особое значение:

Как раб, замысливший отчаянный побег, –

для выражения аскетического отречения от мира.

Даже прелагая монашескую, покаянную, великопостную молитву, Пушкин вкладывает в нее тот же легкий, освобождающий смысл:

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,..

И, наконец, накануне смерти, в послании к жене, он оставляет свое последнее завещание свободы, в котором явно сливаются образы Беньянского беглеца и монастыря на Кавказе.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

* * *

Вглядимся пристальнее в ту линию, которую на общем фоне пушкинского свободолюбия описывает кривая его политической свободы, – свободы, сопряженной с империей.

Пушкин начинает с гимнов революции. Напрасно трактуют их иногда как вещи слабые и не заслуживающие внимания. «Кинжал» прекрасен, и послание к Чаадаеву принадлежит к лучшим, и, что удивительно, совершенно зрелым (1818 года) созданиям Пушкина. Среди современных им вакхических и вольтерьянских шалостей пера, революционные гимны Пушкина поражают своей глубокой серьезностью. Замечательно то, что в них выражается не одно лишь кипение революционных страстей, но явственно дан и их катарсис. Чувствуется, что не Байрон, а аполлинический Шенье и Державин водили пушкинским пером. А за умеряющим влиянием Аполлона как не почувствовать его собственного благородного сердца?

Конечно, срывы есть. Дионисическая стихия мятежа иногда захлестывает, и муза поэта, как в кавказском гимне Цицианову, поет кровь. Строфа из «Вольности»: «Самовластительный злодей» и т. д., которая читается теперь, как проклятие, исполнившееся через 100 лет, конечно, ужасна. Но дочитаем до конца. Поэт, только что выразивший свою радость по поводу убийства Павла, рисует сцену 11 марта:

О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!
Падут бесславные удары —
Погиб увенчанный злодей!

Нравственное сознание торжествует здесь над политическим удовлетворением. Убитый тиран и убийцы-звери одинаково отвратительны поэту. Не находит оправдания в его глазах и казнь Людовика, жертвы предков. Правда, он воспевает кинжал, т. е. террор, т. е. убийство. Но здесь слабый убивает сильного, свободная личность восстает против тирана. Принимая войну и рыцарский поединок, Пушкин не мог возражать против тираноубийства. Но посмотрите, как нелицеприятно наносит он свои удары. Его герои — Брут, Шарлотта Корде, Георг Занд. Убийца императора поставлен рядом с убийцей революционного тирана. В «Вольности» народы и цари одинаково подвластны Закону:

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу, иль Царям
Законом властвовать возможно!

Призыв к «восстанию рабов», угрозы смертию тиранам кончаются идеалом законной, конституционной монархии:

И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Если это декабризм, то декабризм конституционный, Никиты Муравьева, а не Пестеля.

«Деревня» рисует крепостное рабство в России мрачными, тяжелыми красками. Таким видел его Радищев. Злодейства господ, изображенные здесь, как будто вопиют о мести. Восстание угнетенных было бы в этом случае естественным, даже

с художественной точки зрения, разрешением. Но мы знаем, как кончает Пушкин: падением рабства «по манию царя» и зарей «просвещенной свободы».

Отметим также, что, хотя Пушкин поет о страданиях народа и грозит его притеснителям, ничто не позволяет назвать его демократом. Свобода его еще не эгоистична, она для всех. Но опасность грозит ей одинаково и от царей, и от самих народов. Для Пушкина драгоценна именно вольность народа, а не его власть. Это чрезвычайно существенно для понимания политической эволюции Пушкина. Его отход от революции вытекает из разочарования не в свободе, а в народе, как в недостойном носителе свободы.

Мы сказали, что освобождение Пушкина от революционных страстей протекает параллельно с его очищением от страстей байронических. Байрон был для него и политическим героем, борцом за свободу Греции. Кризис настал, или был ускорен, в связи с политическими событиями в Европе. 1820-й год ознаменовался рядом восстаний, угрожавших взорвать реакционный порядок, установленный Священным Союзом. В Испании, в Неаполе, в Германии происходят народные движения, на которые Пушкин и его друзья отзываются радостными надеждами. В Кишиневе Пушкин сам присутствует при начале греческого восстания и восторженно провожает на войну героев гетерии. Поражение всех этих революционных вспышек оставило в поэте горький осадок. По отношению к грекам оно обострилось еще разочарованием в них, как в народе, недостойном великих предков. В конце 1823 года этот кризис нашел себе горькое и сильное выражение в известных стихах:

Свободы сеятель пустынный, —
Я вышел рано, до звезды.

Пушкин сознает себя сеятелем свободы, серьезно относясь к своему революционному призванию. Но он приходит к сознанию бесполезности своих — и общих — усилий:

Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь!

Жестокие слова, срывающиеся из-под пера (снова срыв) – не проклятие свободе, а проклятие рабам, не умеющим за нее бороться. Но это поворотный момент. Здесь, а не 14 декабря 1825 года, первое рождение пушкинского консерватизма. Не отрекаясь от идеала свободы, он уже поражен горечью ее неосуществимости. Его консервативное сознание впервые рождается из скептицизма. Это подтверждается обращенным к А. Н. Раевскому «Демоном», написанным в те же дни.

«Неистощимой клеветою» искуситель отрицает все святыни, на которых покоилась религия пушкинского гуманизма:

Он вдохновенье презирал,
Не верил он любви, свободе...

Отрицание свободы для Пушкина равносильно с клеветой на Провидение. И тем не менее Пушкин признается, что он подпадает под власть этих искушений («вливая в душу хладный яд»).

Свобода не теряет для Пушкина своей священности в то время, когда он прощался с ней. Его последнее обращение к морю, как мы указали уже, имеет своей темой свободу, т. е. ту мятежную, революционную стихию, к которой он рвался так страстно – в греческом ли восстании, или в декабристском заговоре. Но об этой ли «свободной стихии» Пушкин мечтает, бессознательно (как бы обертоном), говоря о своих несбывшихся надеждах:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег...

Эта твердая почва, на которой он стоит, – почва России, быта, консерватизма, – не имеет еще для него ни малейшей прелести. Но свобода неосуществима, и мир постыл – именно потому, что в нем нет места свободе:

Мир опустел...
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.

Эту мысль он повторяет – только с еще большей горечью, на этот раз обращенной к самой изменчивой стихии моря – в 1826 году в письме к князю П. А. Вяземскому:

Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун – земли союзник.
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник.

Хорошо известен политический намек, заключающийся в этих словах (слух об аресте Н. И. Тургенева), и совершенно ясно, что, обвиняя море, Пушкин еще не предпочитает ему суши, и что величайшими преступлениями для него являются те, которые совершаются против свободы.

Много лет пройдет, пока в «Медном Всаднике» (1832) Пушкин не увидит в ярости бушующей водной стихии – злую силу, и не станет против нее с Петром:

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия!

Что в Пушкине жив, и после прощания с морем, эпос свободы, хорошо видно из «Андрея Шенье», написанного им «на суше», в Михайловском, в период «Бориса Годунова» (1825). Это стихотворение совершено подобно «Вольности» и «Кинжалу» в своей двусторонней направленности против тирании царей и народа. Замечательно, что гибнувший под революционным топором поэт – а с ним и Пушкин – не смеет бросить обвинения самой свободе, во имя которой неистовствуют палачи:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, не виновна ты...

В 1825 году Пушкин на распутьи. Позади море, юг, революция – перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового чувства России 14-е декабря упало, как молния. Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор – для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камер-юнкер или певец империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.

Корни пушкинского консерватизма – вполне предопределенного – многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на ее политические возможности, на роль ее исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение – от Карамзина к Погодину – легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось прежде всего реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанный атмосферой 1812 года. У его истоков «История Государства Российского», в завершении – русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом графа Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности, как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму), чем к Каченовскому[10], к Погодину, чем к Полевому.

Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14-е декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой явственно и болезненно для нас встает в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность – определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит все к той же свободе – на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки какой бы то ни было ценой: не удастся бегство из России, эмиграция, – остается договориться с царем. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай I показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актером, и Пушкин запутался в сетях царя.

Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н. Н. Гончаровой и отношением его к Николаю. Пушкин был прельщен и порабощен навсегда – в одном случае бездушной красотой, в другом – бездушной силой. С доверчивостью

и беззащитностью поэта, Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом — Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавшим его на жизнь, полную мелких терзаний и бессмысленных унижений.

Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь родину, семью, быть певцом родной земли и вкусить лояльной, не блуждающей любви. Возьмем первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носителей свободы, и проклинал царей своего времени — Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолюбивой империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политических темы своей музы: империю и свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царем, где он предлагает ему идеал Петра, — разве это измена? Пушкин долго живет надеждами, ловит в словах нового самодержца проблески просвещенной доброй воли; ошибаясь, бранится, будирует, но не разрывает новой лояльности.

Впрочем, отношения Пушкина к Николаю I слишком сложны, чтобы их исчерпать в нескольких строках. Столь же сложен стал образ свободы у Пушкина в последнее десятилетие его жизни. С уверенностью можно сказать, что поэт никогда не изменил ей. Со всей силой он утверждает ее для своего творчества. Тема свободы поэта от «черни», общественного мнения, от властей и народа, становится преобладающей в его общественной лирике. Иной раз она звучит лично, эгоистически: «себе лишь одному служить и угождать», иной раз пророчески-самоотверженно. Но рядом с этой личной свободой поэта не умирает, хотя и приглушается, другая, политическая тема. Все чаще она, никогда не имевшая демократического характера, получает аристократическое обличие. Впрочем этот аристократический либерализм Пушкина оставил больше следа в его заметках и письмах (рассуждения о дворянстве, замечания великому князю Михаилу Николаевичу о Романовых — niveleurs[11]), чем в поэзии. Нельзя, впрочем, не найти в «Борисе Годунове» отражения собственных политических идей поэта хотя бы в словах фрондирующего Пушкина, его предка, или в похвалах князю Курбскому.

Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачеве».

Не случайно, конечно, Стенька Разин и Пугачев, наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачева под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических центра: Пугачев и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачева за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, за силу, за проблески великодушия. Пугачев, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «чем триста лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой крови», — это ключ к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его империей, и николаевским или погодинским государством Российским. Конечно, Пушкин не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы — и даже довольно тяжкие. Таково его удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого или защита цензуры в антирадищевских «Мыслях на дороге». Но все эти промахи и обмолвки исчезают перед его основной лояльностью. Никогда, ни единым словом он не предал и не отрекся от друзей своей юности — декабристов — как не отрекся от А. Шенье и от Байрона. Никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов князь Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы в своем «Памятнике», духовной в стихах к жене о «покое и воле». Пусть чаемый им синтез империи и свободы не осуществился — даже в его творчестве, еще менее в русской жизни; пусть Российская империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами, как перед всеми будущими поколениями, теперь еще более трудная, чем когда-либо, но непреложная, неотвратимая. Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта, если не одухотворит тяжесть своей вновь воздвигаемой Империи крылатой свободой.

После Оксфорда

Одним из самых ярких показателей глубины современного кризиса является участие или, по крайней мере, заинтересованность в нем христианской Церкви. В одних странах, как жертва, в других, как соработница, в третьих, как голос, оценивающий совесть, но Церковь повсюду вовлечена в политику, вовлечена в узел кажущихся неразрешимыми экономических, социальных, национальных проблем. Это дается Церкви нелегко. Мы очень далеки от тех теократических времен, когда Церковь брала на себя ответственность за все, совершающееся в мире. За последние четыре века — века индивидуалистической культуры, — религия привыкла удовлетворяться отведенным ей местом и кругом вопросов личного спасения. Сделавши «из неволи добродетель», она даже полюбила эту свободу от мира, эту жизнь в разреженном воздухе чистой молитвенной духовности. Правда, платой за эту «чистоту» духа было безоговорочное принятие сложившихся общественных отношений в миру. Никогда в своем героическом прошлом Церковь не была так связана с господствующими группами и формами общественной жизни, как в эти века духовного индивидуализма. Цена казалась не слишком дорогой; отдать «кесарево кесарю», отказавшись от мечты о христианском его перевоспитании, и ограничиться делом спасения. В той или иной степени это относится ко всем христианским исповеданиям, хотя по-разному понимается ими спасение и не похожи чеканящиеся на динариях обличия Кесаря. Аполитизм в Церкви нарушался обыкновенно лишь тогда, когда приходилось защищать кесаря от его противников;

абсолютную монархию от либерализма и демократии, капиталистическую систему от социализма. Эта защита совершалась по наивной уверенности в прочности, «богоустановленности» сложившихся порядков и не столько, быть может, из чувства сервилизма, сколько в интересах — конечно, ложно понятых — все той же духовной свободы. Какими бесконечно далекими от нас кажутся эти времена, хотя в России их отделяют от нас каких-нибудь два десятилетия.

В мире нет уже ни одной абсолютной монархии и ни одной страны, где капитализм представлял бы живую, действующую систему, а не ее хаотические обломки. Уже и демократия, победившая повсюду монархическое самодержавие, стоит пред собственным грозным кризисом. Уже и социализм, «победивший в одной стране», раскрыл свои глубокие внутренние противоречия. Стало трюизмом повторять, что мы живем в эпоху одной из величайших социальных и культурных революций, какие когда-либо переживал мир, а в эти годы, в шуме политических событий, все чаще слышится голос христианских церквей, защищающих не только вечную жизнь против посягательств временного, но и само временное, саму человеческую историю от угрожающего уничтожения. Замечательно, что эти голоса Церкви, за редкими исключениями, перестали быть чисто охранительными. Что защищать? Какого кесаря стоит еще оборонять от врагов? Все законные кесари впали в полное бессилие, а сильные и новые узурпаторы — те ненавидят Церковь и не ждут от нее — слава Богу — ни благословения, ни опоры. Если мир будет существовать — мир культуры, скажем точнее: мир европейской культуры, — он должен быть перестроен заново; в этом, кажется, никто не сомневается. Беда лишь в том, что точный план нового здания никому не известен.

Только что (12–25 июля) состоялся в Оксфорде всемирный конгресс христианских церквей, посвященный вопросу: «Церковь, народ и государство». Этот съезд, наряду с Эдинбургским того же месяца, является последней и самой мощой манифестацией того, что принято называть христианским экуменическим движением. Движение это можно было бы, в порядке пародии, назвать христианским Интернационалом, хотя участники его с негодованием отвергают такое сравнение. Действительно, есть глубокое внутреннее отличие между всеми внешними

формами сотрудничества народов и движений, которые именуются интернациональными и религиозными встречами людей, связанных общей молитвой прежде общего дела. Но, с другой стороны, экуменические собрания не вселенские соборы, даже вообще не соборы Церкви, ибо в них отсутствует само единство церковного общения, так как участники их принадлежат к разным, часто бесконечно далеким друг от друга религиозным общинам. Это не соборы, но новый опыт соборования — совершенно небывалый в христианской истории. Трагическое разделение церквей остается. Никто не пытается умалять его значения, или преуменьшать пределы вероисповедных отличий. Разногласия существуют по-прежнему. Чего нет, — это атмосферы вражды и подозрения, с которым относились доныне друг к другу христиане разных церквей и толков. Соединение церквей — еще бесконечно далекая задача, едва различимая в исторических перспективах, но соединение христиан в любви и надежде (если не в вере) — в молитве и общем деле есть уже осуществляющийся факт. Но, ведь, это уже бо́льшая половина пути к конечной цели. И когда думаешь о том, как быстро пройдена она, достигнутое кажется почти чудом.

В 1925 году в Стокгольме, по почину покойного архиепископа Седерблома[1], состоялся первый мировой экуменический съезд. Конечно, ему предшествовала большая подготовительная работа. Экуменические встречи, особенно миссионерские, происходили и раньше со времени войны и даже перед самой войной. Но Стокгольм был первым экуменическим конгрессом, на котором присутствовали представители всех церквей и хоть сколько-нибудь значительных христианских общин, кроме римской. Стокгольмский съезд, собравшийся в юбилейную годовщину первого вселенского (Никейского) собора (325 год), по замыслу устроителей должен был служить первым шагом в деле соединения церквей. Таким образом он ставил себе по существу экуменическую, а не социальную задачу. Но для того, чтобы этот первый шаг мог быть сделан, устроители не могли найти лучшей конкретной темы, чем тема социального служения. Разделенные догматами и канонами, христиане могли прежде всего объединиться на общем деле. Послевоенная Европа, взволнованная и еще не вошедшая в берега, требовала большой работы — умиротворения, строительства, организации. Христи-

анской жертвенности было в чем проявить себя. Так создалось широкое экуменическое движение социального христианства под именем «Жизни и дела», – короче «Стокгольм» со своим журналом, своим постоянным бюро, исследовательским институтом в Женеве. Наряду с этой социальной ветвью экуменической работы вырастали и другие. Через два года после Стокгольма был съезд в Лозанне, посвященный догматическим вопросам, тоже оставивший после себя постоянную организацию («Вера и строй»). Образовались и иные ветви экуменического движения: Миссионерский Совет, «Дружба народов через церкви» и т. п. Особенно деятельны юношеские организации, студенческие и общие, возникшие еще и прошлом столетии.

Судьбе угодно было, чтобы Стокгольмское движение («Жизнь и дело») оказалось наиболее актуальным. Из средства для экуменического сближения, из удачно выбранной темы для общей мысли и работы, движение социального христианства приобрело, в жестоких условиях времени, самодовлеющее значение. Как много изменилось за эти двенадцать лет, протекших между Стокгольмом и Оксфордом – вторым всемирным конгрессом социального христианства. Стокгольм был временем всеобщего оптимизма, веры в близкое и безболезненное разрешение всего узла послевоенных проблем: время Бриана[2] и Штреземана[3], Локарно[4], пакта Келлога[5], братания вчера враждовавших народов. Социальный вопрос не вставал еще в своей остроте в эпоху послевоенной горячечной prosperity[6]. Россия, с кровавой революцией, казалась единственной раной на теле Европы. Но Россия была далеко – да и в Европе ли? Русская беда казалась наказанием за чисто русские грехи, да и сама эволюция большевизма в эпоху Нэпа действовала успокоительно. Двенадцать лет, – и вся картина изменилась. Экономический кризис разразился и, углубляясь, принял структурную форму, обнаружив обреченность старой хозяйственной системы. В половине европейских стран, на развалинах демократии, установилась более или менее тираническая диктатура. Разговоры о разоружении сменились всеобщим усиленным вооружением. В разделенной на два военных лагеря Европе растут национальные антагонизмы, зреет ненависть, – наконец, и война уже вспыхивает то там, то здесь на мировой карте – Китай, Абиссиния, Испания – угрожая каждый день общим пожаром. Гитлеровская револю-

ция была рубежом двух эпох. Это был обвал не только молодой германской демократии, это был обвал целой культуры.

Социальный вопрос или комплекс вопросов, перестал быть одним из многих, он стал вопросом жизни и смерти. Изменилась и связь его, для христианства, с вопросом экуменическим. Теперь он уже не столько дает пищу для слабо разгорающегося экуменического движения, сколько требует от этого, ныне уже мощного движения мобилизации всех сил для своего собственного решения, т. е. для спасения человечества от непосредственно угрожающей гибели.

2.

От Стокгольма — к Оксфорду. Резкой перемене всей исторической обстановки соответствует возросшая зрелость, содержательность и решительность ответов или формулировок. В Стокгольме формулировались общие места социального христианства; ударение ставилось скорее на этической необходимости социального служения в разнообразных его формах. В Оксфорде — это конкретные ответы на трагические вопросы жизни. Дело идет уже не о социальном воспитании христиан, а о немедленном, организованном воздействии их на мир. Как, в каких направлениях, в каких целях, какими средствами? Ясно, что среди тысячи собравшихся христиан разных стран, разных партий и общественных положений не могло быть полного единства в этих ответах.

В социальной жизни верующие, как и неверующие, далеко расходятся во взглядах, нередко вступают в борьбу между собою, оказываясь на разных сторонах военных и революционных фронтов. Трагический пример — Испания. Невозможность общезначимого ответа заставляет опасаться подмены подлинных решений искусными формулами, прикрывающими пустоту содержания блеском фразы, в религиозной мысли особенно отвратительной. Многое заставляло отнестись скептически к успеху подобного съезда. Готовиться много лет, собрать тысячу людей со всех материков для того, чтобы в результате двухнедельных дебатов отделаться ничего не говорящими резолюциями, — это ли не катастрофа, могущая погубить все молодое социально-христианское движение?

Этого не случилось. Резолюции или тезисы Оксфорда очень содержательны, очень конкретны и даже радикальны при всей своей нынешней сдержанности. Эти тезисы принимались единогласно. Это может показаться невероятным. Руководители конгресса, ответственные редакторы комиссий избрали следующий путь. Они стремились всюду добиться наибольшей конкретности, содержательности, остроты. Но там, где граница единодушия была достигнута и начинались разногласия, редакция тезисов честно указывает их. Таким образом четко определяются границы единства христианского общественного мнения. Если это мнение более или менее точно отразилось в Оксфорде, то приходится удивляться, как велика область этого единства, несмотря на серьезность разногласий. В этом самый отрадный итог Оксфорда.

В 1937 году конгресс сосредоточил весь широкий круг социальных проблем вокруг одной, самой острой и болезненной для Церкви темы современности. Эта тема «Церковь и государство» (или, точнее, «Церковь, народ и государство») определилась для мирового христианства, конечно, опытом германского расизма. Для нас, русских, она поставлена давно; но едва ли есть страна христианского мира, которая, в той или иной степени, не чувствовала бы на себе его исторической тяжести. Вопрос, конечно, не новый, вопрос тысячелетний. Все западное средневековье истекало кровью в борьбе за его решение. Но светское, тоталитарное государство есть совершенно новый факт в истории мира. Этот факт связан с провалом демократического гуманизма последнего столетия и со всем сложным комплексом современного духовно-социального кризиса. Было бы слишком легко для христианства ограничиться самообороной, обличать гонителей, предъявить свое непререкаемое (хотя столь часто в истории отрицаемое) право на свободу совести. Но это было бы лишним воплем утопающего, S. O. S. с гибнущего корабля в океане разбушевавшегося Левиафана. Какая человеческая рука может остановить преследование христиан в России, в Германии, в стольких других местах? Да и христианская совесть не мирится с подобным ограничением. Спасать нужно не страдающие христианские общины, а весь погибающий или угрожаемый мир. Вот почему тема «Церковь и Государство», оставаясь центральной на съезде, была лишь точкой кристалли-

зации целого ряда социальных и политических проблем. О широте этих тем свидетельствуют секции, на которые разбился съезд, и выработанные ими доклады. Эти секции следующие: 1. Церковь и народ; 2. Церковь и государство; 3, Церковь, народ и государство в их отношениях к экономическому строю; 4. Церковь, народ и государство в отношении к воспитанию; 5. Вселенская Церковь и мир народов. Последняя секция (международных отношений) выделила подсекцию по самому жгучему и трудному вопросу — о войне,

Каждая из секций представила съезду обширный доклад в виде тезисов, суммарно и единогласно принятых съездом. Познакомимся вкратце с содержанием важнейших из них.

Два общих предварительных замечания. Доклады всех секций предваряются догматическими обоснованиями. С первых же строк мы чувствуем, что перед нами не резолюции политического или общественного собрания, но что политически звучащие формулы идут из совершенно иной глубины. Это лишь социальные проекции религиозного опыта церкви. Потребность в догматическом обосновании тезисов была велика — у всех членов конгресса. Но в то же время эти обоснования — несомненно его самое слабое место. При догматическом разномыслии и пестроте, господствовавших в Оксфорде, было, конечно, немыслимо найти удовлетворяющие всех формулы. Приходилось ограничиваться догматическим минимумом, и этот минимум, естественно, оказывался звучащим по-протестантски. Влияния православных и англикан было достаточно, чтобы устранить чисто протестантские доктрины; но остался особый тон общехристианских мест, который окрашивает скорее проповедь пастора, чем священника. Замечательно, все же, что этот искомый минимум был все же догматическим. Одна секция нашла его в учении о «суверенности» Бога, другая — в догмате Воплощения. Часто этическое обоснование, даже в терминах Нагорной проповеди, сознавалось недостаточным. В этом сказался догматизм нашего времени. Насколько упрощеннее был подход к тем же самым проблемам у христиан XIX столетия!

Другой красной нитью, проходящей через тезисы всех секций, был призыв к покаянию — призыв, обращенный не к миру, не к безбожникам, а к самим себе, к христианам, к Церкви. Все почти доклады подчеркивали вину христиан и их ответственность

за греховную и трагическую действительность. Дух фарисейства и обличительства как нельзя более был чужд Оксфордскому собранию. В дальнейшем мы опустим эти религиозные и этические предпосылки, ограничившись лишь социальными проекциями.

Доклад III-ей, экономической, секции дал очень суровую критику современной хозяйственной системы и этнические предпосылки системы будущего. Конгресс отказался от предрешения технических проблем (национализаций, денежная система и прочее), и в этом смысле не дал никакой экономической программы. Но он дал персоналистические предпосылки для нее, исходя из оценки положения в хозяйственном обществе человеческой личности. В критике капитализма в наше время трудно быть оригинальным. Однако конгресс в умеренной форме, но очень радикальной по существу отверг самые основы современного общества. Он признал «препятствиями для социальной жизни»: 1. самое существование классов; 2. те формы неравенства, которые выражаются в различии «возможностей образования, отдыха, гигиены, обстановки», обеспеченности труда; 3. «безответственную власть» лиц и корпораций в экономической жизни. Присоединяя к этому господствующий стимул наживы, конкуренции и трудность осуществления личного профессионального призвания, мы получаем полностью социалистическую критику капитализма, но не с классовой, а человеческой точки зрения. Слово социализм нигде не упомянуто. Да в наше время оно скорее плодит недоразумения, чем содействует определенности. И положительный строй рисуется теми же персоналистическими чертами: «Общество, старающееся преодолеть барьеры классов», социальное обеспечение слабых, равенство образования, возможность осуществлять личное призвание. Бесклассовое общество, постулируемое в Оксфорде, есть несомненно, главное достижение современного социального христианства. Это — черта, отделяющая определенно Оксфордскую тенденцию от папских энциклик, например, и от традиционного морального богословия, учащего о гармонии классов.

Впрочем, Оксфордские тезисы проникнуты духом разумного реализма. Именно поэтому они отказываются предрешать конструкцию будущего общества и предостерегают от утопизма строителей земного рая. Характерен во всех отношениях параграф, осуждающий коммунизм — не как социальную систему, а как вы-

ражение материалистического и утопического мировоззрения. В виду особого интереса этого доклада, приведу его целиком:

«Несправедливости существующего экономического строя вызвали к жизни политические движения, например, коммунизм, которые приняли в некоторых странах чисто антирелигиозный характер. Пред лицом проблем, поставленных современным экономическим строем и позицией этих движений, которые являются ответом на них, Церковь должна изучать эти движения в духе лояльной и строгой критики, в свете Слова Божия. Христиане признают со скорбью, что их слепота и неспособность разобраться в неправде современного положения в значительной степени повинны в рве, вырытом между Церковью и революционными движениями, целью которых является социальная справедливость. Церковь не будет думать, что нападение на нее есть нападение на Бога. Как заявляли многие выдающиеся деятели Церкви за последние годы, требования, выставленные этими движениями в интересах справедливого социального и экономического строя, имеют общие пункты с Евангелием. Однако Церковь должна отвергнуть их утопическую и материалистическую форму. Судьба масс, отторгнутых от влияния христианства, является в настоящее время для Церкви предметом самых мучительных забот».

Как видим, момент церковного покаяния явно преобладает здесь над моментом осуждения.

Опуская подробный, конечно, тоже важный доклад, педагогической секции, переходим к основной и тесно связанной группе тезисов, посвященных современному государству,

Специальное выделение вопроса о нации, конечно, объясняется постановкой его в германском расизме. Интересно, что в английском языке не нашлось и слова, точно передающего немецкое Volk (народ), который поэтому сопровождает в скобках бледное английское community. Для нас имеет особое значение тот факт, что создаваемые «немецкими христианами» богословские теории кое в чем подозрительно перекликаются с русским славянофильством и мессианизмом. Неудивительно, что Оксфордская отповедь им местами напоминает Владимира Соловьева. С большою силой подчеркивается положительное значение многообразия национальных и расовых характеров, в которых заложено различие призваний. Любовь к своему

народу и служение ему является долгом и отдельного христианина и Церкви. Но это служение не есть служение интересам нации: это «чистая проповедь Евангелия» в пределах национальных обществ. «Всякая форма национального эгоизма», приводящая к угнетению других народов и меньшинств или даже к недостатку уважения к их дарам, есть «грех и возмущение против Бога, как Творца и Господа всех народов». Равно греховно «обожествление собственного народа» или признание за ним особого «спасительного откровения» (мессианизм).

Антиеврейская постановка расового вопроса в Германии вызвала необходимость особой декларации конгресса об антисемитизме. Но многие расовые параграфы доклада имеют в виду цветных христиан и положение христианских общин в Америке и Африке, вооружаясь, например, против внесения в богослужебную жизнь каких-либо различий по расе и цвету кожи (особые храмы для негров).

Тезисы о государстве составлены с сугубой осторожностью. Приняты во внимание, как Вселенский, так и Поместный характер христианских церквей — последний, обязывающий к лояльности по отношению к народам и государствам. Государство объявляется богоустановленным учреждением, хотя и способным, по греховности человеческой природы, само становиться «орудием зла»: у Церкви и Государства разные сферы, но есть и общее поле экономической, культурной и другой работы, где эти сферы скрещиваются. Государство, имеющее «высший авторитет» в своей области, не является однако «высшим источником закона, но скорее его гарантом, служителем, а не господином справедливости». Последний авторитет для христиан — воля Божья. В силу этого государство не является носителем истинного суверенитета. Обязанности христиан по отношению к государству заключаются не только в повиновении ему и молитве за него, но и в «критике его, поскольку оно уклоняется от справедливости, определенной Словом Божиим», и даже неповиновении государственному приказу. Вместе с тем «проникновение во все законодательство и управление принципов, согласных с достоинством человека, как образа Божия»» является также долгом христиан и Церкви. Необходимая свобода Церкви включает и свободу воспитания и свободу исповедания для меньшинств, даже враждебных господствую-

щей национальной церкви, и «свободу для всех граждан, тех возможностей, которые обеспечивают осуществление» непосредственно религиозных целей.

Государство, связанное внутри законом справедливости, вовне связано тем же законом по отношению к семье народов или государств. «Безусловный суверенитет нации есть зло». Международный порядок составляет предмет особых попечений Церкви как вселенского целого. Церковь поддерживает все учреждения, направленные на поддержание мира и справедливости между народами (особо оговаривается значение Лиги Наций при всех ее несовершенствах). Работа в пользу морального разоружения и «экуменического воспитания», конечно, есть первый церковный долг в этой области.

Когда все усилия людей доброй воли оказались тщетными, и разразилась война, каково должно быть поведение христианина? Таков был самый мучительный вопрос для собравшихся в Оксфорде, как и для всех нас, живущих все время под знаком войны. В осуждении войны конгресс был единодушен. Не было допущено никаких извинений или смягчений, никаких романтических иллюзий, которыми еще недавно старались спасать фасад войны даже в христианских кругах. «Война предполагает принудительную вражду, дьявольское надругательство над человеческой личностью и безграничное искажение истины. Война представляет особенное выражение власти греха в этом мире, вызов правде Божией, откровенной в Иисусе Христе Распятом. Никакое оправдание войны не смеет скрывать или преуменьшать значения этого факта».

Единодушные в осуждении войны, оксфордские богословы разошлись между собою в определении поведения пред лицом войны. Удивляться этому не приходится. Будь это иначе, мы могли бы заподозрить их в легкомысленном и словесном прикрытии трагической проблемы. Доклад подсекции указывает на три течения внутри конгресса, не упоминая о численном их соотношении. Во-первых, чистые пацифисты, которые при всех условиях отказываются принимать участие а войне. Во-вторых, условные пацифисты, участвующие в «справедливой войне». Эта оправданность войны для одних определяется международным законом, для других оборонительными и освободительными целями войны: «защита жертв дерзкого нападения

или обеспечение свободы угнетенным». Третьи, пессимисты, считают войну неустранимой, и участвуют в ней, повинуясь приказу государственной власти. Но даже и эта группа делает исключение для тех случаев, где «существует абсолютная уверенность, что отечество сражается за неправое дело (например, в случае неоправданной завоевательной войны)»; тогда отказ граждан от войны будет являться законным. Некоторые из приемлющих войну идут дальше, и готовы видеть в отказе от военной службы отдельных лиц особое призвание от Бога, обращающее внимание на извращенную природу мира, где возможны войны».

Религиозно чрезвычайно значителен и духовно безупречен призыв молиться за врагов во время войны. «Во время войны, как и во время мира, Церковь должна молиться не только за тот народ, в котором Бог поставил ее, но и за врагов этого народа». Сообразуясь с указанием молитвы Господней, христиане «не будут молиться против друг друга». Проведение этого требования в жизни означало бы целую духовную революцию.

Вспоминая наши собственные нравственные колебания в 1914 году, легко заметить, что отношение к войне современных христиан очень напоминает отношение тогдашних социалистов. Какой огромный и тяжелый опыт должен был быть пройден за эти 23 года, чтобы сделать это сходство возможным! С уверенностью можно сказать, что тогда нельзя было найти официальных представителей Церквей, которые стояли бы на точке зрения даже самых умеренных пацифистов Оксфорда. В 1914 году было простительно разделять иллюзию, что война приведет к установлению более справедливых отношений между народами. Сейчас для всех становится ясным, что война – всеобщая, «экуменическая» война – может закончиться только уничтожением цивилизации.

3.

Перечитывая оксфордские тезисы, прежде всего спрашиваешь себя: каков их удельный вес? В какой мере люди, собравшиеся в Оксфорде, представляют духовное состояние современного христианского мира, и какое значение их идеи, их воля могут иметь и хаосе катастрофических событий?

Здесь мы должны тщательно остерегаться всяческих иллюзий. Слишком пылкие надежды сулят жестокие разочарования. Уже и сейчас какой-нибудь скептик, читая эти превосходные декларации, может усмехнуться про себя: «trop beau pour être vrai»[7]. Но и скептицизм так же вреден, как и слепая доверчивость.

Сначала о представительстве. Полноправные делегаты представляли в общем довольно большое число христианских церквей и общин. Но многие из этих общин, особенно американских, имеют весьма скромные размеры. Из крупных национальных церквей нужно прежде всего отметить англиканскую церковь, которая является не только государственной церковью Англии, но и широко распространенным исповеданием по всему англосаксонскому миру. За нею следует протестантские церкви Швеции, Голландии, Швейцарии и других стран и православные церкви на Балканах.

О православном представительстве скажем особо. В общем, подавляющее большинство делегатов принадлежало протестантскому миру. Даже если не включать в него целиком англиканства, с его влиятельными кафолическими течениями. Около половины делегатов прислала Америка, которая в значительной мере и определила оптимистический и волевой характер конгресса. Оксфорд желал бы быть съездом подлинно экуменическим — вселенским. Это ему не удалось — конечно, не по его вине. Обратим внимание на отсутствующих. Об одном из них мы уже упоминали. Римская церковь принципиально отказывается принимать участие в каких-либо собраниях с иноверцами, создавая свои параллельные, униональное и социальное, движения. Для нее христианское единство рождается не в соборовании, а в повиновении верховному первосвященнику, а пути социального служения указываются его энцикликами. Это печальный факт, и факт неустранимый. Вторым отсутствующим, о котором много говорилось на съезде, с сочувствием и сожалением, была германская лютеранская церковь, делегаты которой не получили от правительства паспортов в самый последний момент. Как раз накануне Оксфордского конгресса Гитлер арестовал популярного пастора Нимейера[8] и ряд других церковных деятелей. Отсутствующая германская Церковь все время стояла пред лицом конгресса в нимбе исповедничества, вдохновляя его резолюции; мы видели, что она

определила самую тему конгресса. Третьим великим отсутствующим, о котором, к сожалению, мы не слышали ничего, кроме холодной официальной резолюции последнего дня, была Русская церковь. Для русских делегатов это умолчание о России было горько. Конечно, кровавые страдания русских христиан безмерно превышают тяжесть испытаний христианской Германии. Но к ним привыкли (20 лет!), к ним подходят с другими мерками, да христианская Россия никогда и не была участницей экуменического движения; ее отсутствие не так, потому, и заметно. Наша горечь усугублялась еще одной мыслью. С каким правом представители других христианских церквей могли бы возвысить свой голос против гонений на Русскую Церковь, глава которой торжественно отрицает самый факт гонений[9]. Русская действительность и так трудно доступна для понимания иностранцев.

Эти отсутствующие вместе составляют большинство христианского мира. Их отсутствие и делает экуменическое движение, если не по идее, то в действительности, движением прежде всего протестантским. Позволительно спросить себя, насколько участие другой, отсутствующей, половины изменило бы характер съезда и содержание его решений.

Германия прислала бы представителей «исповеднической» церкви, которые горячо поддержали бы ими же вдохновленные тезисы Оксфорда. Но вместе с ними приехали бы «немецкие христиане» и то центральное «болото», которое всегда ищет компромисса и приспособляется к требованиям власти. Мы знаем, что «исповедническая» церковь представляет лишь меньшинство самых стойких и верных христиан среди протестантов Германии. Расистское движение имеет много приверженцев среди пасторов и теологов, как и вообще среди немецкой интеллигенции. Опора на государственную власть, богоустановленность которой так сильно подчеркивал Лютер, составляла всегда отличительную черту немецкого протестантизма. Новый воинствующий национализм вызвал к жизни богословские теории германского мессианства, кое в чем созвучные русскому славянофильству, но этически очень отличные от него. Словом, без полицейской предусмотрительности Гитлера, в Оксфорде появилась бы небольшая числом, но сильная качеством оппозиция, защищающая идеи христианского национализма,

О настроении отсутствующей Римской церкви известно по папским энцикликам: Quadragesimo anno[10], против коммунизма, национал-социализма и других. В сущности, их содержание не отличается сильно от оксфордских тенденций, хотя конечно, имеет не столь радикальный характер. Римская церковь в наши дни сознательно перестала быть опорой старого порядка (или беспорядка). Она прекрасно отдает себе отчет в смысле и направлении социальной революции нашей эпохи. Но она желает сохранить позицию центра – и не неподвижного, но медленно двигающегося, – сохраняя до поры до времени позицию примирительницы между борющимися классами и народами, – с тем, чтобы в последний момент, без труда и противоречия с собой, благословить победителя. В социальной борьбе наших дней протестанты выступают борцами, нередко революционерами, католики скорее дипломатами, но участниками того же общего дела. Оксфорд и Ватикан – в одной и той же линии исторического движения, хотя Ватикан ненадежный союзник в повседневной борьбе. Его широкие и благородные энциклики, обращенные ко всему католическому миру, не мешают терпеть или вести реакционную или фашистскую политику в отдельных странах: в Испании, в Австрии и, конечно, в Италии. Зато, на католическую совесть мира слова римского первосвященника ложатся более веско, чем националистические выходки итальянских или испанских епископов.

Наконец, Россия и православие. Ибо, среди православных отсутствовала не одна Россия. Их представительство вообще было чрезвычайно слабым. Тридцать делегатов не соответствуют даже численному значению балканского христианства. Правда, среди этих делегатов были ответственные представители национальных церквей, высокие иерархи, и даже главы поместных церквей. Экзарх вселенского патриарха, митрополит Германос[11], занимал постоянное место в президиуме. Но православное представительство носило слишком официальный характер. По признанию авторитетных деятелей балканского экуменического движения, за ними не стоит церковного народа. Широкие массы верующих не имеют никакого понятия о том, что происходит на мировых съездах. Главы церквей считают своим долгом поддерживать экуменическую инициативу. Это уже очень много. Но, конечно, это не дает никаких оснований

предполагать с их стороны — их и их паствы, полного сочувствия принимавшимся резолюциям. Многие православные иерархи в Оксфорд приехали поздно (другие из обещанных не явились вовсе), в выработке тезисов участия не принимали. Лишь небольшая группа профессоров, из которых особо следует упомянуть болгарского деятеля, известного протоиерея Цанкова[12] и парижских русских богословов во главе с протоиереем Булгаковым[13], принимали деятельное участие в секциях. Самое большее, что можно сказать о православной делегации, это то, что она не возражала, не нарушив единогласия в голосовании. Этим самым она, конечно, взяла на себя моральную ответственность, но эта ответственность ни в какой мере не является ответственностью национальных церквей. Ибо, согласно уставу экуменических съездов, их резолюции не связывают никого из участников. Говоря точно, это не резолюции, а тезисы. Они предлагаются всем церквам для внимательного изучения, а не для руководства к действию. Только этим и объясняется возможность единогласия в голосованиях. Если в одних случаях, например, для большинства протестантского мира, они действительно соответствуют среднему или общему состоянию христианского общественного мнения, то в других этого соответствия может не быть. Его несомненно нет в большинстве православных стран, где социальные проблемы стали перед церковным сознанием слишком недавно, где массы слишком мало культурны, где историческая традиция слишком тесно связала национальные церкви с судьбой отдельных государств и националистическим движением. Социальная идея глубоко и органически присуща духу Православия. Ее раскрытие хотя бы в русской религиозной мысли дает основание для многих надежд. Но в настоящем действительность не очень радует. В котле шовинистических и классовых ненавистей, который представляет собою восточная Европа — географическая территория Православия — фашизм разных типов и наименований может долго еще питаться религиозными энергиями православных народов. Во всяком случае, здесь все еще в борьбе, в неопределенности. В настоящем на Восток лучше не возлагать социальных и политических надежд.

В итоге, оксфордские тенденции довольно точно отражают настроение протестантского мира и менее точно, но без

прямых искажений, — мира католического. Лучше всего они соответствуют духу и активности англо-саксонского христианства. Географически, с точки зрения Европы (Рима!) это Запад и Север, политически это страны старой демократии, ее родина, где она имела и имеет религиозное освящение, где она не собирается умирать. Римская церковь, при всей универсальности своей, главным образом опирается на народы центральной Европы, с их очень различными, меняющимися политическими режимами. Удел Православия — Восточная Европа, ныне преимущественно страна диктатур.

Эти политико-географические соображения помогают отчасти ответить на последний и самый важный вопрос: о непосредственном историческом значении и действительности оксфордских постановлений. Наибольшую действенность они, безусловно, имеют в странах англо-саксонского мира, в странах мощных демократий. Это как раз те страны, где влияние христианства на политическую и общественную жизнь еще не исчезло, где религиозная концепция мира, несмотря на века секуляризации, еще вдохновляет политика-реформатора (Рузвельт, Макдональд[14]). И это как раз те страны, от социальной энергии и доброй воли которых сейчас зависят судьбы мира. Восточная Европа обвалилась первой, и с Востока на Запад, как лесной пожар, распространяется огонь разрушения. Центральная Европа сейчас представляет неустойчивую арену борьбы противоположных сил. Предоставленная сама себе, она явно обречена гибели. Сейчас последние надежды — на Запад, на христианский Запад. Если Америка справится с труднейшей проблемой социальной реконструкции, если Англия выйдет из своего, уже не величавого покоя и постарается догнать упущенное не в безнадежном охранении, а в творческой работе, тогда не все потеряно. Новые формы жизни, созданные на Западе, подобно новым техническим изобретениям, или новым лозунгам, на которые так падко измученное человечество, могут пронизать своим лучеиспусканием весь мир. Была же красная Москва в течение стольких лет призрачным маяком для старого мира, тоскующего о чуде избавления и готового принять отовсюду протянутую руку. С Востока шли лучи смерти. Теперь это стало ясно для всех. Жизнь, настоящая человеческая, теплая жизнь сохраняется на Западе, где не зашло еще на культурном и обще-

ственном небе солнце христианства. Говоря языком политики, совершено трезвым и несколько циничным, на Западе сейчас христианский интернационал сильнее рабочего и всяких иных. Но влияние его, как всякой религиозной силы, не поддается точному учету, не вмещается в формы никаких организаций. Оно разливается в воздухе, которым дышит всякий, который составляет невесомую и неуловимую атмосферу духовно-национальной жизни.

Конечно, в наши дни христианство — религия меньшинства. Такой она является по существу и в англо-саксонском мире. Но меньшинством оно было и во дни Константина, когда победило Римскую империю. Весь вопрос в том, каково его качество, какова сила его веры. История мира не раз переживала глубочайшие перевороты и движения, вызванные активным религиозным меньшинством. Сейчас дело идет о чем-то более трудном, чем завоевание Гроба Господня или низвержение Стюартов. Дело идет не о взрывчатом, фанатическом, революционном разряде, скорее разрушительном, чем созидательном. Нам нужно планомерное и организованное усилие нескольких поколений миллионов работников объединенных общей верой и дисциплиной, Может ли дать их сейчас христианский мир? Прямого ответа быть не может. Но те огромные энергии, которые пробуждаются к жизни в экуменическом и социальном христианском движении, дают основания для надежды, Во всяком случае, это последняя надежда старого, «европейского» человечества.

Новый год

Снова вступили мы в круг зимних мистерий, смысл которых все больше утрачивается современным человечеством. Рождество – Новый год – Святки... Тайна христианская здесь сплетается с тайной языческой, уходящей в седую, предрассветную муть истории. Что мы празднуем? Рождение нового года, нового солнца или Богочеловека-Христа? Современный человек забыл о Христе, и о солнце, и о таинственной природе времени, которая символизируется в идее вечного возвращения – Нового Года. Еще 20 лет тому назад, в великую войну эти дни – по крайней мере одна святая ночь, были посвящены примирению. На одну ночь умолкали пушки и пулеметы, братья-враги получали передышку от убийства, могли подумать о том, что было у каждого самого святого, что было отнесено на самое дно души. Кое где братались. Хотелось бы знать, что теперь? Хотя бы на одну ночь в России смолкал ли наган чекиста, сравнявший давно, перед лицом смерти, мучеников Христа и учеников Маркса? Хотелось бы знать также, что празднует вокруг зажженных елок правящая, сытая Россия (та, для которой одной, вероятно, доступны и елки и праздники): уж, наверное, славит в застольных спичах не Христа и не рождение солнца, а все его, божественного Сталина. А что празднует официальная Германия? Должно быть, возрождение древних богов, богов войны, которые, казалось, умерли навеки. И в России, и в Германии – в половине Европы – утрачен не только религиозный, но и моральный смысл мира. Для половины нашего человечества перестали звучать обетованием слова: «На земле

мир», и едва ли в войнах будущего инженеры убийства будут настолько «сентиментальны», чтобы дать своей живой силе передышку на Рождественскую ночь.

В зловещем тумане рождается новый, 1938 год. В тумане, насыщенном испарениями прошлых, настоящих и будущих войн. На двух концах мира война уже свирепствует. В половине Европы к ней готовятся, как к торжеству, как к пиру, ей молятся, как богу — верховному божеству новой языческой Нации. И все без исключения народы вооружаются, хотя многие из них проклинают войну, своими (неизбежными) вооружениями приближая ее взрыв. Пока Европа погружена в свои внутриарийские междоусобия — такие мелкие, если взглянуть на них с точки зрения планеты — против нее собирается гроза с Востока. На Ближнем Востоке арабский мир, на Дальнем — Япония, поднимают восстание против белого, арийского (еще вчера мы сказали бы христианского) человечества. Как некогда испанские графы сами открывали дорогу завоевателям, так теперь Германия и Италия протягивают руку врагам Европы. Есть еще целый черный континент, который пока молчит, затаившись, но завтра одним движением плеч может сбросить в море непрошеных белых опекунов.

Варвары не страшны культуре до тех пор, пока она не порождает своего внутреннего варварства. Но варвары уже завоевывают Европу изнутри. Оголенные от разума и совести энтузиасты насилия с восторгом выбрасывают в мусорную кучу наследие веков (не двадцати ли?). В Европе пытки, в Европе инквизиция, в Европе гетто — и, наконец, в Европе презрение к человеку, которого вовсе не знали счастливые, по сравнению с нами, средние века.

Я знаю, этой черной картине есть что противопоставить. Христианская Европа не умерла и не сдается. Борьба продолжается. Для поднятия бодрости в дни Нового Года можно было бы составить баланс надежд, обзор сил оборонительных и конструктивных. Но, может быть, именно в эти дни позволено и на страницах политического журнала дать место выражению не политических надежд. Ведь народы и культуры процветают и гибнут не от политических фактов. Политическая катастрофа или удача сама по себе являются симптомом действия более глубоких, духовных сил.

Я хотел бы спросить каждого из читателей и себя самого, почему мы празднуем возвращение Нового Года, вечный круговорот времени? Что утешительного в самом факте бесконечного течения времени? Время и смерть изображаются в виде того же седого Сатурна с всегубящей косой. Все, рожденное во времени, в нем и гибнет: таков едва ли не первый лепет философии всех времен. Каковы бы ни были удачи, достижения, прогресс — конец одинаков, как для каждого человека, так и для каждого народа, каждой цивилизации. Пройдут тысячелетия, и пытливые исследователи (какого цвета кожи?) будут спорить о месте, где стояли Париж, Москва, и по кирпичам, извлеченным из-под насыпных холмов, будут восстанавливать непонятные для них формы нашей жизни. И вот тут подстерегает последнее искушение. А не возможна ли обратная (инволюция) человечества? Назад, к обезьяне — уже без всякой надежды на археологическое воскрешение — и дальше — к моллюскам, к мертвой материи? Наука ничего не может возразить против такой перспективы. Но есть возражение непобедимое для тех, кто не забыл еще о смысле Рождественской ночи.

Да, новогодняя ночь, одна не дает никаких оснований для празднества, кроме человеческого легкомыслия. Но не случайно она включилась в цикл Рождественской мистерии. В этой мистерии дано искупление времени. Время лишь в ней теряет свой романтический, кладбищенский тлен.

Что случилось в Рождественскую ночь? Божество вошло в круг времени, вошло в наш мир, чтобы никогда не покидать его. Время, казавшееся для философов — и на самом деле бывшее — каналом смерти, приняло в себя Богочеловека, который навсегда останется со Своим человечеством. Время лишь здесь получило свой смысл, свою необратимость, свое движение — к конечной, победной цели. Эта победа предполагает свободную борьбу человека. Оттого возможны и поражения — и какие! Но, конечно, исход несомненен. Через страдание и кровь, чрез измены и поражения — к последней победе не на небесах лишь, но и на нашей, на Его, земле. Ибо имя Его Эммануил, что значит «с нами Бог».

О свободе валютных операций

В только что пережитом Францией остром политическом кризисе одна деталь останавливает наше внимание: деталь мало заметная, остающаяся на заднем плане политического экрана, но которая, может быть, способна пролить свет на истинный смысл происшедшего. Происхождение кризиса — или, может быть, его инсценировка — еще не ясны. Гром раздался среди безоблачного неба. За одни сутки на бирже происходит загадочное падение франка: Шотан[1] выступает со своей нервической и мало что объясняющей декларацией: обмен парламентскими любезностями — и правительство Народного фронта, казалось, вчера еще столь крепкое, столь удовлетворяющее большинство страны, свергнуто. Ибо то министерство, которое вышло из кризиса, нисколько не похоже на правительство Народного фронта. Оно почти однопартийно, и поддержка социалистов ему далеко не обеспечена. Франция отброшена назад, ко временам чисто радикальных кабинетов, балансируемых между правым и левым крылом. От Народного фронта пока остались имя и связанная с ним фразеология — надолго ли?

Что в точности произошло, пока останется скрытым от глаз публики. Это неизвестное, этот X, сводится к причинам биржевой паники или игры. Мы не знаем, лежат ли в основе ее какие-либо объективные причины (вроде исчерпанности валютного фонда, например), или она была актом чистейшей спекуляции — на этот раз, политической. Не в первый раз в истории Третьей республики биржа «регулирует» выражаемую в парламенте volonté générale [2]. Правда, с другого конца

эта «общая воля» регулируется забастовками, давлением масс. Сознавая всю рискованность последних форм социальной активности, несомненно погубивших правительство Леона Блюма, мы, однако же, в данном случае отказываемся видеть прямую связь между социальными конфликтами и биржевой бурей. За последние дни эти конфликты не имели в себе ничего угрожающего. Общественное мнение было взволновано совсем иным — раскрытием фашистского заговора. Во всяком случае, упреки Шотана, обращенные к рабочим, по отношению к *настоящему дню* были лишены убедительности. Сопоставление двух сенсаций — заговора кагуляров[3] и падения франка — скорее могли бы навести мысль на иную связь событий: на превентивный характер биржевого удара, стремящегося заранее парализовать ожидаемый напор народных масс. Повторяю, закулисная сторона остается смутной. Но бесспорны два факта. Правительственный кризис начался с биржевой паники; закончился созданием правительства под единственным лозунгом: свободы валютных операций. Эта свобода и составляет водораздел, отделяющий радикалов от социалистов и, следовательно, правительство Народного фронта от правительства чисто буржуазного.

Этот лозунг (маленькая деталь!) подчеркнул социальный смысл кризиса: победу тех, кто занимается валютными операциями, и их первенствующее положение в политической жизни страны. Народный фронт, предположим, сумеет объединить рабочих, крестьян и средние классы. Но судьба франка остается в руках «операторов». А от судьбы франка зависят жизни миллионов мелких собственников. Франции имеет, оказывается, два правительства: одно определяется всеобщей подачей голосов, другое — наличностью запасов для валютных операций. Какое убийственное разоблачение для капиталистического строя!

Сегодня нас интересует не выход (действительно, очень трудный) из этого тупика, а политический смысл самого лозунга. Для правой и центральной печати во Франции «свобода валютных операций» — будем говорить для красоты, «свобода спекуляций» — равнозначна с политической свободой. Отмените ее, и вы неизбежно прийдете к диктатуре. Борьба со спекуляцией потребует контроля сейфов, почтовых отправителей, обысков

на границах и т. п. Полный фашизм! Принципы 1789 года не допускают ограничения личной свободы.

Бесспорно, финансовый, таможенный и прочий контроль — вещь назойливая и очень неприятная. Но полиция ведь тоже не очень приятный институт. Возможно ли хоть какое-нибудь вмешательство государства в хозяйственную жизнь без некоторого ограничения свободы? Конечно, нет! Необходимо лишь раз навсегда условиться, чем можно и должно пожертвовать в пользу государства, и перед чем государство должно остановиться как перед святыней. Никто, кажется, не возражает против запрета торговли наркотиками, хотя обыски и облавы, производимые полицией в поисках кокаина, могут быть очень неприятны не для одних преступников. Но когда группа высококвалифицированных гангстеров в Нью-Йорке (или Париже) устраивает сознательно биржевую панику, в результате которой разоряются миллионы, закрываются заводы, рабочие выбрасываются на улицу, страна становится перед угрозой революции, — эта операция должна пользоваться покровом демократической свободы. Когда же та или иная группа гангстеров выводит золото из страны, выбирает его из государственного банка, чем приводит к банкротству само государство, это дело ее свободы. Так что же, есть ли какое-нибудь различие между свободой совести и свободой преступления?

Бельгия, столь родственная Франции по культуре, сумела положить конец преступной свободе спекуляции, сохранив истинную свободу, духовную и политическую. Где этого не сумели сделать добровольно, там это сделали «вожди». И биржа должна была склониться перед политикой, если только вообще ей дозволено было существовать.

Перед Францией два пути: путь Бельгии или путь коммунизма-фашизма. Сохранение привольного и распутного быта XIX века в нашу напряженную и трагическую эпоху невозможно. Социальные конфликты и война с разных сторон требуют одного и того же: дисциплины, организации, ответственности. Демократия, отброшенная сейчас на оборонительные позиции, должна вынести из событий урок. Нельзя дольше жить со дня на день, от одного социального «завоевания» (или поражения) до другого. Должна быть создана отчетливая и продуманная программа реформ, построенная не на классовых притязаниях,

а на примирении законных интересов – подлинно народная программа. Тогда возможен будет и Народный фронт – и еще более широкий, по мысли Блюма, – для ее существования. Смогла же Бельгия объединить вокруг программы ван-Зеленда – де-Мана[4] социалистов, либералов и католиков. Почему же для Франции союз рабочих и средних классов должен оставаться несбыточной мечтой?

Московский процесс

Под гром австрийских событий почти незаметно и бесшумно закончился московский процесс. Он начался мировым скандалом: под конец за ним следила лишь горсточка русских эмигрантов, для которых позор Европы не в силах притупить национального унижения. По существу же, и в Вене, и в Москве Гитлер одержал легкие победы. Если бы представить себе, хотя бы в порядке исторической фантазии, что Гитлеру удалось поставить во главе России и ее коммунистической партии своего доверенного агента, он не мог бы действовать лучше Сталина.

Это Сталин показал или стремился показать, что все вожди партии, все ученики Ленина и деятели Октября (за исключением немногих канонизированных покойников) — предатели и шпионы. Это он раскрыл глаза последним на Западе бескорыстным друзьям Октябрьской революции и заставил их в ужасе отшатнуться от московских палачей. Это он провел черту между французскими коммунистами и социалистами и тем подорвал существование «Народного фронта». Это он облегчил крутой перелом английской политики в сторону соглашения с Германией. Это он расчистил для Гитлера путь в Вену, а может быть еще и дальше. Словом, если смотреть на историю глазами Вышинского[1] или автора детективных романов, вся русская трагедия получает очень простое, «монистическое» объяснение: во главе России стоит германский шпион. Эта гипотеза куда экономнее, в научном смысле, чем гипотеза о десятках и сотнях шпионов — всех, кроме одного, — которая напоминает Птолемееву систему мира.

Если мы, тем не менее, отказываемся признавать Сталина немецким шпионом, то лишь потому, что не верим ни в детективные романы, ни в голый интерес как единственный двигатель истории. История творится в борьбе идей, интересов и слепых страстей, и инстинкт самоубийства торжествует в ней не реже, чем в любой классической трагедии.

Иван Грозный не предавал России полякам и литовцам, но сделал все, что мог, чтобы обеспечить разгром России. Таков и Сталин: не шпион, но вредитель, главный, хотя и не единственный вредитель и головотяп, который все время заставляет своих подручных расплачиваться за свои собственные грехи. С этой точки зрения все политические процессы в России, хотя и в кривом зеркале, представляют отражение единого процесса, в котором единственным обвиняемым, незримо витающим в зале, является Сталин.

Признаемся, тем не менее, что каждое новое судебное действо в Москве ставит перед нами неразрешимые загадки. Человеческая низость бездонна, и Сталину удалось в своей океанографии опуститься до уровней, еще неизвестных истории. Ему мало убивать, ему надо, чтобы враги сами себя убивали морально и всенародно. Это мы понимаем. Понимаем и то, что в изощренной технике ГПУ находится достаточно средств, чтобы добиться желательных результатов. Но то, что произошло в процессе 21, не может быть удовлетворительно разъяснено. Да и будет ли когда-нибудь?

На этот раз Сталин посадил на скамью подсудимых сливки партии — правда, смешав их с чекистами и провокаторами. У большевиков не было людей, пользовавшихся большим моральным весом. Бухарин, принципиальный и чистый, любимец партии, хранитель этических заветов. Раковский — вся жизнь которого задолго до России и до 1917 года прошла в революционной борьбе, которого сам Короленко удостаивал своей дружбы. Рыков, самый русский и «почвенный» из старой гвардии, заступник служилой интеллигенции, которому она в последние годы платила общим сочувствием... Если они сломлены и признали себя преступниками, это значит: будь жив сейчас Ленин и окажись он в руках Сталина, без всякого сомнения, и он признал бы себя германским шпионом — и, быть может, с несколько большим на то правом.

Но именно потому, что перед Вышинским сидел цвет партии, его пьеса не была разыграна так гладко. Впервые за эти годы на процессах прозвучала человеческая нота. Крестинский[2] – хотя он на один день не признал себя виноватым. Бухарин до конца отвергал обвинения в шпионстве и убийствах. Какой огромный вздох облегчения вырвался из миллионов грудей, когда мы прочитали о слабой попытке человека защититься перед лицом смерти. Над всеми политическими расчетами и страстями преобладала радость о человеке, о человеческом достоинстве. Вопрос о том, действительно ли насилие всемогуще, и человека – скажем, современного человека – можно принудить к чему угодно пыткой, страхом, надеждой – этот вопрос бесконечно важнее того, удалось ли Сталину раздавить еще одного врага.

В конце концов, удалось раздавить всех – т. е. тех, что сидят на скамье подсудимых. Других, конечно, убивают за сценой. Но и в этом театральном надругательстве над людьми раздался сдавленный крик – боли, возмущения. На одно мгновение. Но он раздался, и как-то сразу стало легче дышать.

Если, тем не менее, я говорю о неразрешимых загадках процесса 21, то они сводятся к поведению Бухарина. Бухарин не был сломлен. Он защищался до конца, энергично, искусно, ставя прокурора не раз в смешное и глупое положение. Но защищался лишь в очень ограниченных пределах – против обвинений в убийстве и шпионаже. Признавал же он не только свое участие в заговорах, восстаниях и сношениях с иностранными державами, но, что особенно странно, преступность своих действий. Как объяснить это? Если обработка Ежова была признана достаточной для допущения Бухарина на процесс, почему он не сознается во всем? Если его воля не сломлена, почему он признает себя преступником? Последний вопрос распадается на два: прав ли Бухарин в своих фактических признаниях? И почему он не защищал с мужеством революционера своей позиции борьбы со Сталиным, не перешел от жалкой полуобороны к нападению, не разоблачил перед смертью своего и общего врага?

Я знаю ответ, который на это дает Виктор Серж[3]. Бухарин ложно, как и все, обвиняет себя в несуществующих преступлениях (ни восстаний, ни заговоров в действительности не было). Делает же он это из дисциплины перед партией, возглавляе-

мой Сталиным, которая потребовала от него этой тягчайшей жертвы своей честью для блага революции. Признаюсь, это объяснение меня не удовлетворяет.

Если Серж прав, то почему Бухарин, показывая другим пример ленинской партийной этики, остановился перед известной чертой и не признал себя шпионом? Сталинский процесс он испортил, но своей чести не спас. Можно было бы попытаться ввести еще одно осложняющее предположение и сказать, что частичная защита Бухарина была предусмотрена Ежовым и разыграна для того, чтобы придать некоторое правдоподобие чудовищному процессу. Но тогда откуда растерянность и гнев Вышинского, его неловкие попытки заткнуть рот Бухарину, окончательно скомпрометировавшие ульриховский [4] суд?

Мне думается, гипотеза Сержа опоздала на 5 лет, если не больше, и отражает ту партийную мистику, от которой сейчас не могло остаться и следа. Нельзя думать, что Бухарин верит в партию Сталина как продолжательницу ленинских традиций. Сталин, который губит всех ленинцев и поднимает флаг русского национализма, должен представляться изменником всякому истинному большевику. Не мог Бухарин не сознавать, что на скамье подсудимых сидит партия Ленина и что от его мужества на суде зависит последний суд истории над его партией, уже убитой. Бухарин, лично себя защищая, помог Сталину утопить партию в грязи и позоре. Значит, все же был сломлен — как бесспорно сломлены Рыков, Раковский и Крестинский; и его самозащита, с намеком на нарушение какого-то договора с ГПУ, остается неразъясненной.

Но вместе с тем представляется невозможным отрицать вместе с Сержем все фактические признания подсудимых. Общее впечатление, по сравнению с предыдущими процессами: здесь гораздо больше элементов правды, затерянных среди моря лжи. За последние годы политическая борьба в России обострилась. Казнь маршалов является доказательством ее серьезности. Можно допустить, — хотя этого нельзя ничем доказать, — что власть старых честных коммунистов желала переворота, ареста Сталина, резкого изменения курса. Или, может быть, только мечтала об этом. Компрометируя эти, несомненно, массовые настроения связью со шпионажем, с перспективой раздела России, Сталин хочет парализовать популярность заговорщицкого

активизма. В этом политический смысл процесса, поскольку он не является удовлетворением личной и долго питаемой мести: партийного выскочки к ленинской аристократии.

Головотяпство – основная черта Сталина. В преследовании прямой, ближайшей цели он забывает обо всем на свете. Чтобы погубить Ягоду, он не останавливается перед тем, чтобы разоблачить перед всем светом преступные тайны ГПУ. Мы с негодованием и даже с насмешкой встретили сначала обвинения врачей в отравлении. Но когда раскрылась роль Ягоды и его знаменитой лаборатории, наше недоверие было побеждено. В Москве должны быть крепко уверены в возможности таких приемов ГПУ, чтобы эффект разоблачений достиг своей цели. Трудно допустить только, чтобы Ягода не держал Сталина в курсе своих операций. В какой-то момент он изменил ему. Но до того, в течение 10 лет, Ягода был верным его Малютой. К своим историческим эпитетам вождь народов прибавил имя отравителя. И здесь Сталин взваливает на сотрудников своих свои собственные грехи.

Оправдается ли это и относительно немецко-японской интриги? Что-то слишком резко поворачивается Сталин спиной к западным демократиям, чтобы с тревогой не спрашивать себя о следующих поворотах его политики. Литвинов и все его сотрудники уже гибнут жертвой этого еще не выяснившегося поворота. По старой традиции, Сталин, губя оппозицию, перенимает ее программу. Если есть доля правды в германской ориентации оппозиции, то не предвещает ли ее разгром новую германскую ориентацию самого Сталина?

Что происходит в России?

Признаемся, за последнее время следить за событиями в России и понимать в них что бы то ни было — стало необыкновенно трудно. Никогда еще покров лжи, окутывающий Россию, не был так непроницаем, а известия оттуда так противоречивы. Во время процесса «21-го» мысль просто отказывалась понимать это политическое сумасшествие, когда государство публично, перед всем светом, само себя секло на радость врагам. Разгром собственной армии и дипломатии, подорвавший международный престиж России, тоже, казалось, допускает лишь клиническое объяснение: Сталин сошел с ума или обезумел от страха и ярости.

Туман над Россией не разошелся, конечно. Мы по-прежнему бродим в потемках. Но кое-что все-таки начинает вырисовываться в хаосе противоречий. Беглецы из России, люди не только советского и большевистского стана, помогли отчасти разобраться в происходящем. Может быть, было бы благоразумным пока воздержаться от гипотез. Но Россия для нас — не научная проблема, перед которой уместно критическое воздержание. Чтобы не утерять связи с ней, хотя бы духовной, мы должны ощущать ее судьбу. И брать на себя неизбежный риск ошибок.

После процесса можно было ждать всего. Естественно было бы ждать крутого поворота политики. Кое-кто предсказывал даже, что Сталин повторит свой излюбленный прием: расправившись с оппозицией, возьмет ее курс. Не ожидает ли нас новая установка на мировую революцию? Два факта, казалось, подтверждали это предположение. Письмо Сталина к комсо-

мольцу Иванову о незыблемости интернационального идеала революции и расправа с полпредами литвиновской школы.

Теперь уже можно, как будто, сказать, что такая интерпретация событий не оправдалась. В основном сталинская генеральная линия остается неизменной: это линия национализации революции, т. е. линия национал-социализма. На этой линии стоит вся внутренняя политика, поскольку она свидетельствует о какой-либо идеологии. Продолжается реабилитация русской истории, преимущественно военной. Газеты полны описаний военных музеев. Выставка Ледового побоища, выставка Кутузова... Сильный удар наносится окраинным сепаратизмам реставрацией русского языка как языка государственного.

Во внешней политике ничто не свидетельствует о революционном активизме. Во Франции коммунистическая партия, несомненно живущая приказами из Москвы, держится тише воды, ниже травы. Она давно утратила преимущества крайней левой: и не только троцкисты, но и пивертисты[1] ее обогнали. В драматические дни падения Блюма и правительства «Народного фронта», коммунисты не посмели даже нападать на сенат, оказавшись «правее» социалистов, к великому негодованию последних. Получилось впечатление, что Сталин дал приказ очистить место Даладье[2].

В Испании военное снабжение республики из СССР прекратилось или сведено к минимуму. В результате наступление итало-германо-фашистов, которые идут от успеха к успеху. Сталин предал Испанию — конечно потому, что его заинтересованность в ней менее всего идеологического порядка. С точки зрения России (а не революции), он поддерживал союзника Франции. Если Франция не хочет или не может защищать себя за Пиренеями, а Англия открыто сговаривается с ее врагами, то что же делать здесь России?

Таким образом, письмо к комсомольцу Иванову оказалось блефом, рассчитанным на наивность европейской рабочей публики. Оно должно было несколько сгладить отвратительное впечатление от московского процесса, где были отправлены на казнь лучшие сподвижники Ленина. Рабочие массы Европы — все-таки сила, которой нельзя пренебрегать в игре. Недавно одна из советских газет черным по белому написала, что интернационал есть лучшая форма защиты национальных

интересов СССР. И она права. Это с нашей стороны было наивностью думать, что интернациональная фразеология вредила русской политике в период соглашения с демократической Европой. В наши дни идеология становится могущественным фактором в международной политике. Опыт показывает, что национальные интересы лучше всего защищаются под прикрытием идеологий — тех трех идеологий, которыми живет мир: фашистской, демократической и социалистической. Поскольку демократия и социализм на Западе живут обороной против общего наступающего врага, идеология социализма не вредит Сталину: напротив, она обеспечивает ему — надолго ли? — сочувствие обманутого рабочего класса — самой серьезной силы в демократическом лагере. Французский и английский рабочий все еще не могут понять, что не только по существу, но и по внутренней идеологии СССР давно уже классическая страна фашизма, которая лишь соображениями внешней политики (германская опасность) вынуждена еще носить во вне коммунистическую маску

Но если политическая суть коммунизма — да, кажется, и экономическая — не изменилась, то что же происходит в России? Что значат эти гекатомбы террора? По своему размаху они напоминают страшный год — 1930 — сплошной коллективизации. Арестованы десятки, если не сотни тысяч людей, стоящих на ответственных постах — хозяйства, управления, армии. Многие учреждения разгромлены почти наполовину. Нам известны случаи, когда научные учреждения обречены на бездействие за отсутствием почти всех сотрудников.

Сказать, что Сталин устраняет всю ленинскую гвардию большевизма, которая почему-то оказалась для него помехой, явно недостаточно. Гибнут десятки тысяч беспартийных, служилой интеллигенции, офицеров. Впечатление полной смены правящего класса — того Сталиным созданного слоя «знатных» людей, в состав которого входили партия, спецы и командиры Красной армии. Это настоящая революция — третья по счету социальная революция, которую переживает Россия. После «буржуазии» (1917 г.) и крестьянства (1930 г.) отправляется на свалку только что выкристаллизовавшийся слой победителей, организаторов, новая знать. Поразительна та легкость, с какой социальные революции происходят в России. Целые классы

дают себя вырезать или перестрелять по приказу одного человека. После поражения Белого движения никто не делает и попытки сопротивления.

В центре удара стоит, бесспорно, коммунистическая элита. Она должна уступить свое место людям, подобно Ежову, созданным целиком Октябрьской революцией, всем обязанным Сталину. Эти вышедшие из низов, деклассированные пролетарии, не имевшие времени для самообразования, ненавидят интеллигенцию, хотя бы и ленинскую, острой ненавистью. Так сам Сталин ненавидит Троцкого или Бухарина — белую кость ленинизма. Покуражившиеся вволю в годы гражданской войны «ежовцы» должны были уступить место партийной интеллигенции в годы строительства. Теперь, в целях самозащиты, Сталин производит глубокую перетасовку в партии, поднимая наверх низовые пласты ее.

За долгие годы властвования партийная интеллигенция сливается с беспартийной в один правящий слой. Бухарин, Рыков, каждый советский сановник тащили за собой десятки спецов, профессоров, сотрудников, без которых немыслимо управлять государством. И вот теперь вся интеллигенция платится за эту компрометирующую связь. Попав на похмелье в чужом, партийном пиру, она опять раздавлена, как никогда еще не была с 1918 года. В этом новом обезглавлении России, несомненно, главный ужас совершающегося.

Мы можем лишь гадать о том, что заставило Сталина решиться на новый социальный переворот. Может быть, это просто страх за свою собственную жизнь. Сталин потерял веру в свой правящий класс — вероятно, в результате тех заговоров, о которых мы знаем так мало. Правящий класс понял, что Сталин является главным препятствием для выхода страны из тупика. И первому вредителю СССР ничего не осталось, как предупредить удар и обезглавить свою страну.

Есть штрихи в его судорожной политике последних месяцев, которые показывают, что опасность для Сталина еще грозней. Таковы новые расправы с Церковью и армией. Уж в Церкви, конечно, не приходится искать опоры правящего слоя. В ней следует, скорее, видеть единственную более или менее независимую от власти форму жизни трудящихся масс. В таком качестве она рассматривалась как опасность для правительства

в период выборной кампании. Что касается армии, то показательно здесь восстановление власти политических комиссаров, казалось, похороненных навсегда. Вызванный к жизни потребностями гражданской войны, институт комиссаров создавал двоевластие, гибельное для армии. В «национальный» период сталинизма командир получил большую независимость. И вот опять восстановлен ненавистный политрук; сложный аппарат откровенного шпионажа опутывает все воинские части сверху донизу. Мы, конечно, понимаем, что новый «ежовский» комиссар ничего общего не имеет с пропагандистом революционного социализма: это просто полицейский наблюдатель, сталинский жандарм. Но доверия уже нет никому: не только командному составу (ликвидируемой знати), но и рядовым бойцам, столь кровно связанным с колхозной деревней, с советской фабрикой. Это значит, что крамола не ограничивается правящим слоем. Сталин ведет войну со всей Россией. Если, конечно, можно назвать войной одностороннее избиение безответных и безоружных пленников.

В этой войне Сталин должен чем-нибудь задобрить массы. Он, несомненно, ищет линию возможных уступок. Такова затеянная им и усердно обсуждаемая реформа суда — вернее, попытка очистки этих авгиевых конюшен. По-видимому, экономическая политика в настоящее время благоприятна для крестьянства. Сталин старается — сможет ли? — кое в чем удовлетворить низового обывателя, наверху опираясь на класс новых опричников, всем ему обязанных и всецело преданных. В жертву им предается сейчас армия, интеллигенция, служилый слой и Церковь. Надолго ли удастся Сталину новый маневр, мы не знаем. Но знаем прекрасно, какой дорогой ценой Россия уже сейчас платит за сохранение его драгоценной жизни. Один человек — против всей страны. Никогда еще ситуация в России не была столь отчаянно определенной.

Pro pace[1]

Все вопросы, которые еще недавно казались такими жгучими, неотложными, отходят на задний план перед одним: война или мир? Что нового произошло в самой постановке этого вопроса, который, по меньшей мере, уже пять лет не перестает грозить самому существованию Европы? Новое действительно произошло, и это новое состоит в том, что мы все призваны, в какой-то степени, к личной ответственности. Война представляется теперь не только как стихийная, неотвратимая гроза, идущая на мир, но и как результат свободного выбора. Откуда это сознание или это иллюзия? Несомненно, от того, что теперь судьбу войны и мира держат в своих руках не одни только фашистские вожди, — силы, от нас независимые, для нас непроницаемые, почти слепые. Вожди демократии стоят перед выбором, а они зависят от силы общественного мнения. И в этой слагающейся воле демократической Европы — и Америки — даже слабые воли жалкой кучки эмигрантов ложатся для истории, но столь тяжким для личной совести, разновеском на чашке весов.

Как тяжело дается решение, показывает хотя бы спор на социалистическом конгрессе между Л'Эведером[2] и Жиромским[3]. Предлагаемые ниже мысли, конечно, неспособны облегчить, а скорее отяжеляют нашу ответственность. Но в таких вещах нельзя идти с закрытыми глазами.

Я никак не могу понять, что есть еще люди, которые смотрят на войну как на политическое средство, как можно было смотреть на нее до 1914 года. Будет война, а за ней мир. После тяжких жертв мир вернется к «нормальному» состоянию, т. е. к прог-

рессу. Раны быстро залечатся. Все эти представления, уместные в XIX веке, кажутся мне совершенно фантастическими в свете опыта последней войны. Разве война закончилась миром? Разве мы видим нормальное состояние? Наш мир — лишь передышка между двумя войнами. Наша нормальная жизнь — экономический кризис и социальная революция. Быстрая варваризация общества, гибель гуманизма или его остатков, торжество насилия — все это простой вывод из опытов войны.

Оставим даже в стороне вопрос о современной технике и ее гигантской разрушительной мощи, при которой от Парижа, Лондона и Рима не останется камня на камне. Что значат камни, даже священные, для современных людей? Ни камни, ни книги, ни человеческие жизни не берутся в расчет. В предстоящих «идеологических» войнах интересуют идеи. Борьба демократии с фашизмом. Я согласен смотреть на вещи и под таким углом. Но именно тут-то и оказывается, что в военном столкновении демократии и фашизма победа фашизма несомненна. Демократия может победить фашизм на полях сражений, но лишь для того, чтобы быть побежденной им в тылу, в самой стране. В самом деле, что питает дух фашизма, как не война? Разве русские, немцы и итальянцы по природе отмечены клеймом Каина? В чем причина фашистских (или коммунистических) революций? В том, конечно, что их слабые гражданские, или правовые традиции не смогли перебороть духа войны. Перенесение военных методов в политику, в культуру — методов современной тоталитарной войны — и означает тоталитарную диктатуру в культуре и политике. Почему во Франции и в Англии демократия еще существует? Потому что эти народы сохранили себя, какое-то свое нутро от военной гангрены. Сохранили, конечно, до поры до времени. За последние годы дух насилия сделал огромные завоевания и на почве Франции. Молодежь ее бредит кровью, упивается ядовитыми миазмами, несущимися из Испании, и элита страны, ее поэты, философы и богословы, начинают поддаваться соблазнам насилия. Французы уже прошли половину дороги от демократии к фашизму. Взрыва войны будет достаточно, чтобы быстро проделать вторую половину пути. При этом исход войны совершенно безразличен. Выигравшая войну Италия и потерявшая ее Германия реагируют на войну одинаково.

Что же, положа руку на сердце, стоит ли бороться с Гитлером немецким, для того, чтобы иметь своего Гитлера во Франции?

Такой исход мне представляется неизбежным. И не будем обманывать себя различием национальных характеров. Различия, конечно, существуют. Но достаточно поглядеть за Пиренеи, чтобы представить себе Коммуну (т. е. подавление Коммуны) и вспомнить о камерах пыток, подготовлявшихся кагулярами для своих противников, чтобы не обольщаться будущей картиной фашистской Франции.

И здесь, в международной сфере, как и во внутренней жизни, оказывается, демократия располагает гораздо меньшим арсеналом средств, чем ее противники. Бывают моменты, когда диктатура может спасти демократию, но тоталитарная диктатура во имя демократии – бессмыслица. Военная оборона, и даже нападение в истории много раз спасали демократию. Но тоталитарная война, т. е. всякая современная война, может лишь погубить ее. Эта ограниченность средств демократии лишь оборотная сторона ее достоинств: все высшие формы в природе и культуре хрупки. Христианство не может позволить себе тех форм борьбы – священной войны, – которые естественны для ислама. А когда христианство в истории позволяло себе копировать ислам, то от него мало что оставалось. Ленин хотел тоталитарным террором насаждать социализм в России: в результате он создал русский фашизм – первый образцовый фашизм в Европе. Действие тоталитарной войны и тоталитарного террора совершенно подобны: в насыщенной кровью и ложью атмосфере погибает всякая свобода и уважение к человеку. Погибает та моральная почва, на которой только и может расти демократия.

Значит ли это, что демократия никогда и ни при каких условиях не обнажит меча? Увы, нет, ибо есть положения, из которых нет выхода. Война может оказаться неминуемой вопреки самому крайнему пацифизму демократий. Но эта война не оставляет места никаким надеждам. Это путь общей гибели. Бывают положения, когда другого пути, кроме гибели, нет.

Мы пока еще не стоим у последней черты. Отсрочка дана не только для вооружений – необходимых, но ненадежных гарантий мира. Отсрочка дана, прежде всего, для духовной борьбы за мир, для преодоления самого духа насилия духом мира и свободы. Может быть, перелом в сознаниях и совершится. Это будет чудо. Но такие чудеса бывали в истории. В наше неслыханное время все обычные политические средства отказываются служить.

Кладбище иллюзий

Все знают Бернаноса как одного из самых глубоких и, пожалуй, темных мистических романистов. Его настоящая тема – трагедия святости. Это один из лучших проводников по лабиринтам католической души. Человек сложный, духовно независимый, даже мятежный, но в церковности которого не может быть сомнений. Немногие знают о нем как о политике – крайне правого направления. Его молодость прошла в «Аксьон Франсез», в школе Морраса[1], с которым он, однако, расстался несколько лет тому назад. Основным началам своего роялистического credo он остался верен доселе: романтическая любовь к монархии как примирительнице классов, своеобразное националистическое народничество, ненависть к современной демократии и даже вера в революцию как в новый крестовый поход, долженствующий очистить Францию.

Испанская гражданская война застала его на острове Майорке, где он отдыхал со своей семьей. Вся его политическая направленность заставляла его сочувствовать Франко. Один из его сыновей даже вступил в ряды фалангистов. Много месяцев он прожил на острове под режимом «белого» террора. К нему относились, как к своему, ничего от него не скрывая. Он мог наблюдать террор не только снаружи, глазами иностранца, но изнутри, в сознании деятелей и руководителей: увы, католическое духовенство Испании оказалось среди этих миссионеров национальной «чистки». И наконец, чаша его терпения переполнилась. Он написал книгу христианского гнева – против своих, против людей, победе которых он сочувствует, пото-

му что, рыцарь крестовых походов, он не желает допустить, чтобы такими средствами можно было служить делу креста. Вернувшись во Францию, он выпустил книгу под странным заглавием «Великие кладбища под луной» — не книгу, а крик боли и возмущения, свое «не могу молчать» в лицо обезумевшего от ненависти мира. Хаотическая, страстная книга: автор вовсе не претендует читать уроки морали или стоять выше партий в борьбе. Свои позиции он отстаивает с обычной нетерпимостью революционера от реакции. Несколько конкретных черт, бытовых сцен, схваченных глазом художника, немедленно переплавляются в обличения пророка. Общие положения, принципы священной войны Бернанос охотно — слишком охотно — принимает. Не принимает лишь практику: низкий, подлый облик палача, в которого превратился его рыцарь белой мечты.

Бернанос не хочет писать книгу информаций. Ему даже мучительно бередить раны свежих воспоминаний. Но те факты, которые он приводит, или которые вырываются из-под его пера, кричат громче документов. За ними встают живые люди. Для нас, русских, он воскрешает знакомые страницы первых лет большевистского террора — и притом в самых трагических углах России. Многим казалось или еще кажется невозможным, чтобы классовый террор Ленина мог оказаться превзойденным. Ну, так вот, Франко, по-видимому, превзошел его — по крайней мере, количеством и холодной систематичностью. На Майорке, где почти нет коммунистов, где не было никаких эксцессов в эпоху республики, на этом мирном острове крестьян и рыбаков за несколько месяцев были расстреляны тысячи людей. Не в первые лишь дни начала восстания генералов. Нет, казни были и остались частью того порядка, той системы «очищения», которую проводит диктатура. Ее цель — истребление всех элементов, подозреваемых в несочувствии режиму. Оправданные военными судами расстреливаются тут же за дверьми. Больных и раненых вытаскивают из госпиталей, чтобы прикончить на улице. Тяжко больного мэра города Пальмы убили за принадлежность к «радикальной партии», по-видимому, различия между радикалами, социалистами и коммунистами не существует для Франко, экс-радикала и экс-масона. Почти все казненные на Майорке исповедуются перед смертью. Это не мешает человеку, «которого мой долг велит называть архиепископом города Пальмы», благословлять убийц.

Автор, как и мы, отдает себе отчет в том, что зверства творятся и в красной Испании. Он не пытается их сравнивать, подводить баланс. Но красные зверства не затрагивают его совести; они не оскверняют его католического идеала. Он дает нам предметный урок христианской этики в современной гражданской войне: всегда против своих (т. е. в актах морального осуждения). Ибо свои предают то знамя (в данном случае — крест), которому будто бы служат.

Трагедия Бернаноса и горечь его книги в том, что она не об одной Испании. Испания лишь повод. Война классов проходит через весь мир и прежде всего через сердце Франции. Величайшая скорбь Бернаноса — это моральное падение той романтически-реакционной Франции, которая для него была призвана спасти его родину. В испанской войне Франция приняла не одно лишь идейное участие. За Пиренеями репетируется гражданская война, которой многие во Франции столь жаждут. Эти французские страницы в книге Бернаноса — разговоры в салонах, настроения правой молодежи — для нас являются неожиданным и печальным откровением. Мы начинаем понимать, какое уродливое, больное сознание, скорее прикрываемое, чем отражаемое на страницах газет, стоит за фигурами «кагуляров». Все, что происходит в Испании, не является секретом для всяких Таро и Бенжаменов[2]. Но ни слова осуждения не раздается из того лагеря, который мечтает применить испанские методы для «очищения» собственной страны. Здесь мы присутствуем при рождении французского фашизма, питаемого классовой завистью и готового на национальную измену ради политической мести.

Будем надеяться, что чувствительность Бернаноса преувеличила опасность. Но все же заговор молчания вокруг его книги показывает, что его удар попал в цель. Можно себе представить, на какое одиночество обрек себя этот человек, осмелившийся сказать всю правду, не изменяя *своей* правде.

Андре Жид и Жорж Бернанос спасают честь Франции. Англичанам и другим нейтральным легко сохранить чистоту риз. Во Франции, где давно уже идет духовная гражданская война, говорить правду необычайно тяжело. Для русских, которых гражданская война разделила смертельно, это почти немыслимо, — во всяком случае, для тех, кто выбрал свой стан. Россия, некогда бывшая страной христианской совести, может с завистью смотреть на Францию, где Жид и Бернанос еще возможны.

Наш позор

Конечно, наш голос почти не слышен и наше влияние на события ничтожно, равно нулю. Но для нас, малой кучки эмигрантов, это наш мир — по крайней мере, наш социальный мир, — тот воздух, которым мы дышим, то общество, в котором мы живем. Если этот воздух отравлен, то мы задыхаемся. Как-никак, при всех наших несогласиях и внутренней борьбе, мы были связаны круговой порукой — все те, кто когда-либо, хотя бы так давно, говорили о миссии эмиграции. Ее позор — наш общий позор, и от него нельзя отмахнуться презрительным «они».

Я не хочу знать, сколько их: большинство, меньшинство? Довольно того, что они есть, и что это не отщепенцы, не подполье в нашем подполье, а люди, привыкшие говорить от имени всей эмиграции, еще недавно составлявшие ее так называемое «общественное мнение». Хорошо еще, что это самозванство кончилось. Со времени предательства генерала Миллера его ближайшим соратником и расколов в этом лагере престиж мнимых националистов сильно поблек. Солоневич[1] завершил его разложение. Но у них есть пресса, они могут говорить громко, не стыдясь, не сознавая своего падения. Они чувствуют себя верными своему «белому знамени». Еще бы, у Сталина нет более непримиримых врагов, чем они.

Именно ради этой непримиримой ненависти к большевикам они стали сейчас за Гитлера. Ради нее они ведут борьбу с остатками свободы и демократии в Европе, за сильных против слабых, за богатых против бедных, за немцев против евреев и даже славян. Сказав раз навсегда, что в священной

борьбе все средства хороши, они не то что дошли до полной неразборчивости в средствах, но приобрели совершенно особый вкус ко злу, какое-то непогрешимое чутье к нему. Расчет довольно верный: быть «с чертом» сейчас очень выгодно; с ним не пропадешь — в настоящий, по крайней мере, день истории.

Сейчас я не о политике говорю: политическая тактика допускает всякие уклоны и извилины. Бывают самые неожиданные союзы — например, Франции и СССР, Франции и самодержавной России. Возможен теоретически и союз с Гитлером. Его следует обсуждать с точки зрения целесообразности. Мы отвергаем его, но не можем считать подлостью a priori[2] иной, хотя бы ошибочный и вредный для России, путь. Но здесь не в тактике дело, а в глубоком духовном перерождении. Деспотизм или тоталитарное государство оказалось внутренне соблазнительным для многих христианских душ. Гитлер не просто союзник, а идеал русского вождя. (Вождя!). Не одни штабс-капитаны, а целый собор епископов (карловацких) приветствует врага христианства и утверждает, что за него молится вся православная Россия.

Когда читаешь все это, становится невыносимо жить. Опять, как в дни Октября, мучительно страдаешь от того, что ты русский, от того, что большевизм, как проказа, съедает все тело России. В самом деле, чем иным, как не обольшевичением, следует назвать эту моральную болезнь, которой сейчас заражена эмиграция?

Вдумаемся на минуту в то, что такое большевизм, — не как партия Ленина-Сталина, а как духовно-политическая порода? Марксизм? Но что же тогда меньшевизм, что такое Каутский и Плеханов, в которых Ленин нашел с самого начала своих самых страстных противников? Не отрицая того, что учение Маркса всегда имело в себе темное, нераскрытое зерно имморализма, которое Ленину суждено было вырастить в парнике русской революции, я утверждаю, что большевизм может произрастать не на одной марксистской почве. Ленин был сомнительным марксистом. Сталин вообще никакой марксист. В России Маркс только имя без содержания. Душа большевизма не в Марксе, не в классовой борьбе, не в мировой революции (в СССР нет ни того, ни другого). Большевизм рождается тогда, когда политика съедает всю культуру и духовную жизнь,

когда политика подчиняется одной идее, и когда в этой идее отрицательное начало ненависти заглушает все положительные: свободы, справедливости или общего блага. Говоря кратко, большевизм — это культура тоталитарной злобы. Идеи или идейки могут быть разные, но плоды проклятого дерева всегда одни и те же. Вот почему Сталин может менять свои лозунги, может окончательно изменить коммунизму — без того, чтобы Россия вышла из большевистского ада.

Судьба пожелала дать нам не одно, а два доказательства этой горькой правды. Первое — новая фаза Сталина-националиста, поклонника Суворова и Александра Невского. Второе — последний образ Белого движения — его большевистская маска.

Можно по-разному относиться к Белому движению в прошлом, — но нельзя отрицать героизма и благородства его первых дней. Поднимая знамя восстания против торжествующего коммунизма, горсть офицеров и студентов спасала честь России. О, конечно, уже тогда не все было бело в Белом движении, были ясны первые симптомы, приведшие его к поражению. Но где в истории незапятнанно-чистые движения? Не о прошлых грехах мне хочется напомнить, а о том, в чем была идея Белого движения, то знамя, которое сейчас затоптали в грязь его былые бойцы.

Переберем одну за другой те идеи, во имя которых велась белая борьба. Что с ними сталось?

Борьба велась за свободу против тирании. Теперь тирания стала казаться высшей формой государства.

Борьба велась за демократию против олигархов. Теперь демократия кажется самой презренной вещью

Борьба велась за верность союзникам против предателей Брестского мира. Теперь идут с немцами против былых союзников.

Борьба велась за «неделимую» Россию. Теперь ставят на ее расчленение и отдают ее земли врагам.

Что еще? Для многих — вероятно для большинства — борьба велась за веру и царя. Но царь давно уже отброшен за ненадобностью. Младороссы[3] подобрали идею легитимизма, а современные вожди презирают монархию как исторический пережиток.

Православие? Долгое время к нему относились с показным уважением, как к необходимой подробности национального

быта. Но вот Солоневич выболтал то, что думали почти все: до религии им дела нет; нужно одно — бить большевиков.

Бить большевиков — единственное, что осталось от Белой идеи. Но почему бить, во имя чего? Как ни вглядываешься, не можешь уловить той черты, которая разделяет врагов. Ясно, что они ненавидят друг друга. Но, может быть, эта ненависть — плод недоразумения?

Пока белое воинство чернело и превращалось в зарубежных большевиков, Сталин тоже не спал. Провозгласив лозунг великой и мощной России, он выбил из-под ног мнимых националистов последнюю опору их оппозиции. За что вы боретесь? Вам нравится фашизм? Но Россия самая последовательная страна фашизма. Не забудьте, что Ленин и был изобретателем этой государственной формы, которую Муссолини и Гитлер заимствовали у него. А социальное содержание московского фашизма ничем не отличается от германского. Недаром почти все коммунисты в России перебиты или в тюрьме. Есть, конечно, подробности, отрыжка старой терминологии. Время от времени поминают Маркса. Принимаются гнать Церковь — а разве Гитлер ее не гонит? Нет — или еще нет — еврейских погромов. Но так ли уж сладка еврейская кровь, чтобы из-за нее продолжать борьбу зарубежной России с СССР?

Чем больше я вдумываюсь в то, что реально разделяет сейчас зарубежного большевика и сталинца, тем более прихожу к выводу, что это скорее персональный вопрос. И здесь Солоневич дал ключ к решению. Тут не идея против идеи, а штабс-капитан против фельдфебеля. Фашистской, националистической Россией правят сейчас фельдфебели бывшей императорской армии (Ворошилов, Буденный). Бывшие штабс-капитаны не могут этого простить. Но жестокая жизнь давно уже стерла все то, что разделяло их — вплоть до различия культурного уровня. Русский большевизм глядит сейчас на нас двуглавым орлом. Одна голова в Москве, другая в Берлине. Но они похожи как две капли воды.

Сейчас их как будто бы разделяет предполагаемый военный фронт. Но что будет, если Сталину удастся договориться с Гитлером, о чем он давно мечтает? Вероятно, этого не случится. Но представим на минуту, что это случилось: чем будет тогда штабс-капитан отличаться от Сталина?

Горько писать это, когда знаешь, каким путем страданий пришлось идти штабс-капитанам, прежде чем они — о, не все, конечно — пришли к этому позорному концу. Но разве большевики не страдали? Где, как не в каторжных тюрьмах воспитывались Дзержинские и прочие «идейные» палачи русского народа. Большевики не сразу палачами вылупились из яйца. Эмиграция довоенная многое может уяснить для понимания послевоенной. Дело даже не в ней самой, а в том, что она может принести с собой в Россию. Как ни мало шансов на ее, на наше возвращение, но история шутит и не такие шутки. Штабс-капитаны могут вернуться в Россию путем Ленина — через Германию, через разгром России. И тогда — кто знает? — может быть, русский народ вздохнет и о Сталине, как сейчас он вздыхает о Ленине, как при Ленине вздыхал о царе. Вещи познаются из сравнения, а «прогресс как эволюция жестокости» есть единственная современная и устойчивая форма прогресса.

Какие же выводы из этих горьких слов? Их два: во-первых, в борьбе прежде всего блюсти святыню, свое «во имя», а не «святую месть», которая так легко оборачивается маской врага. Во-вторых, в порядке эмигрантской общественности, оставить мечты о ложном и предательском единении — с внутренними большевиками — и думать лишь о спасении тех, кого можно спасти: сохранить для России немногих, но верных, не предающих ни ее, ни свободы, ни Христа ради «святой» злобы.

О Мазепе

Украинская проблема имеет для России бесконечно более глубокое значение, чем все другие национальные проблемы. Это вопрос не только о политическом составе России, о ее границах, но и о ее духовном бытии. Ведь, в конце концов, — за всеми перипетиями текущей политики, за переменным счастьем войн и революций, украинский вопрос решается тем, каково будет русское национальное сознание. Сохранится ли оно как общерусское, или распадется навсегда на два (или может быть и более?) русла: великорусское и украинское?

Энергично борясь за целость России, за сохранение ее территории, мы должны понимать, что главная арена борьбы не здесь. Насильно мил не будешь. Если поколения украинской молодежи будут воспитывать в ненависти к России и ее культуре, то ничто не удержит их в общем русском доме, как бы свободна и легка ни была в нем жизнь, как бы крепки ни были его стены. Нации рождаются на наших глазах. Настоящая эпоха особенно благоприятна рождению наций благодаря небывалому значению интеллигенции и сознательных, рациональных факторов в современной культуре.

Мы уже проглядели явление такого крупного порядка, как создание украинского литературного языка из народного говора, каким он был всегда для русской интеллигенции. Можно горько жалеть о том, что цензурные преследования отбросили в Галицию украинское культурное движение и что не Киев, а Львов стал колыбелью нового славянского языка. Но теперь это уже непоправимо. Приходится брать украинский язык та-

ким, каков он есть, т. е. полупольским, и относиться к нему с полной серьезностью и уважением.

Русская интеллигенция в прошлом и настоящем несет один грех перед украинским возрождением: она его не замечала. Национальный вопрос вообще лежал вне ее поля зрения. Наше невежество во всем, что касается прошлого Украины, и сейчас поразительно. Отсюда неизбежны неосторожность и даже грубость в трактовке нами украинских вопросов, — очень опасные для будущего.

Если мы хотим навсегда остаться братски связанными с южнорусским или украинским народом, мы должны принять на себя, в свою собственную культуру, всю его национальную традицию как традицию русскую. В этом глубокое отличие украинства от всякой иной национальной проблемы на территории России. С грузинами, с татарами мы встречаемся как люди разных национальностей, лишенные возможности общения с ними в самых интимных («материнских») элементах их культуры. С украинцами это интимное общение возможно: их живые народные говоры, их песни, их исторические предания нам не чужды. Мы всегда любили Украину несколько романтической любовью, как свое, русское, и притом самое живописное, красочное и сказочное в русском. У нас с украинцами общая любовь. И если национальные традиции строятся, в конечном счете, на общей любви, а не на общей ненависти, у нас есть надежда на забвение политических обид.

Нацию создает не один язык, но и общность исторических воспоминаний. Понимая это, вожаки современного украинского движения стремятся оторвать Киев от истории России, отдать его культуру несуществовавшему до XIV–XV веков. «украинскому» народу. В этом основная ложь нового украинского национализма, и здесь наша победа над ним (не полемическая, а положительная) всего легче. Кто может вырвать киевские летописи и «Слово о полку Игореве» из русской традиции? Есть ли у нас, у великороссов — до самого последнего времени, до Пушкина, что-нибудь более дорогое? Не отказываясь от нашей московской страды, мы не отрываем Москвы от Киева, и никогда, ни на один момент в нашей истории не отрывали. С XVII века начинается сильное и плодотворное влияние Малороссии на русскую культуру, особенно церковную. Наша школа

XVII–XVIII веков, наш литературный язык (ломоносовский) более киевского, чем московского происхождения. Преобладание украинцев в русской Церкви чувствуется до XIX века. А там пришел Гоголь и сделал малорусские степи и южный фольклор для большинства из нас более родным, чем великорусский забытый север.

Остается средневековье, польско-литовская Украина, которой мы, великороссы, не знаем, — и в этом наше горе. Века героической борьбы за сохранение русской народности и православной веры, перед которой мы преклоняемся, но которая не была еще достаточно освоена общерусским историческим сознанием.

А между тем именно в эти польско-литовские века совершилось этнографическое расхождение русской народности, совершилось рождение «украинства». Мы не можем смотреть на судьбы южнорусского населения исключительно с московской точки зрения. Москва еще не Россия, даже не вся Русь, хотя ей и выпала задача объединения Руси. И в этом суровом деле объединения она совершила немало грехов против своих младших братьев. Она игнорировала их опыт, не менее ее тяжкий и героический. Она наносила болезненные раны их национальному чувству, которые не зажили доселе.

Вот положительная задача для русской интеллигенции: рецепция украинской традиции в традицию общерусскую. Здесь нам придется пересмотреть много традиционных взглядов, отрешиться от многих предрассудков. Так, в числе прочего, придется амнистировать Мазепу. Нельзя смотреть на Мазепу как на демонического героя «Полтавы». Его заслуги, хотя бы перед культурой Украины (т. е. России), его великолепные киевские церкви требуют амнистии его политической ошибки. Ведь не судим мы князя Курбского за измену. Современная Британия давно уже приняла в свой Пантеон шотландских героев, боровшихся против Англии столько веков. Британия не Англия, а нечто высшее. Россия не Московия, и даже не Петербургская Империя. Было бы величайшей опасностью для единства России, если бы мы подняли перчатку, брошенную украинцами и продолжили сейчас историческую борьбу Москвы и Киева — заглохшую столетия тому назад. Надо преодолеть двойственность исторической традиции. Надо включить в храм русской

славы все то, что любит и чем гордится Украина, – все, кроме новейших политических сепаратистов. Конфликты прошлого, даже трагическую борьбу мы должны воспринимать как совершившееся внутри России – как борьбу Грозного с боярством или западников со славянофилами. Лишь в том случае, если удастся это новое духовное собирание России, можно надеяться и на сохранение ее политического единства.

Нелегко говорить об этом в те дни, когда тень Мазепы витает над германо-украинскими (увы, и русскими) полками, собирающимися для дележа России. Но ведь и хоругвь Александра Невского поднимается Сталиным. Надо положить конец политической спекуляции на общенациональном достоянии. Всякой политике надо знать свое место. «Политизация» убивает культуру. Политизация может убить и государство.

Канонизация святого Владимира

«Когда и где впервые установлено празднование памяти святого Владимира?» — таков вопрос, поставленный более полувека назад профессором И. И. Малышевским[1] в статье под тем же заглавием в «Трудах Киевской Духовной Академии» (1882. I). Говоря по совести, и сейчас на этот вопрос мы должны ответить незнанием. Малышевский считал возможным дать свой ответ с большой степенью точности. Позднейшее исследование, отдавая должное его остроумию и не отвергая, в основном, его теории, подорвало нашу уверенность в возможности точных определений времени. Как во многих других случаях, docta ignorantia[2] научила нас скромности.

Нет никакого сомнения в том, что великий Креститель Руси оставил по себе глубокую память в киевском обществе — или, точнее, во всей нации, созданной им. Об этом свидетельствует вся литература XI века: легенды о Крещении Руси, включенные в Начальную летопись, и посвященные самому князю Владимиру похвальные слова: Иларионова «Похвала кагану Владимиру» и сложного состава памятник, приписанный мниху Иакову, в который входят «Память и похвала князю русскому Володимеру» и «Житие» его (мы относим этот памятник вместе с Шахматовым к XI веку). Во всех этих произведениях Владимир чествуется не только как великий государь, но и как апостол Русской земли. Он именуется блаженным, подобно Константину, «сподобившемуся почестей небесных». Можно ли отсюда заключить, что церковная канонизация его уже совершилась? Так склонен был думать митрополит Макарий[3]

в I томе своей «Истории Русской Церкви» (1868 год). Впрочем, у Макария мы не находим полной определенности в суждении: с одной стороны, для него «несомненно, что тогда признавали уже Владимира в лоне святых» (с. 95–96), но, с другой стороны, несомненно, что не только при Ярославе, но и впоследствии мощи святого Владимира не были открыты и прославлены нетлением» (с. 96). Что значит канонизация при неоткрытии мощей, трудно себе представить. Авторы XI века положительно утверждают, что Владимир еще не прославлен чудесами и что причиной тому малое усердие к нему христиан. Так, в летописи под 1015 годом мы читаем: «Дивно же есть се, колико добра сотворил (он) Русской земле, крестив ю; мы же, крестьяне суще, не воздаем почестья противу (то есть в меру) оного воздаянию... да аще быхом имели потщаше и молбу приносили Богу зань в день преставления его, вида бы Бог тщание наше к нему, прославил бы и...» Так говорить, конечно, не мог автор, писавший после церковного прославления князя. Авторы житий и похвальных слов выражают свою личную веру в его святость, неколеблемую отсутствием чудес: «Не дивимся, възлюбленеи, аще чюдес не творит по смерти: мнозе бо святеи праведнеи не сътвориша чюдес, но святи суть» (Иаков). Это убеждение, вероятно, разделялось широким кругом православной интеллигенции. Но от личного убеждения к церковному каноническому акту — этот шаг не был сделан; какие-то нам неизвестные причины были помехой.

Из «Повести временных лет» и из житий XI века мы знаем, хотя и не во всех подробностях, как происходили первые канонизации русских святых: князей Бориса и Глеба и преподобного Феодосия. Почин исходил от Киевского князя — в одном случае Ярослава, в другом — Святополка Изяславича. Народное почитание предшествовало канонизации и подготовляло ее. Дело князя было уговорить митрополита-грека, что, по-видимому, не всегда было легко. «Митрополит бе неверьствуя, яко святи блаженая» — пишет Нестор о святых Борисе и Глебе. Склонившись на убеждения князя и русских людей, митрополит приказывает внести имя святого в «сенаник» (синодик) для поминания его со всеми святыми. Открываются или переносятся мощи святого, если они не были открыты раньше. С этого времени устанавливается ему праздник; составляется

служба (в составе Миней) и сокращенное житие святого вносится в Пролог для богослужебного чтения.

Ни о чем подобном не рассказывается для святого Владимира в Киевской летописи, и молчание автора «Повести временных лет» было бы необъяснимым, если бы прославление святого князя совершилось до его времени (1116 год). Здесь argumentum ex silentio[4] вполне уместен, принимая во внимание интерес составителя летописного свода к канонизации русских святых, с одной стороны, и к славе князя Владимира – с другой. Для последующей эпохи этот аргумент уже теряет силу, ибо ни о каких дальнейших канонизациях, несомненно имевших место в домонгольской Руси, продолжатели «Повести временных лет» не сообщают.

Вторым argumentum ex silentio является отсутствие имени святого Владимира в южнославянских Прологах домонгольского времени. К сожалению, среди русских рукописей, сохранившихся от домонгольских столетий, нет ни одного Пролога и ни одной Минеи за июль месяц. Будь у нас июльские Минеи или Пролог за ряд столетий, решение вопроса о времени канонизации князя Владимира не представляло бы трудностей. Но сохранилось известное число (Голубинский указывает их четыре: Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. 1-е изд. 1894. С. 57) сербских прологов от XIV века*, которые, как установлено исследованием, восходят, через посредство болгарских копий, к русским оригиналам домонгольского времени. В этих Прологах имеются и памяти русских киевских святых: Бориса и Глеба, преподобного Феодосия, князя Мстислава Владимировича и княгини Ольги. Среди них нет святого Владимира. Имя князя Мстислава, сына Мономахова, скончавшегося в 1132–1133 году, приводит нас к середине XII века как к terminus post quem[5]; так и следует датировать предполагаемый русский оригинал Пролога. Следовательно, мы можем утверждать с большой долей вероятности, что до середины XII века канонизации святого Владимира не произошло. Ниже мы увидим, что третий argumentum ex silentio приводит нас к средине XIII века как к terminus post quem. Но эта дата, как и новый клубок вопросов, с нею связанных, возвращает нас к интересной гипотезе И. И. Малышевского.

Профессор Малышевский, считая несомненным, что канонизация святого Владимира не совершилась в домонгольский период, полагает возможным с чрезвычайной точностью определить эту дату или ее границы между 15 июля и 6 декабря 1240 года. Каким образом он пришел к этой дате? В 1240 году произошли на Руси два великих события: Невская битва и взятие Киева Батыем. И вот первое из этих событий падает как раз на 15 июля, день смерти князя Владимира. Что более естественно для участников и победителей, как не приписать свою победу – по крайней мере, среди других Небесных сил – помощи князя Владимира? В известном сказании о Невской битве, внесенном в Лаврентьевскую летопись, рассказывается о видении перед боем святых Бориса и Глеба, обещавших русским свою помощь. Владимира нет с небесными витязями, но летописец уже упоминает его имя среди святых, память которых празднуется 15 июля, в таких словах: «на память святых отец 6000 и 30 бывша збора в Халкидоне, и св. мученику Кирика и Улиты и святого князя Володимера, крестившаго Русскую землю».

Для автора этих строк Владимир уже святой. Канонизация совершилась. Когда? Малышевский обращает внимание на то, что в службе князю Владимиру (вероятно, составленной по случаю его канонизации) Киев называется «велиим градом». 6 декабря 1240 года Киев, разрушенный Батыем, перестал быть «велиим градом». Следовательно, заключает Малышевский, служба составлена, то есть канонизация совершилась, до 6 декабря.

Нетрудно видеть шаткость этой аргументации. Киев мог остаться навсегда «велиим градом» в памяти и воображении русских людей, каково бы ни было его печальное современное запустение. Е. Е. Голубинский в своей «Истории канонизации святых в Русской Церкви» (1894. 1-е изд.) справедливо отвергает terminus ante quem[6] Малышевского, но сам предлагает другой. Рассказ о Невской битве в Лаврентьевском списке представляет часть самостоятельной повести или жития князя Александра Невского, составленного, по всем признакам, вскоре после его кончины в 1263 году. Упоминание имени Владимира среди других святых 15 июля дает основание для Голубинского заключить, что для биографа, писавшего вскоре после 1263 года, канонизация святого Владимира была уже совершившимся фактом (1 изд. С. 40; 2-е изд. С. 63–64).

Но и Голубинский ошибся. Повесть об Александре Невском, вошедшая в состав Лаврентьевской летописи (XIV век), не представляет первоначальной редакции. Теперь мы имеем превосходное исследование В. Мансикки[7] (1913 год), который выяснил для нас всю сложную литературную историю житий святого Александра Невского. Во многих древних списках жития Александра, в частности в редакциях, отразившихся в Новгородской I и Псковской II летописях, в перечне святых дня Невской битвы как раз отсутствует имя Владимира. Упоминаются Кирик и Улита, упоминаются отцы IV Вселенского Собора, но князя Владимира нет. На это впервые указал Н. И. Серебрянский[8], последний русский автор, касавшийся вопроса о канонизации святого Владимира (в книге «Древнерусские княжеские жития». М., 1918). Вот последний argumentum ex silentio, который убедительно показывает, что не только в 1240 году, но и в 1263-м и позже канонизации еще не произошло. Мы вынуждены отодвинуть дату канонизации еще дальше за 1263 год. Но здесь естественный предел положен древнейшим послемонгольским Прологом, уже содержащим житие святого Владимира. Этот Пролог датируется XIII веком (Императорская публичная библиотека F. № 47). Летописная вставка о Владимире буквально заимствует несколько слов из заглавия этого проложного жития: «Во тъ день святаго Володимира, крестившаго всю Рускую землю».

Мы приходим, таким образом, ко второй половине XIII века как к наиболее вероятной дате канонизации святого Владимира. Повторяем: это лишь вероятная дата. Какое-нибудь новое рукописное открытие может отодвинуть ее назад, в глубь XIII или даже XII века. Отрицательное свидетельство южнославянских Прологов не мешало А. И. Соболевскому[9] считать вероятной домонгольскую канонизацию Владимира (конец XII — начало XIII века), а профессору Н. Никольскому[10] (Материал для повременного списка. СПб., 1906. С. 232) предполагать местную канонизацию в Киеве в конце XI или XII веке. Отсутствие имени Владимира в древних житиях святого Александра Невского не мешает Н. И. Серебрянскому остаться при скептическом воздержании: «По моему мнению, — пишет он, — для решения вопроса о времени и месте канонизации святого Владимира у нас нет никаких данных. В том смысле, в каком канонизация

понималась со времени, например, Макариевских Соборов, ее, конечно, не было ни в домонгольский, ни в монгольский периоды. Но это нисколько не мешает раннему появлению проложного жития Владимира, так как Креститель Руси признавался святым еще в XI веке» (с. 58–59).

Может быть, воздержание исследователя в данном случае несколько преувеличено. В конце концов гипотеза Малышевского о значении Невской победы для канонизации святого Владимира имеет за себя много внутренних вероятий. Очень рано мысль современников Невской битвы, как показывают древние жития Александра, была направлена на поиски Небесных покровителей русской рати. С одной стороны, то были святые Борис и Глеб, князья и «сродники» Александра. С другой – календарные святые 15 июля. Среди них еще не было имени Владимира, тоже князя и сродника. Но какому-нибудь книжнику не стоило большого труда найти день кончины князя Владимира в списках летописи. Тогда имя Владимира было присоединено к календарным святым 15 июля и было составлено, исключительно по летописи, краткое житие его, внесенное в Пролог. Таково предположительное установление церковного почитания князя Владимира.

Вполне возможно, что это было делом частного почина неизвестного нам ревнителя. Многие канонизации древних русских святых могли происходить именно таким образом. Но возможно и авторитетное вмешательство церковной власти. Кто мог быть представителем этой власти?

С этим вопросом связан, конечно, вопрос о месте канонизации. Если предположение Малышевского правильно и культ святого Владимира установился в связи с осмыслением Невской победы, то местом канонизации естественно считать Новгород. Киев, лежащий в развалинах, оставленный митрополитом, едва ли мог найти время и свободу думать об установлении новых церковных торжеств. Красноречиво и трагически об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что мощи князя Владимира в его мраморной раке были засыпаны под руинами Десятинной церкви, разрушенной Батыем. Из этих развалин они были извлечены лишь в XVII веке Петром Могилой[11]. Если же прославление святого князя совершилось на Севере и при участии церковной власти, то она прежде всего могла

быть представлена архиепископом Новгородским, в епархии которого происходила Невская битва. Снесся ли он с митрополитом (имевшим пребывание во Владимире и странствовавшим по Руси), это другой вопрос. Для местной канонизации это не было обязательным, но не исключена возможность и канонизации во Владимире по установлению самого митрополита. Если первоначальная канонизация была местной, новгородской, то она могла быстро превратиться в общенародную в порядке вольной рецепции.

Именно такой была судьба Владимирова культа, если только он не был с самого начала общерусским. Уже в XIV веке все Прологи и богослужебные книги имеют память святого Владимира под 15 июля. Все разрастается посвященная ему агиографическая литература путем переработки древних киевских похвальных слов, летописных повестей, проложных житий и народных сказаний. Митрополиту Макарию[11] на Соборах XVI века не пришлось и ставить вопроса о канонизации князя Владимира, так как он уже принадлежал к тем святым, общерусское почитание которых было бесспорно. С 1635 года, со дня обретения гробницы Владимира митрополитом Киевским Петром Могилой, культ святого князя обогащается и почитанием его мощей. Части их сохранялись в Киево-Печерской лавре и в Софийском соборе; царь Михаил Феодорович, получив в дар от Петра Могилы одну челюсть от главы святого Владимира, положил ее в Московском Успенском соборе. В это время и Москва и Киев, и Великая и Малая Россия соединены в церковном почитании святого князя.

И все же можно сказать, что лишь тысячелетие Крещения Руси[12], торжественно отпразднованное в 1888 году, сообщило этому культу все его национальное значение. С этого времени Россия покрывается Владимирскими храмами — увы, часто довольно бедного и однообразного стиля; редкая церковь не имеет теперь иконы святого Владимира — новейшего письма, скрывающего в отвлеченном образе благолепного старца, «прадеда России» конкретные черты варяжского витязя. Как бы то ни было, несмотря на несколько официальный характер, присущий художественному обрамлению культа святого Владимира, сейчас это, несомненно, один из самых живых и сильных образов Святой Руси, с которыми мы пришли на чужбину.

Нам остается рассмотреть вопрос: каковы были причины сравнительно позднего прославления святого Владимира? И другой, тесно связанный с ним: каково глубокое, подлинно церковное основание его культа? На первый вопрос Е. Е.

кий, вслед за писателями XI века, отвечает: отсутствие чудес. Однако нам ничего не известно и о чудесах, приведших к его канонизации. Прославление святого Владимира — одна из немногих русских канонизаций, обошедшихся без официального установления чудес. Но церковные авторы XI века громко выражают свою веру в святость Владимира. Их писания как бы составлены для этой цели — для убеждения русского общества и власти в необходимости канонизации. И тем не менее канонизации не последовало. Почему?

Один из последних авторов, касавшихся этого вопроса, М. Д. Приселков[13], в своих «Очерках по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII в.» (СПб., 1913) предлагает новое объяснение. Святой Владимир не был канонизован в XI веке из-за сопротивления греков-митрополитов. По мнению исследователя, греки не могли простить Крестителю Руси того, что не от них, а от болгар он принял первую иерархию Русской Церкви (с. 106, 303). Таким образом, это предположение М. Д. Приселкова стоит в связи с его известной теорией о происхождении русской иерархии и о борьбе греческой и национальной партии в Киеве, проходящей красной нитью через все события русской церковной истории. Принимая первую из этих гипотез, мы полагаем, что в подчеркивании греко-римской распри, М. Д. Приселков, продолжая линию Шахматова[14], не удержался от преувеличений. А. А. Шахматов был создателем теории «Корсунской легенды» — предполагаемого греческого варианта истории Крещения Владимира, легшего в основу летописного рассказа. В конце XI века греческая легенда победила и вытеснила русские предания, отраженные митрополитом Иларионом и Иаковом. Но ведь Корсунская легенда и следующая за нею Летопись как раз и стерли следы болгарских связей Русской Церкви и вместе с тем дали благодарный житийный материал для канонизации Владимира. Достаточно вспомнить, что древнейшие проложные сказания черпают свой материал исключительно из Летописи. Заметно и влияние легенды Константина Равноапостольного[15] в повести о Крещении Владимира

(в частности, исцеление в купели). Если все эти черты легенды принадлежат греческому перу (предполагаемого клирика Десятинной церкви), то какие основания оставались еще у греков противиться канонизации святого Владимира, житие которого отныне утверждало материнские права Греческой Церкви над новокрещеной Русью?

Если признать вероятным сопротивление митрополитов XI–XII века канонизации святого Владимира, то причину его, по нашему мнению, следует искать не в грубой национальной тенденции, а в том, что может быть названо церковным консерватизмом. Канонизация князя Владимира по самому типу нового святого представляла великое новшество в традициях Греческой Церкви. Известно, что подавляющее большинство ее святых, после мучеников, принадлежат к чину преподобных и святителей. Миряне встречаются в ее календаре (в отличие от Русской Церкви) в виде исключения. Правда, Греческая Церковь канонизовала многих своих царей, и на этот прецедент ссылались, конечно, на Руси. Сравнение с царем Константином встречается и в Летописи, и под пером Илариона и Иакова. Как ни естественна была эта параллель: Владимир – Константин, русские книжники упустили одно – теократический характер власти в Византии и вытекавший отсюда особый оттенок царской канонизации. Греческая Церковь канонизовала почти исключительно царей, имена которых связаны с созывом Вселенских Соборов и с торжеством Православия. Эти канонизации – как бы «вечная память» хранителям веры, независимая от их личной святости. Но лишь «эпистемонарх»[16] Церкви, «епископ внешних», «царь и первосвященник» имел право на такую теократическую канонизацию. Киевский князь, простой «архонт» в глазах византийцев, конечно, не мог стоять на одной линии с царями ромеев. Русская Церковь была подчинена не ему, а митрополиту, а чрез митрополита – патриарху и императору константинопольским.

Прославить князя как святого можно было лишь в случае его особых личных, то есть для греков непременно аскетических подвигов. А свежее предание о Владимире не позволяло стилизовать его под аскета. Мы знаем, правда, многочисленные случаи канонизации князей – отнюдь не аскетов – в древней Русской Церкви. Число их доходит до 50 имен. Но о первых

из них, Борисе и Глебе, мы знаем положительно, что митрополит сначала «бе неверствуя» им. Святые братья могли еще преодолеть греческое недоверие в качестве мучеников и чудотворцев. Большинство же князей, прославленных в домонгольское время, погребены вне Киева, то есть их канонизации совершалась, вероятнее всего, местными русскими епископами. Не Греческая Церковь, а христианский Запад мог давать нашим предкам прецеденты для княжеских канонизаций (святой Вячеслав Чешский[17]). Если угодно, национальный мотив все же был в греческом (предполагаемом) отклонении канонизации Владимира. Но это был мотив весьма тонкий и осложненный, присутствующий как некий натуральный фон в греческом теократическом сознании. К варварскому князю нельзя было относиться так, как к ромейскому царю.

Но русские люди уже в XI веке верили в святость князя Владимира, и эту свою веру выразили в самых ранних памятниках русской литературы. В них и нужно искать внутренние мотивы канонизации, которая рано или поздно победила все преграды. Один из этих мотивов — заслуга Крещения: это тема Константина. «Во владыках апостол», «апостол в князех» — называют его почти одним и тем же именем Иларион и Иаков. Иларион глубже других пытается войти в его внутренний мир. Он останавливается на личном Крещении князя и видит в этом акте веры «любовь Христову». «Како взлюби ты Христа, како предася ему». И в Крещении народа он усматривает подвиг, покрывающий личные грехи. Не без остроумия он применяет к Владимиру слова апостола Иакова: «Обративший грешнаго от ложнаго пути его спасает другого от смерти и покрывает множество грехов» (Иак. 5, 20). — «Да аще единаго человека обратившу толико возмездие от благого Бога, то каково убо спасение обрете, о Василие, колико бремя греховно разсыпа, не единого обратив человека от заблуждениа идольския лсти, ни десяти, ни град, но всю область свою».

Но замечательно, что, как Иларион, так и Иаков, не довольствуясь славой Равноапостольного, с особенной любовью рисуют Владимира Милостивого. Милостыня — главная и даже единственная из личных добродетелей Владимира, открывающая ему Небо. «Кто исповесть многыя твоя нощныя милостыня и денныя щедроты?» (Иларион). «Более же всего бяше милостыню

творя князь Володимер», — вспоминает Иаков и подтверждает это известным рассказом о праздничных столах князя и о больных, для которых развозили по городу блюда с княжеского пира.

В этом ударении на милостыню и в этой высокой оценке человеколюбивой любви сказалось древнерусское понимание христианства. То, чего, может быть, не хватало Равноапостольному в глазах греков, то для русских с избытком покрыто его щедрой и ласковой добротой. И даже легкий, светский, как бы слишком веселый характер этой добродетели (пиры!) не повредил церковному образу святого князя. В этой оценке церковная интеллигенция вполне сошлась с народом. В былинах о Красном Солнышке народ совершенно забыл о Крестителе Руси, но сохранил память о его пирах. Былинное «столованье, почестен пир» и церковные «нощныя милостыни, деньныя щедроты» лишь два преломления одного луча. Один светлый образ, на заре нашей христианской истории, заворожил навсегда «новые люди новокрещеные» — народ, духовно созданный им или воскрешенный из «идольской льсти».

Антонин Ладинский. «Голубь над Понтом».

Юбилейный, или полуюбилейный, годъ 950-летия со дня крещения Руси принес нам вместо исторических исследований – исторический роман, в котором князю Владимиру уделено почетное место. Вероятно, это первый роман о князе Владимире – во всяком случае, единственный, который останется. А он, несомненно, останется и войдет в русскую воспитательную национально-историческую библиотеку.

Роман о князе Владимире – из эпохи, от которой нам ничего не осталось, кроме легенд, – кажется дерзким предприятием. Автор с большим тактом разрешил свою задачу. Он подошел к загадочной варяго-славянской Руси от Византии, и описывает события в Херсонесе и на Днепре словами патриота-ромея, их очевидца и участника. Не Русь, а Византия заполняет главное поле романа, и о победах Владимира рассказывает нам его враг и соперник, Ираклий Метафраст, влюбленный в царевну Анну. Этот прием дает автору право смело набросать портрет грубого варварского вождя, не смягчая жестоких красок, и в то же время дать почувствовать будущий образ, если не святого, то светлого князя, сливающагося для нас с образом России. Византия дана с необычайным богатством археологических деталей. От императорского дворца до рынка и лупанара[1], – с главным вниманием на военно-морском быте. Может быть, специалист найдет кое-какие неточности в обилии всех этих исторических деталей. Не будучи византинистом, я не могу их указать. Нельзя не удивляться лишь тому, что археологический груз не давит романа, почти лишенного фабулы в обычном смысле слова. Мы

читаем его с глубоким вниманием, переживая в нем нашу собственную трагедию — трагедию культуры.

Ладинский подошел к Византии с тем же основным интересом, с каким он изучал Рим III века. Для него это исторические отражения нашего жестокого времени с основной темой: гибель Запада, или, точнее, мужественная борьба за последние дни жизни великой, но уже пережившей себя культуры. «Стихи о Европе»— вероятно, лучшее изъ всего, что написал Ладинский, — дают ключ к его историческим романам. Они пронизаны острым романтизмом умирающего Рима, неотразимым для людей довоенного поколения, но совершенно несозвучным нашему времени.

Созвучен ли он Византии X века? В этом главный вопрос историка поэту. Восстановить вполне убедительно лицо Византии за всей внешней оболочкой ее культуры — задача нелегкая, доселе никем не испробованная. Ладинский волен предложить свою интерпретацию: Византия — это Рим, запоздавший со своею смертью на тысячелетие. Но признаюсь, мне плохо верится в такие длительные переживания. Византия представляется скорее типом окончательно нашедшей себя, в себе до конца уверенной, самодовлеющей культуры. В ее тяжелом великолепии, в абсолютной ортодоксальности как будто вовсе нет места романтизму. Не случайно она не оставила нам ни одного поэта. Даже ее литургическая поэзия закончилась к X веку — эпохе ее апогея. Ее искусство — особенно иконописное — непререкаемо. Но есть ли в нем хоть капля романтизма или душевности? Я сомневаюсь. Сравнение с утонченной культурой Китая напрашивается само собой.

Ираклий Метафраст — римлянин IV века, заблудившийся в X-ом, — или, что одно и то же, поэт XX века, перенесший себя в век македонской династии. В конце концов, это право поэта. Но поэт чувствует себя воином. Для него нет образа более волнующего, чем вековые дубы в степях — все равно Панонии или Скифии. С гибелью Византии он примиряется, глядя из-за бревенчатой стены Киева. Торжествующее варварство несет для него не одну тоску, а образ встающей России. И мы чувствуем: в гибели нашей Европы для него не все потеряно. Образ грядущей России утешает его мужественную и нежную музу.

Круг

Темно и жутко. Воздух такой удушливый, что нечем дышать. Когда начинаешь допытываться, отчего это, что особенного случилось, то видишь, что это поднимаются и душат испарения близкой войны. Чувствуешь физически, на губах, в ноздрях противный вкус и запах крови. Кровь – она волнует и возбуждает тех, кто никогда ее не видал, и только слышит ее голос в жилах. Освобожденная, она свертывается и вызывает тошноту. Только очень юные и слепые могут сейчас мечтать о подвигах. Нас тошнит при воспоминании о войне. Даже Илиада и Песнь о Роланде пахнут бойней и мясной лавкой. А волна крови уже подходит, уже плещется о Пиренеи, вот-вот прорвет плотины и затопит нас.

Какая разница с 1914 годом! Тогда гром ударил среди безоблачного неба. Война застала нас среди счастливых дней последнего безоблачного лета Европы. Никто не думал о ней, кроме дипломатов и генеральных штабов. Внезапно среди веселого обеда пришли и потребовали нас на суд. И для скольких из нас этот суд оказался немилостивым и беспощадным.

Теперь не то. Теперь мы похожи на смертника, которому прочли приговор и на годы забыли в тюремной камере. Вроде того приговоренного, о котором писал Сирин[1]. Мы пользуемся довольно широкой свободой. Нам оставлена возможность труда и развлечений. Мы можем даже выходить из тюрьмы, даже путешествовать, под надзором невидимых глаз. У нас есть даже слабая искра надежды. Может быть, президент нас помилует в конце концов. Но, может быть, он забыл нас или хочет

продлить нашу агонию по какой-то утонченной жестокости. Приговор во всяком случае не отменен, и бегство невозможно.

Другие скажут: это говорит малодушие. Возможно и бегство и восстание. Можно разбить тюрьму и вырвать власть из рук тиранов, управляющих миром. Тогда приговор падет сам собой. Блажен, кто верует. Но что делать, когда видишь с такой жестокой ясностью, как мало людей доброй воли и как крепка власть тиранов — в сердцах людей?

Есть разные позиции перед лицом смерти. Самая распространенная в наши дни состоит в том, чтобы «раствориться в коллективе». В чужой (высшей ли?) воле утопить свою совесть и ответственность. Маршировать, кричать, поднимать руки и кулаки, петь гимны и шагать навстречу смерти вместо того, чтобы ждать ее приближения. Умереть, наконец, с яростью и восторгом, в убеждении, что спасаешь родину или строишь новый мир. Что можно возразить против такой эвтаназии? Во-первых, то, что она покоится на основной лжи. Людям только кажется, что они спасают и строят. На самом деле они служат смерти, и ей одной. Если бы они знали это, их энтузиазм спал бы и лица посерели. Но мы не хотим блаженной смерти ценой наркотиков. Это противно человеческому достоинству. И еще, мы не хотим служить врагу, т. е. смерти. Бессильные бороться с ней, мы не согласны предавать ей жизнь, то, что осталось от жизни, последнее теплое дыхание человека.

Другая позиция — одиночество. Четыре глухих стены, тюремная койка и я. Со мной моя жизнь воспоминаний, и даже в настоящем, почти угасшем, это «я», раскрывая свои тайные и все более глубокие пласты, способно занять на годы мой ум, мое воображение. Само отчаяние, сама безнадежность родит мгновения восторга. Гордость помогает считать уже несуществующим обреченный мир. И, наконец, — возьмем предельно счастливый случай — разве нельзя, глубоко роясь в своем «я», прорыться в вечность? Это бывало. На дне отчаяния рождалась вера, и уста, привыкшие к усмешке, шептали молитву. De profundis...[2]

Не хочу утверждать, что такой счастливый исход невозможен. Знаю только, что он страшно редок. Для объяснения его самые крайние кальвинистические теории предопределения не кажутся чрезмерными. Нормально, человечески, душа застыва-

ет во льдах, умирая раньше физической смерти. «Я», отъединяясь от мира, людей и Бога, само себе становится ненавистным. И здесь измена пред лицом смерти. И обман, скрывающий безглазый череп под маской! La Belle Dame sans Merci...[3]

Мне хочется сказать, что возможна третья позиция, которая выражена в слове «Круг». Не одному и не в массе, но в кругу избранных, близких людей доброй воли. Можно уйти от своего холода не в липкий жар сгрудившихся тел, а в тепло дружеской руки. Можно, не утопая в безумных зрачках человеческих толп, погрузиться в ясные и грустные глаза человека. Разрешить свою невыносимую тяжесть в человеческой цепи несущих общее бремя. Забыть свой личный приговор в общем страдании. И даже открыть в общении источник новых сил. В цепи людей, взявшихся за руки, рождаются токи, отличные от биологических энергий, движущих толпами. Мысль, зачатая в мозгу одного, уже будит ответную мысль другого. Слабеющая воля поддерживается рукопожатием. Если смерть неизбежна, ее не страшно встретить вместе. А если — предположим невероятное — придет помилование, — круг друзей сомкнется для общей работы, для новой жизни. И, может быть, круг найдет свой центр, — вернее, увидит, Кто стоит в центре всякого круга.

Мечты?

Эсхатология и культура

Когда, лет пять тому назад, мы основывали «Новый Град», заглавие нашего журнала давало повод к недоразумениям. Во втором номере мы должны были разъяснить, что град, в строительстве которого мы собираемся участвовать, есть земной град, новое общество, которое должно выйти из кризиса современного капитализма. Мы просили не смешивать наш «Новый Град» с небесным Иерусалимом – который видится нам за пределами истории, как завершение всей человеческой культуры.

С тех пор произошло столько страшных событий, столько трещин дала старая земля Европы, и вулкан войны столь явно дает знать о своем пробуждении, что появление эсхатологических настроений в христианском мире неудивительно. Они замечаются и в западном христианстве, всегда столь трезвом и культуролюбивом, много веков как уже позабывшем о конце. Русская религиозность всегда отличалась особой эсхатологической напряженностью – как в народной стихии, так и в новой православной мысли. Богословие и философия Вл. Соловьева, Н. Федорова, Н. А. Бердяева и о. Булгакова эсхатологичны – хотя и в разном смысле. Не приходится удивляться тому, что и некоторые из близких сотрудников «Нового Града» переживают остро вечную эсхатологическую тему христианства. Читатель найдет отзвуки этих настроений в настоящей книжке журнала. Будут ли они поняты? Не создадут ли они впечатления, что «Новый Град» меняет свою позицию и открывает дверь неприятелю – разрушителям и социальным нигилистам?

Мы можем успокоить наших читателей и друзей. «Новый Град» не изменил своему знамени. Он живет в истории и культуре. Он мучится теми же вопросами, которыми болеют народы Европы и России. Он хочет посильно участвовать в строительстве земного града, нового общества, которое должно прийти на смену погибающему капитализму. Наш град еще не тот Иерусалим, о котором пророчит Апокалипсис, и всякий, кто под предлогом ожидания этого Иерусалима отказывается работать над усовершенствованием или постройкой земного града, тот не с нами, тот не новоградец.

Но если новоградство ориентировано на культурное, земное дело, то христианство, бесспорно, ориентировано на Небесный Град. Современные эсхатологические настроения лишь оживляют то, что было самым исконным и глубоким слоем христианства. «Благая весть» Евангелия была вестью о конце этого мира и о пришествии Царства Божия. Возвращение Мессии-Спасителя было обещано в «грозе и буре» конечной мировой катастрофы. Оно казалось совсем близким для первых поколений христиан. Постепенно отступая в даль истории, «парусия»[1] не утрачивала своего центрального места в содержании христианской надежды. В тысячелетиях, исполненных кровавых насилий, которые составляют историю человечества, христиане смотрели с упованием на приближающийся конец истории. Лишь теплохладная вера последних веков, обессиленная в тепличной атмосфере комфорта и прогресса, забывает об эсхатологической теме христианства. Но еще в конце XIX века научная совесть протестантских историков вновь открыла западному миру эсхатологический смысл Царства Божия. Мировая катастрофа лишь оживила в сердце то, что было ясно в сознании.

Нельзя отрицать, что греческая мысль и благочестие рано отвлекли христианство от эсхатологических путей Израиля. Великая эсхатология подменялась малой: судьбой личной души. В аскетике и мистике проблема личного спасения получила свой эсхатологический фокус в факте смерти и в вере в бессмертие. Настоящая жизнь начинается за порогом гроба. История теряет всякий интерес для мистика. Для него и конец истории — Страшный Суд — мыслится лишь как окончательное завершение личной судьбы: в спасении или погибели. Пра-

ктически он может и забывать о нем, ибо его личный суд, его спасение определяются его жизнью и, особенно, его смертью.

Но всякое христианское возвращение в историю, приятие ее трагедии, осмысление культуры неизбежно оживляет эсхатологическое понимание Царства Божия. Пророк христианской истории провидит ее конец. Лишь мистикам позволительно забывать о нем.

Однако, христианское пророчество об истории в наши дни не может быть простым и наивным повторением первохристианского. Между нами лежат девятнадцать веков истории — и, что еще важнее, шестнадцать веков христианской истории. Тысячелетний опыт Церкви не прошел даром. Пришествие Царства Божия, в своих исторических формах, оказалось иным, чем ожидало его первое поколение учеников. В перспективах Апокалипсиса нет места для обращения Империи, для христианского Кесаря. Девятнадцать веков ожидания, вероятно, показались бы невероятными для людей апостольского века. Позволительно спросить себя: нашли ли бы они в себе достаточно сил и веры, чтобы жить в перспективе такой — почти бесконечной — вереницы веков? Еще для блаженного Августина история представлялась законченной. Для христианской эпохи в ней просто не нашлось места.

Что же, эта христианская эпоха с религиозной точки зрения представляет просто пустое место? Весь подвиг христианской культуры, гения, святости — так-таки не изменяет ничего в апокалиптическом предчувствии конца? Языческий или христианский, грешный или святой — мир обречен огню и уничтожению, чтобы дать место новому небу и новой земле?

Нужно сказать со всей решительностью, что наше понимание апокалиптических образов и пророчеств, в свете истории не может совпадать с представлениями первого христианского века. Вот одна существенная поправка. Царство Божие не приходит вне зависимости от человеческих усилий, подвига, борьбы. Царство Божие есть дело богочеловеческое. В небесном Иерусалиме, который (Откр. гл. 21) завершает эсхатологическую драму, человечество должно увидеть плоды своих трудов и вдохновения очищенными и преображенными. Другими словами, этот Град, хотя и нисходит с неба, строится на земле в сотрудничестве всех поколений.

Теперь уже ясно, какие две концепции эсхатологии и культуры отвергаются христианским опытом Откровения и истории. Первая концепция – бесконечного, никогда не завершенного прогресса, которой жила секуляризированная Европа двух последних столетий. Вторая концепция – насильственной, внечеловеческой и внекультурной эсхатологии, – которой жило первохристианство и народная русская религиозность.

В чем ужас бесконечного прогресса? В том, что он, накопляя изумительные ценности, созданные человеком, бессилен искупить его самого: от греха и смерти. Вопрос о грехе может быть еще предметом спора, – по крайней мере, для людей XIX века он был предметом спора. Но что сказать о смерти? Нужно обладать жестокостью двадцатилетнего юноши, чтобы весело ступать по бесчисленным гробам того кладбища, в которое обращается земля. Самое высшее в мире – это человеческая личность. И если она гибнет без возврата, чего стоит мир ее созданий, ее отпечатков, кристаллизованных в культуре? Идея научного воскресения мертвых – безумная мечта, если она взята вне эсхатологического плана. Чтобы понять ее безумие, стоит лишь отдать себе отчет в связанности смерти со всей структурой падшего мира, со всеми законами природы. Пока материя останется непроницаемой, пока камень будет падать, и огонь жечь и т. д., ничто не спасет человека от неизбежного конца. Ничто не гарантирует и землю и солнце от космической катастрофы, от ледяной смерти. Бесконечная культура, подвластная греху и смерти, так же ужасна, как бессмертие для человека, подвластного болезни и старости. Как дряхлый старик молится о смерти, так самая удачная культура, без эсхатологической надежды, сама возжаждет своего уничтожения.

Вторая концепция – культуро-отрицающего эсхатологизма – оправдана лишь для наивного сознания, не знающего, что такое культура. Тот, для кого культура – накопление лишних и непонятных вещей, легко мирится с ее уничтожением. Но есть и другой тип антикультурного эсхатологизма, вырастающий на почве пресыщенности, переутонченности и замкнутого эгоцентризма. Человек «из подполья», сам уединивший себя от человеческого общения, со злой радостью следит за распадом и гибелью культуры. Пережив религиозный переворот, он и в обращении своем сохраняет черты индивидуалистического

равнодушия к «общему делу». Оно остается для него лишним и скучным. Грех или дефективность этого мироотречного эсхатологизма — в слабом или извращенном сознании Церкви. Мистическая Церковь неотделима от социального и исторического, т. е. культурного ее дела. Такой эсхатологизм всегда сохраняет привкус, хотя бы очень тонкий, духовного сектантства. Церковь по своей природе социальна, и по своей работе в мире — культурна. Достаточно поставить задачу не только личного, но общего спасения, как она уже влечет за собою задачу «общего дела». Отказ от него есть выражение духовного анархизма, по самой природе чуждого христианству. Ибо в самых истоках своих Евангелие есть благая весть о Царстве, о богосыновстве и братстве, о Новом Израиле.

Итак, в поисках примирения обоих терминов антитезы: эсхатология и культура, мы прежде всего должны отбросить те крайние выражения их, которые примирения не допускают, культуру без эсхатологии и эсхатологию без культуры. Оба эти мировоззрения, весьма распространенные в современном русском обществе, оказываются не христианскими, или, во всяком случае, не церковными. Но, и за вычетом их, напряжение остается. Как совместить, не в абстракции, а жизненно служение культуре с ожиданием ее конца? Можно ли строить, насаждать и внутренне призывать: «Гряди, Господи Иисусе»? Этот вопрос приводит нас к рассмотрению двух элементов христианской эсхатологии: элемента времени и формы конца.

Спаситель не дал ответа на вопрошание учеников о времени конца: «Это Отец положил в своей власти». Тем самым осуждены всякие попытки хронологических спекуляций о конце мира, столь частые в христианской эсхатологии. Действительно, убеждение в том, что конец мира совсем близок, что он входит в кругозор нашего поколения, могло бы подорвать, и действительно подрывает энергию социальной воли. К чему, в самом деле, строить дома, если в них никто не будет жить, писать книги, которых никто не будет читать? Остается лишь молиться или идти, вместе с монтанистами[2], в пустыню, навстречу Господу. Церковь уже со второго века отвергла это наивно-нетерпеливое и социально-разрушительное ожидание конца. И здесь, как во многих других случаях, нормой должно быть соответствие установок жизни личной и социально-

исторической. Как должен влиять факт неизбежной личной смерти на организацию моей жизни? Память о смерти может стать источником постоянной поверки совести, постоянного углубления опыта. Говорил же Зиммель[3], что смерть есть начало всей философии. Но мысль о смерти, в болезненной или слишком обнаженной душе может явиться источником уныния, безнадежности, дезинтеграции. Еще хуже: для экзальтированных душ в этой мысли может быть прелесть освобождения, тайная отрава самоубийства. Во всяком случае, соблазн отказа от своего призвания, своего служения, своей судьбы. Время не только порочная форма бытия, душа не только пленница тела, и эти платонические представления разбиваются при первом же соприкосновении с библейским реализмом. И тело, и природа, и время, и история — суть богозданные сферы действительности, для человека — сферы деятельности, спасения, творчества. Желание разбить их, как оковы, есть бегство усталого или мятежного раба.

Когда св. Людовика Гонзаго, римского семинариста, игравшего в мяч со своими товарищами, спросили, что он стал бы делать, если бы стало известно, что конец мира наступит сейчас, немедленно, он ответил: «Я продолжал бы играть в мяч». Людовик скончался 23-х лет, ухаживая за чумными больными, и ответ мальчика остался выражением самого зрелого социального опыта христианства. Одно из двух: или играть в мяч грех, и тогда следует бросить это занятие независимо от того, когда кончается мир. Или эта игра входит в круг оправданных телесных или социальных упражнений, в круг облекающей нас и творимой нами культуры, и тогда к чему разрывать этот круг, лицемерно обманывая насчет своей бестелесности грядущего Господа? Ответ Гонзаго, понятый по-настоящему, как слова святого, а не просто шаловливого мальчика, предполагает высшую степень социальной дисциплины и ответственности: «я должен быть на своем посту». Будет ли мой пост в школе, библиотеке или в монастырской поварне, религиозное отношение к служению не меняется. Если нас русских часто шокирует ответ св. Людовика, классический для западного христианства, то лишь потому, что мы не вполне уверены в христианском смысле истории и культуры. Но это уже дело восточной психологии. В Индии — там уже начисто отрицают

историю. Но христианство здесь ни при чем. Как ни при чем здесь и эсхатология.

Вот максима личной жизни: живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен. И вот максима культурной деятельности: работай так, как будто история никогда не кончится и в то же время так, как если бы она кончилась сегодня. Противоречие? Нет. Трудность? Еще бы. Бесконечность, бессмертие определяют здесь содержание жизни и работы, не ограниченной никакими перспективами времени. Смерть, эсхатология определяют духовную установку: сознание относительности, хрупкости, тленности всякого человеческого дела и жажду абсолютного совершенства, не утоляемого культурой.

Под формой конца я понимаю основной характер его, который может мыслиться или как катастрофа или как преображение; или же, удерживая в обоих случаях идею катастрофы, можно говорить о катастрофе, гибели старого мира, с творением «нового неба и новой земли», или же о катастрофе, преображающей мир, чудесно вводящей его в новый план бытия. Наше отношение к концу существенно зависит от того, каким мы мыслим этот конец.

Но разве форма конца не предуказана? Разве все Откровение Иоанна не посвящено изображению трагического, разрушительного конца? Новейшая попытка Сетницкого[4] дать эволюционное толкование апокалиптической эсхатологии явно искусственна. Эсхатологические главы Евангелия проблесками молний освещают тот же страшный конец. История мира кончается неудачей, тупиком, разливом греха. Лишь божественное вмешательство разрубает узел дурной бесконечности греха. Святой град спускается с неба. И сколь немногим суждено войти в него!

Несомненно, такой образ конца естественно внушается Откровением. Полторы тысячи лет христианство понимало его именно таким образом. Такое понимание, конечно, было одной из причин, почему новое западное христианство, ориентированное на жизненное, социальное служение, практически отказывается от эсхатологии. Такая эсхатология кажется опасной, психологически несовместимой с мужеством работника и борца. Она оставляет слишком мало места надежде (мы слишком

часто забываем, что надежда — тоже христианская добродетель). Практическая мудрость православной Церкви сказалась в том, что она не предлагает Апокалипсиса для богослужебного чтения. Не этими ли морально-практическими соображениями объясняются столь длительные колебания Восточной Церкви в признании канонического значения этой книги? Сомнения были окончательно оставлены не ранее XIV века.

Вот почему идея Федорова[5] об условном значении пророчеств явилась для нас настоящим освобождением. Как все гениальные идеи, она так проста, что, раз приняв ее, кажется непонятным, как можно думать иначе. Пророчество не есть констатирование неизбежности, обращенная в будущее цепь железных закономерностей. Такое фаталистическое понимание было бы разрушительным для моральной деятельности человека. Если Бог приоткрывает будущее для человека, то для того, чтобы влиять на его волю, его поведение, от которого это будущее зависит. Всякое пророчество есть обещание или угроза. Угроза зовет к покаянию, обещание утешает на пороге отчаяния. Но сила раскаяния может отвести самую категорическую угрозу пророка. Об этом красноречиво говорит книга Ионы. Раскаяние ниневитян отвратило от города неминуемую гибель. Понимаемый в таком свете Апокалипсис есть одновременно и угроза и утешение: угроза для грешного мира, утешение для верного остатка. Апокалипсис предполагает самое худшее. Рим Нерона и Домициана может быть последним словом истории. История может идти от катастрофы к катастрофе — но не отчаивайтесь: Господь грядет. Однако история не демонстрация классического лабораторного опыта и не постановка давно уже написанной драмы. Человеческая свобода входит в состав ее, образуя самую ткань ее. Поставленная посредине между миром природы и миром благодати, человеческая свобода сообщает истории ее непредвидимость. «Если не покаетесь, все погибнете. Если покаетесь, все спасетесь». Ведь и Спаситель не утверждает, а спрашивает нас: «Сын человеческий найдет ли веру на земле?».

Как же можно мыслить себе другой конец — на основе если не нашей веры, то нашей надежды и любви? Есть и в Евангелии иные образы пришествия Царства Божия, не катастрофического, а органического порядка. Зерно горчичное, вырастающее

в дерево, которое покрывает вселенную. Закваска, квасящая все тесто. Поля, побелевшие для жатвы... Развивая эти образы, мы можем прийти к концепции, близкой эволюционизму XIX века. Близкой, но не тождественной. В оптимальном случае, человечество может возрастать в духе и формах свободной теократии.

«Бог становится всем во всем». Все народы принимают в свое сердце правду христианства. Церковь возвращает себе свое ведущее положение в мире и, не повторяя больше ошибок насильственной теократии, организует «общее дело» человечества в духе свободы. Перспектива безмерная для борьбы и преодоления зла: морального, социального, космического. Вот здесь то и наступает момент, когда дальнейшие усилия человечества, хотя бы и благодатно вдохновленного, натыкаются на последнюю преграду: смерть и закон природной необходимости. Этого врага может победить лишь Единый Безгрешный. Человечество выходит навстречу Ему как своему Жениху. Его пришествие тогда не Суд («Я не пришел, чтобы судить мир»), но брачный пир, исполнение мессианских обетований древнего Израиля.

Обе эти концепции конца одинаково возможны, если неодинаково вероятны. Пусть историческая вероятность (как кажется сейчас многим) за пессимистическим прозрением Апокалипсиса. Но надежда и любовь влекут нас к другой концепции. Во всяком случае, раз увидев ее, от нее нельзя отвратиться. Только она дает возможность сказать от всего сердца: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». Иначе, эта молитва не будет свободна от злорадства или сердечной узости. Недаром, уже со второго века Церковь молилась de mora finis[6]: об отдалении конца. В этом сказалось не падение веры, а возрастание любви. Любви и ответственности за весь погибающий мир. Церковь уже не только отбор мучеников и девственников, но, в потенции, все Божье человечество.

Не будем утверждать, что пессимистический вариант эсхатологии исключает энергию человеческого делания. Этому противоречил бы весь тысячелетний опыт средневековой церкви, хотя личное делание при такой концепции естественно заслоняет социальное. В сущности, социальное понимается здесь обычно как приложение или проекция личного. Целое, как сфера или объект деятельности, редко осмысливается.

Ведь, оно, все равно, обречено на неудачу и гибель. Однако, в наше время, параллельно с федоровским оптимистическим взглядом на эсхатологию, сложилось и новое понимание трагической эсхатологии, более благоприятное для культурного творчества. Небесный Иерусалим, спускающийся на землю и завершающий страдания мира, мыслится не только Божиим даром, но отчасти и человеческим созданием. Точнее, делом богочеловеческим. В нем возвращаются воскресшие и преображенные плоды всех человеческих усилий, творческих подвигов, которые были погублены трагедией смертного времени. Ничто подлинно ценное в этом мире не пропадает. Культура воскреснет, подобно истлевшему телу, во славе. Тогда все наши фрагментарные достижения, все приблизительные истины, все несовершенные удачи найдут свое место, сложившись, как камни, в стены вечного Града. Эта мысль примиряет с трагедией во времени и может вдохновить на подвиг не только личный, но и социальный.

И все же следует помнить, что даже в такой интерпретации дело культуры, будучи религиозно оправдано, лишено того упования всеобщности, которое одно может религиозно вдохновлять его. Ведь, при неудаче истории и пессимистическом конце, Небесный Град явно не вмещает всех. В него входит лишь остаток – по необходимости малый, ибо он, этот остаток, не мог остановить человечество на пути к конечной гибели. Можно считать, конечно, этот исход неизбежным. Но тогда как можно призывать его, молиться о его ускорении? Наше время не может найти в себе успокоения в идее Августина (или Данте), что «праведный радуется справедливости», даже если справедливость означает вечную гибель почти всего человечества. Поскольку наши благочестивые предки мыслили возвращение Христа в образе Страшного Судии, они трепетали сами – и за себя и за весь мир – и не могли уже молиться: «Ей, гряди!».

Или, может быть, есть еще третий исход, третий вариант эсхатологии, который соединяет идею гибели с чаянием всеобщего спасения, апокатастасиса[7]? Человечество губит себя в конечной неудаче – скажем точнее, в греховном отчаянии и разложении. Но Бог приходит не для того, чтобы судить и карать по заслугам, а чтобы спасти всех. Это было бы спасением прощения, милости, которое игнорирует момент личной

свободы. Как может быть спасен человек, которые не хочет спасения? Если человек вольно избирает ад, не будет ли для него адом самое небо? На чем основываются эти последние эсхатологические надежды? На Божием всемогуществе, которое «может из камней создать детей Авраама»? Но этим обессмысливается весь процесс искупления, более того, самое творение мира, которое предполагало и до сих пор предполагает свободный выбор человека. Или на красоте и совершенстве самого Божественного Лица, в свете Которого растопится всякое зло? Да, только на это и можно уповать. Но это Лицо уже явлено миру, уже Оно светит в истории. И если считать, что Оно бессильно победить историю, тогда почему Оно должно победить за порогом истории?

Отбрасывая богословски порочный, третий вариант — всеобщего прощения, — приходим к выводу: в современных условиях мира чаяние скорого конца предполагает согласие на гибель — не только истории и культуры, — но и огромного большинства человечества. Установка естественная для жестоковыйного староверчества, но непонятная для людей евангельского сознания. Можно склониться перед трагической неизбежностью этого конца — в страхе и трепете, — но нельзя молиться о его ускорении. Для людей пессимистической эсхатологии единственно оправданная молитва de mora finis. И единственная эсхатология, которая может сочетать оправдание общего дела с упованием общего спасения, есть эсхатология условных пророчеств, открывающая возможность — конечно, только возможность — оптимистического конца.

Искания младороссов

Перед нами второй выпуск «Русского Временника» (Париж 1938), издания группы молодежи, отколовшейся от Союза Младороссов. Среди разнообразных «пореволюционных» течений новый журнал приятно удивляет как свежестью мысли, действительным духом исканий, так и направлением, в котором эти искания ведутся. Для «Русского Временника», называющего себя «органом революционной монархической мысли», верность религиозной и национальной традиции России соединяется с серьезным, и не только словесным устремлением к идеалам русской интеллигенции: свободе, демократии и даже социализму. Синтез такого размаха, конечно, дело нелегкое, и авторы подчас довольно далеко расходятся в постановке новых вех. Но общий дух, их одушевляющий, настолько близок к «Новому Граду», что, несмотря на чуждую нам монархическую мистику, мы готовы видеть в группе «Русского Временника» своих ближайших друзей.

Дружба, как и вражда, обязывает к откровенности. И мы, признавая ценность многих формулировок и характеристик (среди авторов есть люди, бесспорно, талантливые), обязаны указать и пункты расхождения — или дать сигнал об опасностях.

Опасные пункты лежат на обоих крайних флангах молодой группы: на том фланге, который можно было бы назвать правым или националистическим, и на левом, или либеральном. Правый фланг представлен двумя Попандопуло (С. и В.)[1]. Они оба проникнуты тем пафосом, я бы сказал той мистикой, ко-

торая сродни позднему славянофильству эпохи Александра III. Ближе всего они по духу к Л. Тихомирову, общему учителю современного монархизма. В своих «Мыслях Русского Монархиста», В. Попандопуло исходит из идеи «всеобщего духовного единства», как цели всякого общества и культуры. Понимая это единство не как предельный идеал, а как конкретное состояние, уже осуществившееся в истории, автор естественно приходит к самодержавной монархии, как лучшему историческому воплощению единства. Здесь порочен монизм самой исходной точки. Целью не может быть единство во что бы то ни стало, а единство в истине. Но путь к истине ведет всегда через диалектические противоположности, через борьбу. Конкретно, политика должна создать лучшие формы для культуры раскрывающейся, движущейся истины, а не единство окончательно найденного. Отсюда необходимость плюрализма политических начал и опасность всех монистических идеалов. Самодержавная монархия славянофилов есть утопия прошлого, жестокое искажение исторической правды. При всех ее исторических заслугах, русская монархия никогда не была идеальным носителем (не существовавшего) единства. Она была церковно-боярской в XV столетии, опричной в XVI, дворянски-купеческой в XVII, дворянской только в XVIII, бюрократически-полицейской в XIX веках. Всенародной (и то в ограниченном смысле) ей удавалось стать лишь в немногие великие моменты русской истории: борьба с татарами, реформы Петра I и Александра II. В наше время полной духовной расколотости единство самодержавия может быть только тоталитарным насилием.

С. Попандопуло в статье о пораженчестве защищает тезис обороны России, близкий и нам. Но в защите своей он исходит из предпосылок, которые можно назвать интегральным национализмом. Его оборона России проистекает прежде всего из веры в Россию, как «мощь физическую и духовную». Эта мощь, по-видимому, не нуждается ни в каком ином нравственном или религиозном оправдании. В системе духовных ценностей нация получает неподобающее, верховное положение. Автор просто не хочет мыслить себе возможность конфликта между его народом и правдой, народом и церковью, народом и Христом. По средневековому церковному сознанию христианин может участвовать в войне лишь справедливой. Новое,

творимое международно-демократическое сознание (увы, теперь более разрушаемое, чем творимое) возвращается к средневековой предпосылке. Должен быть высший трибунал и над народами. Иначе жизнь станет невозможной, и наша культура разрушится в войнах абсолютных, самодовлеющих государств.

На противоположном левом фланге Лев Закутин[2], в острой и превосходно написанной статье «Спор о демократии», пытается найти конкретное определение для демократии, идеал которой он, как и все участники сборника, считает своим. Но сводя демократию к ряду «свобод», он берет на себя защиту скорее либерализма, чем демократии. Защищать свободу в наши дни дело поистине рыцарское, — и в пореволюционном стане необычное. В современной демократии наследие либерализма есть, конечно, самое ценное и самое хрупкое. И тем не менее свободой демократия не исчерпывается. Она имеет свое содержание, трудно определимое. Не желая искать его в «народовластии», мы вынуждены все-таки углубляться в коренной смысл той правды, которая скрывается в этом слове: назовем ли, ее «самоуправлением народа», построением власти «снизу вверх», всенародной организацией власти или как-нибудь иначе. Во всяком случае, для автора здесь открытая проблема для дальнейшего исследования.

Л. И. Горбов[3] в статье «В защиту Монархии» дает спокойное и прозрачное построение монархии конституционной, или демократической, по классической формуле: «монарх царствует, но не управляет». Все, что можно сказать об этом политическом идеале, столь привлекательном в Англии или в северной Европе, это то, что он является утопическим для России и вообще для революционных эпох. Там, где власть по необходимости принимает диктаториальный характер, монархия или сама превращается в династическую диктатуру (или самодержавие), или играет унизительную роль тени диктатора. Ни в Италии, ни в Греции, она неспособна защитить народ от тиранов.

Сравнивая две, прямо противоположные защиты монархии в «Русском Временнике», мы видим, что они обе сбиваются на утопии: славянофильскую и парламентарную. Наш вывод: вопрос о монархии нельзя ставить абстрактно. А ставить его конкретно, значит ставить его для России, в обстановке пореволюционной. А здесь и поднимается вопрос первый — о дина-

стии и ее носителях, и вопрос второй – о народном отношении к этой династии. И вот тут-то оказывается, что весь нравственный капитал, которым некогда династия обладала, она начисто растеряла за два последних царствования. В России, как и во Франции начала XIX века, любой из революционных маршалов имеет больше шансов на (эфемерный, конечно) трон, чем старая династия, неразрывно связанная в народном сознании с дворянской Россией.

В заключение не могу не указать на досадное чувство, которое вызывает в отделе «Библиографии» рецензия на богословский сборник «Живое Предание». Журнал, конечно, мог бы прекрасно обойтись без богословских рецензий. Тем более непонятно, почему он поручил ее автору, известному крайней реакционностью своих богословских взглядов. Рецензия представляет огульное отрицание, в иронически-презрительном тоне, всех новых и свежих течений в православной мысли, которые нашли себе отражение в «Живом Предании». А там пишут далеко не революционеры, скорее люди того типа, которые называются «свободными консерваторами». К лицу ли молодому и свободному «Русскому Временнику» это реакционное пятно?

От редакции

№ 14 «Нового Града» выходит в напряженное страшное время. Всю эту зиму и весну мы живем под угрозой войны — не где-то там, в отдалении, а совсем близко, вплотную подошедшей к нам: не сегодня-завтра, и мы проснемся под грохот воздушной атаки, среди обвала домов и ползущих ядовитых газов. Единственное облегчение — сознавать, что это состояние стало хроническим и что несколько месяцев тому назад, оно было, несомненно, еще более мрачным.

Многие говорят, что мировая война давно уже началась. Она лишь приняла новые, невиданные формы. На некоторых пространствах мировой карты она свирепствует открыто: в Китае, в течение 3 лет в Испании, — с невероятной жестокостью. В других местах, в Средней Европе, война стала латентной или «сухой». Происходят военные действия, передвигаются армии, захватываются целые страны, но пушки молчат — ибо побежденные сдаются без боя. За год, протекший после выпуска последнего номера «Нового Града», Центрально-Европейская Ось[1] завоевала три государства: Австрию, Чехословакию и Албанию. Еще ранее Абиссинию. Сейчас угроза нависла над Данцигом и, следовательно, над Польшей. Но здесь, как известно, и наступил перелом.

Перелом обозначился в тот момент, когда Англия и Франция сказали свое «нет». Дальнейшему наступлению положен предел — покамест, дипломатический. За ним стоит лихорадочное вооружение Англии и милитаризация хозяйства и политики Франции. В то же время идет глухая, но активнейшая

работа по созданию и укреплению двух блоков. Кое-какие малые государства Средней и Северной Европы пытаются сохранить свой нейтралитет. Надолго им это удастся не может. Европа распадается на два гигантских союза, непрерывно вооружающихся и готовых ежедневно вступить в смертельную борьбу.

Мы живем опять, как в грозное лето 1914 года, с той только разницей, что теперь нет места беспечности, что от войны не спрятаться; и все мы знаем, что в случае войны нам ожидать. Теперь едва ли кто-нибудь делает себе иллюзии насчет последствий «победы». Мы знаем по опыту: современная война не знает победителей, — а только побежденных. Разрушения войны и всеобщее оскудение несоизмеримы с политическими преимуществами, которые может дать военная победа. Да и как еще это преимущество будет использовано? Демократическая Европа победила в 1918 году и перед ней открывались казалось бы неограниченные возможности замирения и реорганизации мира. Все эти возможности она упустила и через 20 лет стоит перед тем же врагом, только окрепшим и в своей жестокости и в своей воле к мировому господству.

Если вдуматься в те силы, которые помешали гуманитарно-демократическому замирению Европы, то мы увидим, что они сводятся все к последствиям войны. Это глубокое моральное потрясение кровавых лет, которое не проходит, а углубляется и поражает мало-помалу все области культурной жизни. На одной стороне это мстительность, комплекс унижения, жажда реванша, вера в насилие и презрение к человечности. На другой — страх, подозрительность, малодушие... Фашизм — как и коммунизм — прямое наследие войны. Демократия не может существовать в обществе, которое живет для войны или которое в войне почерпает весь свой социальный и политический опыт. Это создает, конечно, большое неравенство между странами демократии и фашизма по отношению к войне. Демократия ненавидит войну — совершенно искренно, от Блюма до Чемберлена: в войне она может найти свою гибель. Фашизм в войне обретает источник своих сил. Чем более грубеет и дичает общество, тем легче оно фашизируется. Не война сама по себе останавливает фашистских вождей, а перспектива разгрома и личной гибели.

Это неравенство усугубляется еще различным отношением к культуре. Современная демократия благоговеет перед культурой, как системой накопленных ценностей. Гибель библиотек, музеев, соборов для нее невыносима. Фашист с легким сердцем идет на разрушение культуры. Вандал по инстинктам, он приветствует полудикую жизнь в джунглях, то новое «здоровое» и беспамятное варварство, в которое он готов ввергнуть Европу.

Что делать? Демократии нечего стыдиться этой своей слабости. Демократия создана не для войны, а для мира. Наиболее совершенные, тонкие и сложные формы общественного строя отказываются служить в условиях варваризации. Война всегда означает затмение демократии. Но если Европа выживет и выйдет из фазы войны, в которую она вступила, будет жить и демократия, реформированная и обновленная. Не выживет — вместе с нею погибнет и демократия, конечно. Но для демократии обязательно приспособление к новой суровой обстановке войны. Ей приходится взять нечто от своего врага, чтобы спасти остальное. Она берет авторитарные формы, порой диктатуру, но отвергает тоталитарность. Англия переходит к принудительной военной службе, что для нее всегда казалось равносильным рабству. Франция отказывается от громоздкой парламентарной машины и переходит к личному режиму. Что это, измена? Нет, единственное средство спасения. Диктатура есть неизбежное дополнение демократии, — спасительное, поскольку она строго ограничена временем и функциями и роковое, — поскольку вырождается в тиранию. О последнем вырождении для демократий Западной Европы смешно пока и говорить.

Поскольку демократия сохраняет свое настоящее духовное лицо, она не может легко идти навстречу войне, не может играть в расчете на победу. Весь смысл ее трагической игры — в предотвращении войны. Этим, а не одним лишь страхом, объясняется, лишенное внешнего достоинства, поведение в дни Мюнхена (сентябрь 1938 года). Эта дата останется, конечно, одной из позорнейших в истории. В результате предательства — гибель Чехословакии, переход к Германии 1.000.000 солдат с огромным военным потенциалом. Рядом с этим можно поставить почти сознательную сдачу Испании державам Оси. И все-таки, с последней оценкой событий надо обождать. Кутузов отдал же Москву, а Фабий — Рим. Мы не знаем, какими силами

располагали западные державы в дни Мюнхена. Надо думать, что во главе их стояли – и стоят – не круглые идиоты, и их вожди хоть смутно понимали, что они отдают. Надо думать, что они должны были отдать, ибо решающие дни застали их неподготовленными. Демократия пропустила огромное военное возрождение Германии, и за это должна теперь платить. Она и заплатила отступлением последнего года, потерей союзников, германской гегемонией в Средней Европе.

Теперь отступление пришло к концу. Вооружение Англии и моральная перестройка свободных народов делают возможной более активную борьбу за мир. Но мир, а не война и не победа остаются и сейчас последней целью. На чашу мира бросается теперь вся тяжесть современных вооружений. Чтобы спасти мир, нужно иметь подавляющий перевес военных сил на стороне, не желающей войны. В этом сейчас единственный шанс. Достигнут ли уже сейчас такой перевес? Нет, не достигнут, и в этом главная опасность. Враг может ускорить взрыв, понимая, что промедление уменьшает его преимущества.

В таких условиях борьба за Россию приобретает роковой смысл. От того или иного ответа Москвы зависит судьба войны и мира. Россия снова выходит из своей изоляции, в которую замкнул ее Сталин, и становится на путь мировой политики. В каком смысле, мы этого еще не знаем. Когда пишутся эти строки, Москва еще не сделала своего выбора. Если она сохранит нейтралитет (на большее Гитлер вряд ли рассчитывает), Германия, вероятно, поспешит с развязкой. Договорится она с Лондоном, сумеет Сталин преодолеть недоверие и нерешительность старого консерватора, и шансы мира сразу вырастут. Вместе с Россией у западных демократий перевес сил обеспечен, и Германии придется очень серьезно подумать, прежде чем броситься в пропасть.

Появление коммунистического СССР в лагере демократии поднимает вопрос об идеологическом характере обеих европейских коалиций. В какой мере политическая идеология и строй определяют цели борьбы и распределение сил? Вожди западных демократий всеми силами протестуют против «идеологической войны» или против попыток придать назревающему конфликту идеологический смысл: борьба демократий против тоталитарной диктатуры. Присоединение России к демократи-

ческому лагерю как будто действительно лишает его всякого идеологического смысла. Что общего между демократией и сталинским фашизмом? Или это «левый» фашизм, и борьба идет между левым и правым фронтом? Коммунизм и демократия, может быть, составляют вместе то, что называется «народным фронтом»? Так хочет понимать дело русская пораженческая эмиграция, вместе с западными коммунистами. Но народный фронт с Чемберленом и французскими консерваторами – это есть уже просто вздор. Всякий понимает, что для Франции и Англии вопрос идет о самосохранении, о жизни, и что они протягивают руку Сталину, преодолевая естественное отвращение. Так много лет тому назад слагалась Антанта, явно лишенная всякого идеологического содержания. Союз западных демократий с русским самодержавием? Но Америка, готовая поддержать сейчас демократическую Европу, поднимает идеологическое знамя. Фашистские вожди без идеологии вообще обойтись не могут. Где правда?

Правда в том, что война, тлеющая в Европе, имеет двойной источник. С одной стороны, это восстание побежденных или неудовлетворенных в 1918 году. Германия, Италия и ряд мелких государств имеют основания требовать нового передела Европы с отменой Версальского мира, который не соответствует новому соотношению сил. Побежденные вчера оказываются сегодня сильными, если не сильнейшими, и предъявляют требования уже не только на равенство, но и на господство. Этот конфликт возник бы, вероятно, и в том случае, если бы политический строй Германии и Италии ничем не отличался от строя западных держав. Надо признаться только, что в этом случае наше отношение ко многим конкретным вопросам было бы совершенное иное.

Это ясное и простое столкновение интересов осложнилось фашистской революцией. Идеологическая война родится именно в стане побежденных, и эта идеология необычайно затрудняет мирное решение послеверсальских проблем. Фашизм, во-первых, провозглашает единственной ценностью в политике народную мощь и экспансию, делая невозможными искренние переговоры на почве права. Во-вторых, с точки зрения экспансии, есть разница между справедливым возвращением своего и захватом чужого. Нет морального предела

войне. Она останавливается лишь перед силой, и своим пределом имеет мировое господство. В-третьих, фашизм, сам по себе, есть идеализация насилия и войны. Еще Ницше говорил: «Хорошая война оправдывает всякую цель». Революционный фашизм живет, мыслит и чувствует в духе этой максимы. Вот почему создается глубокая связь между внутренней и внешней политикой фашизма, между тоталитарной тиранией и войной. Россия не составляет исключения. Ее внутренний фашизм неразрывно связан с духом милитаризма. Счастье в том, что Россия находится в состоянии обороны. Не соседи с Запада и Востока думают об экспансии за ее счет. Поэтому ее воинственность вмещается в рамки обороны и делает ее естественной союзницей западных демократий.

Для демократий — война есть величайшее зло, мир — бесценное благо, и право — священно. Конечно, мы говорим о современных демократиях. В эпоху своей революционной юности и они отдали дань Марсу. Но сейчас их идеология располагает к пацифизму.

Будем откровенны. Не все обстоит благополучно и в лагере демократий. Их миролюбие и праволюбие слишком связаны с защитой приобретенных благ. Богатому легко стоять на почве закона. Победителю, навязавшему свой мир, легко говорить о верности договорам. Но в основе их лежит старая несправедливость, и право давности всего не покрывает. Колониальный раздел мира в значительной мере покрыт правом давности. Но для Версаля эта давность еще не наступила. В любой из речей фюрера и дуче, среди криков безумной ярости попадаются слова, которые отзовутся укором в сердце искреннего демократа. Да, все, чего добилась Германия, она получила путем насилия. Пока она была лояльной и участвовала в Лиге Наций, ее третировали. Ее стали уважать и бояться лишь после прихода Гитлера к власти. Версаль и особенно послеверсальские годы несут в себе злые силы войны. Версальский договор, в значительной мере, ликвидирован, — но не вполне. И кое-какие лохмотья его помогают облекать в правовые одежды и самые захватнические требования. Известно, какое значение сыграли требования судетского меньшинства в аннексии Чехословакии. Демократическая совесть, а не одна демократическая трусость, была смущена призраком справедливости германских притя-

заний. Это, во всяком случае, верно для английского общественного мнения. А поскольку эти требования поддерживаются реальной силой, угрожающей взрывом Европы, сопротивляться им особенно затруднительно.

Вот почему, помимо вооружений и вслед за вооружениями, реальная программа мира должна включить план пересмотра и передела Версальской Европы.

Это задача небывалой трудности. Всякая уступка, справедливая или несправедливая, увеличивает и средства и напор военных держан. В этом опасность ревизионизма. С другой стороны, захватчики должны иметь перед глазами мирную альтернативу. Если не все, то нечто, существенное для их национальных интересов, они должны иметь надежду получить путем переговоров, взаимных уступок, сотрудничества. Иначе для них остается лишь путь войны. Ибо режимы, созданные насилием и живущие миражом побед, не выносят бессильного прозябания. Гитлер и Муссолини, вероятно, предпочтут гибель на войне, вместе со всей Германией и Италией, одинокой собственной гибели. Вожди демократии должны проявить величайшее дипломатическое искусство, чтобы растянуть во времени и ограничить в содержании эти неизбежные уступки, в расчете на выигрыш времени и радикальную перемену политической обстановки. По существу, действительное разрешение версальских проблем предполагает атмосферу умиротворенной Европы, создание действительного международного коллектива, облеченного властью и силой. Ни одна меньшинственная проблема в настоящее время – неразрешима в рамках самодовлеющего национального государства. Да и ни одна экономическая тоже. Лига Наций погибает или существует в виде своей тени, но она должна жить, если суждено жить Европе. Но жить не как безвластный парламент наций, а как подлинный суверен – и притом единственный суверен Европы. (О мире пока говорить преждевременно).

Прежде, чем это станет возможным, очевидно, тоталитарные режимы должны перестать существовать. И последняя надежда на жизнь европейского человечества действительно связана с гибелью всех фашистско-коммунистических тираний. Волей неволей, «идеология» вступает здесь в свои права. Ибо есть идеологии, несовместимые с миром, не допускающие со-

существования и сотрудничества народов. Что эти идеологии не вечны, ясно само собой. Но мы уже видим своими глазами, как быстро они изнашиваются, В России коммунизм за 20 лет переродился в свою противоположность. В Германии и Италии, по словам всех очевидцев, чувствуется почти всеобщая усталость. Революционная пора фашизма прошла. Он опирается еще на молодежь и на преторианцев, но массы (и особенно средние классы) уже не увлекаются им. Они позволяют вести или гнать себя, но ворчат. В интеллигенции просыпается тоска по проданной ею свободе. Могло ли это быть иначе? Если мы не потеряли надежды на спасение души русского народа, почему отчаиваться в Германии? Сейчас многие поддаются страстному чувству горечи и ненависти по отношению к насильникам, которые заставляют терять всякую меру в оценках. Ненавидят уже не расизм, а немецкий народ, с его душой, с его культурной традицией, с его великим прошлым. Как будто опыт трех великих народов, сорвавшихся в пропасть, не говорит красноречиво о том, что катастрофа необъяснима из национальных пороков. Три провалившихся народа — это три «передовых» или модернистских народа, те, у которых сказались всего слабее консервативные устои. Они очутились впереди других, — т. е. ближе к яме, и свалились в нее. Та же судьба грозит и всем, отсталым, но еще идущим той же дорогой, — если они не найдут другой.

Здесь мы возвращаемся к основному credo «Нового Града». Лишь опыт — или хотя бы серьезный план — нового строительства, на новых духовных началах, может преодолеть и пассивность демократий, плывущих по течению, и энергию мнимоконструктивного, а на деле разрушительного тоталитаризма. Люди, «сидящие во тьме и сени смертной», — в Германии, в России, решатся сбросить с себя цепи полудобровольного рабства, когда увидят, что есть иной выход; что мир может быть построен не на железе и крови, а на праве и свободе. Пока этой альтернативы нет, пока право и свобода служат лишь для самосохранения или продления агонии старого мира, они не соблазняют рабов и мучеников сатанинского строительства. Поэтому последний ключ к решению мирового кризиса, к преодолению войны — в духовно-социальном возрождении европейского, некогда христианского человечества.

* * *

Россия, которая играет сейчас в мировых событиях такую важную и такую двусмысленную роль, по-прежнему окутана почти непроницаемым туманом. По-прежнему в ней не раздается ни одного свободного голоса, и все, что пишется и говорится там, если и является функцией действительности, то функцией, выражающейся очень сложным математическим уравнением. Легче ли хоть сколько-нибудь стало дышать там, когда опасность войны надвинулась вплотную? Ничто не дает права на такое заключение. Пошли разговоры — в который раз! — об уважении к интеллигенции. Но рабство литературы показывает, какова цена этих разговоров. Национализация коммунизма продолжается — в ускоренном темпе, — но также продолжается, на первый взгляд бессмысленная борьба с религией. Если в ней есть какой-нибудь политический смысл, он для режима убийственный: он означает, что всякая отдушина, всякая духовная жизнь — оказываются в непримиримом противоречии с потерявшим последнее нравственное оправдание режимом. Если в атеистической кампании нет никакого смысла, то каков же политический смысл самой диктатуры, которая ведет религиозную войну с народом накануне мировой войны? И та, и другая гипотеза несут с собою приговор Сталину. И, однако, его власть не оспаривается. И сейчас как будто прошли сроки для счастливого предвоенного переворота. Россия входит в полосу тяжелых и ответственных событий, обремененная своим хроническим, истощающим недугом. С тревогой и болью смотрят на нее из горького «далека» сохранившие ей верность сыны. Выдержит ли? Устоит ли в грозе и буре? Найдет ли в себе внутренние силы возрождения, или новая война будет и концом России?

По-видимому, эти чувства совершенно чужды той части русской эмиграции, которая, со времени пришествия Гитлера к власти, поставила карту на завоевание и расчленение России. За последний год, в связи с ожидавшимся (и отложенным) походом Германии на Украину, пораженчество и гитлеровская ориентация разрослись чрезвычайно, захватывая и некоторые круги, которые присвоили себе роль носителей «национального общественного мнения». Эти русские националисты с легким

сердцем превратились в интернационалистов и изменников. Конечно, не всякое пораженчество можно квалифицировать, как национальную измену. Опыт эмиграций всего мира требует осторожности в оценках. Но при настоящем, необычайно трудном международном положении России, которое угрожает самому ее существованию как России (а не только как Великороссии), знак равенства между пораженчеством и изменой вполне заслужен. По мере того, как надвигается война, русские эмигранты занимают свои места — многие и в чисто военном смысле — по разным линиям фронта. Всякое единство эмиграции при этих условиях перестает существовать. Между русскими гитлеровцами и нами такая же пропасть, как между нами и коммунистами. По счастью, не все еще сделали свой выбор, и выбор не всегда — окончательный. Борьба за спасение русских людей — для России и для духовного мира — является единственной доступной большинству из нас и совершенно настоятельной формой нашего служения родине и свободе.

К смерти или к славе?

Читатели «Нового Града», вероятно, удивлены — а, может быть, и возмущены, — прочитав статью Ю. Иваска[1]. Действительно, трудно придумать что-нибудь более чуждое нашему духу, чем эта философия реакции, воспитанная на К. Леонтьеве, но оставляющая и его далеко за собой. И Ницше, и К. Леонтьев, и Шпенглер для Иваска все еще слишком оптимисты. Ницше верил в обновление варварством, Леонтьев защищал консерватизм во имя жизни: богатой, прекрасной, хотя и жестокой жизни. Иваск впереди не видит ничего, кроме смерти, и смерть призывает. Кажется, никогда еще дух реакции не выговорил себя до конца с такой откровенностью. Может быть, Победоносцев таил про себя такие думы. Но и у Победоносцева была вера.

Зачем же тогда «Новый Град» принял его статью? По многим основаниям, из которых главное — необходимость ответа. Такую статью нельзя просто бросить в редакционную корзину или отослать автору. Необходимо ответить по существу. Редко представляется возможность говорить о главном. Главное кажется решенным раз навсегда, и публицисту остается разрабатывать детали. Но время от времени необходим полный пересмотр позиций — генеральная чистка дома. Мне не раз приходилось жаловаться на то, что скудость реакционной мысли в эмиграции является несчастьем для русской культуры: реакция вся уже выговорила себя в XIX веке. Но вот, оказывается, не вся. Мысль Леонтьева продолжается творчески и требует ответа.

Второе основание для дружеской беседы с противником — скорее морального порядка. Поскольку в статье Ю. Иваска просвечивают внутренние, определяющие мотивы его миросозерцания, они вызывают наше сочувствие. Тут говорит не эстетический снобизм с его «odi profanum vulgus»[2]. Тут и не озлобленность потрясенного революцией буржуа. Потрясенность его более благородного порядка. Зрелище торжествующей черни и ее демагогов, топчущих драгоценное наследие гуманистической культуры — вот что приводит Ю. Иваска в отчаяние. О чистоте его духовного зрения свидетельствует уже то, что он не делает различия в своем отталкивании между коммунизмом и фашизмом: оба одинаково несут смерть его святыням. Эти святыни — не знаю, впрочем, точно ли те же — дороги и нам. Мы вместе с ним исполнены острой тревогой за судьбу любимой нами Европы и ее древнего, античнохристианского гуманизма. В отличие от Ю. Иваска, мы не потеряли веру в будущее. Тем больше оснований протянуть ему братскую руку и напомнить о надежде. Он еще молод.

Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты,

и не раз юноша повернет, как трубку калейдоскопа, свое видение мира, пока оно не придется окончательно по мерке, по его духовному росту и складу.

* * *

Начнем с вопроса «частного», но для нас довольно острого: ибо дело идет о нашем историческом существовании. Правда ли, что европейская культура умерла или умирает, и нуждается только в погребении? Если умирает, то отчего: от перехода ли в демократическую цивилизацию и всеобщего поравнения, как думает Ю. Иваск вслед за своими, очень авторитетными, предшественниками?

Я не отрицаю тяжелой болезни нашей культуры и возможности ее смертного исхода. Но я расхожусь в диагнозе и, следовательно, в выводах.

Да, действительно, процесс культурной демократизации, когда он протекает столь стремительно, как в наши дни, — несет

с собой тяжелые последствия: варваризацию (дурную), упрощение, нивелировку. Все это верно было подмечено еще в глубине XIX века – одним из первых Ницше (и Леонтьевым). Но этот процесс мне представляется вторичным, лишь осложняющим. С ним можно справиться, как с процессом роста. Всегда мыслимо создание новой элиты в самом демократическом обществе, которая поднимет достоинство культуры.

Замечательно, что, ведь, главные удары по гуманизму наносятся не массами, а изменниками из рядов самой утонченной элиты. Для меня это прежде всего Маркс, Ницше, Пикассо, Стравинский. Так блаженный Августин предавал Платона («pecus mortuum»)[3] среди обступающего моря варварства. Да, ведь, и гитлеровское движение не из рабочих масс идет, а скорее из университетов. Во всяком случае, философская подготовка его – дело далеко не последнее и для немецкой культуры более позорное, чем современная пляска людоедов.

Нелегко сказать, в чем основной недуг Европы. Но, если надо обобщать множество болезненных процессов, то я скажу: в разрыве духовного единства, в потере стиля – нравственного, художественного, социального. Великолепная культура эта грозит распасться на куски, взорваться и сгореть в мировом пожаре. Но эта огненная смерть ничуть не похожа на медленное умирание дряхлеющих культур: Египта, Рима, Византии. Ю. Иваск загипнотизирован схемами Шпенглера. Трудно не поддаться этому историческому чародею. Но надо уметь и преодолевать его. Его схема в основе своей биологична. Она предполагает вечное круговращение: культуры подобны растениям, переживающим свои фазы роста и увядания. Остережемся принимать его построение на веру. Взглянем непредубежденными глазами на то, что делается вокруг нас и сравним с единственным известным нам в опыте процессом умирания культуры от дряхлости: с падением античного мира.

Древняя Греция уже в V–IV веках до Р. Х. выработала основные формы своей мысли и своего видения мира. Стиль, сложившийся в эпоху Перикла, в сущности держался и при Константине: 700 лет! Последние греческие и римские поэты не устают подражать Гомеру и первым лирикам: Алкею, Сапфо... Еще поразительнее неподвижность Египта, который уже в древнем царстве, за 3000 лет до Р. Х., сложился окончательно,

чтобы жить, сохраняя свой стиль, до птолемеевского времени: 3000 лет! Кажется, что у Ю. Иваска зрелище такой верности и постоянства вызывает почти религиозное благоговение. Но почему? Не потому ли, что оно так непохоже на нашу современность, раздираемую противоречиями? Где он, тот стиль, которому верность можно хранить, последний стиль христианской Европы? Стиль Ренессанса владел ею дольше других: в искусстве и науке он держится – это Рафаэль и Леонардо – около 400 лет. Им, его обрывками и лоскутьями и сейчас живут еще массы, приобщающиеся к культуре. Но этот стиль не то, что себя исчерпал, – он доказал свою неадэкватность христианской душе Европы. С самого начала он был полуязыческой маской, скорее исказившей, чем выразившей европейское лицо. Из глубины веков вставали великие образы средневековья, но мятущиеся, – стили, но разные. Куда возвращаться? Что консервировать?

Если остаться с Россией, тут та же драма. Последние 200 лет – непрерывная революция духа, создавшая самое великое в нашем наследии. За ней, в прошлом, как будто бы единство стиля, но почти без культуры, или в таких примитивных формах ее, в которых уже невозможно жить.

Более, чем когда-либо, Европа бьется в поисках нового стиля – не из пустой страсти к новизне, не из легкомысленного омолаживания, а просто потому, что никакого старого стиля нет, а без стиля ей не жить. Как бы ни оценивать современное искусство и его формы (я больше страдаю от него, чем радуюсь ему), нельзя ни в коем случае жаловаться на скудость творческих сил. Точнее, энергий. Поразительно, чудовищно расточение этих творческих семян в наше время. Оно подобно рассеиванию цветочной пыли в пространстве, – хотя я первый готов признать неудачу, бесплодие. Но эта неудача проистекает не из отсутствия творческих сил, а из отсутствия единства в личности творца, единства в его традиции, в его ремесле. Если каждый художник должен заново создавать свой мир из ничего, понятно, что эта задача не по плечу – даже Шекспирам. Не построить свой мир, а разрушить мир данный – Богом, традицией – вот высшее честолюбие мастера наших дней. А сил хоть отбавляй! Сейчас, например, английская литература переживает расцвет, которому равного, может

быть, не знала со времен Елисаветы. Если рассматривать только мастерство, только зрение и выразительную способность таких писателей, как Сирин или Вирджиния Вульф[4], то они могут сравняться с самыми большими мастерами прошлого. Да, наконец, это прошлое — великое и классическое — от нас так близко. Ведь, дети Толстого еще живы. По хронологическим схемам Шпенглера мы должны бы жить еще в Перикловом веке. Но, и отбросив эти схемы, возможно ли, чтобы культура, которая еще вчера, в прошлом поколении, давала величайших своих мастеров, вдруг состарилась, в одну ночь? Не старость это, а безумный кутеж и сопровождающее его похмелье. Или серьезнее: Европа еще так молода, что похожа на юношу, который прижимает к виску пистолет, потому что потерял веру в Бога.

Наконец, оглядываясь вокруг, в Европе XX века, мы тщетно ищем этих последних римлян, разочарованных мудрецов, мечтающих о покое и досуге. Конец XIX века «fin de siècle»[5], дал нам нескольких декадентов типа Анатоля Франса. С тех пор мы что-то их не встречаем. Скептицизм оказался не более, чем гримасой, легкой усталостью между двух трудовых и боевых дней. Европа «омоложается». Но это делают не одни коммунисты и фашисты.

Выход на улицу, для строительства Нового Града — это общее явление. Христиане, католики, вчерашние аристократы-академики, замкнувшиеся в своих tours d'ivoire[6], все спешат в бой. «Очень дурно», — говорите вы вместе с Жюльеном Бенда[7] и со Стефаном Георге[8]. Я не оцениваю, я указываю. Разве это не говорит скорее об избытке сил, хотя бы душевных, если не духовных, чем о их оскудении? Когда умирал Рим, Авзоний и Сидоний Апполинарий[9] пальцем не пошевельнули, чтобы спасти его. Уход в монастырь был единственным исходом для сильных; для людей второго сорта оставались упражнения в версификации, успокаивающие нервы.

Но это пустое, не творческое волнение, говорите вы. Оно не создает великого. Но почему? По бессилию ли или по необъятной трудности задачи: собрать распавшийся на части мир? Во всяком случае, в любом из неудачных, обреченных созданий сегодняшнего дня больше жизни, чем в целых веках доживающих себя цивилизаций.

Безвкусие? — но как раз оно и говорит о неисчерпанности жизни. Ибо безвкусие проистекает от утраты стиля и предполагает поиски его, борьбу за стиль. Лишь самодовлеющее совершенство, изящное и мудрое эпигонство (к которому вы призываете) означало бы действительно facies hyppocratica[10]. Но я нигде его не вижу.

Само собою встает вопрос: а может быть, это чувство конца, исчерпанности, безнадежности вытекает не из опыта Европы, а из опыта России? Да, наша культура неизмеримо более хрупка, тонка, и перспективы не из веселых. Есть от чего сломаться, возжаждать смерти. К тому же, ведь, мы, действительно, стары, не чета Европе: наследие Византии не проходит даром. Ее яд мы несем в крови, а за Византией, в глубине веков, встают все древние царства Востока, ее вскормившие: Персия, Вавилон, сумерийские сумерки[11]. Да, если сумерийские заговоры и приметы живут до сих пор в русском фольклоре, то и сумерийское священное царство доживало в русском самодержавии. И вот, при всей нашей славянско-финской молодости, эта тяжелая восточная кровь порой нас разлагает. Мы не стойки в нашей культурной работе. Мы дезертиры по природе. Мы только и ищем предлога, чтобы удрать с своего поста. Для одних спасительным сигналом к бегству является пришествие Антихриста (поразителен успех Соловьевской легенды!), для других приговор над «изжившей» себя культурой. Русский Обломов еще 100 лет тому назад с жадностью внимал этим слухам, дававшим ему право на незаслуженный отдых от несовершенных трудов. Надо остерегаться этой иллюзии и не принимать своей дурной (но победимой) наследственности за норму человеческой жизни.

* * *

Теперь о памятнике. Если бы мы согласились на минуту с Ю. Иваском в обреченности Европы и в преступности творческих усилий, какому делу можно посвятить остаток еще не изжитых сил? Он предлагает — в 60 лет — построить нетленный памятник великому покойнику, по типу иных памятников истории: Александрийской библиотеки, византийского ритуала, китайской азбуки. Вдумаемся в это предложение. Ни то,

ни другое, ни третье не создавалось в финале под опускаемый занавес. Все это рождалось или в творческом зените или даже в юности культуры. Но можно спросить себя, неужели это — т. е. библиотека, ритуал, азбука — и есть подлинный памятник греческой, византийской, китайской культуры? Оставим Китай и Византию для любителей: тут о вкусах не спорят, т. е. именно спорят: для одних живопись, для других философия, для третьих азбука. Но кто серьезно согласится с тем, что Греция жива в веках Александрийской библиотекой?

Библиотека эта давно не существует. Каковы бы ни были ее культурные заслуги, не ей одной мы обязаны тем, что до нас дошел Гомер или трагики. И уж, конечно, не ей — сохранением греческого искусства. В конце концов, от Греции остались «на век» десяток книг, созданных в юности. От нас останутся тоже... не знаю, кого назвать: Шекспир, Паскаль, Толстой..., а не то, что успеют создать последние шлифовщики и стилисты. Авзонии ничего не прибавят к римской славе. Нечего просить отсрочки смертного приговора, чтобы в последний раз привести в порядок навсегда покидаемый дом: составить инвентарь все равно подлежащего расхищению добра.

Мне кажется, что в этом желании еще помедлить перед смертью на родном пепелище говорит малодушие. И когда Аника-воин перестанет торговаться со смертью: один день, один час, одну минуточку? Как будто достойнее оторваться от кубка жизни, пока он не допит до дна, до горького осадка. Вот почему те римляне V века, которые шли в монастырь, достойнее тех, кто играл в акростихи:

En composant des acrostiches indolents
D'un style d'or ou la langueur du soleil danse[12]...

Не говорю уже о том, что в монастырях и пустынях собирались те огромные духовные силы, которых хватило и на воспитание варваров и на строительство новой, еще более грандиозной культуры.

Отсюда как будто бы следует: что в предсмертные годы и дни не стоит заниматься пустяками, а нужно жить самым главным. И если нет его, этого главного, то не уставать искать. Августин нашел, ведь, и для себя и для всего будущего «Запада», как раз в последние дни Рима.

* * *

Я хотел бы поставить тут совершенно вводный вопрос: кто и когда доказал, что все культуры смертны? Перестав верить в закон прогресса, мы в настоящее время легко делаемся добычей всякой шпенглерианы. Биологический взгляд на культуры обрекает их на умирание. «Все, что возникает, стоит того, чтобы погибнуть». – Все ли? Нет ли исключений?

Я согласился бы на допущение смерти всех культур – кроме одной (если мы допустим существование такой культуры): культуры христианской.

Всякая культура умирает, исчерпав свою творческую тему и найдя свой навсегда завершающий стиль. Но какова творческая тема культуры христианской? – Быть образом Царства Божия на земле. Не символом – сакральным, ритуальным, а образом движущим, реально приближающимся и никогда не достигающим – чего? небесного совершенства Отца. Слишком высокий идеал задан христианскому обществу, чтобы оно могло его когда-нибудь осуществить. И потому ему не угрожает смерть от исчерпанности, от пресыщения. Конечно, мы видели гибель христианских цивилизаций: Рима, Византии, других. Но, может быть, их смерть явилась карой за измену реальному динамизму христианского идеала. Римское и греческое царство слишком легко успокоились на символическом освящении. Или, быть может, вообще не приняли для себя (для политического общежития) христианского идеала, застыв в язычестве. Погиб не христианский Рим, а Рим языческий, как это видел Августин. Что толку было в христианском (впрочем, полуязыческом) ритуале, когда ничто (в общественных отношениях) не сдвинулось с места?

Я хочу сказать: гибли и будут гибнуть христианские культуры. Но всякий раз должны быть особые причины их гибели. Это грех, а не рок. Христос отменяет рок и дает нам свободу. И свобода во Христе означает бесконечные возможности, бесконечную силу. Социальная природа не подвластна физическим законам тления. Она отражает в себе не законы, а события духовного бытия. Есть, бесспорно, социальные закономерности. Но они торжествуют лишь благодаря слабости духовных энергий. Социология есть лишь феноменология греха – или косности, что одно и то же.

Но всегда, на дне всякого падения и на ложе всякого сна возможно пробуждение, потрясение, пророческий голос, зовущий в путь. Поразительна способность христианских возрождений, которые поднимали Церковь из ее современного усыпления: реформация, романтизм, наши дни.

И, наконец, даже если силы греховной инерции одолеют, и одно христианское общество (Византия, Рим) погибнет, чтобы дать место другому, связь не порвется, живая, священная связь традиции, несравненно более могущественная в Церкви, чем та всеобщая связь, которая единит все мнимо-изолированные культуры мира. Византия живет в православной литургии, в русских святых и иконах. Это не чужое нам, а свое. Как и древний христианский Рим. И поэтому, поскольку нет религиозного прерыва, измены (как в потуречившейся Сирии или Египте), нет и настоящей культурной смерти. А катастрофы, конечно, тяжки, для нас, переживающих их, – но они лишены трагической безысходности.

* * *

Если я прав, что наша культура погибает не от скудости, а от чрезмерного богатства неорганизованных, разрушающих ее сил, то вся культурная и политическая установка становится иною. Не хранить и консервировать (что?), а стараться организовать хаос, побеждать смерть – во имя жизни. Организовать хаос можно лишь вокруг великой Идеи, которая указала бы всем вырвавшимся на свободу энергиям их русла. Если этой Идеи нет, ее надо искать. В терминах эстетических, близких Леонтьеву и Шпенглеру, если нет стиля, надо его создать. Это единственное условие, единственная возможность жизни. Но за то уже тогда не на 60 лет, а, может быть, на тысячу. Эта борьба за Идею или за стиль требует величайшего творческого напряжения – и, конечно, является в духовном смысле революционной, ибо предполагает устремленность к неизвестному. Менее, чем кто-либо, мы, новоградцы, отказываемся от традиций. Мы готовы искать где угодно в прошлом материалы, которые могут пригодиться для постройки. Но мы не забываем, что это лишь материалы. Прошлое не может дать нам стиля, который создается лишь из творческого усилия. Говорят, что Микель Анджело был

создателем барокко. Столетия могли жить формами, созданными им за счет его титанического напряжения. Так мы все еще живем Пушкиным, дышим им, не замечая его, как воздухом. Можем ли мы надеяться на рождение Пушкина или Микель Анджело в наши дни? Почему нет? Может быть, гении все еще появляются на нашей земле (я едва удерживаюсь от искушения называть имена), но они сами себя разлагают и убивают безверием. Но рождение веры есть чудо. Чудо благодати и свободы. В том, что касается свободы (мы не августинисты), мы несем обязанность — искания, усилий, борьбы. Это установка прямо противоположная Ю. Иваску — «Борьба за Логос». То есть не за вечный, уже открывшийся нам Логос, а за Логос нашей культуры, за ее смысл, за очередной исторический ее смысл. И, если наши усилия будут чисты, наши искания самоотверженны, почему не надеяться на чудо, которое, ведь, и составляет тайну истории, тайну всякой духовной жизни? Чудо — всякая жизнь, закономерна лишь смерть. Мысль, отдавшаяся в плен закономерности, подчиняется смерти. Или, может быть, потому и пленяется закономерностью, что уже возжаждала смерти?

* * *

Статья Ю. Иваска кончается почти криком отчаяния. «Бог, в которого не верим, но которого хотим!». Это многое объясняет. Может быть, эта жажда веры и вместе с тем невозможность ее и вызывает ощущение смерти? Вся культурная и общественная борьба кажется бессмысленной, да она на самом деле бессмысленна, если нет Бога. Тогда дело не в бессилии нашего поколения. — Ю. Иваск чувствует и в себе и в культуре еще не растраченное богатство сил, — а в бесплодности и тщетности усилий. И здесь нет места легким утешениям. Человека, который сказал о Боге то, что сказал Ю. Иваск (если он сказал это серьезно) не прельстишь никакими культурными достижениями. Позволительно лишь прибавить, что такого человека не удовлетворит и работа над памятником. Менее всего, над памятником. Дайте ему покой, досуг и австрийский мир, и он затоскует в своих александрийских библиотеках. Даже в византийском ритуале. Что проку в литургической красоте без Бога? Насколько честнее откровенное безобразие!

«В которого не верим, но которого чтим». Эта формула состоит из двух частей, и, если вторая столь же серьезна, полновесна, как и первая, то безнадежность уже снимается. Как? Этого мы знать не можем. Но мы слышали vox clamantis[13]. И тогда все меняется. В сущности, если начать с этой формулы, а не кончать ею, то статья Ю. Иваска не могла бы быть написана. Ибо хотеть Бога — значит хотеть жизни, а не смерти. В огне этого хотения сгорает вся музейно-кладбищенская красота, соблазнительная для А. Франсов, для мертвецов. Конечно, мертвец или полумертвец не оживет от сознания, что он мертвец. И сам не воскресит себя. Лишь Один, воскресший Мертвец — «Первенец мертвых» — воскрешает.

Заветы первохристианства

Четвертого января Церковь празднует память семидесяти апостолов. Позднее предание называет имена этих семидесяти учеников Господа. В числе их вошли почти все лица, упоминаемые в Новом Завете среди учеников апостольских и основателей первых христианских общин-Церквей. Многие из них по точному смыслу Слова Божия не были учениками Спасителя при Его земной жизни. Но именуя их в числе семидесяти, церковное предание почтило первое поколение строителей Церкви. День четвертого января может быть назван днем памяти всего первохристианства.

В этот день стоит задуматься над тем, чем может быть для нас, для нашей духовной и социальной жизни этот героический век ранней послеапостольской Церкви, что есть вечного в его религиозном и историческом опыте.

Наше время бывает несправедливо к первохристианству. Мы слишком легко забываем о богатстве его духовных даров, слишком легко уступаем его сектантам. Эта ранняя Церковь так непохожа еще на пышное цветение православия в Византии и в древней Руси. Нет еще ни великолепных храмов, ни икон. Верные собираются для молитвы и таинств в залах частных домов или на кладбищах, в подземных часовнях (криптах). Литургическая молитва во многом еще импровизируется священнослужителем. Нет монашества, как особой формы аскетического служения Церкви, замкнутой от мира. Само богословие ранней Церкви еще несовершенно, далеко от точности догматических формул Вселенских Соборов. И вот, гордые сво-

ей поздней мудростью и опытом двух тысячелетий, мы часто впадаем в искушение, смотря на первые «до-константиновские» столетия Церкви как на время прекрасного, но наивного детства. Мы почитаем их чистоту, их верность, но учиться хотим не у них, а у других, более зрелых и мудрых — которые все сказали лучше и точнее.

Бесспорно, Церковь Христова растет, как все живое. Рост Церкви есть Ее обогащение. Но этот рост нельзя представлять себе в виде прямолинейного прогресса. Полнота жизни недоступна ни для одного христианского поколения. Превосходя кое в чем своих отцов, оно кое в чем им уступает. «Исполнение Церкви» дано лишь в совокупности всех родов и народов. Если можно верить в особое совершенство и духовность позднего рода, грядущего навстречу Спасителю, то другим веком полноты и силы даров Святого Духа навсегда остается в Церкви ее первый — ранний век — ее благословенное «детство».

Еще так мало лет протекло со времени величайших духовных событий, которые потрясли человечество. Никогда еще небо не приникало так близко к земле, как в годы земной жизни воплотившегося Господа. Земля еще не успела остыть от огня духовного извержения, расплавившего столько сердец: сто, двести лет допускает живое родовое предание о чудесных событиях: все это было как бы вчера. Вознесшийся Господь обещал вернуться вскоре, во славе, для окончательной победы над злом и смертью. Жизнь первых христиан есть прежде всего ожидание Господа, устремленность навстречу Ему: «Ей, гряди, Господи Иисусе». Никогда после жизнь Церкви не была в такой мере эсхатологична, т. е. направлена ко Христу грядущему: мудрые девы ожидают жениха, не смыкая глаз, и светильники их не оскудеют елеем.

Но земля не пуста в отсутствии Господа. Он послал ей Утешителя, как обещал Своим ученикам, и явление Духа Святого в силе было явным, как бы осязательным со дня Пятидесятницы. Вступая в Церковь, крестились водою во имя смерти и воскресения Христа, но в то же время воистину крестились Духом Святым и огнем. Дух посылал на проповедь и исповедничество, Дух учил пророчествовать, Дух посылал дар языков. Разнообразны Его дары, «харизмы», но во всем проявляется мощь Духа, которая дает силу малому стаду, кучке людей, скры-

вающихся в культурном подполье, которая противостоит Риму и миру, — всей великой империи, объединившей в себя политическую мощь и блестящую цивилизацию древнего человечества. Вера, в которой живет ранняя Церковь, исполнена трепетной тайны. Она окружена преградой недоступности для «внешних», непосвященных. Это диктует прежде всего, конечно, опасность исповедания. Христианство — запрещенная религия. Но не одна внешняя опасность заставляет окружить тайной живое предание веры. Язычники тоже имели свои «мистерии». Дело в том, что самое содержание веры и священнодействий, ее выражающих, настолько таинственно и превышает «здравый» человеческий смысл, что ощущается потребность оградить его от профанации, от насмешек, от вульгарного искажения. Здесь форма («тайна») вполне соответствует содержанию («таинству»). Таинства суть мистерии: «Не бо врагом Твоим тайну повем». Христианский «катехизис» (оглашение) ранних столетий есть еще духовное тайноводство, возводящее от тайны к тайне, поднимающее перед изумленным взором один за другим покровы, окутывающие священную истину, которая в полноте и в глубине своей остается до конца непостижимой.

«Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Эти слова откровения имели еще прямой, буквальный смысл. Каждый день мог поставить эту верность на испытание. Года, десятилетия проходили в мире, но мир этот был ненадежен. Новый указ императора, снова вспыхнувшая нелепая легенда о ритуальных убийствах — и христиан тащат на допрос, на пытку, в тюрьму. Перед каждым стоит последний выбор: отречение от Христа или смерть. «Блаженны, кого избрал и приял Господь». Пусть гонения непостоянны, но они образуют тот основной фон, на котором выделяется рисунок повседневной жизни. Факт гонений, нелегальность самого существования подчеркивает «странность», иноприродность христиан в этом мире. Им нельзя здесь устраиваться прочно и надолго. Имущие должны быть как неимущие — с готовностью завтра от всего отказаться: позорная смерть уравняет патриция и раба.

И христиане умеют не только умирать за Христа, но и жить для него. Не верой одной, а всей своей жизнью они отличаются от языческого мира. Не избранное меньшинство, как монашество в поздние века, но все должны жить по Евангелию, как

учит Христос. Эта жизненная установка не результат морального ригоризма, не «пуританство», построенное на соблюдении закона, но естественный плод жизни во Христе и в Духе Святом. Верные — все «святые». Так именует их апостол. Святые, т. е. искупленные, освящающиеся, живущие во Христе, хотя и не безгрешные. Часто и общая Евхаристия соединяет их. Вечери любви или «агапы», следуют за причащением Святой Чаше, как выражение не символического только, а реального братского общения. Идеал совершенной общности имуществ, который пыталась осуществить первоначальная Иерусалимская Церковь, оказался недостижимым. Церковь берет на себя попечение о всех бедных и нуждающихся в помощи. Богатые считают себя не собственниками, а лишь экономами доверенного им имущества. Таково учение Церкви, которое в эти века соответствует общему моральному сознанию.

Это сознание «святости» всех освящаемых в Церкви, конечно, нарушается фактом греха. Не мелкого, повседневного греха, который не отнимает веры в спасение. Но бывают случаи тяжкого греха — отступничества в гонениях, прелюбодеяния, а то и убийства — которые вносят глубокое смущение в Церковь, еще не привыкшую ко греху. Как может грешить человек, искупленный и освященный Христом? И как может Церковь простить его? Долгое время считают невозможным прощение тяжких грехов, т. е. возвращение в Церковь кающихся грешников: конечно, не от избытка суровости, а от неспособности примирить в сознании святость Церкви с фактом личного тяжкого греха. Лишь постепенно Церковь научается прощать: вырабатывает практику покаянной дисциплины для всех самых тяжких грехов.

Те, кто живут в мире с Богом и Церковью, не мучают себя угрызениями. Ранней Церкви чужда моральная мнительность, атмосфера страха греха и осуждения, в котором жило средневековое христианство. Светлое упование на спасение не покидало верных; надежда была подлинной — впоследствии как-то забытой — христианской добродетелью. Усопшие в Господе почитались блаженными. Живые обращались к ним с просьбою о молитвах — ко всем близким, а не только к мученикам — с верой в особую действенность молитвы душ, предстоящих Господу. Общение живых дополнялось твердым сознанием

общения живых и усопших, Церкви земной и небесной, — того, что называется в раннем, «апостольском» символе веры, «общением святых».

Говорят часто о том, что высокое нравственное состояние первохристианства, как результат обособленности его от языческого мира, уравновешивалось отрицательно культурной бедностью. Это будто бы Церковь простых и нищих духом, далекая от культурного богатства константиновского века. Так ли это? Если обратиться к древнейшим отцам, то мы не найдем ни у апологетов (Юстин Мученик и др.), ни у великих Александрийцев (Климент, Ориген) и тени враждебности к философской культуре древнего мира... Напротив, христианское богословие у них вливается в формы древней мысли, ищет для себя выражения на языке Платона. Все их ошибки проистекают от трудности найти синтез откровения и эллинизма, а никак не из гнушения эллинизмом. Читая их, ясно чувствуешь этот духовный воздух римской империи, полный исканий, влечения к тайнам, борьбы множества религий и гностических систем. В Александрии, в Риме христианские учителя слушают лекции философов, спорят с гностиками, говорят на общем языке с искателями «неведомого Бога».

То же мы видим в сохранившихся остатках религиозной живописи — в катакомбах Рима. Христианская вера берет не только формы греческого искусства, но и его религиозную символику: не боится изображать Христа в виде Орфея или Гермеса, несущего овцу. При всем религиозном и моральном отталкивании от язычества христиане охотно берут его мудрость, его красоту, даже его религиозные предчувствия.

Единственно, что оставалось чуждым первохристианам в культуре Рима — это сам Рим, это империя, с ее социально-политическим строем — и в этом было его счастье. Будущее показало, что государство несравненно труднее поддается христианизации, чем философия или искусство языческого мира. Церковь не брала еще в свои руки меча, и не благословляла еще меча кесаря. Бремя власти и грех власти не отягощали еще легкой и чистой духовности первохристианских поколений.

Ныне, через столько веков тяжкого исторического опыта, кажется, что Церковь возвращается к дням своей юности. Снова гонения, извергнутость христиан из государства; снова ожива-

ют эсхатологические ожидания, снова вырастает стремление к христианскому устроению жизни, к реальному общению и братству. Конечно, повторений в истории не бывает. Новое грядущих эпох Церкви не будет простым возвращением к древности. Пережитый исторический опыт останется. Но столько героических добродетелей далекого прошлого становятся требованием настоящего дня, так явственно поворачивается ось всей христианской жизни к «доконстантиновским» временам, что образ первохристианства перестает быть для нас далекой легендой: он ближе нам, чем вчерашний, привычный исторический день.

«Православное дело»

№ 1, 1939

Предисловие

«Православное Дело» существует более трех лет как организация практической христианской работы. Но только сейчас оно решилось вступить с теоретическим обоснованием своего дела. Конечно, кормить голодных, давать кров бесприютным и больным можно без всякого обоснования. Это христианская азбука, которую никто не оспаривает. Но делая ударение на этой, так называемой, социальной работе, «Православное Дело» было приведено к необходимости своего богословского самоопределения. Три года понадобилось для того, чтобы его самосознание созрело, и чтобы оно яснее увидело предназначенное ему, хотя бы скромное, историческое место в жизни и предании Церкви. Как это часто бывает, внутреннему созреванию содействовали внешние силы: нападки противников, создавшаяся вокруг «Православного Дела» атмосфера недоверия и подозрений. Мы были вынуждены утверждать наше православие и привести доказательства, в то же время отметить то, что мы считаем нашим особым призванием, нашим путем в православии. Новое сочетается со старым, как в каждом живом деле и «живом предании», и оба вырастают из вечного.

Не случайно, конечно, «Православное Дело» родилось в годы тяжкого кризиса, особенно больно ударившего по беззащитной русской эмиграции: нужна была спешно помощь в грозной беде. Не случайно и то, что первый сборник «Православного Дела» появляется в этот страшный год, когда решаются судьбы мира, по крайней мере христианского мира. Мир вступил в полосу катастроф, которые кажутся нам апокалиптическими. Мы не

знаем еще, каков их смысл. Означают ли они суд Божий над старыми миром, разрушение его тысячелетней культуры, или в муках и крови нашего поколения рождается новое общество, новая жизнь? Может быть и то и другое: и смерть и рождение. И уж, наверное, суд. Но нам ясно одно. Христиане не имеют права спасаться от бури в укромных местах. Церковь призвана быть Одигитрией[1], водительницей человеческого рода. Она одна может дать ответ на все вопросы, которыми больно человечество. Она одна может указать путь, остановить всеобщую войну и благословить создание Нового Града. Если не она, то кто же?

Но в такое время возрастает старый соблазн индивидуалистической религии: откреститься от мира, предоставить его бесам, спасать свою душу. «Каждый за себя, а Бог за всех». Эта цинически звучащая буржуазная пословица получает мнимое освящение в аскетико-мистической литературе древнего и нового времени. Есть правый путь мистика, отшельника, одинокого молитвенника. В Церкви есть много путей. Но одинокий путь в христианстве является скорее исключением, парадоксом. Столпники, как и юродивые, украшение Церкви. Но безумно предлагать всем подняться на столп или юродствовать. То, что праведно для великих и сильных, становится греховным для средних людей. Средний человек живет в обществе, и этим оправдывает никем не опороченное, отцами Церкви признанное определение Аристотеля: zoon politicon[2] – существо общественное.

Вот почему общественное или социальное понимание христианства, которое разделяет «Православное Дело», есть не новое, а исконное и вечное христианство, лишь затемненное в последних столетиях. Русская Империя насильственно оттеснила Церковь от общественного дела, заперла монаха в келье, а священника в храме. Протестантское понимание религии, как только личного дела, восторжествовало в XVIII веке и лишь прикрылось переведенным тогда «Добротолюбием». По существу же то была измена лучшим традициям древней русской Церкви вселенской. Эту традицию, вместе с другими, мы оживляем.

Мы не первые, конечно. В сущности все то новое, что делается в эмиграции, непосредственно примыкает к жестоко

прерванной линии XIX века. Русская Церковь в конце его, а особенно в начале XX века, была, как апокалиптическая жена в муках родов. Ее пророческие богословы открывали перед нею ослепительные пути. Церковный быт сопротивлялся со своим застывшим уютом и вековой эстетикой. Но прилив духовных сил преодолевал косность быта. Церковь готовилась с 1905 года к своему общему обновлению.

Революция сорвала этот благодатный процесс. Не только внешне, – гонениями в России, но и внутренне, – тяжелой реакцией в умах. Потрясенное революцией церковное общество отвращается от всего нового, как от ереси. Как жена Лота, люди все оглядываются назад и не хотят идти в страну обетованную.

Психологически вполне естественное чувство становится церковным грехом, когда отказывается от покаяния, – «социального покаяния». Не будем обманываться внешними признаками благочестия. «Нераскаянное благочестие» не спасает, – по крайней мере не спасает целого, церковного общества, народа. Обновление для народа то же, что покаяние для личности: metanoia[3], перемена сознания, новая жизнь.

Воскрешая лучшую традицию русской богословской мысли, – традицию Хомякова, Федорова, Достоевского, Соловьева, – мы сознаем, что она нуждается в пересмотре. Жизнь многому научила нас. Им не дано было проверить свои прозренья в огне испытаний. Живи они с нами, они сами от многого бы отказались, но многое заострили бы и углубили. Словом, мы сохраняем свою свободу и по отношению к нашим любимым учителям.

В этом великом наследии XIX и XX веков русской мысли мы отмежевываем себе отдельную сферу: сферу социальной мысли и действия во всех ее формах, кроме чистой политики и чистой экономики. Это значит, что проблемы православного богословия, проблемы православной культуры, проблемы аскетики и литургии нас, как группу, интересуют лишь постольку, поскольку они имеют социальный смысл или социальную проекцию. Между работниками церковного обновления необходимо разделение труда. Мы избрали себе участок поля, более других запущенный и в настоящее время мало популярный. Думаем, что время и опыт, – хотя бы в будущей России! – вернут ему подобающее значение.

И наконец, последнее, что нас определяет и отличает. Мы собрались не для творческого изучения социальных вопросов в духе православия. Среди нас мало богословов, мало ученых. Но мы хотим поставить нашу социальную мысль в теснейшую связь с жизнью и работой. Вернее, из работы мы исходим и ищем посильного богословского ее осмысления. Мы помним, что «вера без дел мертва» и что главным пороком русской мысли, — как раз богословской — была ее беспочвенность, ее оторванность от церковно-общественного дела. Этой ошибки мы не хотим повторять. Отдельные ошибки не страшны. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Бог да поможет нам видеть и исправлять их в неустанном «социальном покаянии».

Торопитесь!

Этим призывом, обращенным к людям советской России, закончил свой большой доклад в Париже генерал Деникин. Мы все, с глубоким вниманием и волнением слушавшие его, слились в этом призыве. В перспективе близкой войны и готовящегося раздела России нельзя не видеть, что режим тоталитарного террора, установленный Сталиным, означает почти неизбежное поражение. Революция во время войны? — мы знаем, что это такое. Поэтому торопитесь! Торопитесь вымести свой дом, наш дом. Покончите внутренние счеты раньше, чем враг предъявит свой неумолимый счет. С ужасом думаешь о том, как тяжко там выполнить этот совет, столь легко отсюда посылаемый. Каких нечеловеческих усилий и жертв стоит всякая попытка борьбы с разлагающей страну тиранией. Но это единственный — по крайней мере, нам так представляется — шанс.

Однако, согласные в неотложности и спасительности переворота в России, мы расходимся в понимании его содержания. Мы не умеем даже назвать его, не умеем отчеканить тот лозунг, который мог бы стать общерусским, подлинно национальным призывом.

Торопитесь — сделать что? Оратор говорил: свергнуть советскую власть. Как будто в России существует советская власть! Советы в России давно обратились в тень единоличной диктатуры. Власть Сталина менее всего советская. Давно уже было замечено, что лозунг «Les Soviets partout!»[1] звучал бы революционно в России. Что можно возразить по существу против сталинской конституции? Главным образом то, что она существ-

вует только на бумаге. Нет ни малейшего сомнения в том, что в ближайшее, по крайней мере, время государственной формой национальной России не может быть ни западный парламентаризм, ни монархия. Остаются советы — ненавистные здесь, для остатков Белой армии, по ассоциации 1917–1918 годов, но к которым там, вероятно, относятся иначе: как к воспоминанию о мимолетной свободе, о счастливом времени народной власти, которой коммунисты по губам помазали и украли ее. Если в России произойдет не просто верховный переворот, а подлинная революция, то весьма вероятно, что она произойдет под лозунгом: «власть советам!» Другой вопрос, конечно, может ли вынести Россия такую революцию перед войной и на чем такая революция остановится.

Революция ли, переворот ли, но против чего? Может быть, против коммунизма или коммунистической партии. Но коммунизма в России нет, а партия сохранила от коммунизма только имя. Все настоящие коммунисты или в тюрьме, или на том свете. Партия стала лишь необходимым аппаратом власти в тоталитарно-демагогическом режиме. Она лишь приводной ремень, передающий очередные приказы диктатора стране. Может быть, этот ремень излишен и чекистско-пропагандистский государственный аппарат справится один с этой задачей. Но что выиграет страна от сосредоточения всей страшной власти диктатуры в одних чекистских руках?

У нас здесь думают — и даже иной раз умные люди, — что сущность сталинского режима в его неистребимой, нераскаянной идеологии: марксистско-ленинской. Все подозревают Сталина в расчетах на мировую революцию, в том, что он предает Россию испанцам, китайцам, не знаю кому. Какая слепота! Что может быть бесспорнее предательства Сталиным революции в Европе? Предательства республиканской Испании, предательства чешских коммунистов. Думают, что если тиран душит Россию, то обязательно в интересах Интернационала. Думают так единственно потому, что могут представить себе радикальное зло только в образе Интернационала и не догадываются, что служение Интернационалу тоже требует самоотречения, жертвенности, — тех добродетелей, на которые Сталин не способен. Быть полновластным хозяином страны, связать навеки свое имя с ее историей и пожертвовать этой страной в инте-

ресах человечества, братства трудящихся, поистине для этого требуется сверххристианская жертвенность. Всякий бандит, овладевший государством, перестает отделять интересы этого государства от своих собственных. Сталин, как немецкие императоры в Петербурге XVIII века, прежде всего хозяин России. Но хозяин хищнический, варвар, головотяп, который ради своих капризов или своей тупости губит землю, истощает ее силы. К естественному варварству прибавьте страх. Борьба за личную безопасность, за сохранение власти для тирана заслоняет все. Накануне войны он разрушает армию, чтобы обезопасить себя от заговоров — в этом весь Сталин.

Значит, торопиться надо со Сталиным, а не с советской властью или с коммунизмом. «Долой Сталина!» — сейчас единственный общенациональный лозунг для порабощенной России. Или, полнее, перефразируя лозунг генерала Деникина — «свержение Сталина и оборона России».

Может быть, это покажется мало. А что если после свержения Сталина один из сталинцев займет его место: какой-нибудь Каганович, Жданов, Берия? Россия, конечно, не выиграет от простой смены тирана. Должен быть убран не один Сталин, а вся клика, им созданная, его поддерживающая. Если хотите: «долой сталинцев!» Сказать «долой коммунистов» — бессмысленно, ибо это сейчас программа самих сталинцев.

Кто должен сейчас занять место сталинцев в интересах национальной России? Разумеется, в случае переворота, власть будет принадлежать тем людям, которые его совершили. Но удержат ли эти люди власть и надолго ли, это зависит от того, кто они. И здесь мы можем выразить свое убеждение, что Россия устала от чекистов, что она не хочет видеть в Кремле специалистов застеночного цеха. Ради России мы должны желать в настоящий момент, чтобы власть перешла в руки честных и беспартийных людей, специалистов государственной работы, а не расправы. Правительство красных командиров и инженеров, отдавших все силы обороне и хозяйству страны — вот о чем мы должны просить Бога для России. Будут ли они выходцами из народа, детищами революции, или сынами старой России и старой интеллигенции, это все равно. Символически было бы прекрасно соединение двух слоев — старой и новой России — в одной правительственной команде. Численный перевес явно будет

на стороне рабоче-крестьянской России, созданной Октябрем. Вероятно, сохранится и символика Октября, нам здесь одним чуждая, другим ненавистная. От нас потребуется усилие ума и воли, чтобы признать желанное воплощение национальной России в новой форме «советской власти».

Новые люди важнее новых слов и даже дел. Накануне войны некогда будет перестраивать Россию и невозможно даже совершенно порвать ее цепи. Слишком много боли и обид, слишком много ненависти накопилось за 20 лет, чтобы освобождение России могло совершиться без тяжких потрясений. Сейчас для нее сильная власть дороже свободы. Но эта власть уже сейчас должна дать народу залог грядущего освобождения. Страна должна почувствовать, что проклятое лихолетье кончилось, что можно передохнуть перед новым напряжением всех сил против нынешнего врага. Та свобода, которой сейчас удовлетворилась бы Россия, свелась бы к элементарному, без чего немыслимо жить. Прекратите пытки в застенках и постановки лживых вредительских процессов. Разгрузите тюрьмы и концлагеря. Дайте действительную свободу веры для всех народов России. Дайте свободу труда мелкому ремесленнику и крестьянину, – в колхозах или без колхозов, вам виднее. И от себя, за всю многострадальную русскую интеллигенцию, прибавим: дайте свободу ученому и художнику в их святом ремесле, не превращайте их в холопов власти. – И Россия вас благословит, и пойдет с вами оборонять родную землю, отложив на будущее все спорные и трудные вопросы государственного строительства.

Мы стали скромны и не требуем многого. Но и написав это, останавливаешь себя на мысли: что это? Мечта, новогоднее пожелание, молитва? Да, и мечта, и молитва, и напряженность воли, собранной в одной точке. Мы ведь твердо знаем, что дальше уступать нельзя – ни в мечтах, ни в жизни. Здесь, может быть, последний шанс России. Торопитесь!

Тушинские воры

Чья очередь? Кто следующий бросит камень в Россию? Мы удивляемся, почему молчит «Общество северян»? Пора бы архангельцам и вологжанам вспомнить, что и они когда-то жили на вольной земле Великого Новгорода и были насильственно примучены к Москве. А может быть раньше откликнется смоленское землячество и провозгласит восстановление княжества Смоленского... А за ними Тверское, Рязанское... И в длинном списке современных сепаратистов мы прочтем полный титул императоров всероссийских.

Казачья измена поразила своей неожиданностью. Она действительно лишена тех сентиментальных и духовных мотивов, которые присущи всякому национальному сепаратизму. Здесь русские люди, русского языка и культуры объявляют себя нерусскими. И при том те, которые были одними из главных строителей русского государства, чем-то вроде демократического дворянства. Если представить себе, в виде курьеза, что все русское дворянство было бы испомещено в одной из окраинных губерний, то оно могло бы сейчас объявить себя особой нацией. Так же, как и все другие сословия старой России.

Конечно, нет оправдания и снисхождения предательству двух атаманов. Но сама историческая беспочвенность, скажем сильнее, историческая чудовищность их сепаратизма вызывает сомнение в нем. Полно, вправе ли мы им верить на слово и называть сепаратизмом их политическое поведение? Не правильнее ли будет считать его просто пораженчеством, лишь прикрывающимся для удобства мнимо-национальным знаменем?

Действительно, когда столько русских людей делают немецкое или японское дело — под предлогом освобождения России, — почему не делать его под предлогом освобождения Дона, Украины или Грузии? Мы не думаем, конечно, свести к антибольшевизму все национальные движения народов России. Но их связь с чисто русскими изменниками в каком-то смысле облегчает нашу тревогу за Россию. Что же, пораженчество есть естественная болезнь эмиграции, — всех эмиграций. Неудивительно, если политическая ненависть к режиму, к Кремлю у людей иного языка превращается в ненависть к Москве. Сколько русских дворян, обидевшись на русский народ, прославляют варягов, немцев как культуртрегеров дикой славяно-финской Руси. Многие в своем отталкивании от Руси поспешили сбросить с себя и православие — очевидно, виновное в том, что породило большевиков. При таком настроении вполне естественно, что тот, кто может найти хоть одну невеликорусскую бабушку, объявляет себя украинцем или немцем. Это бывает, когда «святая злоба» к большевикам застилает и разум и совесть, т. е. довольно часто. Сепаратизм есть одна из форм эмигрантской «непримиримости».

Наше чувство облегчения зависит от того, что при таком политическом объяснении сепаратизма необходимо проводить строгое различение между эмиграцией и внутренней Россией. Правда, она для нас во многом темна. В суждениях о ней очень легко впасть в ошибку. Но все же есть и некоторые элементы для суждений.

Лица, долго жившие в советской России, уверяют, что на Украине они почти не встречались с сепаратистскими настроениями. Может быть, это слишком оптимистические оценки. Но если бы эти настроения пустили глубокие корни, как можно было бы их не заметить? Между тем в эмиграции украинец несепаратист является редчайшим исключением. Я говорю не об украинских уроженцах, считающих себя русскими, а о тех, кто говорит и пишет по-украински, но не желает порывать связь с Россией. Таких почти нет. Профессор Одинец[1] недавно открыл такую группу во Львове, но это действительно открытие. Отсюда следует, что эмиграция, по счастью, не является зеркалом России или, вернее, является ее кривым зеркалом.

Должно быть в России накопилось много дурных соков ненависти, пораженчества. Но сомнительно, чтобы предметом

ненависти могла быть Россия. Все-таки для такого вывиха необходимо хотя бы пространственное удаление, отрезанность от нее. Там все народы связаны, перемешаны в общем деле и в общем страдании. Людей перебрасывают из конца в конец огромной страны, и в этом трении национальные углы скорее сглаживаются, чем обостряются. До последнего времени людей там мучили как людей (я не говорю — как буржуев), а не как украинцев, грузин и т. п. Культурные потребности всех народов удовлетворены, нередко даже в ущерб интересам великороссов. То чувствительное самолюбие молодых или малых народов, которое толкает их на путь сепаратизма, кажется, ничем не оскорбляется в СССР. В эмиграции наши украинцы, наши грузины живут, как и мы, воспоминаниями прошлого. Перед ними неотлучно стоит образ старой России, и память о прошлых обидах сливается с настоящей ненавистью к поработителям родины. Там мало кто помнит о старой России, и если ненавидит большевиков, то, наверное, не как москалей. К тому же большевизм имеет многонациональное лицо и для каждого народа он оборачивается своей рожей. На своих же направляется и ненависть.

Решаемся сказать: если отбросить все общебольшевистское или сталинское насилие — над личностью, над совестью, над трудом — и оставить чисто национальные формы, в которых живет СССР, то в них можно видеть окончательный пореволюционный облик России. Нынешняя империя Российская имеет, и будет иметь форму федерации свободных народов. Иначе она существовать не может. Настоящая угроза для единстве России создалась бы в том случае, если бы в результате дальнейшей эволюции Сталина, внутреннего ли переворота или внешнего завоевания, в России установилась чисто великорусская национальная власть в стиле и традициях Александра III. С такой Россией ее выросшие и оперившиеся разноголосые птенцы никогда не примирятся. В Россию же союзную они вернутся в том случае даже, если чужеземное завоевание разрушит общее гнездо. Пожив под немецким, польским, турецким игом, они истоскуются о былом доме, былой национальной свободе.

Не будем только сами затруднять их возвращение или содействовать их уходу. У нас — я говорю сейчас о великороссах-эмигрантах — есть не одна, а целых две возможности содействовать

распаду России. Одна из них – прямая измена и поддержка сепаратистов. Другая – патриотическая, но слепая преданность русской национальной идее в ее обветшалом историческом выражении. Русский монизм или централизм, на котором держалась императорская Россия – и который был естественен для большинства еще младенческих народов – теперь для нее смертоносен. Погружение в XIX век – без сомнения величайший век России – представляет огромную политическую опасность. В нем другие народы черпают пищу для своего злопамятства, а мы – вредные привычки национальной беспечности, чванства и косности. И для них и для нас опыт современной России является насущно необходимым, как ни трудно распознавать ее подлинный облик из-под густого тумана официальной лжи.

Во всяком случае, было бы вредно для русского дела углублять сейчас политические споры с зарубежными сепаратистами, представляющими (может быть, и плохо представляющими) действительные народы России. У нас есть много своего, внутреннего дела – с великорусскими пораженцами и авантюристами. Историческая амнистия Мазепе не распространяется на современных тушинцев.

Барселона и Россия

Падение Барселоны заставило содрогнуться много сердец, в которых самый придирчивый инквизитор не нашел бы никаких «красных» симпатий. Давно уже, если не с самого начала – испанская трагедия перестала быть только испанским национальным делом. Недаром Муссолини торжествует открыто взятие Барселоны, как победу итальянских войск. Барселона пала скорее перед немецкими и итальянскими пушками и аэропланами, чем перед итальянскими «волонтерами». Мы не знаем, какой процент испанцы составляют в армии Франко, но несомненно, что без иностранного оружия ему никогда не удалось бы завоевать свой собственный народ. Республиканцы, покинутые всеми, даже своими московскими союзниками, сражались чуть ли не голыми руками. Но победа Италии и Германии есть поражение Европы.

Еще держатся Мадрид и Валенсия. При героизме защитников они могут держаться еще месяц. Но вряд ли кто сейчас верит в победу республиканской Испании. Вмешательство Европы? Теперь, когда почти все позиции сданы, оно было бы странным, невероятным. Помощь оружием, которая месяца два тому назад могла бы спасти все, теперь явно запоздала. Да никогда никто и не решится на эту помощь из страха вызвать общий пожар.

Так повторяется история Австрии, Чехословакии. Испания со своими рудниками, гаванями и островами, с африканским Марокко становится добычей Оси. Вероятно, она сохранит свою политическую независимость, как Чехословакия ее со-

хранила. Но ее земля, ее армия, ее стратегические позиции будут принадлежать Германо-Италии. Муссолини прочно утверждается в восточном углу Средиземного моря, и его угрозы для Франции получают серьезное подкрепление. Итальянские волонтеры входят в Барселону в тот момент, когда в Риме толпа орет: «Корсику Италии!». Не сегодня-завтра Муссолини предъявит свой счет.

Если Чехословакия была восточной крепостью Франции, то Испания – ее важным прикрытием. С падением его южная граница Франции отделена от врага лишь Пиренеями. Сейчас это понимают все французы – даже те, кто одурманен испарениями гражданской войны. Последние попытки отвратить опасность, заключив мир с победителем, явно нереальны. Как может Франко порвать со своими могущественными покровителями, даже если и представить себе, что патриот возьмет в нем верх над партизаном? Для этого другая сторона должна быть много сильнее и предложить ему очень реальные вознаграждения. А главное – быть готовой поддержать свои требования оружием. Ни одного из этих условий нет в наличности. Поздно заискивать перед победителем.

Два года тому назад, в самом начале гражданской войны, мы указывали, что в Испании затронуты жизненные интересы России. Тогда об этом свидетельствовала и военная помощь, которую Сталин оказал Кабальеро[1] – конечно, не из пристрастия к испанскому социализму. С тех пор Сталин пролил достаточно крови коммунистов и анархистов в Испании, перенеся в Мадрид и Барселону методы московской чеки. Для нас, русских, это была самая унизительная сторона испанской драмы. Бессильное отказать своему единственному союзнику, умеренное правительство Негрина[2] вынуждено терпеть экстерриториальные расправы русских чекистов у себя дома, – даже тогда, когда военная помощь России свелась почти к нулю.

В чем интересы России за Пиренеями? Ответить нетрудно. Не победы коммунизма в Испании хочет Сталин, а преграды Гитлеру. Испания (как и Чехословакия) нужна России как возможная союзница Франции. Разочарование в западных демократиях или собственное бессилие могли заставить Сталина пожертвовать испанским фронтом. Сам франко-русский союз мог ослабеть – сейчас он держится на тоненькой ниточке.

Но политический смысл событий от этого не изменился. У России и Франции по-прежнему общий враг, беспощадный и могучий. Всякое умаление Франции, или ее союзников, всякое усиление Германии, или ее союзников — есть удар по России. Падение Барселоны для нас то же, что падение союзной крепости.

Сейчас опять поползли темные слухи о возможном соглашении Сталина с Гитлером. Трудно еще сказать, сколько в них правды. Но даже если бы все в них было правдой и намечающиеся торговые переговоры России с Германией — лишь первый шаг к общей перемене ориентации, решаемся сказать: и это не изменит ничего в основной трагедии Европы.

Гитлер отказывается на эту весну от украинского похода? Предпочитает сейчас западный удар — для себя и для своего римского друга? Пусть так, но это лишь отсрочит восточное предприятие. План Гитлера имеет западный и восточный варианты. Для удара в одну сторону ему нужно иметь свободные руки на другой. Но оба удара ему необходимы для осуществления своей великогерманской мечты.

По-видимому, Англия давно уже толкает Гитлера на восток, чтоб выиграть время. Сталин мог перехватить у Чемберлена его джентльменский прием. Тоже для того, чтобы выиграть время. По существу, интересы Восточной и Западной Европы неразрывно связаны, на какие бы измены ни шли потерявшие голову союзники. Вот почему, даже если завтра Сталин договорится с Гитлером, и в этом случае всякое поражение Франции будет угрозой для России, ибо приблизит момент сведения русско-немецких счетов. Историческая Россия могла бы жить в мире с Германией, но с национал-социалистической Германией — никогда. Как и никто не может чувствовать себя в безопасности перед этой демонической силой, которая не ставит никаких пределов своим дерзаниям.

При всех возможностях и поворотах политики падение Барселоны есть поражение России.

В эти дни, когда тысячи беженцев, голодных и раздетых, потерявших все, готовы хлынуть во Францию, как странно думать, что столько русских беженцев, почти столь же несчастных, считают их своими врагами. Воспоминания о своей собственной гражданской войне, неотвязчивые и туманящие

голову, мешают многим разобраться в настоящем. Где генерал, там и правда. Где рабочий, там большевизм (или «марксизм»). Неужели это и есть все политическое миросозерцание бывшей Белой армии?

Испанская республика совершила много грехов в своей отчаянной обороне, — особенно в первые месяцы безвластия, разнузданности, беспорядка. Но остается бесспорным, что меч гражданской войны обнажили не «красные» и что в бессмысленной жестокости, в холодном и методическом избиении мирного населения Франко далеко превзошел своих противников. Что делает особенно страшным «белый» террор в Испании — это связь его с католическим духовенством. Инстинкты мести и классовой ненависти прикрываются именем Христа. Гражданская война облекается в формы крестового похода. Семинаристы сражаются в рядах «фаланги»[3], которой поручено убийство политически подозрительных. Монахини доносят на них. Епископы благословляют дело убийц. Сколько поколений должно сойти в могилу, прежде чем испанский народ забудет об этой страшной ассоциации — между Церковью и террором? Каковы перспективы христианского будущего в этой несчастной стране?

Конечно, и красные запятнали себя преступлениями. Сожжение церквей, убийства священников отмечают первые дни гражданской войны. Но какая разница в нравственной вменяемости! Здесь толпа, обезумевшая, темная, потерявшая дисциплину. Там приказы культурных, холодных вождей. Здесь акты мести, там система истребления как метод политической борьбы. А главное, здесь не прикрывают своих злодейств именем Христа.

И вот теперь, когда они побеждены, когда их грехи отомщены сторицей, неужели мы будем торжествовать вместе с их победителями? Неужели нашего строгого осуждения не смягчит даже мысль о том, что сражаясь за свою свободу, эти люди, сами того не зная, сражались за свободу России?

Над гробом Пия XI

Смерть папы не была неожиданной. Последние годы жизнь старца теплилась, как догорающая свеча. Мир уже готовился не раз хоронить его. И, тем не менее, когда неизбежное совершилось, мы потрясены и подавлены. Думаю, не ошибусь, если скажу, что не одни католики, но весь христианский мир (за ничтожным исключением) с глубокой скорбью провожает в могилу римского патриарха. У его гроба мы забываем тысячелетний, нас раздирающий спор: о его непогрешимости, о его светской власти. Мы помним сейчас только одно: Пий XI был для мира воплощением христианской совести в той сфере, где она труднее всего находит свой голос, — в сфере политики.

Значит ли это, что Пий XI был политиком и прикрывал религией защиту своего (и нашего) демократического идеала? Конечно, нет. Целым рядом шагов он доказал свою добрую волю стоять выше политической злобы дня. Конкордаты, заключенные как с германским, так и с итальянским диктатором, свидетельствуют о том, что фашизм, как форма правления, не казался ему а priori несовместимым с католической Церковью. Держался ли он вообще левых взглядов? С самого начала своего понтификата он повел борьбу с московским коммунизмом и не прекращал ее до самой смерти. Но позже он был вынужден дополнить эту борьбу другой — с расизмом, которая была для него, конечно, труднее и политически рискованнее. Но он не мог молчать там, где самые основы христианства подвергаются угрозе.

Мы знаем: покойный Папа был человеком боевого темперамента, увлекаемый страстью или жаждой мученичества. Это не

Гильдебранд[1] и не Иннокентий III[2]. Человек мира, скончавшийся со словом «мир» на устах, он избегал всего, что могло обострить конфликты, внести раскол в церковное общественное мнение. О многом он молчал. Он мало говорил о делах Италии, он ничего не сказал о Польше, о несчастной, истекающей кровью Испании. Он говорил лишь тогда, когда он не мог больше молчать. Когда молчать было бы изменой Христу. Когда за политически спорным, изменчивым вставало вечное, незыблемое. И тем больший вес имели его слова.

Мы знаем также: Папа еще не вся католическая Церковь. Политика Пия XI была не по душе очень многим. В эпоху гражданской войны, свирепствующей повсеместно в умах и сердцах, католический мир расколот. Фашизм имеет в нем многих приверженцев. С большим опасением мы смотрим на будущий конклав. Велико искушение — особенно для итальянских кардиналов — избрать Пию XI преемника, готового на все уступки сегодняшним победителям: если не полуфашиста, то полумолчальника. Для многих, вероятно, такая политика кажется благоразумной: переждать бурю, сохранить земное достояние Церкви и не скомпрометировать ее защитой побежденных.

Может быть, эти голоса земного «благоразумия» и одержат верх, и мы опять увидим горестное зрелище Церкви в стане торжествующего насилия. Но ненадолго. Самая природа новой побеждающей силы не допустит этого союза. Ибо эта природа — не политическая, а духовная, и духовность ее антихристианская. Если бы даже Церковь отказалась от всякой борьбы с духом «нового мира», то новый мир не оставит ее в покое: для него, как для коммунизма, самое существование «еврейского» христианства, евангельской этики невыносимо. Тут не может быть компромисса — до полной победы. Рано или поздно Церковь должна будет своей мученической кровью — в Европе, как в России — исповедать свою веру и верность. Папа Пий XI не ошибся.

Но в своем исповедничестве Пий XI имел союзников, которые, в глазах многих, компрометировали его. Демократы всего мира, верующие и атеисты, масоны и евреи, ждали с нетерпением каждого его слова, видели в нем союзника в борьбе с фашизмом. Враги Церкви! Не правда ли, какой соблазн? Но можно ведь сказать и так: враги Церкви прислушиваются

с уважением к ее голосу — какое торжество Церкви! Защищая основы христианства, Папа защищал основы естественного нравственного закона, которым жило и живет все — и христианское — человечество. Все люди доброй воли должны быть на его стороне.

Но если от азбуки нравственного закона перейти к более сложному и оспариваемому делу демократии и взглянуть на неожиданный союз с ее (а не церковной) точки зрения — какие далекие перспективы нам открываются! Да, демократия в целом ряде стран вела борьбу с Церковью. В истории Франции, Италии, Испании эта борьба составляет, может быть, главное содержание XIX века. Это одно из роковых наследий «великой революции». Я не хочу говорить о виновниках великого разрыва, — виновников нужно искать на обеих сторонах. Но каковы результаты? Во-первых, широкие массы народа, поставленные в необходимость выбрать между Церковью и государством, постепенно покинули не только Церковь, но и христианство. Во-вторых, демократия все более теряла моральную и идеологическую силу, опираясь почти исключительно на собственность и мораль гедонизма. В-третьих, обездушенная демократия породила в недрах своих новую силу, откровенно языческую, которая угрожает и ей, и христианству. И вот тут-то, перед лицом опасного, а отчасти и торжествующего уже врага — не то что угрожаемые и побеждаемые меньшинства заключают тактический союз, — это было бы мелко и бесцельно и не спасло бы их от гибели — нет, здесь совершается другое, много более значительное. Демократия начинает сознавать свою забытую религиозную генеалогию. А Церковь в попираемых основах демократии — видеть часть своего, христианского, достояния.

Следует оговориться. Говоря о демократии, я имею в виду не ее европейские формы, во многом обветшавшие и обреченные. Не имею в виду даже принципа народовластия — формально торжествующего в тоталитарных государствах. В наше время, говоря о демократии, мы, конечно, говорим, прежде всего, о свободе личности и начале права. Демократическое государство наших дней — часто в противоречии со своей социальной действительностью — утверждает примат этики (права, справедливости, правды) в политической и международной жизни, и в понимании этой этической нормы сохраняет хотя

бы слабое, выветривавшееся, но несомненное воспоминание о нравственном законе христианства. Это становится совершенно очевидным, когда этому закону противопоставляется другой, совершенно иной по природе своей закон: против мира — война, против гуманности — жестокость, против свободы — тирания. Тут и оказывается, что демократия сильна тем, что сохранила от христианства, и даже степень ее силы определяется ее действительной связью с христианством. Разве же это не замечательно: всюду, где демократия еще сильна (в англосаксонских странах), ее узы с христианством не порваны. Она может, хотя бы устами своих официальных вождей, утверждать себя религиозно. Там, где полный разрыв наступил давно, демократия или погибла, или дышит на ладан. Ясно, почему. Чтобы защитить свободу, чтобы умирать за нее, нужна великая идея: простое сохранение комфортабельного дома не может подвигнуть на жертвы. Но пред судом современного сознания свобода может быть утверждена лишь религиозно, лишь в христианстве: ее позитивная защита оказалась мнимой теоретически и бессильной жизненно. Из биологического и экономического материализма правильные выводы сделали — Гитлер и Ленин.

Католическая Церковь, к несчастью, свыкшаяся на целые века с абсолютной монархией, — в течение всего XIX столетия пыталась неудачно бороться с восторжествовавшей демократией. Лишь со Льва XIII она сознала тщетность этой борьбы — и решаемся сказать — лишь с Пия XI ее несправедливость. Оказалось, что Церковь более нуждается в атмосфере свободы, чем в государственной монополии. Никогда — с XVII столетия — католичество не расцветало так во Франции — по крайней мере, качественно, — как в III Республике, после официального и мучительного разрыва с государством. В этом разрыве, по правде говоря, весь пассив пришелся на счет государства: моральное вырождение демократического начала.

Что более всего нужно Франции сейчас, немедленно, для ее возрождения, это конец старой, потерявшей смысл распри. Молодое поколение католиков полно энергии социального строительства. Оно едва ли не одно способно вложить в эту работу пафос религиозного воодушевления. Но предрассудки старого Комба[3] (или лучше сказать — Вольтера) превращают их в изгоев республики. Правда, кроме вольтерианских пред-

рассудков существуют еще не порванные связи католических кругов с роялистским дворянством, с крупным капиталом, который почитался в XIX веке лучшей опорой старой Церкви. Но эти круги уже потеряли право говорить от имени Церкви: за ними не стоит епископ, не стоит и Рим.

Для нас, русских и православных, этот вековой и трагический акт католической Церкви, законченный примиряющим благословением Пия XI, очень поучителен. Да поможет он нам избежать тех ошибок, которые столь роковым образом исказили духовную и политическую жизнь Франции, все еще не оправившейся от своей революции.

Дружеский ответ

Так как я являюсь главным виновником религиозной смуты в «Новой России», то считаю своим долгом вернуться к вопросам, поставленным Ст. Ивановичем[1]. Не для того только, чтобы полемизировать, но чтобы уточнить смысл моих слов, за которые я только и несу ответственность.

Может показаться, что в громе мировых событий, быть может, накануне войны, не время для идеологических счетов. Нет, именно теперь и время. Каков бы ни был исход ближайшего «раунда», я убежден, что столкновение европейской демократии и фашизма, в конечном счете, решится не на полях сражений, а на духовном фронте. Вот почему вопрос о духовном «вооружении» демократии для нее гораздо важнее технической и экономической подготовки для войны.

Вопрос, поставленный Ст. Ивановичем: «Кого судить?» – христианство или демократию – за горестные итоги, поставлен им неправильно. Я не взваливаю вину на одну сторону. В разрыве между Церковью и демократией виноваты обе. Как можно отрицать хотя бы тот факт, что во Франции, например, католическая Церковь вела весь XIX век борьбу против республики и что типичный радикально-масонский «лаицизм»[2], а точнее антикатолицизм современной Франции создался в результате обороны демократии от клерикализма? Но ведь и Церковь может предъявить счет – хотя бы бесчисленных мучеников, жертв якобинского – в значительной мере идеологического – террора. Стоит ли ворошить историю, чтобы иметь право, или удовольствие найти первовиновника? Кто начал? Где, когда в глубинах истории

совершилось социальное грехопадение, которое привело к разрыву между Церковью и демократией (между прочим, жившими в тесном союзе в средневековых коммунах)? Бесполезный спор. Я приглашал не судить, а мириться, т. е. забыть прошлые обиды. А если вспоминать их, то непременно на началах взаимности.

Я понимаю, конечно, что примирение в религии означает нечто иное, чем в политике. Требования религии абсолютны. Примириться с нею – значит принять ее до конца. Для этого, конечно, мало забвения обид. Нужен внутренний опыт, свободно признающий истину. Его нельзя ни требовать, ни форсировать. Чего можно требовать с самого начала, это отказа от предрассудков, готовности вести серьезный и спокойный разговор. И вот я утверждаю, что от результатов этого разговора, который, конечно, начался не со вчерашнего дня, зависят судьбы Европы и мира.

Но даже уже сейчас, с первых шагов, прекращение политической распри может иметь огромный не только духовный, но и непосредственно политический резонанс. Представьте себе полное и искреннее примирение между французской республикой и Ватиканом. Франция сразу становится центром притяжения всего католического мира. Католическая молодежь – говорю с полным убеждением – сейчас моральный цвет страны – возвращается, как они говорят в cité[3]: несет полноту ответственности за судьбу республики. Кончается пора кружковщины, мечтательного максимализма. Начинается строительство Франции. Ее воскресение возможно: в ней есть здоровые силы, которые лишь ждут освобождения. Франция перестает качаться направо и налево, между фашизмом и коммунизмом, и идет вперед – к той социальной христианской демократии, о которой мечтал и за которую умер Пеги[4]. Жанна д'Арк примиряет традицию и революцию, великое средневековье Франции с великими началами 1789 года.

Но Ст. Иванович обижен, что я говорю о христианстве. И как будто обижен не в качестве позитивиста (я, впрочем, не знаю его личных убеждений), а в качестве еврея. Противопоставление еврейства христианству может иметь только один смысл – религиозный. Как национальность, как народ, его нельзя противополагать религии; как культуру – тоже, ибо евреи и христиане живут одним культурным наследием, которое является их общим созданием.

И вот, если Ст. Иванович имеет в виду религию еврейства — иудаизм — я принимаю его поправку. Демократия может опираться не только на христианство, но и на иудаизм. Я не говорю: на всякую религию. Есть много религий — в Индии, например, — которые, вероятно, исключают построение демократической культуры в нашем современном понимании: потому что не знают личности. По своим истокам и структуре иудаизм и христианство не противоположны. Это различные фазы одной и той же откровенной религии. Христианство, включившее в себя Ветхий Завет, является завершением и исполнением иудаизма. В частности, его этика и этика древнего Израиля в его пророческих вершинах идентичны. Отсюда понятно, что английские индепенденты[5], да и вообще протестантский мир, в своей борьбе за религиозную свободу и демократию, всегда вдохновлялись Библией — именно Ветхим Заветом.

Я сделаю только одно добавление. Еврейская религия, как она известна в истории — до и после Христа, — неоднородна. Библия дает ее изумительное раскрытие от первобытной племенной религии кочующих колен до вселенского мессианизма. Если толковать иудаизм, так сказать, против течения, можно прийти к религиозному расизму. Личность, как духовное начало, лишь поздно обособляется от народа, который нередко выступает в Библии как единственный субъект, противостоящий Богу. Потому на Библии легче обосновать народовластие, чем личную свободу. Чтобы спасти свободу с Библией в сердце, ее надо толковать с конца, т. е. от христианства.

Конечно, современный иудаизм именно так и поступает. Живя уже в единстве христианской культуры, он привык к общему этическому и даже, до известной степени, религиозному языку. Он постоянно истолковывает себя в терминах личности, несмотря на то, что эта заложенная в глубине Израиля идея в полноте раскрывается только в Евангелии.

А почему эта идея в политической истории Европы утвердила себя впервые в протестантизме (и в какой мере это справедливо), это очень интересный вопрос, или клубок вопросов. Но останавливаться на них уже нет места. Можно к ним когда-нибудь вернуться. Сейчас хотелось только разъяснить некоторые недоразумения. Не знаю, в какой мере это удалось.

Политика изоляции и национальная политика

Последний номер «Новой России» был почти весь посвящен загадке русской внешней политики. Бесспорно, сейчас нет темы более актуальной. От того или иного решения Москвы зависят — хотя мы и не знаем, в каком смысле, — судьбы мира и, прежде всего, самой России. Только не слишком ли рано и поспешно большинство авторов предполагают вопрос решенным — в пользу изоляционизма? В то время как я пишу эти строки, в Англии появились надежды, что Сталин может примкнуть к англо-французско-американскому блоку.

Когда эти строки будут напечатаны, вероятно, многое уже выяснится, — хотя, конечно, не окончательно. Сталинская политика извилиста и коварна. Не следует каждый ее поворот принимать за начало новой эры: русская политика от Ивана III до Мюнхена, — и после. Если вдуматься беспристрастно в положение, то сдержанность Москвы или даже ее показное безразличие к судьбам Запада, совершенно понятны. Ведь за Мюнхеном стояла роковая английская идея отвлечь Гитлера на Восток, бросить его на Россию и на годы освободить Европу от германского кошмара. Вытесняемая из западной игры — Россия поневоле должна была делать «bonne mine à mauvais jeu»[1]. Неудивительны были бы с ее стороны и попытки русско-германской перестраховки, хотя они и очень проблематичны. Даже бутады[2] интернационализма (Мехлис[3]), столь противоречащие и воспитанию Красной армии, и испанской политике СССР, говорят скорее о дурном настроении или некотором шантаже, чем о серьезной перестройке. Поживем — увидим.

Но мы пишем здесь о том, чего мы хотели бы для России. К этому сводится ведь зарубежная политика: к воспитанию русской политической и патриотической мысли. И вот в порядке этого воспитания — скорее, чем решения актуальной проблемы, я ставлю два принципиальных вопроса: возможна ли вообще политика изоляции, и возможна и желательна ли чисто национальная политика?

Сейчас, когда в Англии и Америке сдаются последние сторонники изоляционизма, воскрешать эту идею для России мне представляется утопией. Недаром Япония вступила в германо-итальянскую коалицию, а Китай ищет опоры в западных демократиях. Мир стал таким тесным, столь спутанным в один клубок экономических и политических путей, что уединить любое государство из этой, теперь уже единой, системы совершенно невозможно. В прошлом это иногда бывало возможным, но чрезвычайно редко. Для этого необходимо, чтобы государство не имело культурных соседей, т. е. было окружено пустынями, морями или варварами: таков случай Китая. Россия никогда не была в таком положении. Едва выйдя из подданства Золотой Орды, она вступила в сложные взаимоотношения с Западом (и, конечно, с Востоком). Но XVIII век впутал нас впервые в европейские дела. Вопрос стоял очень просто. России угрожали на ее западных и южных рубежах Швеция, Польша и Турция. Обороняясь от них — или переходя в наступление на путях к двум морям — она неизбежно должна была искать союзников за спиной своих врагов. Такими представлялись на первых порах Австрия (цесарь) и Дания. Но антитурецкий союз с Австрией ставил нас во враждебные отношения с Францией. И т. д. и т. д. Преемники Петра Великого лишь переняли у московских царей их традицию. Но будучи сильнее их, они могли более активно вмешиваться в судьбы Запада. Жалеть ли об этом? Конечно, отдельные военные эпизоды XVIII века, как участие России в Семилетней войне, едва ли способны вызвать у нас энтузиазм. Виной тому вся политическая атмосфера XVIII века: уже беспринципная и еще не национальная, династическая и часто просто личная политика. Но так ли велики были жертвы, принесенные Россией, и неужели они ничем не искупились? XVIII век — это ведь апогей нашей империи. Русская армия и ее полководцы во дни Екатерины были, вероятно, первыми в мире. Смешно также думать, что русская

политика была совершенно бескорыстной и чудаческой. Огромные завоевания на Западе и Юге, в Прибалтике и Черноморье с избытком искупают жертвы, принесенные для «европейского равновесия». Noblesse oblige[4]. Для великой державы нельзя вести активной политики, сохраняя постоянный нейтралитет. Другое дело, что мы можем, по тем или иным идеологическим мотивам, не сочувствовать отдельным актам императорской политики: цели суворовских походов или венгерской экспедиции, разделам Польши и т. д. Но это ошибки и преступления, связанные с «общим делом»: грехи Европы, а не одной России. И я не могу, не изменяя лучшим преданиям России, вычеркнуть из ее святцев память о наполеоновских войнах, также как и о войне 1877 года. Почему мне они дороже других русских интервенций? По очень простой причине: я люблю видеть Россию освободительницей, а не угнетательницей народов — в прошлом — и в настоящем. И эта традиция должна быть основой русского патриотического сознания.

Но это подводит уже нас ко второму вопросу: может ли и должна ли политика определяться исключительно национальным интересом? В отличие от политики изоляции, чисто национальная политика возможна; вопрос лишь в том, желательна ли она?

Наше отталкивание от большевизма, с его безумным интернационализмом первых лет, не должно бросать нас в другую крайность: исключительного национализма. Если мы не желаем менять Сталина на Гитлера, то зачем же ставить себе образцом Бисмарка? В понятной, но опасной реакции, мы забываем тот простой факт, что в прошлом — по крайней мере, в нашем прошлом — политика никогда не определялась только национальным интересом, но ставила себе и некоторые высшие, идеальные цели. Не будем подражать марксистам и фрейдианцам, которые занимаются только срыванием масок. Признаем просто, что государственный эгоизм был почти всегда сильнее идеальных мотивов в политике; но не будем отрицать ни их искренности, ни их реальности. Войны велись за веру, за право, за свободу, и это не было пустым самообманом. Важно и другое. В христианском человечестве почти до наших дней государство (несмотря на Гоббсов и Макиавелли) не дерзало ставить себя, свое существование и свои интересы — как высшую цель. Даже преследуя только свои интересы, оно считалось с наличием более широ-

кого целого, частью которого оно являлось. Когда-то, в течение тысячелетия, этим целым был христианский мир или, после его раскола, мир католический и мир православный. Для религиозного сознания средневековья войны между христианами были, в сущности, междоусобными войнами, и единство христианского мира — политическое единство его — ставилось прямой и высшей целью политики. Секуляризация разбила этот идеальный миропорядок — но не до конца. Оставались все время жить «системы» европейских государств, как бы они себя ни называли: цивилизацией, Европой, греко-римской культурой и прочими псевдонимами. Россия была частью этой системы. Внутри нее национальный эгоизм каждого члена ограничивался сознанием общего, хотя бы некодифицированного права — jus gentium[5], общего интереса и общего долга. Все это было смутно, но вполне реально. Только реальность этого целого, этого идеального единства и могла сохранить Европу от саморазрушения. Еще в середине XIX века это единство Европы (вспомним знаменитое «европейское равновесие») существовало как в жизни, так и в идеях. Лишь конец столетия осмелился — впервые за всю христианскую историю — поставить национальный интерес как высшее начало в политике. Последствия чего мы видим.

Сейчас вопрос стоит уже так: или суверенность государства, принявшего демонические формы, взорвет наш культурный мир — который так и не нашел своего утраченного имени — или эта суверенность принесет себя в жертву ради создания новой искомой и трудной формы единства. Крушение Лиги Наций ничего не меняет в этой дилемме. Много лиг и империй могут создаться и разрушиться, прежде чем будет найдена устойчивая форма единства. Если она не будет найдена, общая гибель неизбежна. Не спасется и Россия, пространства которой уже перестали быть недоступными для современной техники. Но спасение возможно лишь на путях ограничения национальных интересов, подчинения их общему благу того безымянного целого, в котором мы живем.

В такое время возрождать идеологию чистого национализма столь же утопично, как служить Интернационалу. Национализм наших дней может быть огромной разрушительной силой — как одержимость, как безумие; как форма реальной политики, он пережил себя.

Демократия и СССР

В то время, когда пишутся эти строки, переговоры еще продолжаются. Ни Сталин, ни Чемберлен не сказали последнего слова. Но уже есть много оснований думать, что трудности будут преодолены. Без России не построить защиты мира. И без Запада России не отстоять своей земли от Гитлера. Конечно, возможны всякие дипломатические провалы, возможно и безумное ослепление политиков. Допустим, что Сталин предпочитает изоляцию в надвигающейся войне. Что дальше? Покончив с Западом, оставшись полновластным господином Европы, Гитлер не остановится, конечно, перед русскими рубежами. И тогда Россия будет стоять одинокой перед нашествием. Допустим, с другой стороны, что страх московской интервенции в восточной Европе заставит Англию отказаться от русского союза. Силы демократии разом падают до уровня, при котором едва ли можно надеяться на отпор агрессорам. И, во всяком случае, едва ли можно надеяться предотвратить войну. Ибо только явный и значительный перевес сил на стороне держав мира может остановить германо-итальянскую экспансию.

Без России не обойтись. Но участие России несет с собой не одни радости. Прежде всего, оно делает невозможным идеологический фронт или идеологическое обоснование коалиции. Что это — фронт демократий против фашизма? Но в этом фронте появляется тоталитарная (т. е. фашистская) держава, которая по своему внутреннему режиму является худшей из современных диктатур. Быть может, в Европе найдутся еще охотники — крайне немногочисленные, для которых союз с Россией представляется

подобием «Народного фронта» в интернациональном масштабе: союз «левых» сил против реакции. Мы должны энергично протестовать против всякой попытки такого истолкования. Именно оно было бы позорно для демократий. Чем левый тоталитаризм лучше правого? Его «левизна» была понятна в условиях его революционного рождения. Его марксистская идеология тоже сближала его с левым крылом рабочего движения в Европе. Был, наконец, и III Интернационал. Все это было. От всего этого остались выцветшие тряпки. Если обращать внимание на цвет флагов, то ведь красный флаг развевается и над Германией. С тех пор, как Сталин открыл эру нового русского национализма — который продолжает свое победное развитие в России, пали последние идеологические барьеры, отделяющие его от западного фашизма. Россия не страна демократии и не страна социализма в революционном смысле слова. Россия страна фашистского социализма, страна национал-социализма, — лишь более радикальная, более беспощадная в его проведении, чем параллельная германская система. Отсутствие расистских моментов нисколько не мешает ее природе.

Было время, когда Россия пугала Запад своей интернациональной пропагандой. Сейчас она пугает его — или ее былых друзей на Западе — скорее своим национализмом. Во всяком случае, сейчас нет и речи о былом русофильском энтузиазме. И Блюм, и Ллойд-Джордж[1], защищая в парламенте скорейшее соглашение с Россией, были более чем сдержанны насчет внутренних качеств союзников. «Что толку в политическом снобизме?», — говорил Ллойд-Джордж. «Мы хотим ценной помощи пролетарского правительства, лишь бы только нам воздержаться от панибратства». Как видим, это союз без любви, брак по расчету. В такой союз, конечно, охотно была бы принята и Италия, если бы она пожелала разорвать свою связь с Германией и отказаться от завоевательных планов. Но, конечно, этот холодок многому мешает. Человеческих душ не выбросишь из политики. Элемент человеческого сочувствия или антипатии, холода или энтузиазма — один из важных материалов в руках политического деятеля, особенно в наше демократическое или демагогическое время. Мы еще помним, как был труден для обеих сторон в первое время союз между французской республикой и самодержавной Россией. Но и тогда были взаимные

национальные симпатии, манифестации народных чувств (визиты моряков и пр.). Сейчас не может быть и этого, ибо встречи были — и какие встречи! — были и прошли. Сталин сумел растоптать все. Осталась лишь горечь разочарований — у всех, кроме неисправимых «блаженных» (innocents), которые встречаются и на Западе.

Союз без идеологии, союз интересов — на чем реальном он может держаться? На двух фактах: географическом и политическом. География сближает в военном смысле отдаленные государства против разделяющего их опасного противника. Так Япония подает руку Германии. Политика (отчасти внешняя, отчасти внутренняя) делает сейчас Россию страной обороняющейся, подобно Англии и Франции. Вопреки милитаризму, свойственному ей, как и всем фашистским режимам, вопреки хвастливым и бестактным заявлениям вождей («русский народ любит воевать!»), Россия остается сейчас существенно миролюбивой. И она естественно входит в тот союз, целью которого является не война, а сохранение мира.

Последнего мы не должны забывать. В отличие от 1914 года, у нас сейчас иное отношение к войне и ее последствиям. Мы не смеем строить никаких расчетов на войну и победу. Не должны даже загадывать о том, что будет после войны. Может быть ничего не будет. Война перестала быть орудием политики. Война стала роком. Но есть божественные и человеческие силы, которые выше рока. Человеческая свобода, сильная верой в правду, может противостоять року — и остановить стихийно неизбежное. Только так можно трактовать усилия демократических политиков: не как подготовку к войне, а как сопротивление идущей войне. И в этом отчаянном сопротивлении огромной, нечеловеческой стихии войны было бы преступлением (Ллойд-Джордж назвал это мнение снобизмом) пренебречь не только каждым союзником, но и каждым орудием, каждой механической силой.

Но все-таки остается стыд, остается неловкость — всякий раз, когда придется говорить о защите демократии — с таким союзником. А говорить все-таки придется. Ибо, под угрозой наступающего фашизма, демократия не может не сознавать тех духовных и социальных святынь, которые она защищает, защищая себя и мир от войны.

Есть только одно обстоятельство, способное смягчить неловкость и этот стыд: это именно потеря СССР своего политического лица. Россия сейчас не имеет никакой идеологии: странный пример тоталитарной безыдейности, где все держится волей и определяется мнением одного лица. Голоса, доносящиеся сейчас из России, представляют бессвязное бормотание, которое не годится ни для одной радиостанции. В нашем стане говорить может — хотя тоже не без заиканий — только демократия. При всем своем официальном хвастовстве, политически СССР как бы стыдится самого себя. Последняя сталинская конституция — архидемократическая по букве — говорит об этом стыде. Сталин давно уже противопоставил свою систему лицемерия ленинскому цинизму. Не стоит решать вечного вопроса, что лучше? Сейчас важно хотя бы то, что благодаря отсутствию государственной идеологии СССР входит в союз западных держав не как политическая система, а как государство, как Россия.

Для нас, эмигрантов-патриотов, в этом — большое облегчение. Участвуя, хотя бы словом пока, в оборонительном европейском фронте, мы защищаем не сталинский фашизм (который словом и сам защищать себя не смеет), а нашу родину, нашу Россию.

Фетида[1]

Душные и страшные стоят дни. В их обманчивой тишине, в летней ласке «равнодушной природы» притаилась гибель. Вот уже недели, как газетный лист по утрам не приносит вестей о новых войнах, новых захватах – в Европе. Но не верится этому спокойствию. В этой тишине идет подземная, кротовая работа военных приготовлений, дипломатических подкопов. Если мы знаем, более или менее, какого рода приготовления происходят в одном стане, то молчание другого таит в себе всякие, самые неожиданные, возможности.

Как бы для того, чтобы символически подчеркнуть зыбкость культурной поверхности, по которой мы ступаем, одна за другой, у берегов Америки и Англии, две подводные лодки гибнут на наших глазах. Без войны, без серьезных аварий – почти без всякой причины. Особенно страшная судьба Фетиды и ее 97 человеческих жизней. Среди глубокого мира эта военная агония сотни людей, за которой целыми днями следил, затаив дыхание, весь мир... Точно все происходило на наших глазах. Точно мы сами присутствовали при медленной смерти этих людей, задыхающихся в своем стальном гробу. И теперь этот гроб, с нежным именем греческой богини и с сотней уже разлагающихся трупов на дне моря, шлет нам, живым, свое предупреждение. Если будет война, не сотни, а миллионы, десятки миллионов погибнут – в таких же или еще более страшных мучениях. Если будет война, то вся Европа со своей древней цивилизацией, как Фетида – вернее, как Атлантида, погрузится на дно океана. В свете этих перспектив только и возможно

сейчас судить и переживать политические злобы дня: вопросы о вооружениях, о дипломатической подготовке и прочее.

Мы не имеем права ни на минуту забывать, что все, что ни делает демократия сейчас для своего спасения, она делает в расчете не на войну, а на сохранение мира. На войне спекулировать не то что преступно, а бессмысленно. Что мы будем делать после выигранной войны? Вопрос явно нелепый, содержащий не одно, а несколько противоречий. И война не может быть «выиграна», а «мы» не можем пережить ее. Останутся орды дикарей среди развалин, а как они будут устраивать свой людоедский быт, мы предсказать не можем. Все, что мы можем еще, это работать из последних сил для сохранения мира. И эта работа не вполне безнадежна.

Но сейчас оборона мира для демократической Европы уперлась вплотную в проблему вооружений. Единственное средство предотвратить войну — это создать на стороне миролюбивых держав такой подавляющий перевес военной силы, который отбил бы у всякого охоту к нападениям. Это бесспорно. И, однако, мы помним обманчивость пословицы, которой жил XIX век: «Если хочешь мира...» Мы знаем, что это значит, что пушки «сами начинают стрелять». Давление вооружений на жизнь народов начинает становиться столь тяжким и влияние военных техников столь решающим, что война вспыхивает сама собой, просто от перегревания воздуха. Нам говорили, что русская мобилизация в 1914 году не могла уже быть остановлена «по техническим причинам». Может быть, это совершенно верно. Но нельзя доводить дело до того, что технические (а не разумные, не моральные) факторы оказываются единственно решающими. За техникой стоит детерминизм враждебных человеку сил, за техникой — фатум, обрекающий человека на гибель.

Вот почему технически-военные и дипломатические приготовления сами по себе еще не спасают мира. Нужна еще добрая воля людей. Воля к соглашению, к сотрудничеству, к жертвам. Вот здесь-то и начинаются моральные трудности для демократии — трудности необычайно тяжелые, но от которых она уклониться не смеет.

Соглашение, сотрудничество — с кем? С тиранами, с разбойниками, которые устанавливают свои отношения с соседями по

закону диких зверей в лесу, а у себя дома не перестают мучить, грабить целые классы или группы населения, издеваться над всем, что для нас свято... Ну, а что делается у нас дома, в России? Если мы не считаем сталинского террора достаточным основанием для войны с русским народом, то почему бы не применить того же принципа по отношению к Германии? Или наше отношение к России объясняется лишь слепым национализмом и не может быть распространено на чужой для нас народ? Думаю, что это совсем не так. Думаю, что наша осторожность по отношению к России диктуется не только национальными, но и просто человеческими чувствами. Перенося нашу установку с России на Германию, мы, прежде всего, обязываемся различать народ и его власть. А, во-вторых, в этом различении соблюдать меру и не разрывать их окончательно. В этом двустороннем отношении и состоит вся трудность. Практически обе крайности приводят к тому же самому роковому выводу. Если Россия отвечает за Сталина (Германия — за Гитлера), или наоборот, если страна настолько ненавидит своего тирана, что все опасное для него тем самым спасительно для страны, то и в том и в другом случае нет препятствий для интервенции, для войны. Дело обстоит много сложнее. За Гитлером все еще стоят известные слои населения (пусть меньшинство), и даже большинство, от него страдающее, готово приветствовать то, что он дает как подарок, как успех своих разбойничьих предприятий немецкому народу. Ликвидация Версальского мира и его последствий остается в немецком активе Гитлера.

Мы должны, прежде всего, знать, чего хочет немецкий народ, т. е., его разные слои, и нет ли в его желаниях чего-либо вполне справедливого. Узнать это в тоталитарной стране нелегко — но все же много легче, чем в России, ибо в Германии все же больше свободы. И, зная о действительных нуждах и настроениях немецкого народа, мы должны проводить различие в нашем отношении к этим нуждам и к требованиям националистической мегаломании.

Во-вторых, как ни верна та мысль, что гитлеровщина порождена глубокими течениями в немецкой культуре (большевизм — в русской), но эта болезнь ее не должна в наших глазах уничтожать значение этой великой культуры и заставить нас смотреть безнадежно на ее судьбу. Может ли русский народ

когда-нибудь выздороветь от большевизма? Думаю, мало найдется среди нас людей, которые бы ответили на этот вопрос отрицательно. Почему же отчаиваться в будущем Германии?

Более чем когда-либо, сейчас необходимо сознательно воспитывать культурное германофильство (с разбором, конечно). Пусть немецкая музыка, поэзия и философия будут местом, которое соединяет демократическую Европу с порабощенной Германией. Пусть она знает, что мир далек от ненависти к ней и не будет мстить ей за грехи ее режима, в создании которого он сам повинен.

Сказанное относится, конечно, и к Италии, к которой Европа всегда испытывала чувство, близкое к влюбленности.

Соединить политическую борьбу против тиранов с укреплением культурной связи между народами – дело нелегкое, но вне этого психологического подвига не может быть надежды на замирение Европы. Эта задача выпадает, прежде всего, на долю интеллигенции, и здесь, в отличие от чисто политических задач, эмиграция может участвовать активно. Ведь и немцы, и мы оказались на тех же реках Вавилонских, на тех же Парижских бульварах, где мы можем протянуть друг другу руки через головы тиранов.

Памяти В. Ф. Ходасевича

Сейчас уже поздно для некролога, и рано для объективной исторической оценки. Да и не мне на этих страницах давать оценку Ходасевичу как поэту. Но над свежей могилой хочется сказать о том, что мы в нем потеряли, — мы все и Россия.

Ходасевич был одним из старших пост-символистов, т. е. поэтом того поколения, к которому принадлежат в России О. Мандельштам, А. Ахматова, Б. Пастернак и большинство поэтов эмиграции. Это значит, что он пришел на праздник тогда, когда мистический пир уже окончился. Другие упивались допьяна, ему досталось одно похмелье. На нем исполнилось библейское слово об отцах, которые едят зеленый виноград, и о детях, у которых от него оскомина. Многие сверстники Ходасевича — «акмеисты», упав с облаков на землю, не разбились, а тотчас же принялись зарисовывать вещи и формы земного мира, прокладывая путь будущим советским поэтам. Ходасевич никогда не мог забыть «звуков небес» на этой опостылевшей для него земле, и скитание по ней стало для него сплошной пыткой. Должно быть, были у него и личные причины, почему, выражаясь его словами:

Господь не дал нам примиренья
С Своей цветущею землей.

Но, вступив в цепь поколений, он выразил больше, чем личную боль: то была боль о России, муки смерти и — верим — рождения в один из самых тяжких дней ее исторической жизни. Наступила расплата за безответственность и беспочвенность

мечты, за танцы над хаосом, который вырвался, наконец, из-под застывшей лавы. Начались – для сохранивших память и родство – сумерки большевицкого быта, не согретые никакими иллюзиями, тоска и горечь изгнания. Эту чашу горечи Ходасевич испил до дна. Горечь – может быть, самое исчерпывающее слово для его музы. Он весь был горький – в жизни и в стихах, полюбил прозу и правду превыше всего и был беспощаден к себе и к миру. Не было для него достаточно отвратительных образов для своего скитальческого существования: змея, раздавленный червяк, паук – таким он видит себя, но не ищет отрады и в демонизме, не щеголяет отчаянием.

На тяжкий свой подвиг он выступил с сознанием обязательности и осмысленности этого страстного пути. Он назвал свой путь по-христиански «путем зерна», и вера в прорастание зерна никогда его не покидала. Раздвоенный, он – червь и змей, мог ощущать порой свою душу, свою психею, почти физически, чистой и высокой, даже «легкой» и «милой», и верить: в страданиях «прорезывается дух» и за окровавленными плечами прорастают крылья. Эта вера не давала ему утешения, не смягчала страданий.

Да и можно ли назвать верой то, что не покидало Ходасевича в его аду? Может быть, точнее сказать, то была память, смутная память о покинутом мире. Он любил думать о старости и смерти: о старости, как об осенней ясности и мудрости, о смерти, как о тлении тела, но и освобождении психеи:

Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...

Старости и ее бесстрастия судьба не дала ему. Будем верить, что смерть его не обманула – его, который так сурово отклонял всякие обманы.

Но Ходасевич был не только жертвой метафизического безвременья. Он был поэтом и поэтом замечательным: одним из лучших поэтов нашей эпохи. В его наследстве поразительно мало пустых, ничтожных стихов, а некоторые его вещи говорят о почти достигнутом совершенстве. Совершенство в наши дни – возможно ли оно? Не как подлог, не как насмешка или стилизация, а как подлинная художественная удача, и при этом для поэта в том раздвоении и в той ненависти к миру, в какой жил Ходасевич?

Мы знаем, какой легкий мостик ведет от отчаяния к мастерству. Стоит только отказаться от великого, уметь ограничить себя малым искусством, и на пожарище былой традиции вырастает Парнас.

Парнас есть вечное искушение классицизма. Ходасевич сумел избежать соблазна чистого мастерства. Но он пошел в школу классицизма и в ней искал и нашел противоядия своим ядам. Ходасевич не был поэтом, создающим для себя свой собственный ритм. Иногда его поэтическое дыхание следует современникам — Блоку, Анненскому, но чаще всего он находит себя в школе прадедов. По художественному темпераменту он, может быть, ближе всего Баратынскому, хотя по призванию и профессии он был пушкинистом — и вероятно, лучшим пушкинистом наших дней.

По естественному инстинкту он, вместо того, чтобы растравлять свои раны, тянулся к живой воде золотой поры нашей поэзии. Но никогда он не унижался до того, чтобы петь с чужого голоса. Никогда не молодился (или не старил себя) «под Александровскую эпоху». Крепкую, мужественную форму пушкинской плеяды он взял для выражения своего, только своего содержания. И под его пером классическая поэзия стала тем, что менее всего ей свойственно: мужественным голосом отчаяния.

Стало быть, противоречие? Форма и содержание у Ходасевича не ладят между собой? Да, они находятся в борьбе, но не в расколе. Форма упрощает, смиряет его содержание, как всадник взбесившегося коня (Фальконетовский Петр), и совершается чудо. Из гноя язв, из разложения рождается жемчужина. Поэзия Ходасевича, такая горькая и больная, действует, как крепкое и укрепляющее вино. Она не лжет, когда говорит о своих недугах, но эти недуги перестают быть заразительными, и даже — вот чудо искусства — становятся источником духовного здоровья.

Напрасно думать, что в искусстве форма должна послушно следовать за содержанием, тесно облекая его. Такая женская покорность возможна, но не обязательна. Там же, где содержанием является разложение (как нередко в искусстве современности), покорность формы, проведенная до конца, означала бы конец искусства. Ходасевич почувствовал это и нашел в себе достаточно жестокости, чтобы выездить своего коня.

В этом, может быть, его урок для всех нас. Поэт, он завещал нам не жизнь отравленных грез, а опыт труда и мысли. Чего иного можем мы, прежде всего, пожелать и России после всех ее пьяных и буйных ночей? Ходасевич не для себя только избрал темный путь зерна:

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год.

Когда он писал эти строки в 1917 году, он думал об исцеляющей силе страдания. Через двадцать лет своего чистилища он мог бы прибавить и совет аскетической дисциплины: труда, борьбы с собой, самоограничения, меры.

Польша и мы

В дни военного затишья, перед новой, еще неведомой фазой войны, мысль обращается к ее первой жертве: к замученной, истекающей кровью Польше. Она первая приняла на свою грудь удар врага, вдвое сильнейшего, вдесятеро лучше вооруженного, ни минуты не колеблясь, не думая о безнадежности, о бесполезности борьбы. Какое удивительное зрелище в наш век рационализма, утилитарности, всяческих «цель оправдывает средства». Бескорыстный, бесцельный, чисто героический акт классической «смерти за отечество» — кажется нам изумительным, неправдоподобным: точно ожили и перенеслись в нашу повседневность страницы Плутарха. И пусть не говорят, что самонадеянность и власть иллюзий обесценивают жертвенность Польши. Бесспорно, Польша недооценила врага и мечтала не о смерти, а о победе. Но там, где не было уже никакой надежды, ее силы точно возрастают. Горсточка поляков — два батальона — в немецком Данциге, под обстрелом артиллерии, выдерживала много дней сряду осаду врагов. Отдельные летчики врезались в неприятельские эскадрильи; конница бросалась в атаку на танки; Варшава, обойденная со всех сторон, разрушаемая с неба, охваченная пожарами, продолжала защищаться, когда уже не существовало ни польской армии, ни польского правительства. Гражданское население Варшавы понесло более тяжкие потери, чем войска, ее оборонявшие, и не генерал, а городской голова[1] стал воплощением ее жертвенной борьбы. Такие «эпизоды» спасают достоинство не одной страны, а и всей эпохи. Отдаленные наши потомки,

перечитывая смутную историю Европы 30-х годов и изнемогая от всего этого моря низости, рабства и насилий, очнутся от нравственного кошмара и отдохнут — как ни странно это слово — да, отдохнут на ужасной и возвышающей трагедии: гибели Польши.

Трагедия заканчивается сейчас торжеством победителей. Вслед за убийствами грабежи, разорение, увод в неволю, на каторжные работы, порабощение несчастного народа — вероятно, в таких формах, каких он не знал еще за всю свою тысячелетнюю историю

В такое время уместно ли говорить, и даже думать, о причинах рокового исхода, о содержащемся в нем элементе вины? Говорят, население Белоруссии и Украины восторженно встретило русские войска. Могло ли это быть иначе? Этот факт подчеркивает ненормальность национальных отношений на территории многоплеменного польского государства. Обстоятельство, которое не могло не ослаблять способности к сопротивлению. Были и другие изъяны в фасаде пышно-демократического государственного здания. Они всем известны. Речь Посполитая некогда погибла от безнарядья[2] и от восстания угнетенных национальностей. История повторяется, хотя и в иных формах. Польша не умела жить, но всегда умела героически умирать. И не нам, русским, указывать на сучки в ее глазу, в тот момент, когда сталинские — русские — войска нанесли ей последний, предательский удар.

Тяжба России и Польши — древний, многовековой спор. Не как иностранцы и сторонние наблюдатели, а как соучастники, мы вовлечены в эту трагедию. Для нас не «безмолвны Кремль и Прага», т. е. 1619 и 1830 годы[3]. Но мы уже не можем повторить вслед за Пушкиным, что этот старый спор уж взвешен судьбою. Между Пушкиным и нами лежит воскресение Польши и ныне, в последний исторический час, ее новое схождение во ад. Нам кажется сейчас почти непонятным то равнодушие, с которым русские люди XIX века воспринимали польскую трагедию. Им не приходило в голову оспаривать исторический факт такой вескости: раздел Польши. Отчасти это происходило от того, что они легко, не задумываясь, принимали данность Российской империи, не сомневаясь в ее прочности — чуть ли не вечности. Они даже не задавали себе вопроса о русской вине. Я не говорю

здесь о революционерах, которые с 60-х годов ставили своей целью разрушение империи. Я думаю сейчас о начале и середине великого века апогея русской силы и расцвета русского слова. Кто из русских больших писателей, которых никто не обвинит в черствости сердца, попробовал подойти к трагедии братского народа и постарался понять ее? Всесветные печальники, готовые отречься от себя, от России ради всечеловечества, кажется, для одной Польши не нашли слова участия, простого сострадания. Так и прошли мимо – в лучшем случае. В худшем – мы имеем оду Пушкина и пародийные эпизоды Достоевского. Издевательство над поляком стало одной из типичных тем русской литературы.

Особенно тяжела позиция славянофилов. Среди них было немало людей, искренне заинтересованных судьбой славянства и работавших в общеславянском движении. Нельзя было не видеть, что один этот факт – участие в разделе Польши – делал лицемерной и невозможной для России ту роль покровительницы и освободительницы славянства, которая ей, казалось, была исторически предназначена. Отдельные славянские народы сочувствовали России и еще сейчас сохраняют ей верность. Но центром, объединяющим все славянство, Россия стать не могла. И одной из причин была незаживающая польская рана, – этот великий грех России против славянства.

В этом нечувствии русского общества к трагедии Польши и состоит главная вина России, – превышающая самый факт польских разделов и столетнего государственного гнета в Царстве Польском. Есть много грехов государства, которых русское общество никогда не брало на свою совесть. Безгрешных государств не бывает. Лишь политический грех, принятый до конца национальным сознанием, вменяется ему в вину. Когда на Страшном Суде народов Россия услышит: «Что ты сделала с сестрой своей Польшей?» – кто, кроме Герцена, посмеет сказать слово в ее защиту? Он смеет, ибо за рыцарскую защиту Польши он заплатил потерей друзей, одиночеством, крушением своего дела. Но на чаше весов перевесит ли его мужественная защита оду «Клеветникам России»?

Об этом прошлом не следует забывать, когда думаешь о польской вине – в частности, о последнем двадцатилетии, которое было для Польши временем исторического реванша.

Трудность взаимного понимания Польши и России сама по себе необъяснима до конца исторической судьбой: памятью прошлых и ощущением настоящих обид. За нею стоит глубокая противоположность духовных типов и культур, без преодоления которых не может быть искреннего примирения.

Славянофилы, задумывавшиеся о корнях русско-польской распри, видели их в польском католичестве. Но иноверие чехов, хорватов не препятствовало сближению с Россией. С другой стороны, не религиозные же споры разделяли демократическую интеллигенцию двух народов, в большинстве своем бесцерковную. К католической Франции или Италии жадно тянулись. Отталкивались только от Польши.

Может быть, наше противоречие коренится в различии социального строя и миросозерцания. В грубой форме оно может быть выражено так: аристократическая свобода против уравнительного деспотизма. Польша осуществляла когда-то феодальную свободу меньшинства в формах невиданных в мире, но ценой безучастия к закрепощенным массам. Русское самодержавие в корнях своих имело, несомненно, уравнительные тенденции. Большевизм до конца осуществил эту потенцию: всеобщее равенство нищеты и рабства. Польша погибла некогда от односторонности своего развития. Сможет ли жить новая Россия в своем тоталитарном рабстве?

Все духовное спасение России заключается в возрождении — или, для ее впервые к культуре причастившихся масс, — в зарождении чувства, потребности, любви к свободе. Но любовь к свободе должна научить нас тому, чего не понимали ни русские историки, ни учителя русской национальной идеи: что свобода в своих истоках всегда аристократична. Не стоит радоваться провалу замысла верховников[4] или гибели боярства при Грозном — с точки зрения демократии. Боярская свобода в средневековье обеспечила бы нам дворянскую конституцию в XIX веке и всенародную — в XX. Но пересматривая свое прошлое, мы должны пересмотреть — или впервые присмотреться к судьбе соседней, столь близкой и столь далекой, Польши. Не с высоты мужицко-пролетарской гордости надо смотреть на ее шляхетское безумие. Если бы нам хоть в малой доле той любви к свободе, которая в чистом виде, в национально-аристократической исключительности, губит Польшу! Ее отрава была бы нашим спасением.

Тот, для кого идея славянского — конечно, духовно-культурного — братства не кажется праздной мечтой, не может не думать о настоятельной необходимости русско-польского примирения. Мы не сомневаемся в грядущем воскресении Польши. Пожелаем, чтобы судьба избавила ее от непосильного и изнурительного для нее империализма. Но это восстановление этнографически чистой и цельной Польши является лишь предварительным, далеко недостаточным условием для русско-польского сближения. Главный шаг навстречу должен быть сделан с нашей стороны: с той стороны, откуда нанесен и последний удар. Этим шагом мог бы явиться полный пересмотр русско-польских отношений и серьезное углубление в польскую культуру, для нас все еще более закрытую, чем любая из романских и германских культур Запада.

Война и национальная проблема

Для людей старшего поколения, сознательно переживших 1914 год, естественно мыслить нынешнюю войну как продолжение той, «великой». Если отвлечься от России, то эта борьба представится опять как столкновение демократий Запада с Германией, милитаризм которой нашел для себя в нацистском строе еще более жестокие и острые формы. Германия опять является агрессором. Защита Польши, как тогда Сербии, была непосредственным поводом к войне. Вспоминая судьбу Чехословакии, думая обо всех угрожаемых государствах Средней Европы, легко прийти к убеждению, что и эта война ведется во имя защиты наций – преимущественно малых наций – от германской экспансии. 25 лет назад вопрос об освобождении малых народов из-под немецко-венгерского гнета (Австро-Венгрия) занимал авансцену войны. Война шла и заканчивалась под лозунгом самоопределения народов. Версальский мир был, прежде всего, попыткой (хотя и не проведенной последовательно) передела Европы по линии этнографических границ. Следует спросить себя, стоит ли и сейчас, четверть века спустя, история под тем же самым знаком: освобождения и самоопределения народов?

Конечно, мы не мыслим мира без восстановления Польши и Чехословакии. Но исчерпывает ли это самоочевидное требование общие чаяния мира? Не слышится ли с самого начала войны, в устах ответственных вождей демократии, иная, новая нота? Чемберлен, Даладье, президент Рузвельт, с разными ударениями, говорят об одном: об организации безопасности,

о создании «нового порядка» в международных отношениях, который сделал бы войну невозможной.

Европа устала от крови, от вооружений, от мобилизаций. Превыше всяких частных требований мира стал сам мир — конечно, не любой, «похабный», на скорую руку, за несколько месяцев состряпанный мир, но мир длительный, прочный, обеспечивающий сожительство и сотрудничество народов.

Теперь уже для всех стало ясно, что при современной дьявольской технике разрушения Европа не может позволить себе роскоши войны — даже по одной на поколение. Опыт последнего двадцатилетия, с его стремительным снижением культуры — моральной, политической, интеллектуальной — говорит о том, в какую пропасть мы скатываемся. Никакие национальные цели и интересы не могут оправдать современной войны. Она может иметь лишь одну приемлемую цель: уничтожение самой войны.

Эта цель смутно брезжилась уже перед бойцами и организаторами прошлой войны. Лига Наций была идеалистической попыткой решения проблемы мира. Она создала «общество» или, в сущности, совещание народов, сохранивших свой суверенитет. Это общество было безвластно и лишено всяких органов принуждения. И власть и сила принадлежали его членам. Идеалисты надеялись, что моральный авторитет Лиги со временем может стать политическим; что новое международное право, постепенно внедряясь в сознание, станет силой и создаст в конце концов, органы властной, принудительной организации. В действительности борьба национальных интересов очень скоро разорвала слабые узы международной солидарности. Идеалисты ошиблись еще раз, не посчитавшись с суровой природой государства. Всякое государство стремится к самодовлению, и свой интерес ставит выше всякого иного блага. Его сила может быть ограничена лишь высшей силой. Важно только, чтобы эта внешняя сила была поставлена на службу высшей правовой идеи, а не являлась выражением голой воли к насилию.

Действительно, из хаоса современного мира возможны лишь два выхода: насильственное объединение в новую мировую империю, или более или менее свободное объединение в федерацию народов. Первая участь грозит Европе в случае победы

Германии: другого претендента на роль нового Рима сейчас нет. Напротив, победа союзников может быть обеспечена лишь действительным, прочным федеративным объединением народов.

В жизни каждой политической системы наступает момент, когда переход к высшим, более объемлющим формам единства становится необходимостью. Вне его разлагающие центробежные силы грозят разбить на куски старое общество и его цивилизацию. В этот момент законные национальные интересы становятся преступными сепаратизмами; былые войны по «естественному праву» — междоусобицами, с которыми не мирится общее сознание. В таком состоянии жила Греция на исходе Пелопонесской войны. В таком состоянии жил весь средиземноморский мир в эпоху римских завоеваний. При всем многообразии национальных элементов этого мира, он давно уже строил свое культурное единство на основе эллинизма, которое потребовало, наконец, и своего политического выражения.

Новым европейским нациям не приходилось и строить своего культурного единства. Они в нем родились — в лоне общей римской и христианской цивилизации. Это единство и поныне остается непререкаемым фактом культурной жизни: в религии, науке, искусстве, быте и технике. Все национальные отличия народов, драгоценные сами по себе, представляют лишь разновидности общей культурной формы. Самые глубокие национальные антагонизмы являются сейчас столкновением интересов и идей — подобие классам и партиям внутри нации, — а не противоречием глубоких, несовместимых духовных миров. Вот почему национальные конфликты в Европе неизбежно принимают облик идеологических и политических. Как столкновение Афин и Спарты соответствовало конфликту аристократической и демократической Греции, так и в современной войне, хотя они этого и не хотят, — демократии ведут борьбу с тоталитарным государством за свою и общую свободу.

Современная нация уже потому не может поставить свой интерес высшим благом и целью, что ее жизнь невозможна вне той культурно-политической системы — назовем ли мы ее христианской или европейской, — к которой она принадлежит. Разрушение этой системы, гибель цивилизации — столь легкая и столь обеспеченная в случае острых и длительных столкнове-

ний — неизбежно повлечет за собой гибель всех наций — участниц этого культурного единства. Поэтому последовательно проведенный принцип национального интереса становится невозможным: он подкапывает существование самой нации, которой хочет служить. Уже теперь нет таких интересов, которые оправдывали бы — то есть в грубом коммерческом смысле окупали бы войну. В действительности, то, что именуется интересами или даже жизненными интересами нации, чаще всего прикрывает инстинкты и страсти, не имеющие ничего общего ни с интересами, ни с разумным расчетом. Это слепая воля к могуществу, ничем ненасытимая, нигде не останавливающаяся. Это рок, влекущий к гибели, как бы тайный инстинкт самоубийства. Impavidum ferient ruinae[1] — таков современный смысл современных империализмов — больших и малых. Ужас лишь в том, что «бесстрашный», или одержимый, погребает под обломками не одного себя, а весь тот культурный мир, к которому он принадлежит.

Национализм из здоровой формы культурного сознания — частной, относительной, но оправданной, — превращается на наших глазах в безумие, в демонию[2], взрывающую нашу цивилизацию. С национальным эгоизмом произошло то же, что с классовым. Коммунизм, раздув классовые инстинкты, разрушает национальное общество. Национализм разрушает весь европейский дом народов, и вместе с ним свой собственный национальный дом.

Преодоление национальных демоний — дело нелегкое. Оно целиком ложится на плечи той интеллигенции, которая в наши дни является носительницей национального сознания. Дело идет, конечно, не о подавлении или заглушении национального сознания, а его воспитании, его этизации, о включении его в общечеловеческое — «вселенское» сознание. Пока правители народов обдумывают нелегкую политическую проблему построения новой Федерации, на всех нас, ответственно принявших войну, ложится долг борьбы на духовном фронте — со всеми силами дезинтеграции и распада, с теми силами, которые защищают национальный интерес, как высшее благо, и национальный суверенитет, как высшую политическую форму.

Гегемония и федерация

Вопрос о Европейской федерации, поставленный в Англии немедленно после начала войны, как будто заглушается сейчас иными голосами. «Вечная Германия» кажется более актуальной темой, чем вечная Европа. Вопрос о том, что делать с Германией, как обезопасить себя от Германии, вытесняет общий вопрос: как быть с Европой, как обезопасить ее от всяких покушений, с чьей бы стороны они ни исходили? А между тем последние подвиги Сталина, казалось бы, показывают, что опасность может грозить не только от Германии и что метафизическая психология нации ничего объяснить и ничем помочь не может. Мы, по крайней мере, решительно отказываемся искать в душе «вечной России» объяснений сталинского разбоя.

Совершенно бесспорно, что за два последних поколения германский милитаризм являлся наибольшей угрозой европейскому миру. Но столь же бесспорно, что после поражения Германии на сцену выдвинулись, подчас совершенно неожиданно, милитаризмы иных, вчера довольно мирных народов: Италии, Японии, теперь России. При таких условиях уничтожение главного агрессора только расчищает дорогу для следующего. Уничтожение всех великих агрессоров (если бы оно было возможно) открывает карьеру для честолюбия средних и даже малых. В несколько лет возможны необычайные передвижения сил. После Пелопонесской войны, обессилившей великие греческие державы, даже Фивы могли навязать свою гегемонию Греции. Сколько маленьких Фив сейчас дремлют в лоне Европы?

Задача не в том, чтобы уничтожить главного агрессора и ждать, вооружившись до зубов, нападения очередного агрессора. Задача в том, чтобы окончательно уничтожить бандитизм в Европе, установить в ней твердый мир — порядок, обеспеченный законом, закон, обеспеченный властью, власть, обеспеченную силой. Другими словами, Европа должна найти свое сверхнациональное политическое единство, если вообще она хочет и может жить.

Главное возражение против идеи федерации состоит в ее утопичности. Говорят, это прекрасная сказка, музыка будущего. Для современного мира с его обостренными национализмами мечта о добровольном ограничении национального суверенитета бесплодна.

Признаюсь, я не слишком высоко оцениваю действенность исключительно бескорыстных мотивов. И не только на моральной проповеди я строю свои надежды на будущее. Великая идея для своего воплощения должна найти опору в материальных и политических силах, приспособляясь к ним и себя невольно компрометируя. Но других путей для творчества в истории не бывает. Всякий исторический успех — лишь относительное торжество идеи, не чуждое горечи разочарований.

Мысль о совершенно добровольной организации сверхнационального общения, с жертвенным отказом от суверенитета и от защиты своих интересов со стороны отдельных наций, — конечно, совершенная утопия. Но гегемония держав-победительниц — не утопия. И не утопия, а лишь трудная задача — развитие этой гегемонии в постоянное и все более равноправное сожительство и сотрудничество народов.

Война, вместе с разрушением и варварством, приносит и новые возможности. Она делает мир более ковким, пластичным. В ее огне сгорают или переплавляются старые формы. Старые границы перестают быть неприкосновенными. Вековые политические режимы рушатся. Перед победителями мир лежит, как девственная земля, ожидающая своего Колумба. Только бы хватило мужества, хватило совести и воли не погубить дело победы, не утопить ее в мелочном своекорыстии и мстительности.

Сейчас стало почти аксиомой, что корни теперешней войны были заложены в Версальском мире. Радикально расходятся лишь взгляды на то, что именно в Версальском мире обусловило роковой исход. Для одних это насильственный мир —

«диктат», для других слишком мягкий и слабый. Версальский мир был, несомненно, компромиссом противоположных тенденций, — в этом была его слабость, но не в этом главный его порок. Лучше компромисс, чем голое торжество насилия. А где же в политическом мире возможно торжество чистой справедливости? Я думаю, что Версальский мир был лучшим из возможных, — что не делает его, подобно лейбницевскому миру[1], идеальным или даже просто нас удовлетворяющим. Роковым для Версальского мира, т. е. для Европы, живущей под его сенью, было отсутствие силы, стоящей на его страже. Такой силой должна была стать Лига Наций. То обстоятельство, что с самого начала не было создано армии и постоянного правительства Лиги погубило ее и версальский порядок. Если бы на фоне разоруженной Европы существовала постоянная вооруженная сила, достаточная для подавления всяких бунтов, захватов и нападений, будущее Европы было бы сейчас почти безоблачно.

Коммунисты и радикалы говорят, что Лига Наций была лицемерной формой господства Англии и Франции над миром. В каком-то смысле это справедливо, но в этом факте не заключается никаких оснований для осуждения. Всякое объединение совершается вокруг какого-нибудь центра и нуждается в чьем-то водительстве. Это всегда объединение вокруг — Македонии, Рима, Москвы, Парижа, Берлина. Методы и формы объединения могут быть различны: от деспотической империи до равноправного союза или слияния, но объединение невозможно без направляющей и управляющей воли. Конечно, если бы объединительницей Европы явилась Германия или современная Россия, это было бы худшей тиранией, и притом безнадежной для будущего развития к свободе и равноправию. Но гегемония англо-французская не страшна для свободных народов, хотя, конечно, и она не может быть бескорыстной и для всех равно справедливой. Лига Наций была не просто гегемонией Англии и Франции, но опытом сотрудничества их с целым миром великих и малых государств, из которых многим действительно удавалось играть свою роль в мировом концерте. Я сказал бы: беда была не в злоупотреблении властью со стороны победителей, а в слабости власти, в бездействии и попустительстве. Утомленные войной победители поспешили разоружиться,

забывая о том, что на них лежала обязанность вооруженной охраны мира. Разногласия между победителями сыграли также свою роковую роль. Европа предоставлена была своей судьбе: никем не управляемая, она неслась по течению, чтобы разбиться о скалы.

Когда теперь мы думаем о будущей Федерации европейских народов, мы, прежде всего, представляем ее себе как разумную и великодушную гегемонию победителей — в целях охраны мира и устроения политического и экономического быта Европы. Лучше какая-нибудь власть, чем анархия. И из всех возможных видов власти власть западных демократий сулит более всего гарантий для мира и свободы.

Если бы война охватила своим пожаром всю Европу и в ней не осталось бы ни одного нейтрального государства, то, как ни ужасны были бы опустошения, дело организации мира облегчилось бы значительно. Война уже сейчас привела к такому объединению союзных держав — военному, дипломатическому, хозяйственно-финансовому, которое позволяет видеть в англо-французском сотрудничестве реальное ядро будущей федерации. При отсутствии нейтральных было бы две Европы — в сущности два суверенитета; после победы — только один. Побежденные примут закон победителей, — тем легче, чем более надежд на будущее он им оставит. Победители в процессе войны привыкнут жить под общим законом. Задача заключалась бы, прежде всего в том, чтобы сохранить эти приобретения войны и распространить их на остальные народы, нейтральные и побежденные, вольно и принудительно включенные в систему Pax Europaea[2].

Мы не закрываем глаза на огромные трудности, стоящие на пути такого мира. Одна из них проистекает из неизбежных трений и разногласий победителей. Другие — из столкновений двух тенденций мира: возмездия и замирения. Борьба этих тенденций в будущей федерации столь же неизбежна, как и в старой Лиге Наций. Без борьбы нет жизни, нет живого политического организма. Сама по себе эта борьба не страшна, если бы она вместилась в границы охраняемого общим оружием единства, как не страшно для государства существование личных и групповых антагонизмов, поскольку над ними господствует общий закон.

Величайшая опасность для Pax Europaea заключалась бы в другом: в недостаточной полноте и широте объединения. Если бы на исходе войны одна или несколько великих держав, достаточно мощных, чтобы противопоставить себя Европе, отказались войти в федерацию или вошли в нее, чтобы взрывать ее изнутри, дело мира было бы безнадежно погублено. Вопрос о «великих» нейтральных становится особенно тревожным. Прежде всего, вопрос о России. Но здесь мы имеем уравнение со многими неизвестными. Развертывание событий грозит опрокинуть всякие гадания и построения.

Федерация и Россия

Должна ли и может ли предполагаемая федерация народов включить Россию?

Самый вопрос этот получает разный смысл, смотря по тому, ставится ли он с точки зрения Запада или России. Для западноевропейца он означает колебание осторожности, старую привычку к постепенности, к умеренным решениям: сначала попробуем объединить Запад, народы своей культуры, прежде чем будем раздвигать границы объединения на Восток. Всемирная федерация — это в плане утопии, европейская — в плане реальности. А Россия — в Европе ли?

С точки зрения русского, этот вопрос означает последнее убежище русского национализма. Объединяйтесь сами, если хотите. Может быть, Европа, в самом деле, переросла век национальных государств — особенно малых государств. Но Россия сама по себе целый союз народов, по территории — одна шестая света, не Европа, не Азия, а особый, себе довлеющий мир. Недавняя историософия евразийства приходит на помощь этому националистическому рефлексу, чтобы доказать, что Россия ни хозяйственно, ни культурно в Европе не нуждается.

В противность этому, мы готовы утверждать, что как европейская федерация немыслима без России, так и культурная жизнь России немыслима без Европы.

Для Европы что проку в том, что она, покончив со своими вековыми распрями, разоружится и наладит мирное сожительство своих народов, если на Востоке она будет постоянно видеть перед собой стену штыков (или танков)? Сможет ли она

вообще разоружиться, если Россия останется вооруженной? Как будут разрешаться конфликты, возникающие из территориальных, этнографических и стратегических отношений на западной границе России? Пусть Россия не чисто европейская держава. Но она, во всяком случае, и не чисто азиатская. На свое несчастье или счастье, она не имеет ни на Западе, ни на Востоке четких рубежей. Это предопределяет для нее необходимость политически жить в сложном мире как европейских, так и азиатских народов. Ее изоляция невозможна и нелепа. Еще в XVI веке, когда Москва культурно жила за искусственно созданной китайской стеной, политически она должна была войти в круг западных держав: искать дружбы с римским цесарем, с Данией, с Англией — хотя бы для того, чтобы обороняться от ближайших соседей-врагов. Балтийские, польские, даже балканские интересы России принадлежат не к искусственным «империалистическим» наростам на ее политике, а к органическим темам ее истории. Загнать в Азию Россию еще никому не удавалось, не удастся это и самим русским, если бы они того захотели. Оставаясь в Европе и давя на нее всей своей огромной тяжестью, Россия может быть или страшной для нее опасностью, или одним из существенных элементов ее равновесия. С Петра Великого Россия жила общей жизнью с Европой, не раз в критические часы истории — 1813, 1914 годы — помогала спасаться в общей беде. Неужели Ленин мог одним разом переломить тысячелетнюю историю России? Что этого не случилось, доказывает сам его преемник своим неожиданным выходом за западные рубежи. При всей гибельности разбойных приемов Сталина, самое направление его интересов доказывает, что об изоляции России не может быть и речи. Она остается, как была, неразрывно связанной со всем комплексом восточноевропейских политических сил.

Впрочем, можно поставить и другой вопрос: о какой федерации идет речь? О европейской ли? Пока вопрос о федерации ставится чисто теоретически, ее можно ограничивать как угодно: Европой, Западной Европой — и в этом ограничении видеть признак благоразумия. В действительности, идея федерации принадлежит Англии. Но Англия, точнее Британская Империя, это не чисто европейское государство. Ее доминионы и колонии раскинуты по всем частям света. Одной шестой —

СССР с его 170 миллионами — она может противопоставить одну четвертую и 450 миллионов. Если большая часть этого политического тела находится вне Европы, можно ли говорить о европейском характере федерации? Но Англия уже сейчас надеется на участие в ней Соединенных Штатов Америки. Лорд Лотиан[1], британский посланник в Вашингтоне, является одним из творцов этого замысла. Наконец, эта самая Британская Империя в целом ряде точек соприкасается, географически или политически, с азиатскими владениями России: на Дальнем Востоке, в Афганистане, в Персии, на Черном море. Здесь находится источник бесконечных конфликтов — или основа для договорных отношений. Как показал опыт русско-английского сближения при императоре Николае II, интересы двух мировых Империй не могут быть признаны непримиримыми. Англия будет договариваться с Россией в Азии, как она будет договариваться с ней же (в союзе с Францией) в делах Восточной Европы. Но время простых разговоров прошло, как проходит и время вооруженных угроз. Наступает эпоха правового творчества, то есть властно обязывающих решений. Россия необходима для организации мира почти в такой же степени, как и Британская Империя.

Но нужна ли самой России организация мира, нужна ли России Европа?

Россия сейчас в ссоре с Европой. И не Сталин, конечно, первый рассорил их. В Сталине эта ненависть к Европе лишь созрела до дьявольского замысла: разжечь мировую войну, чтобы на пепелище Европы, среди пустынь былой христианской цивилизации, построить могущество русского красного царства. Но ссора началась задолго до Сталина и даже независимо от коммунизма. Ведь и коммунизм является, или являлся, гримасой русского европеизма, искажением русской боли за Европу. Ссора восходит к 1917 году и питается горечью русских унижений. Русское национальное чувство было уязвлено глубоко поражением, разделом, падением России и, не желая взять на себя ответственность, не имея мужества покаяния, стало искать виновника вне себя — на Западе, недавно еще связанном с Россией круговой порукой войны. Это извращение русской боли за Россию одним из первых выразил Блок в своих «Скифах», чудесные стихи которых должны были подсластить

измену – не Западу, а самой русской идее: славянской, христианской, культурной традиции России. С тех пор русское скифство гуляет по ту и другую сторону рубежа. Оно совершенно подобно тому отречению от Европы, которое, на почве того же унижения и бессильной злобы, совершили две дочери уже западной (римской) Европы: Италия и Германия. В свете этих скифских настроений многим казалось, что Россия может жить как Россия и, пережив Европу, что ей вообще незачем связывать свое будущее с обреченным миром.

Безумное ослепление, самоубийственная мысль!

Автаркия России может быть оправдываема, на худой конец, лишь экономически. Подобно Соединенным Штатам, российский материк представляет условия, почти удовлетворяющие требованиям хозяйственного самодовления. Но разве об этом сейчас речь? Разве от экономической только неурядицы погибает мир? Но уже политическая автаркия России, как мы видели выше, является вредной утопией. И на Западе, и на Востоке Россия вросла всеми своими членами глубоко в другие политические миры. Ее нельзя оторвать от мировых силовых систем, как нельзя разрубить сиамских близнецов.

Что же сказать об автаркии культурной? О перспективах русского будущего в случае гибели Европы? Тяжело говорить об этом сложнейшем вопросе в нескольких строках. Но надо выразить свое убеждение, основанное на опыте тысячелетней истории. Вот оно. Россия и Запад имеют не совсем тождественные истоки; это определяет, вероятно, навсегда, особенность двух христианских миров. Но и Византия, и Рим восходят к той же Греции. Это объясняет сравнительно легкую возможность общения и взаимного оплодотворения. Петровская Россия была не изменой – или не только изменой, – но и обретением собственной сущности в заимствованных формах культуры. Лишь благодаря Западу, Россия могла выговорить свое слово. В своей московской традиции она не могла найти тех элементов духа (Логоса), без которых все творческие богатства останутся заколдованной грезой. С Европой она проснулась и, мужая, работая, борясь, до конца опиралась на опыт и разум западной сестры, которой уже начала щедро платить за науку. Ныне эта связь жестоко порвана вместе с истреблением целого культурного слоя, бывшего хранителя этой связи. Результатом было

общее оскудение и опошление. Первым роковым признаком недуга было падение литературы – последний демонстрируется в лесах Финляндии, в разгроме русских дивизий.

С этой интерпретацией можно спорить, можно искать других причин русских поражений и русского упадка под коммунистической властью. Эти другие причины существуют, смешно было бы отрицать их. Думается только, что и после освобождения России от сталинизма, ей не жить цветущей культурной жизнью, если она сохранит китайскую стену, отделяющую ее от Запада, или если этот Запад погибнет как культурный мир.

Есть один элемент христианской культуры, нам всем дорогой, любовно выращенный в петербургский период нашей истории и теперь выкорчеванный без остатка. Это свобода, которая с таким трудом пробивалась в крепостнически-самодержавном царстве, но, наконец, сделалась неотъемлемой частью русской жизни. Эта свобода целиком выросла на почве западной культуры как результат сложного воздействия духовных сил. В византийско-московской традиции у нее не было никаких корней. В этом и состояла трагедия русского славянофильства и вообще русского национального свободолюбия. Вот почему с такой невероятной легкостью свобода могла быть выкорчевана из сознания русских масс, лишенных общения с внешним миром, принесших в марксистскую школу лишь древние инстинкты Московии. Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетними инстинктами рабства. Разбить его может лишь новый – столь же тоталитарный, то есть религиозный – идеал свободы, который некогда разложил и старую Московию. Но сейчас свобода жива лишь на христианском Западе и ведет отчаянную борьбу с обступившими ее силами тьмы. Война ведется не только на полях сражений, но и на всех участках культурного фронта: в искусстве, в философии, в теологии. От исхода этой борьбы зависит участь мира на много веков. От нее зависит и участь России. Судьбы России решаются на линии Мажино[2], в Атлантическом океане, в снегах Финляндии. Странно, дико сложилась история. Русские войска умирают за свое собственное рабство. Финны сражаются не только за свою свободу, но и за свободу России.

Федерация и политический строй

Идея Европейской или Всемирной Федерации народов зародилась в лоне демократических наций: в Америке, в Англии (если не считать пропаганды австрийского графа Куденхове-Калерги[1]) формулируются сейчас первые наброски федеративной конституции. Значит ли это, что федерация связана с демократией и что вне ее она немыслима? Требует ли она для своего осуществления победы демократических идеалов по всей Европе и свержения всех диктатур?

Теоретически идея федерации не ограничена определенным политическим строем. Федерироваться — по крайней мере, в первой, свободной стадии союза — могут государства разного типа: монархии, аристократии и демократии. Для этого достаточно готовности добровольно ограничить свой суверенитет во имя общего блага (и ради собственного существования), добросовестной подписи под договорным актом и доверия контрагентов к этой подписи. В последнем, т. е. в доверии, все дело. Старая самодержавная Россия могла подписывать союзные договоры с демократиями и умела честно соблюдать их. Отсутствие политической свободы внутри своей страны не создавало для царской дипломатии, которая являлась осколком погибшего века абсолютизма, положения чужака, заблудившегося в незнакомом обществе. Несмотря на различие государственно-правовых идей, взгляды на международное право у представителей старой России и демократий Запада могли совпадать; Николай II мог быть даже инициатором Гаагского трибунала.

Народы, которые мы называем демократическими, сами живут весьма различными политическими идеологиями. При общности парламентарного строя и избирательной системы во Франции и Великобритании, политическое сознание их и особенно подсознательная почва его глубоко различны. Человек, поющий с искренним одушевлением «Боже, храни короля», переживает совершенно иные эмоции, нежели человек, поющий «Марсельезу». Еще свежо то время, когда они считались смертельными, непримиримыми врагами. Теперь их ответственные вожди говорят уже о том, что, в сущности, Англия и Франция являются не двумя, а одной воюющей нацией. С другой стороны, как не похожа централизированная якобинская республика Франции на федеративные республики Швейцарии и Соединенных Штатов! Правда, эти народы объединяются общим уважением к свободе, культом свободы, хотя и по-разному понимаемой. Но как ни дорога нам эта основа политической жизни, пример императорской России показывает, что это условие не является неизбежным для политических союзов, не является оно таким и для федерации. Религиозные антагонизмы между католиками и протестантами в Швейцарии ощущались в XVI–XVII веках не менее резко, чем нынешние антагонизмы между диктаторами и демократией. И хотя не раз в истории Швейцарского Союза эти антагонизмы приводили к открытой войне, но Федерация справилась с ними и нашла для них место в общем отечестве.

Вот почему, думается, нет надобности в свержении всех диктатур Южной и Восточной Европы для того, чтобы вопрос о Европейской Федерации мог быть поставлен. Греческая, например, или португальская диктатура вполне способны войти в широкую систему политических сил, приняв на себя определенные обязательства: разоружения и признаний общей верховной власти.

Но есть диктатуры и диктатуры. Сказанное выше никак не может относиться к диктатурам тоталитарного типа.

Нацистская Германия или большевистская Россия не только не могут быть членами какой-либо Федерации, но, как показал опыт, не могут быть участниками никакого политического союза. Их подпись не может иметь никакого веса, их слово не внушает никакого доверия. И это по причинам принципиальным,

а не случайным. То, что для общечеловеческого сознания является вероломством, может оказаться для них высшим долгом, почти религиозной обязанностью. Для тоталитарных народов государство само определяет мораль и право, как определяет науку и быт, семейную и личную жизнь граждан. Нет и не может быть такой силы, социальной или моральной, которая для них стояла бы выше государства. Поэтому сверхнациональный суверенитет, федерация, стоящая выше национального государства, должны представляться для них абсурдными. Если такое государство, подчиняясь силе, и вынуждено будет войти в федерацию, оно не перестанет ковать заговоры против нее, воспитывать своих граждан в ненависти к ней и готовить оружие для своего «освобождения».

Есть и другое основание несовместимости федерации и тоталитаризма. Насилие составляет самую душу новых режимов. Попрание права или построение его на основе голой силы является для них догматом. Они называют насилие динамизмом, видя в нем признак своей молодости и оправдание своих революций. Внутри, в социальном размере, насилие выражается подавлением целых классов и народностей, партийных и религиозных групп. Вовне насилие сказывается войной. Война для них не бедствие, не катастрофа, а главный смысл существования государства. Оно живет для экспансии, для расширения за счет слабых соседей. Для этой цели оно, в сущности, и уничтожило внутри себя демократические свободы, несовместимые с господством солдатчины. Внешняя политика для тоталитаризма является определяющей. Отказаться от войны для него значит погибнуть, т. е. потерять смысл своего существования и уступить место другому, миролюбивому и правовому строю.

При современном положении мира самый факт тоталитарных режимов, с их военной идеологией и культом насилия, является главной причиной войн — несравненно более серьезной, чем все другие экономические или политические причины. Мир не может быть прочен, пока в Европе или на ее рубежах живут вооруженные волки, ожидающие лишь удобной минуты, чтобы броситься на овец. Во всеобщем разрушении они выигрывают, гибель цивилизации их не пугает. Свою миссию они видят (как Гитлер в откровениях Раушнинга[2]) в воспитании новых варваров, которые омолодят слишком старую Европу.

С таким врагом не может быть примирения, тем более союза. Что же говорить о федерации? Настоящая война не может кончиться миром, обещающим какой либо просвет для Европы, пока не будет разрушен самый мощный очаг фашистских сил: гитлеровская Германия. Сейчас просто глупы все разговоры о мире, об уступках, которые следует потребовать от Германии, если во главе ее стоит по-прежнему Гитлер или его преступная партия. Но после очищения Германии от нацизма, после освобождения несчастных народов, не только угнетаемых, но и истребляемых ею, пред разоруженной Германией двери федерации могут быть открыты.

Однако гибель нацизма уничтожает ли все военные очаги в Европе? Пока существуют великие державы, обуянные духом войны и насилия, новый порядок в Европе невозможен. Но до сих пор война ведется только с одной Германией, и в интересах победы союзники не желают ее распространения, по крайней мере, не желают расширения фронта врагов. Даже Сталину не объявляют войны, несмотря на его активное участие в международном разбое. Эта политика понятна и разумна, но не ставит ли она серьезных затруднений для послевоенной Европы?

Мы убеждены, что война не может и не должна кончиться разгромом лишь одного из тоталитарных режимов. Но позволительно думать, что разгром его в самом сердце Европы вызовет огромную детонацию в мире. Уже давно подточенные внутренней ненавистью, большие и малые тирании Европы будут лопаться одна за другой, когда демократии справятся со своим самым опасным противником. В частности, что касается России, можно ожидать, что падение Сталина упредит гибель Гитлера: слабость русского режима, проявившаяся в Финляндии, обещает впереди ряд неудач и поражений, которые едва ли вынесет коммунистическая диктатура. Во всяком случае, в интересах России мы должны желать, чтобы это падение совершилось как можно скорее. Думаем, что и другие диктаторы тоталитарного типа не замедлят последовать за Гитлером в царство теней. Этот кошмар, темной тучей нависший над Европой, может внезапно рассеяться, и демократия получит время для своего необходимого внешнего и внутреннего переустройства.

Если же этого не произойдет, если и после войны, после победы над Германией в мире сохранятся очаги тоталитаризма,

ну, что же — демократия должна найти в себе волю и мужество применить силу или угрозу силой для окончательного очищения Европы. Что же это за мир, если все время придется держать на границах войска и ждать очередных мобилизаций! Предложение разоружиться будет обращено ко всем и поддержано необходимой силой. Но принятие его само по себе означает страшный удар по тоталитарному фашизму, который он едва ли переживет. Фашистское государство не может быть принято в федерацию, не может пользоваться благами экономического сотрудничества, обеспеченного ею, и при отсутствии военных перспектив, этого миража обманутых народов, его существование станет невозможным.

Уцелеют, вероятно, авторитарные режимы, опирающиеся на сочувствие масс, живущие не военной грозой, а хозяйственным трудом. Между парламентарной демократией и корпоративным государством вполне возможно сотрудничество, взаимный обмен социальным опытом. Но для тоталитарного фашизма нет места в освобожденной Европе, в освобожденном человечестве.

Доколе!

После финляндской «победы» Сталина

В Финляндии траур. Флаги приспущены. Газеты вышли в траурных рамках. Почему в одной лишь Финляндии, а не в Париже, не в Лондоне, не по всему миру? Это наш общий траур, наше поражение — хотел было написать по привычке: «демократии», но нет. Мы ведь читали, что в Финляндию шли добровольцы из фашистской Испании, пошли бы и из Италии, если бы пустил Муссолини. В Финляндии нанесен удар не тому или иному режиму, партии, идеологии, а тому, что есть в каждом из нас просто человеческого: простейшей, ясной, как Божий день, всякому дикарю и ребенку понятной справедливости. Лишний раз, — в который раз! — Голиаф торжествует над Давидом; ведь мы же понимаем, что библейские чудеса совершаются не каждый день, и сила ломит не только солому, а и более благородное вещество: мускулы, нервы и мозг человека. Тот, кому ничего не говорит трагедия Финляндии или даже кому она доставляет политическое или национальное удовлетворение (есть и такие), уже близок к тому, чтобы утратить образ человеческий. Он уже созрел до воспетой Некрасовым «ликантропии»[1], которая в современном мире носит разные имена; среди русских, и не одних только русских, она называется сталинизмом.

Но поражение Финляндии — не только моральная катастрофа. Оно является, в первую голову, политическим поражением демократической коалиции, которая давно уже фактом своей помощи превратила дело Финляндии в свое дело. Не будем скрывать горькой правды. Еще одна битва проиграна — на отдаленном, может быть, второстепенном театре — но одной и той

же войны. Еще одно торжество наших врагов — Сталина и Гитлера. Сталин выпутывается из волчьей ямы, в которую он неосмотрительно попал в Финляндии. Гитлер надеется теперь на более активную помощь своего союзника. Естественно поставить вопрос — и он ставится всеми: кто виноват?

Безумно было бы обвинять Финляндию. Она сделала все, что могла, — и больше, чем могла. Никто не надеялся на столь долгое сопротивление подавляющим силам врага. Странно было бы думать, что одна материальная помощь Англии и Франции, как бы велика она ни была, могла возместить потери в живой силе и нечеловеческое утомление лишенных смены бойцов. Почему же Финляндия не обратилась за той активной военной помощью, которую ей предлагали в последние дни союзники? Весь мир с тревогой ждал ее решения, ее зова. Она не позвала. Было бы не только моральной, но и политической тупостью ее винить. Мы многого не знаем из того, что происходило за кулисами событий. Не знаем, могла ли прийти вовремя столь поздняя подмога и была ли она достаточной, чтобы уравновесить натиск двух врагов: Гитлера и Сталина. Финляндия могла стать театром не частной, а мировой войны лишь при одном условии: если бы этот театр рассматривался не как второстепенный, а как серьезный, быть может, решающий, подобно линии Зигфрид-Мажино. Другими словами, если бы союзники не только помогали Финляндии, но защищали себя и свое дело на территории Финляндии. Были ли они к этому готовы? Имелись ли для этого стратегические предпосылки?

В поисках козла отпущения, общественное мнение обрушилось на скандинавских соседей, особенно на Швецию. Действительно, все реакции Скандинавии диктуются страхом, спору нет, естественным, но ослепляющим даже здравый смысл. Все же нельзя перелагать всю ответственность на Швецию, на нейтральных. Они запуганы, они живут в настоящем терроре, но кто виноват в этом? Не развращались ли они систематически, целое десятилетие, зрелищем безнаказанного торжества насилия? Япония в Китае, Италия в Эфиопии и Албании, Германия в Австрии и Чехословакии делали что хотели. Франция и Англия очнулись. Но одного факта объявления ими войны недостаточно. Нужны другие убедительные доказательства воли и силы демократий. Вместе с первыми победами произойдет

и поворот в настроении нейтральных. А пока приходится терпеть, что в Швеции, в Голландии, в Швейцарии запрещается книга Раушнинга, а в Берне на стенах расклеиваются германские агитационные плакаты.

Повторяем: неясность стратегической обстановки мешает сейчас поиску виновных в финляндской катастрофе. Может быть, виновных и вовсе нет, а есть роковая неизбежность. Может быть, виновны все. Но гораздо важнее, чем отыскивать виновника, как можно скорее изгладить моральные и политические последствия поражения. Финляндия не погибнет. Народ, давший такие доказательства своей жизненности, займет почетное место в семье свободных наций. Новые границы ее не вечны. Вообще все границы определяются только на конференции победителей, в конце мировой войны. И что бы ни говорили теперь в припадке раздражения политические деятели, поражение Финляндии не будет ей вменено в вину. Сейчас же нужно другое: нужны действия, которые убедили бы мир в том, что демократия и слабость не одно и то же. Эти действия должны быть достаточно быстры и энергичны, чтобы парализовать психологический эффект финляндского поражения. Силы демократий, действительные и потенциальные, огромны. Но бездействие, но затяжное ожидание не способствуют напряжению духа, той героической воле, без которой нет победы...

Мы можем только угадывать, где будет нанесен ближайший удар. Из совокупности сведений, просачивающихся в печать, как будто вытекает, что ближайшим театром войны может оказаться ближний, скорее всего, русский восток. Как ни далек он от северных кровавых полей, но между ними чувствуется внутренняя связь. Почему Сталин торопится с заключением мира, беря на себя, через Майского, почин переговоров, почему он отказывается от Куусинена[2], от завоевания всей Финляндии, — конечно, возможного? Не потому ли, что он почуял удар, угрожающий ему с юга, и бросает на время свою жертву, чтобы повернуться к пока еще невидимому врагу? Если это так, то финляндское преступление не замедлит получить свое возмездие. Еще недавно, в дни финского героического сопротивления, можно было говорить об отсрочке, которую история дает Сталину и России. Действительно, если бы Сталин отступил тогда, дав Финляндии почетный мир и отказавшись от даль-

нейшей поддержки Гитлера, он отвел бы опасность от своих границ и мог бы оставаться зрителем мировой трагедии. Конечно, при условии, что русский народ позволил бы ему долго наслаждаться плодами его «побед». Но Сталин торжествующий, Сталин-победитель сразу наклоняет против себя всю чашку весов. Он сам создает весьма эффектную психологическую подготовку для стратегического наступления — против себя. После Финляндии — чей голос, кроме продажных и безумных, поднимется на его защиту? Это в Москве, в стране молчания и рабства, видимость общественного мнения делается и переделывается с необычайной легкостью — одной передовицей «Правды». В демократиях разбудить и организовать массы — дело серьезное. Оно не проводится диктаторскими окриками, и радиовещаний здесь недостаточно. Нужно ждать, когда проснется совесть и разум народов. Ну, что же, они просыпаются — и Сталин, кажется, будет их первой жертвой.

Опоздавшие

Многими отмечалась общность судьбы двух фашистских стран – Германии и Италии. Обе они позже других народов, лишь в конце XIX столетия осуществили свое государственное единство. Другие, счастливые народы давно нашли свое единство инстинктивно или выковали его уже на исходе средних веков, когда слагались новые нации Европы. Для опоздавших потребовались огромные усилия нескольких поколений, целый век революционной борьбы или ряд жестоких войн. Мысль ученых, творчество художников работали долго и упорно над проблемой национального единства и, когда она была, наконец, решена, не могли остановиться вовремя. Вся живая сила интеллигенции была брошена в одном прямолинейном направлении: от нации к империи, от империи к мировому господству... В жертву этой химере принесено все: свобода, мир, совесть, остатки христианства – наконец, сама национальная культура и все силы народа. Фашизм, с этой точки зрения, является естественным пределом этого рокового движения (отвлекаясь от всех других, военных и социальных его причин).

В России тоталитарный строй коммунизма вырос не на идее нации. Как раз наоборот, он питался ненавистью к Российскому государству и его национальным традициям. Однако теперь, когда сталинская империя идеологически и политически все более сближается со странами воинствующего национализма, есть над чем призадуматься. Острота русского национального чувства в границах СССР и даже за его границами имеет свои аналогии лишь в тоталитарных империях. В нем живет и эрос

страсти, и похоть вожделения, гордость своей мощью и боль унижения – весь тот болезненный комплекс, который на наших глазах привел Германию к явному безумию. Русский молодой национализм не принял еще клинических форм, но уже несет с собой огромные национальные опасности. И, прежде всего, он требует объяснения.

Откуда этот запоздалый взрыв национальных страстей? Россия создалась не со вчерашнего дня. Уже в XV веке она завершила свое национальное объединение, которому с тех пор никогда ничего не угрожало. Русское национальное чувство, подобно патриотизму старых европейских народов, было лишено горячечных симптомов. Уверенность в себе позволяла быть великодушным. Что же случилось? Случилось то, что Россия, существовавшая тысячелетие, была на нащих глазах заново открыта своей интеллигенцией и своим народом.

Трагический путь русской истории, сперва обративший в рабство народную массу, а потом поссоривший интеллигенцию с государством, привел к изоляции государства в последний век империи. Это и было, конечно, причиной ее катастрофы. В разгроме России интеллигенция снова ощутила свою кровную связь с нею. Боль за Россию, унижение за нее, гордость воспоминаний и надежд стали содержанием жизни всей эмиграции. Народ обрел свою Россию несколько позже, в самом процессе революции, оставшись на своей земле без дворян и чиновников, которые прежде несли на себе государство, но и заслоняли его от народа. В отличие от горькой любви эмигрантов, народная любовь к России сейчас исчерпывается сознанием ее мощи. Возвращая по капле народу национальную культуру, большевистская власть «обезвреживает» ее, очищая от всех слишком тонких и благородных элементов: от христианского и гуманистического наследия. Национализм сталинской России, через головы трех поколений интеллигенции, прямо возвращается к официальной идеологии Николая I. Новые Кукольники, Загоскины, Погодины и Шевыревы воспитывают народную душу. Гоголю и Лермонтову здесь не место. Своего консервативного Пушкина хотелось бы иметь, но не родит поэта земля, недра которой истощены культурой пошлости.

Само по себе возрождение национального чувства в России, так долго его лишенной, так долго обреченной жить отбросами

международной цивилизации, могло бы быть положительным явлением. Но пошлость, безбожие и бездушие монополистов государственной культуры отравили новое национальное чувство. В эмиграции оно с самого начала было отравлено сложным и унизительным комплексом ressentiments[1]. В той и другой форме оно противно лучшим русским традициям, оно запоздало на столетие и опасно для мира и для самой России.

Конечно, национальное чувство не изжито в мире и, вероятно, не будет изжито никогда. Но ныне на нем одном уже не может быть построено государство, а тем более система государств, политическое общение народов.

Европа вступила в такую полосу войн и катастроф, из которой нет иного выхода, кроме отказа от национальных интересов как верховного критерия политической жизни. Национальные интересы противоречивы, безмерны и неутолимы. Они возрастают, странным образом, параллельно падению духовного содержания национальной культуры. Со стороны всего виднее, как падают и нищают духовно те страны, где национальная мощь провозглашена верховным божеством: Германия, Италия. Одно из двух: или Европе удастся создать организованное сверхнациональное общение, или она не сможет жить. С этой точки зрения завтрашнего послевоенного дня, современный хаос великих и малых национальностей напоминает феодальную анархию конца средневековья в период создания национальных государств. Только теперь само национальное государство стало пережитком партикуляризма[2], своего рода удельным княжеством, отчаянно сопротивляющимся новому рождающемуся политическому строю: не безвольной Лиге Наций, а Союзу Народов, властно обуздывающему национальное хищничество и подчиняющему его общему порядку и общему благу.

С тех пор, как началась война, вожди великих демократий не перестают указывать на конечную ее цель: сделать невозможным повторение войны путем новой организации Европы. Но это и означает конец национальных суверенитетов, конец самодовлеющего, беспринципного национального государства.

Те, кто не смогут добровольно ограничить свой суверенитет, будут к тому вынуждены. Из творцов нового мира они будут низведены на роль объектов, если не жертв истории. Самое

большое, на что они могут надеяться — это оказаться настолько сильными, чтобы взорвать новый мир и погубить всех и себя самих под его развалинами.

Вот что грозит всем народам, великим и малым, которые вместо этизации и воспитания своего национального чувства, переживают его эротический угар.

Особенно опасен этот угар для государства-империи.

Мы все хорошо, даже слишком хорошо, усвоили один урок междувоенного (1918–1939) периода: трудность и даже невозможность самостоятельного существования малых государств. Принцип абсолютного национального самоопределения не оправдал себя. Но мы стали забывать о том, что доказала еще раньше великая война: невозможность существования насильственных империй. Не случайно Австрия и Турция исчезли как империи. Не случайно Россия получила такой тяжкий удар. Она потеряла свои западные окраины, сепаратизм многих ее народов вспыхнул с неожиданной силой. Это было и остается серьезным предупреждением. Ныне империи возможны лишь как союзы свободных народов. Быстро меняющееся лицо Англии служит тому другим, положительным доказательством. Как быстро спешит она обновиться и перестроиться из владычествующей колониальной державы в федерацию народов и стран! На наших глазах она отпустила на волю Ирландию, Египет, Ирак, Аравию, готовит освобождение Индии. Самоубийство, распад — злорадствуют в Германии и кое-где среди нас. Но давно Англия не была столь крепкой, как с тех пор, когда она начала раскрепощение своих народов. Только этот оправдавший себя внутренний опыт дает ей нравственное право и политическую уверенность переносить его на мировую арену и призывать народы Европы и Америки к борьбе за создание всемирной федерации.

Усвоит ли этот урок Россия в переустройстве своего собственного дома? От этого зависит самое ее существование. С двух сторон — не надо забывать это — создается угроза Российской империи или федерализации ее народов: со стороны воспаленных национализмом малых народов и со стороны слепого национализма великороссов. Не на традиции Николая I можно построить новый Российский Союз. С этими традициями можно лишь разрушить то, что от него еще осталось.

Русские эмигранты, лелея образ далекой, отнятой родины, легко становятся добычей шовинистической заразы. И не только в правом лагере, присвоившем себе монополию национализма, но и в левом, страдальчески вынесшем в себе образ новой, свободной и великой России. Одна неуловимая черта — и законное служение родине переходит в предательство ее призвания. Отталкиваясь от гитлеризма в Германии, не узнают его в России. Это соблазн всех народов в наши дни. Будем трезвы и внимательны к себе, чтобы в ослеплении патриотизма не нанести тягчайшей раны душе России. Она дороже всех ее временных интересов и политических границ.

Петр Великий

Можно ненавидеть Петра, но нельзя отрицать одного: его титанической силы. Для нас он прежде всего — явление мощи и силы, русской в самом отрыве от русских традиций, показавшей навсегда русскому человеку, к чему он призван, что он может, вопреки истории, вопреки всему. Мы, русские, всегда и справедливо сомневались в своей воле: оправдывая то славянством, то Востоком, то барством, то политическими условиями свою бездеятельность и лень. Петр был коренной московский человек, из болезненной, хилой династии, свое дело он совершил при ропоте и противодействии почти всего своего народа. Против него были огромные силы исторической косности. Круг сотрудников, воспитанных им, не блещет именами. «Он один в гору тянет, а под гору миллионы»[1]. Но, дело, созданное им, — новая Россия и новая русская культура — жило века. Оно оказалось прочнее империй Александра и Наполеона. Если мерить величие исторического деятеля величием и прочностью совершенного дела и трудностями, преодоленными им, то Петра мы назовем, без ложной гордости, величайшим государственным гением древней и новой истории.

Одни из современников считали его антихристом, другие, кощунствуя, называли богом. Еще у Пушкина мы видим сверхчеловеческое, почти демоническое существо: повелитель стихий, «добра строитель чудотворный»[2], Он — Медный Всадник. Загадка для современников, Петр продолжает быть загадочным для нас. Споры, поднявшиеся теперь вокруг его личности, о том свидетельствуют[3]. В наши дни поставлена под вопрос не толь-

ко личность Петра, но и его историческое дело. Революция расшатала созданную им Империю. Его Балт перестал быть русским морем. Окончился — нужно думать, навсегда — начатый им синодальный период русской церкви. В интеллигенции все крепнут анти-западнические настроения. Мы уже не понимаем его жадного влечения к Европе: мы хотим вновь утолить свою духовную жажду в засыпанных им ключах, бьющих из древней «святой» Руси. Мы сознаем, что начинается совершенно новый период русской истории, во многом отрицающий Петра. Но и отрицая Петра, будем справедливы к нему. Попытаемся отделить его добрый дар России от ядовитой и вредной шелухи. Быть может, для справедливого суда еще не настало время. Но этот суд необходимый акт русского самосознания. Обращаясь к Петру, мы всегда стоим перед Россией и ее будущим.

В деле Петра Великого мы всегда различаем: его государственное строительство и произведенный им переворот в русской культуре.

Как государственный деятель, Петр законный преемник московских царей. Здесь его титаническая воля подводит итоги многовековой работы Москвы. Для нашего поколения Петр представляется создателем Империи. Но неудержимое продвижение великорусского государства на Восток и на Запад обозначилось еще в XVI веке. Венчание на царство Грозного было уже символом Империи. В идее, царство (преемство византийских василевсов) было всегда сверхнациональным — вселенским. Титул императора ничего не прибавил к его содержанию, но, слегка секуляризовав его, приблизил к западно-европейским масштабам. Восточная империя Петра противостояла Западной (Австрийской) империи Карла VI. Самое направление петровской экспансии определено прошлым: вековая тяжба с Исламом и борьба за Балтийское море, за которое безуспешно бился Грозный. Решение последней задачи возвращало России старинные земли, новгородские, восстанавливало ее давно нарушенное равновесие. Московская Русь была по неволе, по нужде, ориентирована к Азии. Древняя Киевская и (после Новгородская) глядела на Запад и на Восток. В этом срединном положении мы и должны усматривать истинное призвание России. Его вернул нам Петр. Отныне Россия, ведя колонизацию Азии, остается членом европейской (христианской) семьи на-

родов. Ту историческую задачу, не удавшуюся его предкам (безуспешные войны со шведами), Петр решил, проявив, как мы знаем теперь, качества великого полководца. Но для решения хотя бы чисто военных задач ему понадобилась грандиозная государственная реформа.

Все государственное строительство Петра протекало под грохот шведской войны и было тесно с ней связано. Царь должен был максимально напрячь все силы страны, заставить работать, поставить на службу государству все сословия — в еще большей степени, чем это было в старой, тоже крепостной Москве. При Петре даже образование дворян стало государственной повинностью. В результате Россия XVIII века оказалась еще более крепостной и узко-дворянской, чем Русь XVII века. Это не могло входить в планы царя, всегда демократического в своих вкусах, в выборе сотрудников. То была логика жизни, цена, которой куплено державное положение России в мире, ее новые победоносные армии, государственная промышленность и флот. За новыми европейскими именами учреждений, новой табелью о рангах и т. п., основной социальный склад Московского государства изменился мало — точнее, еще более заострил свои характерные черты: всеобщей службы и «тягла»[4]. Вот почему историки социальной школы склонны подчеркивать традиционализм Петровской реформы. Ее революционность бросается в глаза, когда мы подходим к ней с точки зрения культуры, т. е. духа.

Петр резко и насильственно европеизировал Россию. В его отношении к старому московскому, веками сложенному быту, общественно-моральным понятиям старой Руси — нельзя не видеть подчас прямой ненависти. Для него была ненавистна старая Москва. Он резал бороды, стаскивал кафтаны, уничтожил патриаршество, убил сына. Пародируя церковь во всешутейшем соборе, он в личной жизни взял за образец быт голландских мещан, чувствовал себя Питером, а не царем Петром. Со времен Петра русское дворянство с поразительной легкостью порвало духовную связь с предками и начало новую культурную генеалогию: сперва от Версаля и Парижа, потом от Геттингена и Берлина.

Для многих и сейчас еще духовная история России, ее литература, искусство — начинаются с XVIII века. Завоевание прошлого, возвращение к исконным корням древнерусской жизни,

провозглашенное славянофилами, и поныне процесс трудный и мучительный.

Чего хотел Петр? Он был человеком дела, а не отвлеченной мысли, презирал идеологов не хуже Наполеона. Запад соблазнил его не своей духовной культурой. Он был равнодушен к философии, засыпал в театре, мало смыслил в искусстве. Его жадный, пытливый ум влекся к точному знанию, особенно прикладному. Изучивши полтора десятка ремесел, и некоторые из них до художественного совершенства, мастер Питер был прежде всего техником. В этом, заметим в скобках, его глубокое родство с нашей эпохой. Его личные вкусы совпали с запросом истории, Россия должна была усвоить технику Европы хотя бы для того, чтобы сражаться с ней. Для нее это был вопрос государственного существования. Политические трактаты Гроция[5] и Пуфендорфа[6] переводились попутно и случайно заодно с учебниками точных наук и «Прикладами, како пишут комплименты». Вся резкость борьбы со старым бытом протекала не из идеологического отрицания старой культуры, а из сознания — отчасти справедливого — огромной силы — косности, заложенной в нем, создавшей огромные препятствия даже для технических нововведений в установно-обрядовой основе жизни. К гражданской реформе Петра, как к церковной — Никона, Русь обратилась своим «старообрядческим» лицом. И Петр не убоялся не посчитаться с этим «святым» лицом.

Многое в жестокости этого разрыва (борьба с бытом) должно быть поставлено лично на счет Петра: темных воспоминаний его детства, увлечений немецкой слободой, капризов деспота. Гораздо важнее ответить на вопрос: могла ли Россия ограничиться в заимствованиях с Запада только технической культурой?

Техника не существует вне системы научного знания. Чистое естествознание, оплодотворяющее технику, связано с математикой, с философией. Культура древней Руси, богатая художеством, формами культа и быта, была совершенно лишена науки. Даже богословская мысль Греции осталась ей совершенно недоступна. Этот огромный, зияющий пробел должен был быть заполнен. Нужны были столетия, чтобы самостоятельно, на почве византийского православия, возрастить научную культуру. А жизнь не ждала. Пришлось пересаживать чужую мысль, даже тогда, когда она находилась в вопиющем противоречии с сер-

дцем. Петр не задумывался над этим. Но при его преемниках русское образованное общество с легким сердцем бросилось в школу — уже не Гроциев, а Вольтеров и Руссо. Произошел обвал религиозной культуры. Петр, не помышляя об этом, зачинает новую главу в истории русской культуры: секуляризации, ренессанса, гуманизма, западничества.

Последствия этого были неисчерпаемы. Народ — включая духовенство и купечество — оставшийся верным культуре XVII века, утратил нравственную связь с дворянством. Классовая пропасть в крепостной России углубилась с осуществлением двух совершенно различных культур. С одной стороны, — культура дворянства, позже интеллигенции — оторвавшаяся от связи с исторической, национальной жизнью, приобрела характер беспочвенности. Она стала беззащитна по отношению к западным влияниям. Быстрая смена увлечений чуждыми культурами выражалась постоянным разрывом между поколениями: отцами и детьми. Каждое поколение старалось разрушить все, созданное предыдущим. Накопление положительных национальных ценностей совершалось с великим трудом.

Особенно тяжка была по последствиям церковная реформа Петра. Она на столетия поставила церковь под чиновничью опеку государства и лишила ее почти всякого влияния на государственную и общественную жизнь. Национальное лицо православия было искажено надолго.

Признавая злые плоды петровского культурного раскола, нельзя не видеть и добрых плодов его. Петр разбудил дремлющую русскую мысль и расковал пленное русское слово. Воспитанная на уроках западной философии и стиля, Россия сначала «на Петра ответила Пушкиным»[7], потом на Шеллинга — православной философией славянофилов. По-видимому, России неизбежно было пройти путем национального самоотречения, искупая грех лености, чтобы опять вернуться к себе, осознать свое достояние, обогащенное всем опытом европейской мысли. Опыт познания «добра и зла» не прошел даром. Многое уродливое, темное, демоническое в нашем духовном росте объясняется этим подлогом нашего исторического пути.

Было это темное, демоническое начало и в самой личности Петра. И в этом он выражает нравственную двойственность русской души. Мы только должны остерегаться теперь грубой

размалевки. Способный поддаваться припадкам животного гнева, Петр не проявлял в жестокости болезненных извращений. Не был он и злопамятен: скор на милость и расправу. В разгуле он истощил свои силы, сгорев преждевременно. Но не был низким сластолюбцем, знал теплые человеческие чувства и умел внушать к себе верную любовь. Берясь за все, он не стал дилетантом. Стремился все изучить досконально, и не стыдился сознаваться в своем незнании. Его любовь к справедливости, его абсолютная честность перед собой, делали грозного царя не страшным для искренних его сотрудников. Он был даже по своему благочестив, молился, сознавал себя членом православной церкви; это не мешало ему подбирать угодливых и безнравственных иерархов в помощь своему государственному делу. Его кощунства не говорят о безбожии, в них он остается верным русскому народному характеру. И над всем этим доминирует одна черта, за которую ему многое простится: безграничной верности своему долгу, подчинения себя и всего своего народа государственному служению той России, которая выше Царя и народа, о которой он писал в приказе перед Полтавской битвой: «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы Россия во славе и благоденствии».

Приложения

[1910]

Есть общие места, хотя от этого [они] не перестали быть справедливыми: напр[имер], историк должен быть объективным. Обыкновенно это трактуют так. Историк должен исследовать, а не оценивать. Люди и явления, которые он изучает, должны быть теми же для него, чем материя является для натуралиста: местом приложения логической энергии, не больше — словом — объектом.

Но не правы ли отчасти и субъективисты, утверждая, что такое бесстрастие немыслимо по отношению к ценностям культуры, с которой историк сам связан неразрывными нитями? Не приведет ли псевдообъективизм к самообману и искажению действительных отношений? На самом деле мы видим, что объективизм историка сказывается ярче всего в предисловии. В развитие своей темы ученый обыкновенно понимает объективизм своеобразно. Он считает признаком самого дурного тона порицать или негодовать на своего героя или на продукты изучаемой им культуры. Сам он ставит своей задачей — вероятно, чтобы достигнуть лучшего понимания — все оправдать, все реабилитировать. Его принцип: все понять — значит все простить. Но, руководясь этими прекрасными правилами, он скоро убеждается, что невозможно «все простить»; что в том plaidoyer[1], которое он держит для своего клиента, спасение его чести может быть куплено только ценой осуждения противной стороны — то есть всех личностей или идейных течений или социальных форм, с которыми его герой вступил в более или менее острое столкновение. Спасти одного — значит, топить других. Августин[2] — высокая натура, а манихеи дрянь. То же са-

мое выходит и наоборот: манихейство — возвышенная система, а Августин ренегат и подлец. Смотря по специальности господина профессора, самое комическое в том, что сам оценщик не сознает, на каких весах он взвешивает, не сознает даже, что он взвешивает. Он убежден, что не выходит из пределов чистого описания. Его совесть спокойна, но можно ли на этом пути прийти к общеобязательным выводам? Мы видим, несмотря на маску объективизма, субъективизм царствует в науке — социальной науке — и тем самым разрушает ее научные основания. Нет спора, субъективизм должен быть сам разрушен.

Но как?

Быть может, все-таки в дисциплине воли, в воспитании к бесстрастию? Следовало бы прибавить: к бессмыслию. Субъект, совершенно лишенный способности эмоции или скажем эмоции высшего порядка (неразб.) — лишенный к тому же всякого интереса к идеям, то есть вполне незаинтересованный в оправдании какой-либо системы их, был бы вполне пригоден для историко-научной деятельности. Жаль только, что он был вполне непригоден к научной деятельности, да и вообще ко всякой деятельности в культурном обществе. Это духовное уродство, действительно, воспитывается в лабораториях исторических институтов; на этом пути специалисты ушли далеко, не до полной анестезии, правда, но, во всяком случае, до кастрации, выработали другой класс профессионалов, отличающихся от наших замаскированных субъективистов.

Этот класс с успехом составляет каталоги и энциклопедии. Но в выводах своей работы он всецело связан с данными субъективистов. Бесплодный, как все кастраты, он подбирает противоречивое, спутанное их наследство и просеивает его сквозь критическое сито. Его принцип: «Истина это то, с чем все согласны». Эти «все» — субъективисты. И после тщательной проверки в словаре получается строго объективная заметка: «Карл В[еликий] короновался в 766 г., и умер в 811 г.». Наука идет вперед «bis an die Sterne weit»[3] , и только скептики могут позволить себе сомневаться в самом существовании науки. Но, ведь, скептицизм неопровержим. В этом его философская привилегия.

Однако, будем серьезны. Представим еще раз логическое положение дела. В области духовной культуры — а я только о ней и говорю — наука касается ценностей, которые не могут быть

индифферентны для ее носителей. Чтобы понять их, нужно прежде всего понять, как определять ценности, то есть произвести оценку. Невозможно понять значение композитора, не обладая ни слухом, ни музыкальным развитием[4]. Все объективное — в смысле естественной объективности, — что связано с этим миром ценностей, есть внешнее, постороннее для них. Часто это может быть их симптомом, но не более. Филологи изучили только законы античного стихосложения, но лишь поэты открыли нам красоту древних.

Задача историка, правда, не в том, чтобы понять красоту, но объяснить ее — также, как объяснить уродство, как объяснить все. Но для этого он должен войти в круг господствующих здесь законов, уметь выделить главное от второстепенного, уловить связь, в которую — с необходимостью — вступают между собой отдельные образования в мире ценностей. Словом, он должен понять его структуру, прежде чем выяснить его генезис. Прежде всего он должен быть зрячим, а не закрывать глаза во имя «объективности». Иначе он будет лишен самого дорогого материала своего исследования. Поскольку субъективисты правы, то они должны возвыситься над односторонностью своих оценок. Это легко сказать. Но самая сущность оценки — в ее односторонности, исключительно. Понять и простить все — не значит ли это ничего не понять? Qui prouve trop, ne prouve rien[5].

Мы знаем один выход, который указала здесь не теория, а жизнь нашего времени. Современная культура создала тип людей, утонченно-богатых культурными переживания[ми], открытых ко всякой красоте и даже ко всякой истине (то есть полуистине), просвещенных и жадно ищущих в пыли истории еще неизведанных наслаждений. У них нет веры, нет догмата. В исключительности их нельзя упрекнуть. Они радуются всякому осколку отрытых сокровищ. Они легко меняют меру своих оценок, во всем умеют отыскать отблески ценностей. Они соединяют изощренность и нетребовательность с эстетическим оптимизмом. Франция дала нам целую школу блестящих историков-эпикурейцев. Упомяну хоть о Renaut[6], о Буасье[7]... Стоя у колыбели мировых противоречий, вглядываясь в жестокую борьбу, которая окрасила величием и кровью бледную смерть античного мира, они наслаждаются, эти утонченные зрители. Они на ступенях амфитеатра, где умирают гладиаторы, отяг-

ченные туманом тысячелетий. — В этой лирической мягкости красок, борьба теней является невыразимо привлекательной. Запах крови, запах навоза, грубые крики площадной толпы — не долетают сквозь магическую даль. Все является преображенным и прекрасным. И жест императора с зеленым изумрудом, и обнаженная женщина, поднявшая руки навстречу смерти. О, они не пристрастны, эти гастрономы. Они умеют одинаково любоваться палачом и жертвой. И когда они от своих художественных прозрений возвращаются к старым пергаментам, они приносят с собой ясную мудрость, способность все понять и вместе с нею запах легкого скептицизма. Они ничему не поверят на слово, не дадут одурачить себя словами фанатика. Они смягчают и примиряют все. Они великие ретушеры, великие мастера стирать краски. Мы уже чувствуем, в чем недостаток их объективизма. Во-первых, в слишком эстетической его окраске. Действительно, примирение непримиримых ценностей лучше всего удается на почве эстетики. Живое религиозное сознание не строит пантеонов, здоровое нравственное чувство не может с одинаковой любовностью дышать ароматом аскетизма и распутства. Итак, они эстеты и, рассматривая историю, как произведение искусства, они лишают ее значения реальности, они отнимают у нее серьезность и глубину ее процессов: точно все в ней происходит не взаправду, а на подмостках театра. Мало того, в эстетике они не могут быть реалистами, потому что видят все сквозь смягчающую, туманную среду. В этом, ведь, и состоит их условие примирения диссонансов. Если бы туман разошелся, они стали бы лицом к лицу с человеком, мучимым подлинным голодом, и подлинной страстью, и исключительностью его веры и его ненависти. Гармония исчезла бы, поэты должны были бы закрыть свои глаза от беспокойных, кричащих цветов или броситься в толпу, смешаться с нею, осудить себя на parti pris[8].

Мы видим: примирение покупается здесь ценою ирреальности и поверхности. Понимание жизни оказывается декоративным и неглубоким.

Не будем пока сходить с поля эстетики, но спросим себя: неужели гармония покупается всегда лишь ценой затушевки и бледности? Конечно, нет. Гармония может быть построена из самых глубоких контрастов. Это показывает настоящее трагическое искусство. Великий художник не боится заглядывать в омут.

Он безжалостно режет до костей человека, вскрывает все противоречия, живущие в его груди, чтобы привести их к последнему единству. Чем больше разнородных элементов участвует в синтезе, и чем непримиримее кажутся они, тем богаче, выше потрясающая и освобождающая мощь их синтеза. Почему этот путь должен быть закрыт для историка? Не как научный путь, а как необходимое, предварительное условие для его науки, как средство войти в мир ценностей культуры, ничего не отвергнув и нечего не испортив в нем? В самом деле, почему?

Конечно, легко ответить, что этот путь требует художественной гениальности, и смертные, которые ею обладают, не станут тратить своих сил в чуждой им научной области. Они призваны не изучать ценности, а создавать их. Но это все-таки лишь внешняя причина. Внутренняя, глубокая заключается в отличии научного и эстетического постулатов. Художник может творить свободно. Ученый должен творить истину. Истина — вне его, она навязывается ему со всей силой принудительной необходимости. А где же истина говорит то, что противоречия сливаются в мировой культуре, что их можно взвесить на одних весах ценностей. Я отрицаю это. Я нахожу, что мировая гармония напоминает шарманку доктора Фаустуса[9]. Разве вы можете мне доказать противное? А доказать это так легко: покажите мне историка, который с остротой и безжалостностью анализа связал бы проникновенное понимание ценностей, ведущее к их синтезу. Его нет.

Но — и здесь я подхожу к самому главному — кто вам сказал, что историк должен искать гармонию, синтеза ценностей? Это необходимо для художника, к[отор]ый сам создает ценности. Историк должен только открыть, понять их. И если они не укладываются в стройное целое, разве он виноват в этом. Виноват тот, кто завел шарманку, кто создал мир. Вопрос лишь в том, возможно ли остро и глубоко ощущать взаимно исключающие ценности? И я утверждаю, что это возможно. Нужно только вдуматься в то, что это означает. Это означает прежде всего повышенную восприимчивость к ценностям, и в тоже время беспомощность перед ними; ослабление личности, ее формующей, пластической энергии, сознание — есть чистое поле, где волки пожирают друг друга. Здесь нет хозяина, здесь хаос и уродство стихий, из них может быть создан мир культуры. Если обратите внимание на то, что это поле борьбы элементов

есть человеческая личность, нельзя не представить себе, что эта борьба для нас мучительна. Биологически она означает — болезнь. Система ценностей служит для ориентировки в жизненной борьбе. Где нет системы, там неспособность к жизни, безволие и растерянность. В нравственном мире эта растерянность означает собою имморализм. Не ту нравственную тупость, которая отлично уживается с душевным здоровьем, но равную восприимчивость к добру и злу, смесь возвышенности и порочности, где влечения — в диком злорадстве — сменяют друг друга. Быть может, этот тип людей не так редок, как думают: но изучать его приходится более в тюрьмах и сумасшедших домах, чем на высотах культурной жизни. А между тем, если история культуры должна стать когда-нибудь наукой, она не может обойтись без помощи сумасшедших и преступников.

Я говорю, конечно, о преступности «потенциальной». Если представить себе этот склад эмоциональной личности в оправе довольно крепкой логической способности, у нас все данные для характеристики культурного историка. Он все поймет, хотя ничего не простит. Его принцип «Odi et amo»[10]...

Он сумеет вскрыть глубоко каждое образование культуры там, где оно превращается в свою противоположность. Зло в добре и добро во зле бросаются ему в глаза без всякого напряжения воли, с каким морально здоровые люди оплатят даже слабые попытки к беспристрастию. Его беспристрастие будет одинаково далеко и от оптимистической фальши ретушеров и от тупой нечувствительности объективистов. И он найдет достаточно резкие краски, чтобы его образы не утратили значения реальности; острота его восприятия спасет его от схематизма, к[оторы]й любит обращать в шутку серьезные вещи. И, наконец, если его голова работает правильно, он не остановится на этом хаосе, но сделает его научным объектом в истинном смысле слова. Не примирит его, как художник, а изучит его, изучит его связность и общность, его повторяемость и индивидуальность, вот что поставит он своей задачей. В этой страсти и холодной красоте логической мысли, он найдет, быть может, примиряющее начало своей разнузданной, смятенной души, и произведенные ею труды дадут читателю не только чувство дионисийской оргии жизни, но и ее аполлонического преодоления в научном сознании.

О гении

Что нам делать, если мы хотим исследовать законы искусства? Не идти ли к художникам? — Но каким? — К великим художникам. Кто мне укажет их? Мое чувство? Но не заставит ли оно меня создать гениев mei gratia[1] — и эстетику для домашнего обихода? Не останутся ли для меня запечатанными ключи подлинной красоты просто потому, что я заплутаюсь в лесных дорогах? Спросить ли мне о пути? У людей, у прохожих или тех, что сторожат у входов? Да, конечно, с этого я и начал. Я шел туда, куда послали все. А все знают по наслышке от лесников. И я нашел те ключи, я пил из них, и удивительно было! Я нашел, что правы все: и толпа прохожих, и лесники и я. И удивительно еще было то, что наше взаимное согласие тут и оканчивается. Мы все черпаем из одних родников, но черпаем разное: как в Ауэрбаховом погребе[2]. Можно подумать, что наше общение в ценностях ограничивается признанием имени. Мы, издеваясь, пародируем заповедь, данную Израилю: скрижалей закона не понимаем и не печалимся от этого, а всем язычникам кричим имя Иеговы. Магическая власть имени связала нас.

Если спросить у каждого из людей, читает ли он только Гомера, Гете, Шекспира и Пушкина, он удивится странности этого предположения. Многие должны будут признаться, что они вовсе не читают тех писателей, которых сами считают самыми великими. Для многих они скучны. Но эти люди с «неразвитым вкусом». Их неразвитость выражается в том, что их вкусы находятся в противоречии с признанными ими принципами

оценок. Но и люди очень утонченные и искушенные не могут отказать в своей любви иным богам, которых они сами называют dii minores[3]. В их культе заметно лишь то различие, что младшие боги меняют свою власть над душами, иногда оскорбительно часто: чаще французских министров. Но это и есть единственное различие. Т. е. единственно бесспорный атрибут олимпийцев — вечность.

Единственный, ибо по могуществу чар и таинственному дару одержания, земные боги спорят с небесными. Если взвешивать мерой пролитых слез и ликований, и если мгновение напряженного восторга поставить выше размеренных — как осенний дождь — вечных капель теплой радости и тихой печали, — то есть силы могущественнее гения. Власть Байрона и Гейне бывала абсолютна, тиранична и приводила к цареубийству. Гомер и Пушкин царствуют подобно Эдуардам и Георгам, я чуть было не сказал — не управляют[4]. Это не правда. Но слово их не ведет никого на плаху и не сводит с ума от переполнившего меру восторга. Разумное, спокойное... и вечное.

Быть может, глубина всегда спокойна? Иегова — не в буре, а тихом шелесте незримого ветра. Трагедия гения есть оправдание трагедии. Нельзя быть гением, не сказав своего беззаветного «Да». Быть может.

Но, ведь, может быть и иначе. Может быть, это условие не гениальности, а только вечности? Не общезначимости, а общерациональности? Мы ничего не знаем о тайных силах гения. Нет знания, есть дерзость догадок. Попробуем мыслить себе двух гениев (мы не знаем, что это значит) и притом равноценных гениев (это мы понимаем еще меньше). Пусть один сказал свое «Да», а другой свое «Нет». Или один «Да», другой и «Да» и «Нет». Один «Да», другой ни «Да» ни «Нет». Мы не имеем ни малейшего права судить их и ставить вопрос: кто из них справедливее? Кто ближе к тайне мира? Быть может, есть в мире один Бог, быть может, Бог-Отец и Бог-Дьявол, может быть один Дьявол, а может быть (да, очень может быть!), что нет ни Бога ни Дьявола. И тяжба их адвокатов перед трибуналом ценностей безнадежна, ибо кто вправе судить их?

Их не судят, но выносят приговор. И приблизительно, по тем же мотивам, как и всякая юстиция: pro salute populi[5]. «Да» жизненно, «Да» дает здоровье и силу, «Да» дает неомраченное

счастье. Да здравствует. Да! Итак, два гипотетически-равноценных гения ведут неравный спор. Шпага одного отравлена – волею к жизни.

Но мало сказать «Да». Надо всему сказать «Да», если хочешь царствовать над всеми. Отсюда в гипотетическом построении гения не должна отсутствовать универсальность. Она чаще всего и отождествляется с гением. Когда мы проверяем на себе этот закон, от непрерывности пространственной значимости гения углубляясь в неизменность его во времени, мы видим: каждое лето нашей жизни открывало нам новые сокровища в, казалось, исчерпанных навек рудниках. Новыми глазами смотря на мир, мы видели новые алмазы в «великом» искусстве. М[ожет] б[ыть], мы утрачивали прежде найденные? Кто знает? Чувство обладания делает таким уверенным, что человек не замечает утраты. Особенно когда происходит подмена, и вместо драгоценного камня в его руках блестит стекло, которое называется привычкой, воспоминанием, имением. Неисчерпаемость кажется нам божественным свойством, а благодарность – религиозной добродетелью. Так рождается религия вечного гения.

Впрочем, нет. Точнее, она может рождаться там. Или еще точнее: она должна рождаться там, если у нее нет небесного отца. Этого мы не знаем. Знаем одно лишь: земная или небесная, призрачная или сущая, она должна рождаться. А что если есть иные гении, бесконечно глубокие и непримиримые, которые не хотят всего, ибо восхотели одного? Которые копали так глубоко, что адский огонь опалил им очи, и они отвыкли глядеть на красоту дня? Что если им удалось подслушать тайну, которая открывается безумным?

В юности мы любим Байрона. В старости читаем Евангелие. Но мир не принадлежит еще юности и уже не принадлежит старости, но пусть будет стыдно тому, кто роется в метрических книгах. Мы смотрим не назад, а вперед. Впрочем, если угодно, можно сказать и так: не происхождение, а значение определяет ценность. Ну, а тогда гедонизму уж решительно некого стыдиться. Ибо все ваши ценности он носит в себе, оправдывает и, может быть, освящает. Хочу все видеть, все знать, все пересоздать. Но почему тогда логика, этика и эстетика? А не оптика, акустика и т. д. до бесконечности в своем двойном подразделении: на эстетику (в греческом смысле) и практику?

«Пройти по всей земле горящими ступнями.
Все воспринять и снова воплотить...»[6]

В троичном понимании культуры слишком много предметного. До сих пор объект определяет чересчур многое. Для этики он мне кажется даже единственным основанием ее самостоятельного бытия.

Ну, хотя бы истина. С одной стороны, истина вовсе и не ценность, а полярная противоположность ценности: сущее и должное это все равно, что истинное и должное. Истина, как должность. Это первое. Второе: истина, как нравственный постулат: не лги. Это то же самое, что «не укради» (и с категорией истины не имеет ничего общего). Это не истина, а правдивость, т. е. откровенность. Третье: истина, как истина, как ценность, обосновывается в особом влечении, могущественном и наукотворческом. Но разве оно так просто и неразлагаемо? Один хочет копать песок, чтобы посмотреть, какие обломки лежат под ним, или сливает микстуры: не получится ли чего-нибудь новенького? Это жажда расширения чувственных элементов мира. Все видеть. Это материально-объективное влечение, которое создает для науки непреодолимую данность реального. Но элементы хотят быть оформлены. Их бесстрастность тревожит. Они ищут гармонии. Законы этой гармонии, в границах бессодержательной логики, не те же ли, что законы эстетической гармонии? Система идей не та же ли это симфония? Это охотно допускают о метафорическом творчестве. Философия — произведение искусства. Почему не науки вообще? Не потому ли только, что принудительная данность ее элементов в своей конкретности мешает последнему синтезу. Ученый похож на художника, который раздавлен под изобилием ненужных ему чувственных форм. Ученый — это художник, в котором рецептивная способность не покоряется синтетической до конца.

А художник? Но он-то и есть возлюбленный сын Эроса. Таинственные законы творчества все же без остатка сводятся к жадному проникновению и повелительному синтезу. В этом синтезе тайна, но все тайны синтеза утопают в тайне художественного синтеза.

Добро? Но если оно автономно, то все отличие его от искусства в его объекте. Святой — художник, себя творящий. Как только мы примем не личность, а ее длительность за объект

нравственного искусства, мы скользим уже по плоскости гетеромного, которая если и возвращает нас к системе влечений, то к самым подлым или слепым влечениям. Та категоричность императива, в которой думали видеть спецификацию нравственного закона, она присуща совершенно в той же мере влечению ученого, художника, всякому глубокому влечению. И не потому, что особый нравственный закон объективируется в отношении ученого и художника к своим жизненным целям. Он присущ самой природе Эроса, как притяжению к бесконечному совершенству. Натяжение лука в творческом устремлении к совершенству образует то напряженное, повелительное тяготение воли, которое именуется долгом.

Уж если искать отличий нравственного влечения, то их придется усмотреть в односторонней практичности их. В самом деле, это единственный (и в этом смысле чистый) импульс, который не заключает в себе рецептивности. Это чистое творчество, ибо самопознание мы не можем признать еще нравственным деянием. В истине и красоте познание и создание равно необходимы, и что отличает их, так это особое отношение к познанию, к принудительности его элементов, и к той обработке, в которой они являются для синтеза: как отвлеченные понятия и как живые символы.

Сколько же ценностей? По-прежнему, три? Не бесконечно ли больше, если мы оценим бесконечности рождающих их влечений и бесконечные возможности синтеза. И не одна ли, если во всех мы увидим под разными масками, в разных одеждах, по разным дорогам идущего Эроса, в грозе рожденного и жаждущего очищения, не знающего исхода, всегда восходящего по горным тропинкам. Куда? Не знаю.

* * *

Меня беспокоит триархия в мире ценностей. Я все думаю о происхождении и смысле этого института. И мне все больше и больше кажется, что у него один исторический и культурный raison d'être[7].

Три грации считалось в древнем мире. Я знаю власть трех. Это высшая симметрия, совершенный покой, преодоление раздвоенности. Один полагает, два разделяют, три создают мир, то есть единство во множестве. Это первое достигнутое единство, оно и высшее: ибо лишено частей. Его построение из элементов абсолютно просто — как хоровод, как вечный круг. Треугольник магичен, ибо вечность объемлющего его круга, он стягивает, заостряя в пучки стрел. Его лучи пронзают током пространство, рассекая волны всепобеждающим острием своим. Не довольно ли?

И еще: когда Троица, наскучив своей раздельностью, замыслит возвращение в отчизну, иная Троица приемлет ее в свое лоно. Когда культура возжаждет своей символичности, настанет час великого слияния. Отец — истина, Сын — красота, Дух — добро. Или так: Отец добро — Сын истина, или... Впрочем, Троица ждет еще своего Августина.

И еще третье: Издавна, в до-кантовском каменном веке философии, во всех немецких университетах метафизика являлась в троичном лучеиспускании логики, этики и эстетики. Сколько учебников написано. Не пропадать же им зря? Это интерес экономический, расчет огромный. И зачем ломать отцовский дом, когда, может быть, придется ночевать на улице?

Из этого следует, как глубоко я был неправ, когда легкомысленно согласился на трех граций.

Что нужно сделать, чтобы оградить троицу от вторжения четвертого и пятого? Объявить их жизненными ценностями, т. е. проходящими. А для того, чтобы помешать растворению трех? Указать на ученого, художника и святого, как на три профессии, которые от века находятся между собой в ожесточенной конкуренции.

А все-таки послушаем одного из проходимцев.

Что Вы можете?

Beati omnes esse volumus[8].

А, гедонизм! И Вам не стыдно показываться в люди. После Канта!

Простите, я к тому, что прежде, бывало, господа меня очень ценили. Вот и <неразб.> у меня остался, как воспоминание о хорошем обществе. Бывало, думали, что во мне, так сказать, залог божества.

А бессмертие, как заработная плата.

Да, нет же, нет.

Прощайте.

Что он хотел сказать? Не то ли, что неразумная, неутомимая жажда блаженства ставит его в противоречие с «эксцессными» ценностями. Что она метафизична по своей природе. Неспособна насытить себя в мире, она преодолевает его, и шутя и улетая, создает истину, добро и красоту, только чтобы бросить взгляд на них и исчезнуть... И все уж мы не можем следить за ней взором, и только плащ пророка в наших руках хранит воспоминание об огненной буре. А был человек... Сотворен из сгустка крови, а мать его называлась Скудостью. А сам он не то Жадность, не то Эрос. Был богом, объявлен животным. Впрочем эгоист, Бог с ним!

И все-таки если копаться в темных вопросах происхождения, то кому не придется краснеть? Красота? Но она не сестра ли вожделению? Вместо того, чтобы есть сырое мясо, дикарь поджаривает его на угольках, а культура подаст его на стол с картофелью. Разве это не эстетика вкуса? Разноцветные ткани сменяют грубую холстину. Что это, красота? М[ожет] б[ыть], и не красота еще. Но она возрастет, поумнеет. Вы ее и не узнаете. Но красота никогда не сведется к обычному наслаждению.

* * *

А наслаждение? Разве оно не сведется к страданию. Cum flatus dulcis est hominibus?[9] И кто скажет, что счастье и что мука?

Послушайте разговор сплетниц за утренним кофе. Вы поразитесь, сколько в нем любознательности, неутомимых попыток ума. Здесь вся наука бы пасс со всеми своими утонченными методами. Раскопать римский форум и раскопать тайны соседского дома — одинаково сложно, и в логическом отношении (т. е. именно в концепции «истины») эквивалентно.

А добро? Пойдем воровать яблоки. По шеям накладут. Закон Моисея. Должен человек жаться к ближнему. Мы что овцы. Холодно одному и скучно. Закон Христа. Хочу быть всех сильнее. Хочу быть самым первым силачом во всей Еремеевке. Закон Ницше. Т. е. не закон это, а маленькое зернышко, подобное горчичному. Когда вырастет большим деревом и птицы прилетят и укроются в ветвях его.

* * *

Природа, которая тысячью уст открывается перед нами — в цветах и звуках, в боли и наслаждении — пожелала явить нам свое последнее, полное откровение. Как странно, что человечество его не поняло! Вернее, утратило свое первоначальное ясное понимание. Как можно думать, что любовь — один из роскошных цветов его, когда это сама жизнь дерева, его жизненный сок, его тайная душа? Любовь это «все», в начальном и конечном единстве, любовь это природа, созерцаемая изнутри нас. Природой мы называем это таинственное «все», как объективное, как мир научного познания. Любовь — субъективное переживание в нас самих. Не называем ли мы его также и Богом, когда хотим в этом субъективном запечатлеть смутно чаемую объективность его жизни? Тогда Бог ни что иное, как синтез природы и любви, которые одно. Deus sive natura sive Amor.[1]

Есть два пути убедиться в тождестве того, что мы называем природой и любовью. Во-первых, это единственный инстинкт, который не сохраняет, не украшает жизнь, а творит ее. Разрывать всякую связь между чувством и материальным процессом внутри нас — мы не смеем. Это значило бы запутаться в бесконечном дуализме. Если нас не прельщают туманные об-

ещания окказионализма[2] и предустановленной гармонии, нам остается только поверить, что между любовью и рождением лежит глубокая внутренняя связь. Вот почему не будет слишком смелым предположить любовь везде, где мы угадываем рождение, творчество, новую жизнь. И если наука разрушила иллюзию абсолютного рождения и в творчестве увидела только трансформацию энергии, не в праве ли и мы видеть любовь во всех движениях энергетических волн? Впрочем, это очень старая истина. Древние прекрасно понимали, что Эрос движет звездами.

Попытаемся теперь распознать любовь. Не определить ее, ибо определения немыслимы для простых элементов чувственного опыта. Объясните Зигфриду[3], что такое страх. Он поймет его лишь тогда, когда сам испытает. Если нет, напрасны реалистически-точные описания Миме[4]. Они не научат его даже отличать страх от любви. Но распознать, то есть уметь отличать любовь пережитую от пережитых же чувств страха, ненависти, – попробуем сделать это. Боже, как это трудно. Не благость ли это? Любовь – сострадание, amor – caritas? Дай мне поцеловать глаза твои, милая. Усни на моей груди, беспокойная. Не алчность ли это ненасытная, что говоришь ты, Платон? Сын скудости и обилия твой Эрос, вечно жаждущий. Дай твои губы, чтобы утолить мою жажду, чтобы, утолив, зажечь новый огонь, не знающий утоления. Зигфрид, что такое любовь? Это страх. Мое сердце бьется тревожно, и я едва смею взглянуть тебе в глаза. Твой голос заставляет меня дрожать. Кто сказал, что любовь и ненависть полярны. Ты, Эмпедокл, подошел к порогу истины, но можешь ли ты отличить любовь от ненависти? Вот я вижу любовника, который открыл красный родник на белой груди и целует его окровавленными, как у тигра, губами. Глупые девочки скажут: это не любовь, а чувственность. Глупые старики скажут: это психическая болезнь. Но мы-то знаем, что высшее в любви – это смерть. Старцы и девочки боятся грозы и прячут голову в подушки, но мы-то благословляем молнии и подставляем им свою грудь. Ударь меня! Сожги меня! Это молитва юношей. Что же такое любовь, когда в ней живут пышность и жадность, жестокость и страх. А разве нет в ней молитвы? Нет тихой печали? Нет шумной радости, минувших песен? Мать любит свое дитя. Пьяница – свое вино. Художник – свое

* * *

создание. Гражданин — родину. Человек — Бога. Любовник, истинный любовник любит все. Любовь это одно бесконечное «Да» жизни, восторг ее, приятие ее без выбора, без разделения. Все люблю, все благословляю. Благословляю небо и землю, Бога и дьявола, бурю и ясность, брата-зверя и нежного ангела. Кто это? Франциск Ассизский[5] или Уитман[6]? Поймите же, что любовь не вносит в жизнь новых начал, не зажигает новых светильников. Но тусклую свечу жизни человека она раздувает в яркое пламя, а то основное, что мы чувствуем в ней, не что иное, как чувство горения, скорости, Бога. Не так же ли действует и опьянение? Ведь, это процесс быстрого сгорания. Вместить разлитые капли благовоний, вместить разлившиеся годы жизни в одно мгновение, в одну каплю эссенции, в одну искру, вспыхнувшую во мраке... Пусть чувство жизни поднимается на недостигнутую еще высоту, чтобы от пламенеющего костра своего зажечь новую, таинственно тлеющую жизнь... Любовь, как и природа, стоит вне добра и зла. Она выводит человека из человеческого, роднит его с богами и сатирами, с землей и небом. В бесконечности, исполненной столкновениями ослепительных миров, в буре рождений и смерти, где солнце — атомы и души — эфир, кто укажет здесь грань, поставит верх и низ, великое и малое? Здесь место только трепету трезвых и откровенному соединению пьяных любовью.

Великий художник это тот, кто вечно любит. Он живет великим восторгом перед природой и ничего не отвергает. Он знает страстный зной полдневных объятий Зверя, когда земля дает трещины, и одни пресмыкающиеся находят силы любить — в ярости и самоистреблении. Он знает вечную печаль распятых вечером, их грусть о вечном отшествии и вечных возвращениях, когда раскрываются глаза влюбленных детей, видящих за дверями смерть. Он знает скрытое сладострастие ночи, этот томящий звук натянутой струны, песню цикад, муки зачатия в хаосе, и любовный трепет звезд в холодной бездне черных пространств. Он знает влажную свежесть рассвета, ясные глаза, доверчиво улыбающиеся другу после блаженной ночи, омытые тела, готовые к труду, освященные любовью, песню пахаря на заре. Зерна жизни, брошенные в черное лоно земли. Он все знает: Толстой и Леонардо да Винчи. Вот почему они благословляют сладострастие насекомых и любовь ангелов.

Что такое религия, как не попытка закрепить навеки достигнутое однажды откровение любви? Религия, как и любовь – это связь, приобщение к целому, подъем и горение, расторжение проклятия – обособленности, одиночества, собирание себя из рассеянных частей, расплавление на костре мирового огня. Но как слабы, робки попытки религии, если сравнить их с живым горением любви. Благо им, если они, по крайней мере, ясно сознали свое родство и свое призвание, если они поклонились Эросу в природе, веселому и кровавому богу, повелевшему чтить его жертвами всесожжения и вожделением ночного ложа. Горе им, если они подняли руку, чтобы связать всепобеждающего бога. Мы имели несчастие родиться среди людей, которые поклоняются вечерней любви, умирающему закату, тишине распятой плоти, знаменующей вечную смерть. «Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов», – сказал Христос. Он мог бы прибавить: «Я пришел погребать живых». Все историческое христианство это любовь заживо погребенного. И как же отомстил за себя полуденный Эрос своему вечернему брату! Погасили солнце, но забыли о сладострастии ночи. Ночь отомстила кровью и кострами. Христианство, кормящее своего бога человеческими жертвами, восстановило, казалось, нарушенное равновесие. Полно, так ли? Единый Бог разорван на части, и нет им слияния. Благость и зверство ищут сочетаться в Эросе, но не узнают в своих личинах великого Лика, отталкиваются и проклинают друг друга. Найдут ли они его когда-нибудь? Кто знает? Но в своем одиноком скитании, в своем проклятии враги сохранили, как залог утраченного единства, одно слово, оскверненное, почерневшее от лжи истолкований, но полное тайной власти над людьми: Бог есть любовь.

Deus sive Amor.

* * *

Я никогда не любил вас, боги!
Для меня отвратительны греки
И римляне мне ненавистны.
Но священная жалость и дрожь состраданья
Пронзает сердце,
Когда я теперь — вон там — вас вижу
Забытые боги,
Мертвые тени ночные,
Слабый туман, развеваемый ветром. –
И когда я подумаю, как трусливы,
Как жалки боги, вас победившие,
Новые, мрачно царящие боги,
Злорадство в овечьей шкуре смиренья –
О, я чувствую мрачный гнев,
Хочу разрушить новые храмы,
За вас бороться, древние боги,
За ваше блаженное, славное право,
И пред восставшими вновь алтарями
Священным, жертвенным дымом овитыми,
Хотел бы я сам преклониться с мольбою,
Молитвенно руки воздевши.

Пускай вы также, древние боги,
Всегда держались в битвах людей
На той стороне, где победа,
Великодушнее вас человек,
И в битве богов я теперь
Стою за богов побежденных.

* * *

Т. Ю. Д.

Бессмертные щедро тебя одарили
В тот миг, когда парка взяла твою нить,
Одно только жаль: позабыли
Лишь душу вложить.
Но самый счастливый из всех из подарков
Бесспорно есть дар слепоты.
Скорее расплачется Марков,
Чем ты.

(из Гейне)

* * *

Бороться с Богом смеет лишь титан,
Красив лик дьявола безумием печали
Горит душа огнем неисчислимых ран,
И леденит тоска, как сердце холод стали.

Тоскуя о тебе, глядя на этот мир,
Где бес иной свою свершает литургию...
Голодный, мелкий бес, прожорливый вампир,
Стараясь похотью прогнать неврастению.

Он любит кровь под острием ногтя
И лижет землю в корчах сладострастья...
Трусливо бегает, заслышав свист бичей,
И ржет, напакостив, от счастья.

Русская культура

Национальная культура есть синтез разнообразных влияний.

Невозможно найти формулу, покрывающую своеобразие характера и культуры народа. Но это своеобразие несомненный факт. Всякая национальная культура есть единство, которое не может быть смешано ни с каким иным. Правда, это единство не замкнутое и не неподвижное, но раскрывающееся в многообразии и в развитии. Множество влияний перерабатывается в том тигле, которым является сильный национальный организм. И не один, а несколько типов образуют, в своем взаимодействии, это сверхличное единство. Поэтому противоречивые суждения иностранцев о национальном характере народа оказываются обыкновенно одинаково верными и одинаково односторонними.

Под каким влиянием складывался характер русского народа и его национальной культуры? Влияния эти многообразны. Оценка их, к сожалению, субъективна. Но многие факторы действовали, бесспорно, в одном направлении, и оставленные ими следы в национальном характере вполне очевидны. Сделаем попытку разобраться во множестве этих факторов, начиная с наиболее общих и длительных и вместе с тем более примитивных.

Расовое славяно-финское и тюрко-татарское влияние на русскую культуру.

Раса – наименее устойчивый и наименее определенный элемент русской культуры. Русская народность сложилась из смешения нескольких расовых типов, преимущественно славянско-

го и финского. Расширяясь на юг и восток, эта великорусская (славяно-финская) народность вобрала в себя много тюркских и других этнических элементов. Этот процесс ассимиляции различных рас в единстве русской культуры продолжается доселе. Способность русской народности к этническим скрещениям поразительна; влияние расовых предрассудков и сопротивление «крови» минимально. Тем не менее, русский тип даже в физическом смысле слова не есть пустое слово, хотя в создании его психические факторы, может быть, преобладают («выражение глаз»). Если позволительно подвергнуть этническому анализу русский словарь, то сильнее всего в нем ощущается противоположность славянского и монголо-тюркского элементов, тогда как финское влияние не поддается определению. Славянское и тюркское (татарское) противополагаются, скорее всего, как «легкое» и «тяжелое» в психической структуре. Славянству русский народ, может быть, обязан своей музыкальностью; татарам скрытой силой темных страстей, которые время от времени вырываются наружу. Женственной мягкости и лиризму, которые присутствуют в русской душе, как ее славянское наследство, противостоит меланхолическая тяжесть, склонность к тоске и разгулу. Кротость и жестокость парадоксально уживаются в русской душе.

Влияние природы и климата.

Переходя от расы к природе страны, к ее пейзажу, мы встречаемся с той же сложностью и разнообразием. Русский народ в своей истории не раз менял свою родину, каждый раз освежая на новом месте свою кровь. Киевско-Новгородская Русь, преимущественно славянская, населила страну, не отличающуюся от Европы, по крайней мере, от Восточной Европы. Умеренный климат и разнообразие пейзажа характеризуют западную Россию, древний очаг русской народности. На финском северо-востоке Русь, ставшая Великороссией, очутилась в полосе первобытных лесов. Веками она боролось с суровостью лесного севера, вырывая у леса полосы пашни. Хотя лесное уединение наложило отпечаток на религиозный характер русского народа — через посредство пустынников, но с лесом русский человек не сжился. При первой возможности — с XV-XVI в. он устремился на юг и восток, в свободные степи. Степ-

ной простор сильнее всего определил характер современной России. Бескрайность, безграничность пространства, легкость передвижения, отсутствие межей естественно воспитывали любовь к «воле», в смысле отсутствия внутренней дисциплины и самоограничения; неспособность удовлетвориться законченными формулами, метафизическую тоску по бесконечному. Все это основные черты русской культуры новейшего времени. Однако не нужно забывать, что за степным пейзажем, глубоко в истории, лежит и продолжает поныне влиять на русскую душу северный и западный пейзаж, из которых один, лесной, более воспитывает сосредоточенность и внутреннюю дисциплину, другой — гармоническое равновесие сил и способностей, сближающее русского человека с западным европейцем.

Влияние русской истории и уклада хозяйственной жизни.

Хозяйственная жизнь народа, быть может, сильнее природы и крови определяет его психический мир. В этом отношении история русского хозяйства представляет парадоксальное явление. Русское средневековье знало богатый расцвет торговой и городской жизни, типом которой был Новгород, с его самобытной государственностью. Но в московские столетия (с XVI века) земледелие становится главным и определяющим промыслом русского народа. Промышленно-торговый север уступает место степным землевладельческим окраинам. За эти века окончательно закрепляется тип русского крестьянина, тот «народный» тип, который сильнее всего окрашивает тип национальный. Для русского самосознания классовый и сословный характер крестьянства уже утратил свой смысл. Крестьянство для него — народ, народ по преимуществу, чистый народ как носитель народности. В русском героическом эпосе, в сказке и пословице, во всей народной литературе и фольклоре крестьянский труд считается самым почетным и богоугодным. Крестьянин торжествует над богатырем в былине о Микуле-Селяниновиче. В XIX веке русская литература и школа воспринимают этот крестьянский этический идеал. Он означает, прежде всего, глубокую связанность человека с матерью-землей, сыновнюю покорность ей, жизнь в согласии с ее законами. Трудовой год подчиняется целиком смене времен года. Огромное

напряжение труда в летние месяцы сменяется вынужденной праздностью в течение долгой зимы: так складывается характер русского человека, способного на единовременное героическое усилие, но не на регулярный постоянный труд. При отсутствии агрономической школы русское земледелие воспитывает труженика в духе иррационализма. Он живет в зависимости от неподвластных его воле стихий: дождя и засухи, града и снега. Его урожай зависит только от воли Божией. Это поддерживает в нем глубокую религиозность, но одновременно сообщает этой религиозности характер пассивности.

Влияние общинного землевладения.

Каково бы ни было происхождение русской крестьянской общины, но несомненно, что в последние столетия она определяла социальную этику народа. Общинный быт в народной психологии отложился на еще крепкие остатки семейно-родового строя, который живет в России в в патронимических именах, в родственных общениях (отец, брат, дядя, дед) к посторонним или даже незнакомым лицам, в необыкновенном развитии терминологии степеней родства. Жизнь «миром», коллективом, уравнительный идеал владения, слабое развитие частной собственности на землю, во всяком случае, психологии на ней построенной, недоверие к письменному закону и жизнь по обычному праву, растворение личности в коллективе – таковы черты крестьянского быта, властно определявшие и национальный характер, и идеалы русской культуры.

Влияние социального и политического строя Московского государства.

Социальный и политический строй, как он сложился в России с XVI столетия, был, конечно, одним из влиятельных факторов русской культуры и воспитателем русской души. Это влияние и это воспитание были во многих отношениях роковыми. В течение четырех столетий непрерывного роста царства, а потом империи, в жертву военно-государственной необходимости приносились свобода и самоуправление всех сословий. На исходе средних веков был создан новый помещичье-служилый класс, для его обеспечения крестьянство прикреплено к земле и, теряя все личные права, превратилось к XVIII веку в рабов,

почти ничем не защищенных от произвола господина. Но и все остальные сословия в Москве были закреплены на службе государству, освобождаясь от этого принудительного служения лишь постепенно с конца XVIII и в XIX веках. Государству была подчинена и Церковь, ранее стоявшая над государством. Со времени петровских реформ для управления страной поставлена огромная бюрократическая машина, продолжавшая развиваться и в XIX веке. Московская централизация не оставила ничего от самоуправления былых княжеств и вольных городов. Попытки организации нового самоуправления сословий были нерешительны и неудачны. В результате власть приняла восточно-деспотический характер, смягчаемый в Москве патриархально-религиозной идеей, в Петербурге влиянием западной гуманности. Для народа царь был святыней, представителем Бога на земле. Государство и право существовали лишь в силу царской воли, т. е. не имели самостоятельного значения. Патриархальному деспотизму власти соответствовал анархизм народной души. Терпение народа и покорность его казались неистощимыми. Но он покорялся не понимая. Он служил царю, но не государству. Презирая законы и всех исполнителей царской воли, считал их вредным средостением. Государство строилось на костях и на теле народа, но не вырастало из его сознания. Когда по временам истощалось терпение народа, его бунт бывал «бессмыслен и беспощаден». Он не ставил своей целью ни новое право, ни новую организацию власти. Он лишь давал исход накопившемуся гневу.

Государственный строй империи таким образом способствовал развитию пассивных добродетелей народа: терпения, служения, самоотвержения и подрывал активную жизнедеятельность. Личная инициатива и ответственность, борьба за право и справедливость, развитие свободной личности не находили себе почвы, сильные характеры истреблялись в процессе социального отбора. Отсюда культ пассивных добродетелей или, наоборот, культ бунта у русской интеллигенции. Абсолютная покорность или ничем не связанная воля. Внутренний анархизм или внешнее рабство. Русская культура в XIX веке дала апологетов самодержавия (славянофилы, Достоевский) и основателей всемирного анархизма (Бакунин). Но чувство и идеал права остаются чуждыми русскому человеку.

Комбинация всех указанных влияний.

Сопоставляя совместные влияния расы, природы, хозяйства и социально-политических условий, мы легко видим, что за последние четыре столетия эти влияния действовали в одном направлении, усиливая друг друга и создавая русский характер — такой, каким мы его видим, по крайней мере, при первом соприкосновении с его культурой. Действительно, примесь тюркской крови, природа степей, иррациональное хозяйство на земле, рабство и самодержавие сообщают русскому человеку и его культуре типично-восточный характер, резко отличающий его от западного мира. Параллелизм этих влияний, конечно, не случаен. Самый характер монголо-татарской расы сложился в обстановке степной жизни, русская государственность в московский период развивалась не без влияния татарских образцов, хотя и в постоянной борьбе со степью. Но, признав все это, мы еще не сказали последнего слова о русской душе и русской культуре. Как ни могущественны факторы, действовавшие в течение четырех веков, они не могли уничтожить следов противоположных сил, действовавших до них, гораздо дольше их, и отчасти продолжающих действовать и до сих пор. Лес и культурный пейзаж, славянская раса, свободный вечевой и федеральный строй (1000–1500 гг.) создавали иной тип русского человека — тот, который мы знаем по русским летописям: деятельный и отважный, свободный и предприимчивый, тип витязя, купца и путешественника, тип, который живет и поныне. За последние столетия Запад своим влиянием поддержал этот исконный русский свободный тип. Петербург был построен Петром у Балтийских берегов почти там же, где стоит и древний Новгород. Петербург был прямым преемником Великого Новгорода, и хотя государство-империя в основной своей социальной линии продолжало традиции Москвы, но в либеральных реформах (Екатерина II, Александр I, Александр II), а главное — в устремлениях новой интеллигенции, явно отказывалось от заветов Москвы, и через Париж и Лондон бессознательно для себя возвращалось на свободную почву Киева и Новгорода.

Об этих скрытых, но исконно древних потенциях свободы нельзя забывать при оценке ориентальных черт русской культуры.

Влияние православной религии.

Отметив все существенные факторы природного и социального порядка, воздействовавшие на русскую культуру, обращаемся к тому, что должно играть главную роль в объяснении явлений духовной культуры. Не впадая в материалистическое выведение духовной «надстройки» из материального «базиса», более честно и естественно искать для духовных последствий духовных же причин. Для духовного склада русского народа и его культуры таким могущественным фактором была его религия.

Религия лежит в основе всякой культуры, во всяком случае, на первых этапах ее развития. Русский народ до середины XIX века сохранял нетронутым религиозный строй своей души: в своем быту и миросозерцании крестьянская Россия до железных дорог жила в средних веках. Но и великая русская литература XIX века, за редкими исключениями, сохраняла христианский характер, по крайней мере, в этическом своем пафосе. Таким образом, если русский народ не имеет привилегии на особую религиозную предопределенность, то, во всяком случае, религия определяла глубоко и долго, дольше, чем для других европейских народов, его судьбу. К тому же в течение семи веков религия и духовная культура, подобно западному средневековью, были для него нераздельны.

Основным событием, определившим на заре истории судьбу русского народа, более того, создавшим самое национальное единство Руси из хаоса варварских племен восточной Европы, было принятие христианства из Византии. В этом событии лежит ключ к пониманию и родства, и глубокого отличия России от Запада. Россия принадлежит вместе с Западом к общей семье христианских народов, вскормленных на почве древней греко-римской культуры. Но ее матерью была собственно христианская Греция. Рим остался для нее чуждым. В этом отчасти источник русского духовного своеобразия.

Культурная формула Византии – это ориентализированный эллинизм. Но Рим был тоже формой эллинизма, лишь в социально-правовом творчестве сумевшей обогатить греческое наследие. Византия, которая вобрала в себя римское **право (кодекс** Юстиниана[1]), обнаружила огромную восприимчивость по отношению к Востоку. Продолжая, но лишь более резко, тен-

денции эллинизма, она переливает свое государство, свой быт, свое искусство в восточные формы. Однако, сердце Византии остается верно Греции: язык, литература, наука, даже многое в ее религиозной стихии — теология, иконопочитание, литургика — продолжают греческую традицию.

Вступив в византийскую традицию, восточное славянство, будущая Россия, приобщилось к наследию эллинистической цивилизации с возможностями расширения и на Запад, и на Восток. Оттого в новейший период ее естественной и легкой для России оказалась западная школа, но и легко для нее и восприятие восточного мира. Оттого Древняя Греция для культурной России является подлинной прародиной. В ней она находит свое историческое место между Западом и Востоком. Связанная с Западом и Востоком Россия представляет особый культурный мир, продолжающий историческую судьбу погибшей Византии.

Когда Русь вступила в общение с христианской Грецией (крещение 989 г.), Византия была в расцвете своих культурных сил. Западная Европа еще не вышла из состояния варварства, последовавшего за падением Римской империи. Она сама готова была учиться у Византии, которая оставалась культурным центром христианского мира до эпохи крестовых походов. Казалось, русское славянство имело в лице Византии особо благоприятную школу и условия для своего культурного развития. Тем поразительнее является несомненный факт, что она не сумела воспользоваться этой школой.

В сравнительно высокой культуре древней Руси отсутствовал элемент научного творчества. Древняя Русь не была страной варварства. Ее искусство, ее иконопись и зодчество могли соперничать и с искусством Византии, и с романо-готическим искусством Запада. Но в цивилизации ее был глубокий пробел: полное отсутствие рациональной — и даже шире — словесной культуры. Никаких следов науки, философии, даже богословия. Вся древнерусская литература имеет практически-утилитарный или исторический характер. Как объяснить — не варварство, а диспропорцию древней русской культуры, которая, в конце концов, сделала неизбежным культурный переворот Петра? Дело тут совсем не в отсталости по сравнению с Западом, ибо и на Руси не было сделано даже первых шагов, соответствующих самым темным временам средневековья (VI–VIII столетиям). Сравнение

с этапами культурного роста Западной Европы помогает уяснить источник трагического иррационализма России. Запад долгие века сидел на ученической скамье, с тяжелым трудом усваивая в монастырской школе элементы латинской культуры. Латинская Библия и месса необходимо вели его к латинской грамматике и Вергилию. Для ирландских и англо-саксонских монахов античная культура была лишь путем к пониманию священной книги. Но пришло время, когда для латинской элиты проблемы культуры – философии, научного знания – приобрели независимую ценность. Этот момент (XI век) был началом головокружительного роста европейской культуры.

Не отдаленность от классической почвы была источником «отсталости» России: Ирландия и Скандинавия стояли дальше ее от культурных центров Римской империи. Но славянские племена получили литургию и Библию в переводе (св. Кирилл и Мефодий, IX век) и не почувствовали нужды в первоисточнике. В Болгарии и Киеве (XI в.) было переведено немало греческих книг, но лишь таких, которые непосредственно удовлетворяли церковные нужды: проповеди, жития святых, основы веры. С этим скудным запасом Русь продолжает жить веками, мало пополняя его. Знание греческого языка на Руси было редкостью, несмотря на частые сношения с Византией и на греческих митрополитов в Киеве. Наличный запас книг удовлетворял единственной потребности: спасению души. Древняя Русь не была враждебна ни знанию, ни книге. Напротив, она высоко ценила книжное знание в силу его религиозного содержания. Почти все писания для нее были «божественны». Но она не любопытствовала обращаться к греческим библиотекам и тем более не искала за «божественным» человеческого. Это определило вплоть до нашего времени практический и антирациональный характер русской религиозности. На Руси церковь не была научной школой, и в новые столетия проснувшиеся искания, интеллектуальные запросы не в ней нашли себе удовлетворение.

Влияние Византии на характер русского монашества. Его созерцательность в отличие от социальной активности монашества западного.

Но, если Византия не могла передать Руси своего философского умозрения, она сообщила ей основные черты сво-

ей религиозности. Как ни грубы обычные сопоставления Востока с Западом, они содержат некоторое зерно истины. Эта истина заключается в отрешенности и созерцательности Востока и в меньшей социальной активности его. Восточное монашество не ставило себе активных задач в миру, уходя из мира для аскезы и созерцания. Церковь почти не пыталась воздействовать на государство Византии и социальный быт, сакрально освящая его и ограничивая свою моральную задачу христианизацией душ. Эти черты мы видим и в современной Русской Церкви и в современной православной религиозности. Но парадоксальным образом торжество религиозного византинизма на Руси относится к XVI веку, к эпохе, последовавшей за падением Византии, когда политические условия в России сделали возможным здесь византийский идеал государства. В домосковский период России ее религиозность отклонялась от византийской по линии приближения к западной, никогда, впрочем, не сливаясь с ней. Это соответствовало и социальному строю древней Руси, более напоминавшему западный феодализм, чем византийскую автократию. Социальная активность характеризует Русскую Церковь в древний период: проповедь мирянам, воспитание не только личных, но и политических нравов, обличение князей, помощь бедным — все это сближает древнее русское христианство с западным средневековьем.

Две линии русской религиозности: мистическое и практически-ритуальное.

Но есть одна черта, специфически русская, которая проходит красной нитью сквозь всю русскую религиозность и окрашивает значительно и современную русскую культуру. Эта черта может быть названа «кенотическим» пониманием христианства. Она состоит в стремлении следовать за Христом в Его унижении и страданиях. Положительной стороной славянской Библии была доступность Евангелия для народа. Евангельский образ Христа, бедняка и страдальца, в отличие от Византии и задолго до св. Франциска на Западе, овладел сознанием русского народа. Уже сыновья Владимира, Борис и Глеб, убитые своим братом, канонизированы русским народом, который чтил в них вольное, жертвенное страдание. Уже основатель первого русского монастыря в Киеве св. Феодосий носит «худые

ризы» (убогую одежду) и радуется унижению. Его образ может быть признан фамильным портретом едва ли не всех русских святых. С XIV–XV веков этот кенотический тип принимает характер «юродства» (holy foolishness). Самым популярным святым последнего московского столетия был человек, который брал на себя подвиг притворного сумасшествия. Бедность, простота, унижение, страдание — вот основной тип русского святого, который мы узнаем в истории русской интеллигенции.

Впрочем, этот тип не был единственным. Рядом с ним всегда существовал иной: ритуалистический и практический. Этот тип религиозности был прочно связан с хозяйством, со стремлением к известному уровню достатка, допускающему благотворительность, с идеалом порядка, строгости и обрядовой красоты, проникавшей как всю домашнюю жизнь, так и церковное богослужение. Если «кенотическая» русская святость напоминает всего больше католическое францисканство, то второй тип, практический, скорее приближается к англо-саксонскому пуританству, но осложненному литургическим ритуализмом. До последнего времени эти два типа жили вместе в русском народе. Зажиточное крестьянство, купечество и духовенство представляли эту хозяйственную, практическую религиозность, которую можно назвать «иосифлянской» (от св. Иосифа Волоцкого). Но то же крестьянство всегда поставляло из своей массы странников, паломников, «юродивых», носителей «кенотического» христианства.

Победа ритуальной линии над мистической в официальном православии.

Победа иосифлянского типа в официальной церкви XVI–XVII веков обусловила торжество ритуализма, упадок мистических течений и, в конце концов, засыхание религиозной жизни. В соединении с культурной отсталостью Москвы этот общий склероз ее духовной жизни сделал необходимым прививку западной культуры в таких дозах, которые оказались почти смертельными для самобытной культуры Руси. Весь XVII век прошел в поисках необходимых культурных элементов для этой прививки. Искали их у православных греков, у православных малороссов, учившихся в польской католической школе, переводили многое с латинского, из католической литературы средневековья, которая сама была на Западе давно анахронизмом.

Но попытки приложить новые познания к реформе Церкви, преимущественно литургической, вызвала такой отпор консервативного национализма, который увлек в раскол миллионы самых крепких, морально стойких русских людей. Раскол стал для масс, в него вовлеченных, началом непрекращающегося религиозного брожения. Начались поиски правильной иерархии и истинной веры. Раскол дробился на секты, и вместе с ним в религиозную жизнь русского народа проникало первоначально чуждое ему начало беспоповства, «богоискательства», скитальчества. И православные, т. е. оставшиеся в господствующей церкви массы, были охвачены частично этим же настроением.

Западноевропейская культура, привитая России Петром Великим.

Православная Москва не приняла реформы. Оставалась революция, которую произвел царь Петр, привив России не средневековое, а современное, не церковное, а светское, научно-техническое знание. Вся новейшая история русской культуры рождается из этой культурной революции Петра.

С Петром рождается, прежде всего, русская интеллигенция. Впервые создается сравнительно обширный класс людей, которые призваны служить государству не оружием и не хозяйственным трудом, а своими знаниями, приобретенными в западной школе. А таков характер новой интеллигенции XVIII века: она служилая и западническая. В течение всего XVIII века и в начале XIX века и западная литература (в стиле «Просвещения»), и русская империя были для русской интеллигенции предметом энтузиазма. Легкость и естественность усвоения ею западной культуры доказывает природную открытость русско-византийской культуры для западных, как и для восточных влияний. Но так как между византийским средневековьем, затянувшимся в России до самого Петра, и «Просвещением» Вольтера и Руссо была пропасть, то легкость усвоения западной культуры покупалась ценой отрыва от народа и его традиций. Задолго до русских революционеров этот отрыв был совершен монархией и дворянством, окружавшим петровский трон. Гонение на московский костюм, обычаи, даже религиозный быт отмечает начало XVIII века. Даже Церковь на полтора столетия вынуждена была пойти в католическую и протестантскую выучку.

Отрыв интеллигенции от народа.

Западничество в разных течениях оставалось господствующим направлением русской интеллигенции до самой революции. По мере распространения школьной цивилизации в массах миллионы «разночинцев», а с конца XIX века рабочих и крестьян, усваивали элементы рационалистической западной мысли и порывали с религией и национальной традицией. «Беспочвенность», т. е. отрыв от национальных традиций, характерна не для одних революционных групп интеллигенции. Либералы и консерваторы, правившие Россией, поскольку они проходили немецкую или английскую государственную школу, оказывались роковым образом вне русской традиции. Русские министры в XIX и XX веков могли сознательно поддерживать и охранять эту традицию. Внутренне, за немногими исключениями (славянофилы), она была им чужда.

Эта жизнь в двух планах, эта раздвоенность между политической родиной — Россией и духовной родиной — Западом, сама по себе была трагедией. По мере проникновения западной культуры в массы, т. е. углубления этой раздвоенности до самого дна народной жизни, она неминуемо должна была стать источником катастрофы.

Пока носителем западничества была дворянская интеллигенция, уровень ее культуры, знание иностранных языков и тесное общение с западным миром спасали ее от разложения. Западные идеалы, западная мораль, хотя и лишенные тех традиционных корней, на которых они выросли на Западе, просто замещали старые русские основы жизни. Но когда культура охватила широкие слои разночинцев, положение было иное. Новые пришельцы могли лишь поверхностно прикоснуться к западной цивилизации. Они усваивали некоторые из ее «последних слов», но не понимали и не любили ее веками сложившегося строя. Они оказались в расщелине между двумя берегами пропасти. Западной культуры хватало ровно настолько, чтобы оторваться от России, возненавидеть ее быт и веру. Но заместить образовавшуюся пустоту было нечем. Так рождается в середине XIX века нигилизм, столь характерный для новой русской интеллигенции.

«Нигилизм» русской интеллигенции и его истоки.

Нигилизм никогда не существовал в России как определенная партия или направление. Но он был духовной почвой, на которой выросло революционное движение интеллигенции. Отрицания нигилизма распространялись с одинаковой силой на политический и социальный строй самодержавной России и буржуазно-демократической Европы, на семейный быт и христианскую этику, даже на культуру как таковую, на научные и художественные идеалы жизни. Но это отрицание не имело скептически-гедонистического характера нигилизма европейского (Анатоль Франс). Отрицание принимало формы мрачной, фанатической веры, за которую готовы были идти на страдания, борьбу, на смерть. В нигилизме впервые вскрылся религиозный корень русского интеллигентского миросозерцания, отсутствующий у либеральных западников. Достоевский не без основания говорил о религиозности русского атеизма.

Для понимания нигилизма недостаточно приведенного выше указания на раздвоенность в конфликте двух непримиримых культур, которая в иной среде могла бы рождать легкий и чистый скептицизм. Среда, из которой выходили нигилисты, была насыщена живой и глубокой религиозностью, которая, будучи убиваема в своих догматах новым безрелигиозным просвещением, сохранялась в своей эмоциональной психологии, несмотря на демонизм своего отрицания. В самом деле, сплошь и рядом мы видим, что нигилисты выходят из духовной школы, принадлежа к наследственному духовенству. Духовная школа XIX века ни в коем случае не могла удовлетворить запросы ума, разбуженного новым просвещением. Ее быт, моральная сторона воспитания были ужасны. В темном быте духовной школы и слабости духовного просвещения сказалась старая бескультурность русского православия, его отрыв от философской культуры Византии. Элементы западной схоластики не могли заполнить тысячелетней пустоты. Самый характер русской религиозности включал уже в себя презрение к интеллектуальным элементам культуры, высокомерное отношение к культуре вообще, как сфере поверхностного и половинчатого. Религиозные потребности русской души были максималистичны. Истина, которой она жаждала, была целостная истина. Ни наука,

ни мораль, ни искусство не могли заменить этой полноты. Вот почему отрицание религии немедленно переходило в отрицание культуры. Самый максимализм отрицания свидетельствовал о религиозном исходном моменте драмы.

Религия отрицания и разрушения.

Этот максимализм характеризует все направления русской религиозной мысли. Борьба с самодержавием за свободу была лишь начальным толчком. Уже с 50-х годов прошлого века социализм (а вскоре анархизм) становится главным революционным направлением, и притом социализм интегральный, понимаемый как целостное преображение всей жизни, как осуществление земного рая. В сущности, политики–то было всего меньше у утопистов русской революции. В этих кругах больше всего презирали либералов, конституционалистов и постепеновцев, которые ставили конкретные и осуществимые политические цели.

Максимализм целей был связан с жертвенным героизмом борьбы. История революционной борьбы в России есть страница из истории мученичества. Значение и авторитет политического деятеля расценивались пропорционально готовности отречься от всего: от семьи, от собственности, от культуры — для «дела». Тюрьма, ссылка, эшафот были этапами карьеры, получая свой внутренний смысл и оправдание. Именно в глубинах нигилистического отрицания («кенозисе») вспыхивает всего ярче жертвенная религиозность русской души.

Христианский дух в социалистическом народничестве, вдохновлявшемся материалистической философией.

Почти все революционные течения в России отмечены печатью «народничества». Народничество есть не только демократизм в европейском смысле слова. Это особенное романтическое отношение к народу, как носителю высшей правды и мудрости. Для революционера народ, в смысле крестьянства, прирожденный носитель социализма. Марксисты заменили крестьянство пролетариатом, но сохранили свое коленопреклоненное отношение к массам. Морально-практическое приложение народничества заключалось в слиянии с народом, в общей с ним жизни. Отсюда путь «опрощения», отказ от культуры для встречи с на-

родом. Юноши и девушки из «общества» переодеваются крестьянами, идут в деревню, чтобы нести тяжелый физический труд, проповедуя народу социализм. Опрощение не только метод политической пропаганды. Многие из опростившихся дворян не вели никакой пропаганды. Самый яркий пример — Толстой и его последователи. Народничество, в действительности, шире всякого политического направления. В России существовало народничество правое, консервативное и народничество совершенно аполитическое. Народничество может быть понято только этически: это было покаяние перед народом за грехи отцов-крепостников, жажда служения меньшому брату и вместе с тем самоуничижение перед ним. Все эти элементы вытекают из русской кенотической религиозности с ее юродством смирения и подражанием уничижению Христа. Замечательно, что кульминационный пункт народничества, 70-е годы, совпадает с ростом внимания и любви к образу евангельского Иисуса в русской живописи и русской поэзии. Художники и поэты были чаще всего люди неверующие. Но этически они пленились образом вольного уничижения и жертвы Христовой.

Славянофильство, наиболее других течений русской мысли связанное с национальной культурой, разложилось от соприкосновения с реакцией.

Сравнительно с этой огненной силой потенциальной религиозности, раскрывшейся в народничестве и революционной интеллигенции, исповедовавшей, вообще говоря, западнические идеалы, религиозность славянофилов имеет гораздо более теплый характер. Славянофилы, исходя из предпосылок немецкого романтизма (Шеллинга), возвращались к религиозным основам русской жизни. Но они были связаны с исторической Церковью и с исторической национальной властью (самодержавием). Поэтому уже во втором поколении их идеализм принял консервативный характер. Это было частичное возрождение в кругах высшего общества того «иосифлянства», которое в свое время жило в народе: религии быта, обряда, социального долга. Но разлагающие процессы русской жизни шли таким быстрым темпом, что консервативное славянофильство теряло почву под ногами: уже народное иосифлянство выветривалось с каждым десятилетием.

Большевизм лишь случайно получил отзвук в смутном религиозном запросе русского народа.

Было бы очень соблазнительно выводить русскую революцию и большевизм непосредственно из максималистической и народнической стихии русской интеллигенции. В действительности, это было бы страшным искажением перспективы, к сожалению, обычно допускаемом на Западе. Все эти крипторелигиозные течения русской революционной интеллигенции были разбиты еще в революции 1905–06 годов, и большевизм добивал их остатки. Действительно, старое народничество скрывалось в партиях социалистов-революционеров и меньшевиков, потерпевших жестокое поражение в 1917 году. Большевизм – явление еще большего духовного распада интеллигенции и в то же время форма революционной активности действительно пролетарских слоев народа – повторяет нигилизм 60-х годов. Чуждый совершенно кенотических, жертвенных и вообще этических идеалов, он лишь в своем максимализме и жажде радикального преображения мира соответствует смутным религиозным запросам русского народа.

Церковь

Паралич Русской Церкви перед революцией.

Для русских сторонников старого строя, как и для большинства иностранных наблюдателей в XIX веке, Православная Церковь представлялась необычайно твердым монолитом, на котором покоилось все здание русского государства. На простоте и крепости народной веры спекулировали политики в обороне империи от надвигающейся революции. Поэтому быстрое падение народной религиозности за последнее перед революцией поколение и атеистический характер самой революции для многих был неожиданностью. Чтобы понять причины этого надлома Церкви в начале XX века, определившего народную революцию, нужно вглядеться пристальнее в церковную жизнь двух столетий Империи, различить сложные процессы, происходившие в ней за неподвижным и пышным византийским фасадом.

Достоевскому принадлежат слова, что Русская Церковь находится в параличе со времен Петра Великого. Паралич — состояние живого, но обреченного на неподвижность тела; внешняя бездейственность при полном внутреннем сознании. Таковою, действительно, представляется Русская Церковь императорского периода.

Православная Церковь никогда не знала реформации в западном смысле слова. Она гордится более чем тысячелетней древностью своего строя, своей литургики, своих канонов. Но, тем не менее, и для Русской Церкви эпоха Петра I (1682–1725) — точнее вся вторая половина XVII века и начало XVIII — были эпохой реформы и даже крутой ломки. Ломались не догматы, не сакраментальные основы Церкви. Изменялся (исправлялся)

обряд и вместе с тем совершенно перестраивалась вся система отношений Церкви к государству.

Русская Церковь в Древней Руси.

Чтобы понять значение петровской реформы, нужно отдать себе отчет в том, что представляла собой Церковь в древней Руси (X–XVII ст.). Русь приняла христианство из Греции. Это событие приурочивается к году крещения киевского князя Владимира (988). Русская Церковь предоставляла сколок с византийской в своей доктрине, литургике, литературе. Иерархически она находилась в подчинении патриарху Константинопольскому до середины XV в., и глава ее, митрополит Киевский, ставился в Греции. Вместе с Византией она отделилась от западной (Римской) Церкви в XI веке (1054) и, подпавши под иго монголов (XIII–XV в.), жила в полной изоляции от западного христианства. В XV в. она приобрела независимость («автокефалию») от Греции, и глава Русской Церкви, теперь уже митрополит Московский (с 1689 года – патриарх), ставился в России собором русских епископов.

Черты сходства Русской Церкви XV века с западноевропейской периода средневековья.

В первые пять веков существования Русской Церкви Ее социальное значение во многом напоминает западную Церковь раннего средневековья. Главные носители культуры в стране, епископы, стояли над разделенным на множество княжеств феодальным государством, вносили начала правды и мира в княжеские междоусобицы и пользовались высоким авторитетом и в политической жизни. В кругу чисто церковных дел и лиц они искали широкие права суда и управления — иммунитет, соответствующий западным юридическим формам. Расцвет Русской Церкви, Ее духовной высоты и Ее искусства относится к XIV–XV столетиям. Конец XV-го – уже начало новой эры.

Начало зависимости Церкви от государства намечается в конце XV века.

Московский великий князь, объединивший под своей властью всю северо-восточную Русь, занял по отношению к Церкви несравненно более влиятельное положение, чем князья

удельные древних веков. Со времен завоевания Византии турками (1453), на Руси стали слагаться теории о Москве как о «Третьем Риме», и московском государе, как преемнике византийских императоров[1]. Царский титул, принятый Иваном Грозным (1547 г.), знаменует торжество византийских начал в отношениях государства к Церкви. В Московской теократии XVI–XVII вв., как некогда в византийской, государство брало на себя церковное служение, распространение и защиту веры, но подчиняло иерархию царской власти, которая считалась священной. Отныне царь через посредство собора ставит митрополитов и патриархов и смещает их. Все внешние церковные дела получают его санкцию или даже вызываются его инициативой. Патриарх по-прежнему первый советник царя, и собор епископов высказывается вместе с другими сословиями, и прежде них, о важнейших делах государства. Но верховная власть и в Церкви и в государстве принадлежит самодержцу.

С этого времени начинается ослабление социального и политического влияния Русской Церкви. Попытка митрополита Филиппа обличить ужасы террора Ивана Грозного кончилась убийством иерарха. Церковь мало по малу отвыкла напоминать монархам о их христианском долге. Сотрудничая с государством, занимая самое почетное положение в нем, она должна была ему подчиняться. Потеря ее независимости и отчасти морального авторитета перед государством, таким образом, начинается задолго до Петра.

С другой стороны, московские столетия (XVI–XVII) были эпохой торжества национализма в Русской Церкви. Мистические и свободные течения столь сильные в XV веке, заглушаются насильственно. Гордая своим православием, Русская Церковь замыкается в своей национальной исключительности, отрезая себя добровольно и от Запада и от Греции. В эпоху Возрождения на Западе она живет культурными запасами, выработанными в Киеве XI века и соответствующими на Западе самым ранним (VI–VII) столетиям христианского средневековья[2].

Старая Русская Церковь была мало затронута богословской наукой.

Было бы несправедливо называть древнюю Русь страной варварства. Он имела великое и оригинальное церковное

искусство — иконопись и архитектуру[3]. Она знала подлинную нравственную культуру личности и общества, воспитанных в христианстве. Но в этой культуре был огромный пробел: полное отсутствие рациональной научной мысли. Древняя Русь не знала ничего, похожего на науку, даже теоретического богословия. Ее литература была или исторической, или назидательно-публицистической. Получив церковные книги в готовых славянских переводах (через болгар), Древняя Русь не имела религиозных поводов для изучения греческого языка и оказалась оторванной от наследия классической древности. Круг ее переводной литературы был узок и обусловлен практическими религиозными потребностями. Вся сфера чистого разума оказалась для нее закрытой.

Обновление Церкви и церковный раскол.

Это, в условиях татарского владычества, было одной из причин отсталости России от Запада, которая обнаружилась с XVI века, со времени усиления политических и торговых сношений между Россией и Европой. Ее отсталость была такова, что грозила ей в будущем судьбой европейской колонии. С самого начала XVII века лучшие русские люди уже ориентировались на западное просвещение, искали там — преимущественно в католической Польше — пополнения своих скудных научных запасов. Но это просветительное течение развивалось крайне медленно. Оно встретилось со склерозом широких слоев русского общества, не желавшего и слышать о культурных реформах. Попытка исправления церковного обряда в соответствии с греческой церковной традицией вызвала раскол в Русской Церкви, известный под именем старообрядчества. Вопрос об обрядах был частью общего вопроса о реформе. Дело обновления Церкви, начатое патриархом Никоном[4] в церковно-греческом духе, закончил император Петр — в духе светского просветительства, которое господствовало на Западе к началу XVIII века.

Церковная реформа Петра Великого.

Реформа Петра имела двоякое влияние на положение Церкви в России — прямое и косвенное, причем последнее было даже значительнее первого. Европеизация России, задуманная в технически государственных целях, не могла не открыть две-

рей всей духовной культуре Запада. Россия из средневековья, в котором она зажилась до конца XVII века, — и притом средневековья византийски-восточного, должна была перепрыгнуть в века Просвещения, век Пуффендорфа, Лейбница, Вольтера и Руссо. Это не могло не привести к полной ломке всех старых морально-религиозных традиций в том классе общества, который воспринял культурное содержание реформы. Огромные массы народа, все крестьянство, купечество и духовенство, остались в старом быте и старой допетровской культуре. Над ними поднялось дворянство, бюрократия и вышедшая из них интеллигенция, порвавшая с прошлым и начавшая жить европейским кругом идей. В духовном расколе России, который начинается с Петра, Церковь сохранила свое влияние преимущественно на низшие слои народа и вместе с ними опустилась в своем социальном значении.

Прямым образом реформа Петра задела Церковь в радикальной перестройке ее отношений к государству. Из старомосковской теократии Церковь перешла в тот государственный порядок, который Запад выработал в эпоху абсолютизма (XVII–XVIII веках). Государство именовало себя христианским, видело в защите Церкви и веры одну из прерогатив монархии, но подчиняло Церковь, как и все отрасли жизни, государственному интересу. Этот интерес мог пониматься по-разному: узко-династически и полицейски, или широко-национально по консервативному или по либеральному, но преобладание светских интересов над духовными и использование веры в интересах светской политики — составляют главные черты того строя, в котором жила Русская Церковь последние два века своего существования.

Святейший Синод и его обер-прокурор.

Петр I не без основания видел в духовенстве главного противника своих реформ, и в патриархе опасного соперника верховной власти. Его идеалом было то подчиненное положение Церкви в государстве, которое он видел в протестантской Европе и в Англии. Государство было для него целым, а Церковь частью, несшей специальное служение тому же целому. Уничтожив патриаршество, император заменил его коллегиальным органом, Святейшим Синодом (1721 г.), построенным по типу светских коллегий — министерств того времени. Синод состоял

из духовных лиц — позднее, одних епископов, назначавшихся верховной властью. Этого мало, в состав Синода был введен, в качестве «ока государства», светский чиновник, обер-прокурор, который должен был отстаивать интересы государства в этой коллегии. Такое неслыханное на Востоке и неканоническое устройство Русской Церкви было, однако, санкционировано восточными патриархами, признавшими Синод своим «братом». Русский епископат, запуганный грозным императором, подчинился без слишком громкого ропота. Но сознание неканоничности синодального строя никогда не умирало среди некоторой части епископата.

Окончательная бюрократизация Церкви.

Функции обер-прокурора расширились в XIX веке. Из наблюдателя и контролера он сделался главным лицом коллегии, потом ее почти полновластным хозяином. В то же время в государстве он занимал положение министра церковных дел, и в конституционную эпоху (после 1905 г.) входил в Совет министров.

Внизу, в епархиальном управлении, чиновники епископы (его «консистории») были подчинены обер-прокурору и отчасти назначались им. Таким образом, светский церковный аппарат охватил все церковное тело своим кольцом. Приходское духовенство было в полной зависимости от епископа и его консистории. Епископат, назначавшийся и увольнявшийся верховной властью, зависел от Синода и его могущественного обер-прокурора. В самодержавном государстве только личное влияние на лицо государя могло парализовать это бюрократическое государственное давление.

Император не носил титула «главы Церкви» (только Павел I и кодификатор русских законов Сперанский[5] употребляли этот, не привившийся в России термин). Но по существу, он был главой Церкви, не в мистическом, а в административном смысле слова. Он сохранил за собой не только защиту Церкви, но и блюдение за чистотой веры, что в эпоху абсолютизма выражалось в организации весьма строгой духовной цензуры и в преследовании сектантов и еретиков. Для церковного сознания помазанный монарх был лицом священным, повиновение которому было религиозным долгом, и отношение к которому

не изменилось с византийских и московских времен. Изменилась и отмерла лишь свобода церковного голоса перед лицом монарха. При Петре и его первых преемниках епископат приучали к новым порядкам тюрьмой, ссылками и даже казнями оппозиции. Еще при Екатерине II епископ Арсений Мацеевич[6], за легальный протест через Синод против секуляризации церковных имуществ поплатился пожизненным заточением в крепости. В последние годы царствования не было уже надобности в подобных мерах. Слишком независимые епископы переводились в бедные, глухие епархии или удалялись «на покой». В середине XIX века Филарет[7], митрополит Московский, виднейший представитель русского богословия и человек больших административных дарований, жил «не у дел», не приглашаясь в сессии Синода. При Александре III и Николае II обер-прокурор Победоносцев[8] управлял делами Церкви совершенно неограниченно, благодаря своему влиянию при дворе.

Утрата Русской Церковью своей независимости по отношению к государству, в степени не известной ни в прошлом России, ни в истории христианской Церкви вообще, есть первый факт, с которым нужно считаться при учете влияния Церкви на русское общество и русский народ.

Социальное положение духовенства.

Второй факт, из которого нужно исходить, — это социальное положение русского духовенства. Женатое, как вообще в Восточной Церкви, за исключением епископата, русское духовенство в последние века превратилось в наследственное сословие. Эта наследственность была следствием не канонических предписаний, а общих социальных тенденций московского государства, приведших к наследственности всех профессий и прикреплению их к государственной службе. Священнические места в приходах, особенно сельских, переходили от отца к сыну или от тестя к зятю. Сословность духовенства много содействовала выработке профессиональных качеств, но подчиняла момент религиозного призвания вопросу о хлебе насущном и обособляло духовенство, как класс, и от дворянских верхов и от крестьянских низов.

Дворянство смотрело на духовенство свысока, как на сословие близкое к тем, кого в XVIII веке называли «подлыми». Оно прези-

рало его за действительную или мнимую некультурность, сажало его за столом среди своих служащих. В XVIII веке духовенство подвергалось телесным наказаниям, от которых было освобождено дворянство. Насилие, даже физическое, со стороны властей или помещиков, над сельским «попом» не было редкостью.

Экономическое положение духовенства.

С другой стороны, деревенский батюшка или «поп» не жил и общей жизнью с крестьянством, не был популярен и в своем селе. Это объясняется в значительной мере экономическим положением духовенства и источниками его доходов. В XVIII веке государство, начиная с Петра I и кончая Екатериной II, систематически экспроприировало доходы некогда огромных церковных имуществ. При Екатерине в 1764 году почти все церковные земли были отобраны в казну, и государство обязывалось содержать Церковь и монастыри из своего бюджета. В действительности, оно вернуло Церкви, в виде штатов, едва 1/3 конфискованных средств. Положение духовенства в XVIII веке было прямо нищенское. Оно улучшилось в XIX веке, когда государство увеличило свои взносы на церковные учреждения; остались также и даже возросли некоторые земельные фонды духовенства. Но и то и другое было недостаточно. Главным источником церковных доходов оставалась плата за требы, деньгами или натурой, которая взималась тут же в Церкви, или во время обходов деревни священником по большим праздникам. Плата за требы была тягостна для бедного крестьянина, а, главное, оскорбительна в применении к святыне: это была узаконенная симония, т. е. продажа молитв и священнодействий. Русское духовенство, многодетное, брошенное в жестокую борьбу за существование, выработало в себе те инстинкты стяжания, которые сделали фигуру «попа» комическим персонажем народных сказок. Народ упрекает его в жадности, не желая принимать во внимание смягчающих обстоятельств.

Тяжесть служебной иерархии духовенства.

Бедственное положение городского священника углублялось пропастью, которая отделяла его от епископа с епархиальной правящей консистории. Эта пропасть отчасти соответствовала той, которая существовала между высшим и низшим духовен-

ством во Франции перед революцией. Правда, русский «архиерей» редко выходил из рядов дворянства, зато он непременно был монахом, и это проводило резкую моральную грань между ним и женатым духовенством. С самого начала русской истории епископ занимал в Церкви и государстве правящее, почти княжеское положение. XVIII век, лишив его политического влияния, оставил его вельможное положение. Епископ ездил в золоченой карете, должен окружать себя пышностью и делать приемы. В XIX веке его быт стал скромнее, но он оставался по-прежнему почти недоступным «владыкой» для низшего клира. До середины XIX века у него было нечто вроде тюрьмы для провинившихся священников. Судьба каждого из них была всецело в его руках. При встрече с ним они еще недавно должны были кланяться ему в ноги. Это воспитывало в низшем духовенстве недоброе чувство к своим пастырям, и вместе с тем понижало их, и без того слабое, чувство собственного достоинства. Вся жизнь слагалась так, чтобы подорвать возможность влияния священника, как в образованном обществе, так и в народной среде.

Культурный уровень духовенства и характер получаемого им образования.

Можно ли видеть одну из причин слабости этого влияния в невежестве духовенства? Об этом невежестве много писали и говорили, но не совсем справедливо. В конце XIX – начале XX века духовенство в России по своему культурному уровню бесконечно превышало крестьянский народ. Конечно, средний уровень культурности духовенства отставал от культурности светского интеллигентного общества, но культура интеллигенции и духовенства настолько разошлись в разные стороны, что возможность общего языка была почти утрачена. В XX веке большинство священников выходило из семинарии, курс которых был не ниже светских гимназий, а в некотором отношении и выше их (древние языки, философия). Над семинариями стояли духовные «академии» (высшие школы) – 4 в России: в Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Из академий выходил учительский персонал духовных школ, отчасти епископы и высшее городское духовенство. В академиях велась серьезная научная работа, писались ученые диссертации. И хотя духовные

академии уступали в научном отношении столичным университетам, но, во всяком случае, могли равняться с университетами провинциальными.

Беда была в особом кастовом духе, который пропитывал и культуру духовенства, как и его бытовую, общественную жизнь. Низшая и средняя духовная школа, особенно старая «бурса» (духовная семинария), много раз описанная в русской литературе, отличалась грубостью нравов, жестокостью наказаний и мертвенностью преподавания. Грубость и озлобленность отмечала питомцев этой школы в глазах дворянского общества. Незнание французского языка, неумение вести себя в гостиной компрометировали семинариста и мешали ему обнаруживать свои знания, ненужные в светском обществе. Семинария не давала ответа ни на литературно-эстетические, ни на естественно-научные, ни на социально-политические вопросы, которыми волновалась русская интеллигенция. Оттого-то и началось повальное бегство из семинарий лучших ее питомцев в университет, в светские профессии с 50-х гг. XIX века. Вместе с тем, проникновение революционных тенденций в эту среду нашло ее необыкновенно подготовленной. Множество нигилистов и революционеров, начиная с Чернышевского, кончая Сталиным, выходцы из семинаристов. В последние годы перед революцией процент атеистов среди окончивших семинарии был весьма значителен. Только быт и семейная традиция переработали вчерашнего нигилиста в типичного русского «попа».

Слабость церковной науки и разобщенность ее с наукой светской.

Духовные академии страдали от жестокой «духовной» цензуры, которая делала просто невозможными целые отрасли специальной богословской науки: например библейскую историю и критику, да и свободное догматическое богословие. Периоды ослабления цензурного гнета — шестидесятые годы, промежуток между I и II-й революцией (1905–1917) знаменовали расцвет церковной науки.

В некоторых областях — исторических — духовная школа давала замечательных ученых. Но светское общество почти не замечало результатов их работы. Причина этому двоякая: с одной стороны, слабость религиозных интересов в образо-

ванном обществе, с другой — узкая специализация богословской науки. «Бурсаки», выходя на научную дорогу, не приобретали общей культуры. Большие знания уживались с отсутствием литературной и эстетической школы, и делали их продукцию трудно читаемой.

Духовное общество и его наука были отделены от «мира» даже языком — во всяком случае, стилем. Язык, которым писало духовенство в России, был полон славянизмов, т. е. остатков славянского языка, бывшего языком богослужения, что придавало ему неуклюжий, тяжеловесный и старомодный характер.

Духовная школа в России имеет в прошлом большие заслуги. В XVIII веке большинство русских ученых выходило из нее. Духовные академии в России старше университетов (Киевская существовала с XVII века). Ученое монашество и епископат стояли на большой культурной высоте еще в начале XIX века. Еще в середине прошлого столетия Русская Церковь насчитывала много ученых среди своего епископата: митрополита Макария[9], двух Филаретов[10] и др. Но в XIX веке вырос светский университет, и вместе с тем разлад между монашеством и наукой привел к тому, что ученые епископы стали редкостью. В духовных академиях принимали монашество обыкновенно худшие по успехам студенты, и, чаще всего, из карьерных целей: для академика-монаха епископская кафедра была обеспечена. Это привело к большому понижению уровня русского епископата как раз за последние полвека. Перед революцией Русская Церковь могла насчитать в своих рядах не больше двух-трех епископов, имеющих имя в богословской науке (митрополит Антоний[11], митрополит Сергий[12]). Профессора духовных академий были большей частью светскими людьми, лишенными влияния на ход церковных дел и нередко в оппозиции в господствующему со временем Победоносцева реакционному направлению.

По всей совокупности этих причин Русская Церковь не могла реализовать тех культурных сил, которыми она располагала, для борьбы с атеистическими направлениями светской культуры. Печать казенной мертвенности лежала на большинстве продукции церковной литературы. Лишенная вдохновения, лишенная оригинальной мысли, литература эта сеяла скуку и нередко убивала живую веру там, где она еще сохранялась.

Нравственный уровень духовенства.

Вопрос о нравственном уровне духовенства также не допускает простого ответа, как и вопрос о его просвещении. Этот уровень был, вероятно, выше, чем в древней Руси; в XIX веке он был, несомненно, выше, чем в XVIII. Но он не был многим выше, чем уровень окружающего мирского общества, и это моральное равенство с миром подрывало возможность личного влияния. Деревенское духовенство, обличаемое в жадности помимо чрезмерного развития хозяйственных инстинктов, часто предавалось пьянству. Городское жило вполне прилично, но и только. Ревностные, пламенные христиане, а тем более подвижники среди белого духовенства являлись редким исключением. Большинство епископов последнего времени представляли собой род чиновников духовного ведомства: занятые своей карьерой, которая не исключала личного благочестия. Крайности — разврат и святость — и здесь встречались редко.

Монастыри.

В монашестве блюдение «золотой середины» всего труднее. Здесь, когда слабеет подвижничество, немедленно наступает вырождение. Судьба русского монашества, как всякого, не может быть изображена в виде прямой линии. Уже в допетровской Руси после золотого века XV–XVI начался упадок. Переворот Петра разорил монастыри, расстроил их жизнь. Секуляризация церковных имений Екатерины II привела к закрытию большинства монастырей правительством. Но с конца XVIII века начинается новое возрождение. Является ряд подвижников-аскетов, строителей новых обителей. С тех пор число монастырей продолжало неуклонно расти. Перед революцией их насчитывалось около тысячи (942), с населением в 80000. Но упадок внутренней жизни шел столь же непрерывно с середины XIX века. Из тысячи монастырей лишь десятка полтора могли быть названы центрами духовной жизни. Большинство представляли собой хозяйственные общины, соединенные с культом. Многие достигли крайних пределов распущенности, особенно богатые и знаменитые своими святынями, привлекавшие массы богомольцев. Женские обители стояли выше: но они всегда были

в России скорее убежищами для одиноких женщин, трудовыми общинами, чем местом аскетических подвигов.

Ни один из русских монастырей нового времени не являлся ученым или просветительским центром. Разрыв между монашеством и культурой в XIX веке был полный.

И, однако, в этих же самых упадочных монастырях мы встречаемся и с самой подлинной святостью. Даже в распущенных обителях жили иногда схимники-затворники или одинокие старцы в скитах (в отдельных кельях в окрестностях монастыря). Но были редкие монастыри, которые сохранили настоящую традицию святости, воспитывая целые поколения аскетов, и становились центрами, духовно питавшими всю православную Россию. Такими были Оптина пустынь, описанная Достоевским в «Братьях Карамазовых», и Саров — монастырь св. Серафима.

Характер этого подвижничества был строго традиционный, напоминавший древние времена восточного монашества. Чрезвычайное постничество, непрерывная молитва, уединение среди природы... Кровавые истязания плоти были всегда чужды русской святости, — так же как и эмоциональное визионерство, свойственное католицизму.

Старцы и их влияние.

Была в новейшем русском подвижничестве одна черта, чуждая древности: так называемое «старчество», изображенное Достоевским в лице Зосимы. «Старец», после многолетнего искуса в аскезе в школе другого опытного старца, выходил к народу и становился наставником и «руководителем совести» для всех, стекавшихся к нему и жаждущих его советов. Его совет был связан с молитвой, нередко с прозорливостью и исцелениями болезней. Такие старцы, из которых не все принимали монашество, еще при жизни почитались святыми. Своими духовными детьми старцы руководили обыкновенно в духе евангельской любви и умеренности — не возлагая непосильного бремени и не требуя от мирян монашеского отречения. Но в руководстве старцев мы не видим одного, — и в этом громадное отличие новой русской «святости» от древней — не видим момента социального служения. Старец не обличает пороков мира, не защищает обиженных перед властями, не требует от сильных мира сего покорности Христу. XVIII век не прошел даром.

Церковь Русская, даже в лице своих святых, не берет на себя никакой социальной ответственности за мир.

Связь нового русского монашества с Афоном, центром греческого подвижничества, усиленное изучение «Добротолюбия», собрания мистико-аскетических писателей греческой Церкви, наложило на новое русское подвижничество более мистический отпечаток, нежели оно имело в старину. Так называемая «умная молитва», т. е. безмолвное созерцание, становится идеалом ищущих совершенства. Есть и особые внешние методы (отдаленно напоминающие Индию), которые помогают достигать внешнего состояния «умной молитвы»[13].

Усиление в монашестве мистических настроений за счет идеи социального служения.

В конце XIX – в начале XX века, несмотря на общий упадок монашества, в его элите мы наблюдаем рост мистических настроений. Из скитов они просачиваются в мир. Отсюда возрождение мистической религиозности в узких православных кругах в царствование Николая II. Именно под этими влияниями жил последний русский царь и в особенности его жена. Существование этого незаметного для широкой публики течения уясняет многое из того, что творилось во дворце в последние десятилетия. В политике это влияние мистиков было роковым. Это не могло быть иначе при полном упадке в монашеской религиозности идеи социального служения. Новые святые были людьми совершенно отрешенными от живой жизни и, преданные традиции, оказывались реакционерами при всяком соприкосновении с политической действительностью.

Главный источник церковного влияния на народ заключался в форме богослужения.

После всего сказанного ясно, где мы должны искать источников и средств церковного влияния. Мы не можем искать их в новой церковной литературе, в проповеди, в школе, в организованной миссионерской деятельности, хотя все это было: и школа, и литература, и проповедничество и миссионерство. Сухость и мертвенность губили все виды культурной деятельности Церкви. Но у нее было огромное средство влияния, не зависящее от уровня духовенства и его культуры. Это самый

факт культа, с его высокой красотой и трогательностью, как он сложился в восточной Церкви, с его церковно-славянским языком, не совсем непонятным для народа и почти понятным для его грамотных слоев. Через культ в течение тысячелетия совершалось христианское воспитание народа. В Церкви он слышал Евангелие. Евангельские темы звучали и в церковных гимнах. А в праздничном богослужении, особенно великопостном и пасхальном, содержание церковной веры, смерть и воскресение Христа, принимали живую, потрясающую форму мистерии.

Интеллигенция вне Церкви.

Но церковная служба создавала религиозные настроения лишь в той среде, которая была доступна влиянию культа, т. е. ходила в Церковь, следила за богослужением. Такой далеко не была вся Россия.

Здесь мы должны провести резкую грань между интеллигенцией и народом — в том смысле, как это слово употребляется в России, т. е. между затронутой европейским образованием верхушкой общества и массой, живущей в допетровском миросозерцании. Что касается интеллигенции, то влияние Церкви на нее было всегда ничтожным. Не говоря уже о левой, радикальной и социалистической интеллигенции, даже консервативное дворянское общество и высшее чиновничество относились к Церкви весьма холодно. Во внутренней духовной жизни верующие удовлетворялись адогматическим христианством или же смутной верой в Провидение, в загробную жизнь.

В случае духовных обращений, пробуждения религиозного чувства, чаще всего искали удовлетворения его на Западе: в католической мистике или в протестантском пиетизме, последние десятилетия — в теософии. Православие казалось скучным, некультурным, лишенным глубины. Но и атеизм на научно позитивной основе в этих кругах не был редкостью, хотя и не выставлялся напоказ. Большинство довольствовалось обрядовым минимумом. Религия считалась в лучшем случае хорошим воспитательным средством для народа и одним из устоев государственного порядка. Подлинно православные люди в этих кругах составляли исключение.

В революционной и даже либеральной интеллигенции, начиная с 50-х годов, атеизм был основой миросозерцания,

в фанатических кругах — настоящей религией навыворот. Отталкиваясь от самодержавия, видели его, казалось, неразрывную связь с православием, и ненавидели обоих.

Для революционеров кроме того христианская мораль любви к врагам представлялась несовместимой с боевой работой. Вот почему, начиная с Бакунина, и кончая Лениным, русские революционеры ненавидели религию. Однако, в очень широких кругах интеллигенции, где этические запросы перевешивали политику, открывалось место, если не для веры, то для любви к евангельскому Иисусу. В так называемом «народничестве» идея жертвы, отдачи своей жизни на благо народа воспитала практический христианский альтруизм и аскетизм — в формах иногда близких к святости. Не случайно поэтому оживление интереса к евангельским темам в искусстве и поэзии 70-х годов, которое в большой литературе совпало с расцветом Толстого и Достоевского. С появлением марксизма (90-е годы), эта этически-христианская порода русских интеллигентов вымирает, уступая место последовательным материалистам или научным позитивистам.

Среди *тех* больших русских писателей, у которых религиозная и даже христианская настроенность была очень сильна, ни один, кроме Гоголя, не был церковным человеком, — даже православный по убеждениям Достоевский. Лесков, с такой любовью изображавший быт русского духовенства, по своим религиозным взглядам тоже не был православным. Так была дискредитирована официальная Церковь в интеллигентской среде.

Православие славянофилов. Некоторому сближению русской интеллигенции и религиозной церковности положили начало славянофилы 40-х — 50-х годов.

Хомяков, Киреевские, Аксаковы — происходили из немногих образованных дворянских семей, где верность Церкви и подлинная религиозность были традиционными. С этим родовым наследием они соединили идеи романтического религиозного возрождения на германском Западе (философия Шеллинга, свободно-католическое богословие Мёлера[14]). Из этих элементов Хомяков и Киреевские построили свою философию и богословие Православия, весьма мало напоминавщие ту схоластику, которая была официальным академическим богословием Цер-

кви. Однако же эта славянофильская теология не была и чисто отвлеченным продуктом современной мысли. Ее творцы воспитали свои религиозные убеждения на чтении древневосточных отцов Церкви и вступили в личные отношения с живыми представителям мистической традиции Православия – оптинскими старцами. В результате их система оказалась жизненной и, пройдя тонкой струей сквозь позитивистические десятилетия XIX века, привела, в начале XX, к расцвету светского и свободного православного богословия.

Возрождение церковности в некоторых кругах интеллигенции в начале XX века.

Мост от первых славянофилов к их преемникам XX века был переброшен Достоевским и Владимиром Соловьевым. И тот и другой вышли из их школы. Значение Достоевского не в его церковной публицистике, а в раскрытии метафизической глубины христианства для интеллигентного общества. Владимир Соловьев, философ германской выучки, перевел мистическое содержание христианства на язык философских понятий. Ясный, логический ум его работал над созданием универсальной системы, напоминающей универсализм Фомы Аквинского, но пронизанный романтическим вдохновением. Хотя его система не чужда гностицизма (учение о Софии) и романизма (главенство папы), но из нее вышла вся многочисленная блестящая плеяда светских богословов нашего времени: братья князья Трубецкие, отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков, Бердяев и др. В революцию 1905–6 годов, вне атеистических революционных партий, были уже мистические кружки, которые соединяли проповедь «нового религиозного сознания», т. е. свободного христианства, с революционной политической программой. Мережковский, Булгаков, Бердяев мечтали о слиянии надвигающейся революции с церковной реформацией, – в мистическом, а не в рационалистическом смысле[15]. Практического влияния эти кружки не имели. К моменту второй революции (1917 г.) революционные партии были по-прежнему чужды или враждебны Церкви. Но число образованных людей, примыкающих к Православию на основе философского миросозерцания, было уже далеко не столь незначительно. В университетах им принадлежало едва ли не большинство философских кафедр.

Церковь и народные массы.

Но к этому времени, когда часть интеллигенции начинала возвращаться к вере народа, народ сам уже начинал изменять ей. Каково бы ни было отношение народа к своим пастырям, не может быть двух мнений относительно силы и искренности его веры. В середине XIX века массы русского народа, прежде всего крестьянства, жили в той нетронутой цельности христианского миросозерцания, от которой Запад отвык с эпохи Средних веков. Об этой народной вере свидетельствуют и писатели-беллетристы и живая устная народная поэзия.

Разумеется, эта вера была темной, лишенной каких бы то ни было рациональных основ. Даже догматические основы христианства этой среде были мало доступны. Христианство воспринималось через храмовое богослужение и через ритуальный церковный закон. Строго хранились посты и праздничные дни. Весь круг года с сельскохозяйственными работами располагался по церковному календарю, по дням святых. В народной обрядовой вере вместе с христианством доживало и много остатков язычества: вера в леших, русалок и других стихийных духов природы, заклинания и колдовство, наконец, праздники, не имеющие никакого христианского основания. В последнее столетие Церковь уже не боролась с этими языческими пережитками, которые воспринимались, как органическая часть традиционного Православия.

Религиозные настроения крестьянства.

Но было бы несправедливым сводить всю народную веру к обрядоверию. Она была пронизана этическими и мистическими влияниями христианства, которые просачивались отовсюду, только не с церковной кафедры: для грамотеев — из житий святых, любимого народного чтения, из апокрифических сказаний, из Евангелия; для всех — из литургии и живого влияния святых, старцев, странников — того полуцерковного бродячего люда, который, вместо священников, выполнял призвание духовного учительства в народе. Плоды христианства сказывались в основах нравственного мировоззрения народа. Жалость к несчастным, нищим и беднякам, острое чувство совести, вызывающее горячие покаянные настроения, чут-

кость к социальной неправде, стремление к социальной справедливости, проявившейся в мечте о земельном поравнении *и* связанной с общинным земельным строем, — таковы были основы народной христианской этики. Жизнь приучила народ к торжеству кривды. Он покорялся Божьей воле, т. е. торжеству сильных на земле. Никакая социальная борьба не оправдывалась для него религиозно. Царство Божие можно заслужить только терпением, на том свете все обиды будут отомщены.

Разумеется, далеко не все в быту народа определялось его религией. Суровая жизнь с ее полузвериной борьбой за существование воспитывала жестокость. Первобытные страсти находили выход в разгуле, в драках, в преступлениях. Народ сам далек от святости. Но поскольку он отдавался религиозным движениям сердца, его религиозность была именно такова.

Религиозное отношение крестьян и царя.

За последние столетия народ не понимал государства, его сложных задач, его политики. В его внутреннем отношении к государству было много анархизма. Но была одна точка во всей государственной системе, непосредственно связанная с сердцем народа: это идея православного царя. Царь — конкретно невидимый и окруженный легендами — был наместником Бога на земле. Он всегда на стороне правды, и все, что в государстве не отвечало вкусам народа, творилось помимо воли царя, министрами и дворянами. Вопреки историческому опыту народ не переставал ждать от царя осуществления своей правды, т. е. передачи ему всей земли, отнятой от помещиков, и осуществления демократического мужицкого царства. Пока эта вера была жива, терпенье народа казалось неистощимым.

Процесс разложения примитивной народной веры.

И вот этот массив народной веры, на которой держалась Российская империя, стал разлагаться. Разлагаться медленно, незаметно под влиянием образования и современной цивилизации. Освобождение крестьянства от крепостного рабства (1861 г.) было началом этого молекулярного процесса. Отхожие промыслы в городах, рост фабричной промышленности в 80–90-х годах, железные дороги, проникавшие вглубь России, наконец, народная школа, главным образом земская, полагали конец первобытной

невинности крестьянина и знакомили его с элементами научно-позитивного мировоззрения интеллигенции. Народные учителя, революционные пропагандисты и слои уже образующейся собственно-народной полуинтеллигенции делались факторами дехристианизации народа. В церковной литературе или у церковного амвона народ не мог найти ответа на вопросы, поставленные современным естествознанием. Простое знакомство с электричеством, как причиной грозы убивало веру в Бога.

Падению народной религиозности сопутствовало падение морали.

Впрочем до XX века этот процесс совершался чрезвычайно медленно. Результаты его сказывались не столько в активном безбожии или неверии, сколько в росте индифферентизма и в ослаблении моральных сил народа. Усваивая интеллигентское безверие, народ не в состоянии был освоить автономной, безрелигиозной морали, которой жила интеллигенция. Рост хулиганства в начале XX века в деревне был показателем разрушительных процессов, протекавших в народном сознании. Революция 1905-го года, всколыхнувшая Россию до дна и впервые осуществившая политический союз революционной интеллигенции и народа, ускорила необычайно рост рационализма в массах. Конечно, большинство, даже огромное большинство народа *не* отреклось от христианства и от Церкви. Но оно оставалось связанным с ними привычкой, за которой скрывалось равнодушие. Когда большевики начали активную борьбу с религией, массы не встали на защиту гонимой Церкви.

Сектантство и его течения.

Несомненно, гораздо больше активности и религиозной энергии жило в различных народных сектах, в которых мы наблюдаем подчеркнутыми и утрированными те же основные духовные направления, что и в господствующей Церкви. Сама численность русских сектантов делает их серьезной общественной величиной. Хотя и не существует точной статистики русских сектантов, но, по вероятным исчислениям, число их к моменту революции составляло не менее 25 миллионов, т. е. было лишь в четыре раза меньше чем православных.

Нельзя видеть в русских сектантах единственное или даже главное выражение чисто-народной веры: здесь выразились лишь ее крайности, взаимно друг друга исключающие. Основная масса русского народа оставалась в православных — конечно, не по государственному принуждению и не по равнодушию. Разрыв с Православной Церковью совершался мучительно.

Старообрядцы.

Главная масса диссидентов — раскольники — стояли на одной религиозной почве с Церковью. Толчком к церковному расколу послужила обрядовая реформа патриарха Никона (вторая половина XVII века) — исправление церковных книг. Введенная без достаточной осторожности, навязанная государственным принуждением, она оттолкнула массы ревностных церковников, для которых, как для всех московских людей, верность обряду совпадала с самим содержанием христианства. В глазах приверженцев старины, Русская Церковь перестала быть истинной Церковью со времен Никона; в ней невозможно спастись. Необходимо отметить, что проклятия на «старообрядцев» были произнесены целым собором 1667 года с участием двух греческих патриархов и что, следовательно, старообрядцам не оставалось другого пути, кроме раскола. От гонений правительства они уходили в глухие леса за Волгу, на поморский север и за рубеж России. На костры правительства они отвечали массовыми самосожжениями — в конце XVII века. Ожидание антихриста, или убеждение в его пришествии (антихриста видели в царе Петре) вызвали фантастический энтузиазм и готовность на разрыв с миром.

Таково происхождение раскола. В дальнейшем его пути разошлись. Оставшись без руководящего центра (у них не было епископов), раскольники стали дробиться на множество отдельных сект. Одни — «поповцы»[16] — занялись поисками своего священства, чтобы не остаться без таинств. Довольствуясь полтора столетия беглыми попами из господствующей Церкви, они в 1846 году создают, наконец, собственную иерархию. «Беспоповцы»[17], убежденные в близости конца времени, отказываются от священства и от таинств, связанных с ним. Миряне из их среды совершают все церковные службы кроме литургии. Этот отказ *от* духовной полноты был для беспоповцев огром-

ной жертвой, потому что и для них таинства продолжали быть необходимым в нормальных условиях средством их спасения.

Но на этой почве возможен, и действительно совершается перелом в религиозном сознании. Вынужденный отказ от сакраментальной обрядовой жизни Церкви превращается в отказ принципиальный и получает свое обоснование в христианском спиритуализме. Действительно, начав с крайнего ритуализма, раскол породил, начиная с XVII века, секты мистические и рационалистические, порывающие со всякой видимой Церковью.

Мистическое сектантство.

Впрочем, и у русского народного мистицизма и у рационализма есть свои древние корни, независимо от раскола, который послужил для них питательной средой. Типично русской мистической «духовной» сектой являются «хлысты»[18] (искаженное от «Христы»), или «духовные христиане». Они верят в непрерывное воплощение Христа на земле, имеют всегда живых Христов, Богородиц и апостолов в лице пророчески одаренных проповедников. Стяжание Святого Духа достигается ими на молитвенных собраниях, связанных с пением и пляской. Верчение (подобное дервишам) вызывает состояние экстаза («Дух накатил»), которое обычно заканчивается оргией.

Отталкиваясь от имморализма хлыстов, основатель скопчества (Селиванов[19] в XVIII веке), на общей с ними религиозной почве, пришел к крайнему аскетизму в форме самооскопления. Хлысты и скопцы считались особо вредными сектами; подвергаясь преследованиям более других, они лучше других себя укрывали. Видимая принадлежность к Православию, соблюдение церковных обрядов должны были отвратить подозрительность властей.

Евангелическое сектантство.

Русский рационализм и евангелизм распространялись не без влияния западного (немецкого) протестантизма, первые семена которого проникли на Русь еще в XVI столетии. К XVIII-му веку (40-е годы) относится возникновение самого глубокого из этих движений — «духоборчества», с своеобразной, и отнюдь не примитивной, богословской системой, в духе крайнего мистического индивидуализма. Духоборы отвергали видимую

Церковь, все историческое христианство и даже письменное откровение. Смягчение этой секты в «молоканстве»[20] (XVIII в.) привело к евангелизму, признавшему Св. Писание, как единственный путь спасения.

В XIX веке, под непосредственным немецким влиянием, слагаются штундизм[21] и баптизм[22], новейшие формации русского евангелизма. В лице Толстого и Пашкова[23] эти низовые народные течения (духоборы[24], штундисты) вступили в соприкосновение с религиозными деятелями интеллигенции. Еще ранее, при Александре I, была кратковременная попытка встречи интеллигентского аристократического мистицизма с народным сектантством. Но, вообще говоря, все это огромное сектантское движение, как и раскол, протекало без явного влияния интеллигенции.

В противоположность численно незначительным мистическим сектам, евангелические являются серьезной величиной, все растущей к концу XIX века. Общее направление народной жизни в сторону рационализма выражается в росте именно этой ветви сектантства. Неоднократно делались попытки объединения евангельских сект, которые мало чем отличаются в своих доктринах. За время революции баптизм, начавший распространяться уже раньше, поглотил большую часть родственных течений.

Сектантство и революция.

С началом революционного движения, в 60-е годы, русские социалисты возлагали большие надежды на раскол, как на оппозиционную силу. В этих надеждах они были обмануты. При жестоких гонениях XVII и XVIII века раскольники поддерживали восстания против власти, выходившие из народной среды; последним таким движением было восстание Пугачева (1770-е годы). С тех пор раскольники, несмотря на преследования, сохраняли лояльность к правительству и, что еще важнее, в социальном смысле являлись самым консервативным элементом русского общества. Стоя за старину, за строгие семейные устои, трудолюбивые и хозяйственные, они не могли дать почвы для революционных движений. Но в евангелическом христианстве всегда были сильны анархические и коммунистические моменты: духоборы и ново-штундисты отрицали военную

службу, суд, уплату налогов. Делались попытки и организации общин на коммунистических началах, хотя и без большого успеха. Подобно толстовству, эти секты заняли очень резкую позицию против государственной власти. Не участвуя в революции, считая насилие нехристианским делом, они имели с революцией — преимущественно коммунистической — немало точек соприкосновения. Вот почему в первые годы коммунизма сектанты приветствовали новый строй и пользовались некоторой свободой и признанием.

Преследования сектантов.

Все диссиденты Православной Церкви, умеренные и крайние, раскольники и сектанты, не переставали подвергаться преследованиям до самого последнего времени. Царствования Екатерины II, Александра I и Александра II были эпохами смягчения гонений, которые усиливались при Николае I и Александре III (время Победоносцева). Даже старообрядцы жили все время на полулегальном положении, в зависимости от полицейского произвола. Они то имели свои монастыри и церкви, то подвергались преследованиям и должны были спасаться в лесах и за границей.

Манифест о свободе совести 4 апреля 1905 года в сущности дал свободу только старообрядцам. Но и пропаганда баптизма фактически была свободна уже до войны.

Почин гонений почти всегда брало на себя государство и осуществляло их полицейскими и судебными мероприятиями. Но миссионер действовал рука об руку с полицией. Несмотря на отдельные голоса из церковной среды против полицейских мер борьбы с сектантством, официальная Церковь не отказывалась от услуг государства в борьбе с ними. Фигура казенного миссионера никогда не была популярной. Его искренность всегда была под подозрением. Состоя на казенной службе, он не мог морально соперничать с сектантом, который за свою веру платил тюрьмой и ссылкой.

Вмешательство Церкви в политику.

Так жила Русская Церковь в течение двух веков — огромное, несколько обветшавшее здание, нуждающееся в ремонте, но в запыленных покоях которого находилось место и для горячей

молитвы, и для научного труда, и для богословского вдохновения. Несмотря на национальный облик этой Церкви и Ее крепкую спаянность с государством, Она жила вне политики, т. е. вне политической злобы дня. Консервативная по принципу, поддерживая самодержавие, как единственную законную форму православной государственности, она не брала ответственности за меняющиеся направления политики. Она ограничивалась попечением о душах, тщательно подчеркивая неотмирность Своего призвания. Так продолжалось до последних двух царствований, когда надвигающаяся революция заставила Церковь, на Ее несчастье, выступить на новую для Нее арену. Лишенная всякого политического опыта, Она выступила не умирительницей народных страстей, стала не выше борьбы, а вмешалась в самую гущу ее, и притом на крайнем фланге.

Революционное движение, всколыхнувшее массы, не могло не увлечь часть низшего духовенства, столь близкого к народу по своему социальному положению и столь проникнутого социальной враждой к иерархии. Первая и вторая государственные Думы видели в своих рядах немало священников, многие из которых принадлежали к левым партиям. Все они должны были тяжело поплатиться за свои убеждения снятием сана. Зато епископы во всех Думах сидели на крайней правой.

С самого начала первой революции Синод вмешался в политическую борьбу со своими воззваниями, весьма неудачными. В избирательной кампании правительство опиралось на духовенство, как на своих избирательных агентов, *ибо* большая часть забитого низшего духовенства не имела своих политических убеждений, но вынуждено было вести политику, предписывавшуюся ему правым старательным начальством. Союз Русского Народа, демагогическая организация, поставившая своей целью борьбу за неограниченное самодержавие (даже после дарования царем Конституции 17 октября 1905 года), в целом ряде мест возглавлялся епископами. Среди них Саратовский епископ Гермоген[25] с монахом Илиодором[26] приобрели наиболее громкую и печальную репутацию. Но и митрополит Антоний, самый ученый представитель епископата, благословлял подвиги Союза Русского Народа. Эта организация открыто устраивала кровавые погромы и совершала террористические акты (убийства депутатов государственной Думы).

Царь, вопреки желанию своих министров, поддерживал эти фанатические круги, в которых видел единственных защитников трона.

Последнее царствование, как мы уже говорили, вообще ознаменовалось вспышкой запоздалого мистико-реакционного романтизма в придворных кругах. Мистически настроенный император и его супруга окружали себя монахами и старцами, в которых видели святых, и у которых искали совета и помощи в опасном положении династии. Наивным и страстным церковникам, жившим в утопии древней, «святой» Руси, царское самодержавие представлялось такой же святыней, как таинства и догматы Церкви. Среди главарей Союза Русского Народа, особенно из духовенства, были убежденные люди. Но массы низшего духовенства вовлекались в черносотенное движение уже против своей воли, под давлением епископата. В этой печальной политической борьбе предреволюционных лет Церковь потеряла последние остатки своего былого престижа. Распутин добил его.

Строго говоря, Православная Церковь не отвечает за Распутина, который не был ни монахом, ни священником, а простым мужиком. Но его влияние во дворце шло первоначально через те же каналы, что и церковные влияния. Епископ Феофан[27], один из самых строгих аскетов и мистиков, ввел его во дворец, горько ошибшись в своем протеже, как и другие православные его покровители.

Распутин был человек большого ума и воли, бесспорно одаренный мистически. Его мистика была сродни хлыстовству, т. е. носила духовно-имморалистический характер. Разгул и стяжание Святого Духа шли рука об руку. То обстоятельство, что Распутин мог обмануть православных мистиков, само по себе показывает, что кое-что было неблагополучно в самом этом мистицизме, т. е. в его направлении последних лет. Николай II и императрица стали жертвой этой ложной мистики наряду с епископом Феофаном. Но Распутин на несколько лет сделался настоящим правителем Русской Церкви: назначал через государя епископов и обер-прокуроров Синода и этим вносил деморализацию в высшую духовную среду. Его распутная мистика имела такое же роковое влияние на престиж Церкви, как и реакционная политика Антониев и Гермогенов.

* * *

Церковно-религиозная проблема в СССР.

Крушение веры в Бога и в царя произошло в народной душе одновременно, в сравнительно короткий период последнего царствования. Церковь вступила в революцию духовно беззащитной, и большевикам ничего не стоило разгромить Ее. Их медлительность и постепенность в уничтожении культа показывает только, что у Церкви была еще опора в рабочих низах, которые коммунистическая власть вынуждена была щадить. Но революция, лишившая Церковь всех ее богатств, уничтожившая все монастыри, отправившая тысячи священников на казнь и десятки тысяч в ссылку, которая стоит казни, эта революция знаменует и поворотный момент к возрождению Церкви.

Еще до прихода к власти большевиков, при Временном правительстве 1917 года, в Москве собрался впервые после двух с половиной веков Собор Русской Церкви, который наметил план всесторонней реформы и начал ее с избрания патриарха. Синодальный строй был осужден единодушно и вместе с ним подчинение государству, в котором Церковь жила с Петра I. Несмотря на традиционный монархизм духовенства, поразительно, как мало защитников нашел старый строй — именно в отношении к опекаемой им Церкви. Будущее было темно. Свобода сулила Церкви мало выгод. Но Церковь искренне приветствовала свободу — от государства.

К несчастью, эта относительная свобода сменилась через несколько месяцев коммунистическим террором. Но именно в эти годы Церковь и показала Свою жизнеспособность и силу.

На кровавом току революция отвеяла полновесное зерно от мякины. Раскол «обновленческой» церкви, организованной большевиками, извлек из рядов духовенства малодушные и угодливые элементы. Оставшиеся верными закалили свое мужество в тюрьмах и Соловках.

Страшные бедствия, обрушившиеся на все классы населения, — голод, казни и болезни, смерть близких — привели к пробуждению религиозного чувства, если не в массах, то в избранном меньшинстве, принадлежащем ко всем слоям общества. Самым угнетенным классом является интеллигенция.

Неудивительно, что в ее среде совершалось больше всего обращений в лоно Церкви. Но эти обращения были не только результатом личных несчастий и политических разочарований. Мы видели, что на самых вершинах русской культуры перед революцией совершался процесс христианизации и оцерковления философской мысли. Движение в Церковь шло именно отсюда, из философских верхов. Именно во время революции молодые философы, поэты, писатели принимают священство. С тех пор приток священников, даже монахов (тайных) совершается преимущественно из культурной среды. Социальный состав Церкви за революцию изменился заметно. Интеллигенция наполняет храмы, которые прежде посещались более простонародием.

Правда, это возрождение Церкви оттеняется другой стороной революционного процесса. Народные массы, вовлеченные революцией в политику и в культуру, переживают сейчас увлечение рационализмом. В своих школах и казармах государство с успехом воспитывает атеистов — уже около пятнадцати лет. Церковь теперь не может быть всенародной: неизвестно даже, является ли Она религией большинства народа. Но, во всяком случае, Она является религией его духовно активного меньшинства. В этом она, пройдя через мученичество, приобрела старые преимущества сектанства.

Что касается сектантства, то оно пережило тоже немалую революцию. Раскол старообрядчества, пользующийся свободой с 1905 года и все более сближавшийся с господствующей Церковью, разделил с нею ее судьбу. Уже на Соборе 1917 года был поставлен вопрос о примирении со старообрядцами. Действительно, теперь ни та, ни другая сторона не придают большого значения обрядовым деталям, их разделяющим. Соединение старообрядцев с Православной Церковью является вопросом времени.

Мистические секты хлыстовского типа, всегда малочисленные, не дают повода говорить о себе. Но тем более значителен рост рационалистического и евангелического сектантства, которое насчитывает в России много миллионов активных членов и является опасным соперником Православной Церкви. Баптизм, объединивший в себе мелкие секты, стал очень крупной религиозной силой в России. Несмотря на явно иностранное

происхождение (он и сейчас поддерживается из-за границы), баптизм неожиданно сделался русской формой реформации.

Общее гонение, переживаемое в России всеми формами религии, мешает открытой борьбе Православной Церкви и сектантства. Часто мы слышим о существовании в России общего религиозного фронта против безбожников. Но лишь будущее покажет, сможет ли Православная Церковь дать в своей ограде удовлетворение евангелически-моральным потребностям и, следовательно, вобрать в себя духовное содержание баптизма, или же религиозная жизнь в России и дальше будет идти в двух не сливающихся руслах.

Наука в России

Ни русский народный характер, ни русское прошлое не благоприятствовали развитию научного склада ума. Русский человек не любит работать методически, презирает логическое мышление, склонный доверяться интуиции. «Умеренность и аккуратность», столь необходимые для научной дисциплины, в глазах русского являются воплощением мещанства. Церковь, которая на Западе была первой научной школой, в древней Руси была совершенно чужда научной культуре. Лишь с конца XVII века влияние малорусской церковной школы, сложившейся в Киеве по католическим образцам, начинает сказываться в Москве. Дворянство, легко усвоившее лоск французских салонов, презирает кропотливую ученость. До самого последнего времени не только в народе, но и в широких слоях русского общества «профессор» был скорее комической фигурой, чудаком, о рассеянности и странностях которого ходят всевозможные анекдоты. И государство, и общество в России (о народе нечего и говорить) мало ценили чистое знание, и всегда готовы были приносить его в жертву практическим, чаще всего политическим соображениям.

И, тем не менее, наука в России существовала. В последние десятилетия она даже процветала. В общемировой научной продукции России принадлежит, конечно, не первое, но и не последнее место: может быть, четвертое или пятое, непосредственно следующее за тремя водительствующими западными нациями. В каждой научной отрасли мы могли бы указать однодва имени, пользующихся мировой репутацией. Кое в чем мы

шли уже впереди других; вообще качество опережало количество. Общая одаренность народа сказывалась и в его научных талантах. За последнее десятилетие перед войной сложилась и собственная научная традиция, образовались свои направления, школы; работа велась методически. Русский человек уже переломил себя и с огромными внутренними усилиями усвоил элементы научной дисциплины.

Но это произошло сравнительно поздно, не ранее середины XIX века. Русская наука гораздо более молодой плод на древе русской культуры, чем литература или искусство. Ее рождение, в начале XVIII века, было совершенно искусственным. Она была вызвана к жизни потребностями государства, с Петра I, поставившего своею целью европеизацию России. Наука долго была в России исключительно западным продуктом, и государство – главным фактором его жизни. Созданная государством Академия, университеты и высшие школы были единственными в России центрами научной работы. Научные общества и их издания могли существовать благодаря государственным субсидиям. Ни одно частное издательство не могло печатать слишком специальных монографий: они не нашли бы себе достаточно покупателей. Роль частного меценатства до последнего времени была незначительна.

Но если государство насаждало науку в России, оно руководилось, прежде всего, потребностями создания кадров для управления и технического обслуживания страны. Императорское правительство не относилось с такой слепотой к «чистому», теоретическому знанию, как большевики, но и оно приносило его в жертву практике. От этого, например, страдала философия, часто не имевшая в университете своих кафедр. Еще тяжелее была политическая подозрительность самодержавия, выражавшаяся в цензуре. Говоря вообще, в течение всего XVIII века и в начале XIX века русский абсолютизм имел правительственный характер. Реакция началась с 20-х годов (конец царствования Александра I), когда, в угоду обскурантским влияниям, были разгромлены правительством целые университеты. Эпоха Николая I (1825–55), особенно конец его царствования, отличалась придирчивостью цензуры и общим недоверием к просвещению. В меньшей степени, но довольно тяжелая реакция отличает царствование Александра III (1881–95) и нача-

ло царствования Николая II. Конечно, цензурный произвол отражался, прежде всего, на публицистике и художественной литературе. Наука страдала менее. Но науки политические и социальные были всего уязвимее. Можно сказать без всякого преувеличения, что их свободное развитие было невозможно до эпохи Александра II, и что окончательно цензурная опека над ними снята лишь с первой русской революции 1905 года. Еще в конце XIX века нередки случаи удаления с кафедры выдающихся специалистов за политическую неблагонадежность (проф. Ковалевский[1], Виноградов[2], Милюков[3]).

Как раз гонимые властью научные направления пользовались сочувствием общества в эпоху длительного раскола между либеральным обществом и реакционным правительством. Мы сказали, что индифферентизм к науке — одна из черт этого общества. Однако, этот индифферентизм имел свои пределы. Каждое поколение русской интеллигенции питало свои особые научные пристрастия. Повинуясь политическим или метафизическим потребностям, оно выхватывало из системы научного знания ту или иную область и на ней пыталось построить цельное мировоззрение. В течение ряда лет данная наука играет роль суррогата религии для молодежи, и сосредоточенный на ней энтузиазм, порождая множество псевдонаучных, суеверных доктрин, в конечном счете, однако, оплодотворял официальную университетскую науку, сообщая ей исключительный расцвет. Таково влияние гегельянства 40-х годов, оплодотворившее целый ряд гуманитарных дисциплин, материализма 60-х, пришедшегося на пользу естествознанию, социализму, содействовавшего росту социальных и экономических наук. Однако, общественное сочувствие науке-фаворитке покупалось обычно ценой ее догматизации: лишь принимая каноны, действующие в данную эпоху: материализм, либерализм, социализм и т. д., наука могла рассчитывать на популярность. Всякое отклонение от общественных требований создавало клеймо «реакционности», вызывая иногда общественное гонение против неугодного профессора, которое стоило правительственных репрессий.

При слабости научных традиций в обществе, огромное значение в России играл личный почин, личное творчество. Влияние одаренных личностей, избравших научное поприще в силу тех или иных случайностей личной биографии и накладывавших

печать на целые поколения, в России было сильнее, чем где либо. Биография первого русского ученого Ломоносова может служить пророческим примером.

Сын архангельского мужика, Ломоносов родился при Петре Великом, в эпоху великих преобразований. Странная жажда знаний влекла его в Москву, где в то время была единственная (церковная) школа, соответствующая уровню среднего образования. С огромными трудами и лишениями мальчик проходил курс этой школы на латинской основе, совершенно схоластической по своему духу. Но он не удовольствовался московской школой. Он едет на Запад, куда Петр уже посылал молодых людей учиться западной технике. В германских университетах Ломоносов приобрел обширные познания по естественным наукам, особенно по химии, минералогии и горному делу. После жизни, полной приключений, вернувшись в Москву, Ломоносов мог стать первым и долгое время единственным русским членом Академии Наук, учрежденной после смерти Великого Преобразователя (1727). Деятельность его поражает размахом своей разносторонности. Он был не только выдающимся натуралистом, но также историком, поэтом (одним из великих русских поэтов), классиком слова, заложившим основание русской грамматики, стилистики и русского литературного языка. Его подлинным призванием были физика и химия. В этой области он сделал открытия, намного опередившие его время и лишь недавно оцененные по достоинству. В своей разносторонности и страстном горении, так же как в своих страстях и разгуле, он был типичным представителем русского гения.

Ломоносов, страстный националист, всю свою жизнь боролся с учеными немцами в Академии, которых обвинял в национальном пристрастии. Русское общество, в своем демократическом настроении, было убеждено, что создание Академии в стране, лишенной элементарной школы, было извращением естественного развития культуры. Верно как раз обратное. Культура движется сверху вниз; ее накопление должно предшествовать распространению. Для школы должны быть созданы учителя, для учителей университеты и т. д. Нет ничего нормальнее движения русской культуры в XVIII веке. Но русское прошлое делало неизбежным то, что во главе русской Академии Наук, созданной по планам Лейбница, стали немецкие ученые. Среди

академиков XVIII века были блестящие дарования, с мировыми именами (математик Эйлер[4], оба Бернулли[5]), но их деятельность была лишь внешне и случайно связана с Россией. Они печатали свои труды в Петербурге, но по-латыни, и находили себе читателей по всему образованному миру. Это была наука в России, но еще не русская наука. Немцы-академики положили начало изучению России в научных экспедициях, в анализе источников русской истории. Уже с 40-х годов XVIII века у них являются русские ученики, молодые ученые, которые все чаще занимают академические кафедры. Однако еще в первой половине XIX века состав академии, равно как и других научных учреждений России, преимущественно немецкий. Из всех иностранцев немцы сыграли наибольшую роль в истории русской науки. До самого конца империи влияние германской науки в русских университетах было преобладающим. Это объясняется не только географической близостью Германии, но и фактом завоевания балтийских провинций (Курляндии, Лифляндии, Эстляндии) Петром Великим. Русские подданные из немцев, составлявшие очень заметный процент населения новой столицы (Петербурга) давали деятелей во всех отраслях государственной службы и культуры. Еще в середине XIX века большинство врачей, механиков, учителей музыки были из немцев. В России оказался и один из немецких университетов — в Дерпте (Эстляндия), в котором преподавание лишь в конце XIX века было переведено на русский язык.

В XVIII веке эта немецкая научная традиция отчасти уравновешивалась южно-русской (малороссийской) традицией духовной школы. Из духовной школы выходили не столько богословы, сколько латинисты, эллинисты, а впоследствии преподаватели русской словесности и истории. Наряду с французом и немцем-гувернером, семинарист является типичной фигурой домашнего учителя в дворянских семьях. Именно он вынес на своих плечах национальные элементы русского воспитания. Наряду с русскими учениками Академии, духовная школа дала и первых русских профессоров Московского университета.

Из духовной же школы (Киевской Академии) вышел и первый русский философ Сковорода[6], который, однако же, подобно Ломоносову, представляет скорее явление гениальной личности, чем продукт школы. Сковорода не был академиче-

ским философом, но свободным учителем и странствующим мудрецом в стиле Сократа. Его учение, сложившееся на основе Платона и западной мистики, соединяло теснейшим образом философию со свободным богословием и духовной жизнью. Не оставивший никакой школы, забытый и воскресший лишь в XX веке, Сковорода, как и Ломоносов, профетически предопределяет будущее направление русской философии.

Личный почин в науке XVIII века выражается также в работе историков, параллельно и независимо от немцев изучавших историю России: Татищев[7], Щербатов[8] и другие серьезные исследователи подготовили почву для блестящего художественного синтеза Карамзина.

Масонский кружок Новикова[9] и его друзей в Москве много содействовал научной культуре изданием и переводом книг, выпуском материалов по русской истории и проч. Их собственные идеи имели характер мистической и моральной реакции против материализма и сенсуализма «просвещения» XVIII века.

Первым университетом в России был Московский, основанный в 1755 году по мысли Ломоносова. Долгое время он был единственным, пока к нему не присоединились в начале XIX века университеты в Петербурге, в Казани (Поволжье), в Харькове, в Киеве (Украина), впоследствии в Томске (Сибирь), и в начале XX века — в Саратове. Специальные учебные заведения в немалом числе дополняли университеты: Институты Горный, Технологический и Путейский, а особенно Военно-Медицинская Академия в Петербурге, которая всегда была одним из крупных научных центров в России.

Впрочем, до 40-х (или 30-х) годов XIX века русские университеты (даже Московский) не могли похвастаться кипучей научной жизнью. Они вовсе не были очагами научного исследования. Читавшиеся в них лекции часто имели элементарный характер, а очень юный возраст слушателей мешал серьезности занятий. Профессора, русские в большинстве со второй четверти XIX века, учились нередко за границей, в Германии. Заграничные командировки молодых ученых оставались до самого конца империи одним из лучших средств держать научный уровень на должной высоте, хотя давно уже они перестали быть абсолютно необходимыми. Они все время освежали научную атмосферу, мешая развитию узкого национализма и сообщая

русскому профессору сознание принадлежности к общечеловеческой respublica doctorum[10]. Впрочем, сто лет тому назад лекции этих учеников Запада не были особенно вдохновительны. Записки современников оставляют скорее печальное впечатление от первых десятилетий русской высшей школы. И, однако, уже вскоре после своего основания Казанский университет дал гениального математика Лобачевского[11], создателя неэвклидовой геометрии, значение открытия которой выяснилось на Западе лишь много времени спустя, интересная параллель к неоцененным открытиям Ломоносова.

Но русские университеты скоро вышли из первой стадии сухой популяризации научных знаний и превратились в центры живой и волнующей интеллектуальной жизни. Это произошло, когда груда научных фрагментов приобрела строй и лад в освещении философского миросозерцания. Немецкая философская мысль эпохи классического идеализма сыграла роль этого духовного фермента. Если Кант и Фихте оставили слабые следы в России, то влияние Шеллинга было весьма значительным. Его натурфилософия вдохновляла многих русских натуралистов, сообщая их преподаванию универсальность и глубину, хотя отвлекала в сторону от экспериментального пути. Но настоящим чародеем, разбудившим спящую красавицу русской науки, был Гегель. Много русских юношей сидели у ног учителя в берлинской его аудитории. Его идеи немедленно становились достоянием русской публицистики. Его историософское мировоззрение расслоило русскую интеллигенцию на партии. Конкретный характер гегельянства, как философии культуры, обусловил успех его в России и оплодотворение им русской науки. В 40-е годы рождается, в новом духе, русская гуманитарная наука, и с этой же поры университет получает воспитательное значение: рассадника идей и даже нравственных идеалов.

Тот настоящий культ, которым русское общество окружает имя своего любимого Московского университета, становится понятным лишь в атмосфере 40-х годов. Гегельянец Грановский[12], профессор всеобщей истории, был первым кумиром молодежи. На него смотрели как на учителя мудрости. Его расплывчатый идеализм и широкий кругозор в охвате событий всемирной истории импонировали аудитории, жаждущей увидеть в истории раскрытие Абсолютного Духа. Запад, античный,

средневековый и современный, был для русской интеллигенции предметом романтической любви, «страной святых чудес», по выражению Хомякова[13]. Борьба западников и славянофилов кончилась очень скоро и надолго торжеством западников — как в политических направлениях, так и в науке. Отсюда особое романтически-воспитательное значение, которое получает в России наука всеобщей, то есть западной истории.

Если большинство представителей всеобщей истории в России, естественно, были скорее философскими популяризаторами западной историографии, то к концу XIX века русские университеты и в этой области давали ученных исследователей, которые, специализируясь, внесли свой заметный вклад в историю отдельных европейский стран: Франции (Лучицкий[14], Кареев[15], Тарле[16]), Италии (Карсавин[17], Оттокар[18]), Англии (Виноградов, Петрушевский[19], Савин[20]). Московская школа особенно разрабатывала социально-экономическую историю Англии. О ее значении свидетельствует хотя бы тот факт, что профессор Виноградов, принужденный по политическим причинам оставить Россию, в Оксфорде сделался главою английской историко-юридической школы.

Но при всем романтизме западничества, русская история занимала, конечно, главное место в русском университете. Отцом ее современных школ был С. М. Соловьев (отец философа), современник и коллега Грановского в Москве. Ученик Гегеля, Соловьев не был, однако, абстрактным конструктором. Пройдя хорошую историческую школу на Западе, он являлся в России скорее фактическим историком типа Ранке[21]. Его огромная «История России» до сих пор не превзойдена по обширности материала. Соловьев был учителем В. О. Ключевского, самого увлекательного и даровитого из русских историков, который для многих поколений — с 70-х годов до нашего времени — создал одновременно художественный и научный образ русского прошлого. Ключевский умел сочетать с даром личных характеристик глубокое понимание социальных и классовых отношений. Не будучи марксистом, он был первым экономическим историком в России. Почти все новейшие русские историки вышли из его школы и разделяют с ним интерес к социально-политическим процессам, предпочтительно перед чистой политикой или духовной культурой. Впрочем, это, конечно,

не гегельянское влияние, а скорее реакция против него, наступившая в 60-х годах.

Западничество, как духовное направление, победило и в русской историографии. Славянофилов среди выдающихся историков не было. Они встречаются чаще среди исследователей русской духовной культуры: этнографов, историков древностей, литературы и пр. Но и в этой сфере не им принадлежит водительство. С 50-х годов здесь выделяется крупная фигура Буслаева[22]. Не будучи гегельянцем, он скорее связан с братьями Гримм[23] и западной мифологической школой фольклора. После краткого увлечения ею в 50-х годах в России началась реакция против нее, настолько сильная, что до самого последнего времени исследователи древней и народной литературы не выходили из границ сюжетного заключения и сложной филиации отдельных памятников. Вождем и авторитетом в этом сравнительно-историческом изучении был академик А. Н. Веселовский[24], человек громадной эрудиции, знавший до 50 языков и умевший прослеживать историю отдельных сюжетов сквозь литературы Востока и Запада. На Западе он чувствовал себя всего более дома — в итальянском средневековье и Возрождении. Он был основателем в России большой, и ныне процветающей школы романо-германистов — другой научный отпрыск русского западнического романтизма.

Быть может, самой русской литературе не очень повезло в русских университетах. Ее историки, в общем не отличались особой талантливостью, их детальные исследования в области русской старины и фольклора не привлекали внимание общества. Их главным недостатком было отсутствие всякого эстетического подхода к памятникам искусства. Новейшая русская литература изучалась исключительно под углом зрения публицистики, как история общественных идеалов. Лишь в начале XX века большое эстетическое движение в русской поэзии и литературе, известное под именем символизма и модернизма, впервые, после Пушкинской эпохи, восстановила в правах чистое искусство.

Проникая в академическую среду, оно привело к созданию молодой группы «формалистов», которая (в соответствии с современными тенденциями на Западе) изучает литературные явления со стороны формы, а не содержания. Эта моло-

дая блестящая группа[25], едва заявившая о себе к началу войны, сейчас после революции развернула широко свою работу. Здесь объяснение необыкновенного расцвета историко-литературных штудий при большевизме. То же нужно сказать и об истории искусства, науки молодой в России, которая лишь в XX веке завоевывает прочную почву в университетах. Пройдя период западного (преимущественно итальянского) романтизма и немецкой выучки, искусствоведение в России возвращается на свою родину: византийское и древнерусское искусство изучаются сейчас с таким мастерством, какому могут позавидовать на Западе.

Особняком стоит изучение древнерусского и церковно-славянского языков. Будучи преимущественно делом Академии Наук в XIX и XX веках, оно протекало в порядке узкоспециальных исследований, не привлекавших к себе общественного внимания. Ни крупных имен (назовем, однако, Бодянского[26], Срезневского[27]), ни больших идей в этой сфере, совершенно оторванной от изучения литературы, мы не встречаем вплоть до Шахматова[28]. Этот талантливый лингвист сумел применить свою незаурядную эрудицию к исследованию русских летописей и к проблемам доисторических судеб русского племени. Его гипотезы не всегда устойчивы, но в свете широких культурных выводов, лингвистические проблемы приобретают живой и волнующий интерес для всех исследователей русской культуры.

Тот же разрыв между официальной наукой и общественными настроениями губил те научные области, где, казалось бы, лежало прямое признание России: изучение славянства, Византии, Востока. На Запад, а не на Восток были устремлены взоры русской интеллигенции. Восток был ненавистен, как источник рабства и невежества. Славянофильство, предпринявшее реабилитацию православного Востока, скоро соскользнуло на путь политической и духовной реакции. Отсюда глубокое равнодушие русского общества к истории и культуре Востока и славян. Изучение Византии, в частности, было преимущественно делом антикваров-любителей. Окружающий Византию на Западе ореол романтической красоты был совершенно непонятен в русской среде — даже для самих исследователей византийской культуры. И, однако, Кондакову[29] принадлежит

почин в изучении византийского искусства, и его школа, как в России, так и заграницей (Прага) и сейчас занимает почетное место в византологи. Из русских историков Византии профессор Васильевский[30] был ученым большого стиля, хотя целиком ушедший в аналитическую работу. За годы революции смерть безжалостно скосила почти всех представителей русского византинизма. Но профессор Васильев[31], ученик Васильевского, на своей новой американской родине, дал лучший общий труд по истории Византии.

Изучение Востока для русских, европейско-азиатской Империи был делом жизненной необходимости. Потребность в образованных дипломатах и администраторах привела к созданию восточных институтов (факультет в Петербурге, институты в Москве и Владивостоке). Задачи миссионерской работы вызывали к жизни соответствующие церковные институты. Духовная академия в Казани и пекинская миссия (с начала XVIII века) оказали важные услуги русской ориенталистике. В Академии наук изучению Востока посвящали себя преимущественно ученые немцы. Со второй половины XIX века Россия давала выдающихся знатоков по филологии и истории Востока: Радлова[32] (монголоведа), Ольденбурга[33] (индолог), Бартольда[34] (историка Туркестана), Крымского[35] (арабист) и Марра (кавказовед). Но лишь перед самой войной нечто вроде подлинного увлечения Востоком проносится в русском воздухе — отголосок западных влияний. В эту же эпоху начинается и серьезное изучение древнего Востока. Б. А. Тураев[36] был крупным египтологом, оставившим школу, и сейчас работающую в России. Он же был исключительным знатоком абиссинских древностей. Христианский Восток, особенно в связи с деятельностью Палестинского общества и работой Русского Археологического института в Константинополе, составлял заметный отдел русской ориенталистики. Впрочем, настоящий перелом интересов и подлинное зарождение ориентализирующего романтизма начинается только с революции.

Трагична судьба классической филологии и истории в России. Ее московское прошлое, чуждое эллинистических влияний, не подготовило новую Россию к понимаю органической связи русской и европейской культуры с классической почвой. Русский эллинизм и латинизм были западного, и притом двой-

ного имперского или церковного происхождения. И, однако, в Александровскую эпоху (Александр I) классицизм был более, чем модой для России: на короткое время он стал формой ее национального сознания. В то время, как Петербург покрывался великолепными дворцами в стиле ампира, Карамзин одевает героев русской истории в римские тоги, а поэты Пушкинской эпохи живут среди олимпийских богов. Тогда начинаются первые археологические раскопки в Южной России на месте древнегреческих черноморских колоний. Эта черноморская археология, процветающая до настоящего времени, была самой живой, конкретной связью между Россией и классической древностью. Но интерес образованного общества с 50-х годов окончательно отходит от классицизма, проявляя почти прямую враждебность к этой «реакционной» сфере культуры. Она особенно усиливается с 80-х годов, когда правительство усиленно насаждает классическую школу в реакционных целях борьбы с современными веяниями. Приглашенные в Россию чехи-преподаватели, которые должны были неумеренными дозами грамматики заглушить реальный интерес к классической древности, надолго отравили всякий вкус к античности. Некоторая перемена начинает замечаться с конца XIX века. В это время талантливый филолог Ф. Ф. Зелинский[37] увлекательно воскрешает, по стопам Роде[38] и Виламовица[39], греческий духовный мир, а М. И. Ростовцев[40], идя за Моммзеном[41], показывает социальную и политическую историю древнего мира в ее аналогиях с современной культурой. При чрезмерной широте работ Ростовцева — он и историк, и филолог, и археолог — главным предметом его интересов остается социальная история эллинизма. Но чувство конкретного, воспитанное археологией, ведет его к южнорусским курганам и руинам античных городов, раскапывая которые, он воскрешает не только греческую, но и скифско-сарматскую культуру. Эти памятники как, вероятно, и новые влияния западной археологии — воспитывают в нем увлечение иранизмом, и в лице Ростовцева русская наука классической древности подает руку возрождающейся ориенталистике.

В XX веке Ростовцев не одинок. Школа классических филологов и историков, всегда сильная количественно (ибо покровительствуемая официально), крепнет и качественно. К сожа-

лению, революция поразила всего безжалостнее именно эту отрасль исторической науки, столь важную для русского гуманистического сознания. Ростовцев, работая в Америке и все время участвуя в раскопках в Азии, остается одним из первых, если не первым специалистом в своей научной области.

Не одна историческая и филологическая науки были оплодотворены в России гегельянским поветрием 40-х годов. Новая идейность оживила и юриспруденцию. История русского права в еще большей степени, чем политическая история, сделалась театром борьбы между западниками и славянофилами, которая в России, до известной степени, соответствует борьбе германистов и романистов конституционной истории Запада. Гегельянцем был Чичерин[42], крупнейший русский государствовед, быть может, вообще крупнейший из юристов-гегельянцев Европы. Его многотомная работа «История политической мысли» до сих пор еще не имеет себе равной и на Западе. Человек холодного и строгого ума, чуждый радикализму русских правых и левых течений, «либеральный консерватор» Чичерин остался чуждым большинству русских людей. Его не любили и не ценили. До известной степени это судьба юридической мысли в России. «Юридизм» есть слово поносное в русском языке; в отталкивании от юридизма Римской Церкви и вообще Западной Европы легко объединить большинство русских людей, даже весьма далеких от славянофильства. Психологические условия для юридической мысли в России максимально неблагоприятны. И, тем не менее, путем самопреодоления и научной аскезы Россия создавала и выдающихся юристов, даже цивилистов и романистов. Выдающимся цивилистом был Победоносцев[43], знаменитый государственных деятель реакционного направления, бывший душой русского правительства при Александре III.

В эпоху освободительной борьбы — борьбы за право — русский либерализм нашел среди цивилистов и романистов лучших теоретиков и вождей. Муромцев[44], Гримм[45], Пергамент[46] и другие. Впрочем, другие ветви проведения больше соответствовали общественным вкусам и русскому духовному складу. Реформа суда в 60-х годах создала русскую криминалистику с ее благоприятными традициями, с ее защитой личности, с теорией исправления, исключающей и возмездие, и социальную

защиту. В XX столетии русская криминалистика оставалась максимально противоположной германской и верной традициям прошлого столетия. Государственное конституционное право в его западническом направлении сделалось в России воплощенной политической пропагандой. Идеал западного правового и демократического государства был критерием для оценки русского государственного строя. Здесь поражение славянофильских теорий о русской монархии было полным. Зато русская мысль брала реванш в очень популярных в России дисциплинах «энциклопедии» и общей теории права. Философия права, при всей своей зависимости от западных течений, пробивалась к самобытному осознанию природы правовой жизни. В XX веке профессор Петражицкий[47] своей психологической теорией правового переживания создал себе огромную популярность, доказывающую приоритет конкретной личности над идеальной действительностью в русском сознании. Но в эти же годы возрождалась, на основе философского идеализма, естественная теория права. Князь Е. Трубецкой[48], один из ее представителей, а также Новгородцев[49] и другие юристы московской школы уже искали религиозного обоснования правовой нормы. Здесь, в области философии права, подготовлялся реванш славянофильства.

Потребность в синтетическом знании, возвышающемся над дифференциацией отдельных наук, сказался в пристрастии русского ума к социологии — к той неоформившейся области знания, которая заменила теологию в системе позитивизма. 60-е годы в России принесли крушение не только гегельянства, но и идеализма вообще. Для русской интеллигенции предоставлялся выбор между чистым материализмом и позитивизмом. Если за первым шли радикалы, то в университетской науке торжествовал Конт[50], Милль[51] и Спенсер[52]. Под знаком позитивизма создаются, начиная с конца 60-х годов, и русская социологические школы: Лаврова[53], Михайловского[54], Де-Роберти[55] и других. Научное значение их не велико. Однако их влияние на смежные отрасли знания было плодотворным. М. М. Ковалевский был энциклопедистом юридических и экономических наук, объединенных социологической точкой зрения. Нам приходилось указывать на сильное влияние социологии на историческую мысль: как Ключевский, так и Виноградов

об этом свидетельствуют. Помимо потребности в социологии, как в суррогате философии — в эпоху, когда философия была табу — социология соответствовала и социологическим идеалам русской интеллигенции с 60-х годов. Школа Лаврова-Михайловского, отнюдь не академическая по своим представлениям, была философским выражением революционного народничества. Сравнительно с западным позитивизмом и социализмом, русское в ней было — защита личности, поставленной целью общественного развития: ее защита и от общества.

Победа марксизма над народническим сознанием в 90-х годах, означающая поражение национальной школы социализма, ознаменована расцветом экономических наук. Буржуазная политическая экономия не дала в России особенно блестящих ученых. Единственный писатель 60-х годов с задатками крупного экономиста, к сожалению, не раскрывшимся, Чернышевский был социалистом-народником. Но русские марксисты сумели выдвинуть ряд действительно талантливых ученых. На целое десятилетие экономические вопросы заслонили в России даже политические, сделавшись основными («теологическими») для интеллигентского мировоззрения. Марксизм в своей ортодоксальной форме неблагоприятен для свободной научной мысли. Но, в отличие от политической жизни, где марксистская ортодоксия торжествовала в социалистическом лагере, экономическую науку двигали ревизионисты. Русские марксисты, как в экономике, так и в истории, во всяком случае, не имели себе равных на Западе. Правда, лишь для того, чтобы своей блестящей и изнутри направленной критикой разложить самый марксизм. Туган-Барановский[56], автор большого труда по истории русской фабрики, критиковал марксистскую теорию кризисов. П. Б. Струве[57], чрезвычайно разносторонний в своей эрудиции, глубже всего проявил себя в экономической истории, где шел своим путем, связывая экономические процессы, подобно Ключевскому, с духовной структурой общества. Впрочем, главное дело Струве, как экономиста, заключалось в теоретическом и историческом оправдании капитализма. В лице прежнего экономиста-марксиста С. Н. Булгакова марксистская социология, в ряде последовательных изменений, превратилась в христианскую церковную философию. И то и другое было характерно для последнего десятилетия русской мысли.

60-е годы, нанесшие такой удар гуманитарному идеализму, создали, впервые в России, благоприятную общественную среду для расцвета естествознания. Материализм этой эпохи был воспитан на физиологии. Переводные брошюры Бюхнера[58] и Молешота[59] стали на десятилетия евангелием русской передовой интеллигенции. Резать лягушек стало модным. Молодежь устремилась на естественные и медицинские факультеты. Русская литература отразила скорее уродливые формы этого увлечения. Но в те же годы создавалась на экспериментальной основе русская физиология. Базарову в литературе (роман Тургенева «Отцы и дети») соответствовал в лаборатории Сеченов[60], основатель русской физиологической школы, давшей по прямой линии знаменитого Павлова[61]. Дарвинизм в биологии был блестяще представлен Тимирязевым[62]. Немало серьезных зоологов и ботаников работало в России на рубеже последнего столетия. Изучение флоры и фауны необозримой России было, естественно, их главным научным делом. Но общие проблемы биологии также не оставались чуждыми русской науке. Мечников[63], один из «шестидесятников», сделался сотрудником Пастера[64] и его преемником в Парижском Пастеровском Институте. Если механицизм долго властвовал над умами русских биологов, то в последнем поколении молодых ученых наступила реакция в пользу витализма. Во всяком случае, в XX столетии естествознание в России не было связано с доктринерскими увлечениями. Оно развивалось свободно и широко, не нуждаясь в искусственной атмосфере модных веяний.

Вне всяких общественных поветрий развивались физика и химия. Прошло не менее ста лет после Ломоносова, когда его обещания были выполнены русской наукой. Среди русских физиков можно назвать московского профессора Лебедева[65], известного своими опытами по измерению давления света. Блестящая школа русских физиков, которые работают и сейчас в России (Рождественский, Йоффе), создалась задолго до революции. Среди химиков первое место, конечно, принадлежит Менделееву, открывшему периодическую систему элементов. Менделеев был и в своем характере и в своей личной жизни очень русским человеком, далеким от типа узкого специалиста и от абстрактного идеализма русской интеллигенции. Его интерес и любовь были очень широки. Русский патриот, он изучал

Россию, более всего вглядываясь в возможности развития ее производительных сил. В этом смысле он является учителем современных поколений в России. Свою личную независимость он отстаивал и против давления власти и против либерального общественного мнения. Он предпочел оставить университет (не науку), когда его личное достоинство было задето бестактностью министра. Менделееву русская химия обязана своим расцветом и широтою своих научных задач.

Еще дальше от общественной жизни и текущих идей в «башне из слоновой кости» (la tour d'ivoire[66]) работа математика. Если аналитический рассудок кажется чуждым русскому уму (ср. его анти-юридизм), то дар комбинации и творческое воображение не чужды русскому гению. От Лобачевского до академика Маркова[67] Россия имела немало крупных математиков. Среди них известно имя знаменитой женщины, Софии Ковалевской[68], судьба которой тесно связана с Западной Европой. Быть может, мировые достижения русских шахматистов (Чигорин[69], Алехин[70]) представляют ближайшую аналогию гению русской математики.

Как ни странно это может показаться, при синтетической и целостной тенденции русского ума, но именно философия встретила для своего развития наибольшие затруднения. Это объясняется, вероятно, конкретным характером русского мышления. Место философии, как обобщающей царицы наук, незаконно занимают узурпаторы: естествознание, социология, экономика. Еще в самом начале XIX века русские баснописцы (Крылов, Хемницер[71]) бросали стрелы в метафизиков. Император Николай I просто изгнал философию из университетов из предубеждения против «идеи». Долгое время русская философия теплилась в духовных академиях под ферулой теологии. В 60-е годы и последующие годы радикальное общество презирало философию из-за ее неистребимого спиритуалистического душка. Во всяком случае, долго всякая философия, кроме материалистической, почиталась реакционной. Настоящее философское возрождение начинается только с зарей XX века. Больше других сделал для него известный Владимир Соловьев, скончавшийся в самом начале века (1900 г.). Но Соловьев был, прежде всего, оригинальным и блестящим богословом и публицистом. Его философская мысль, острая в критике немецких

школ, не создала своей системы. Однако им был разбужен интерес к проблемам духа. Задавленная в России идеалистическая философия воскресает и отмечает свое пробуждение сборником «Проблемы идеализма» (1901 г.). На университетских кафедрах господствует занесенное из Германии неокантианство, но за ним идет и возрождение метафизики. Славянофильское задание целостного знания (воспринятое из идеалов романтизма), наконец, получает свое осуществление в самобытной школе русской философии. «Интуитивизм» Лосского[71], «идеал-реализм» Франка[72] ищут точки опоры для русской философской идеи в платонизме, в средневековом реализме, в современном интуитивизме Бергсона[73]. Но они дают и оригинальные гносеологические исследования. Однако это мощное философское движение сразу же обнаруживает неудовлетворенность чистой философией. Оно тяготеет к идеалу религиозного знания. Для многих представителей этой школы философия была лишь мостом к православной теологии, воздвигаемой на новых философских основах. Конкретность и жизненная устремленность русской мысли проявились и здесь. Во всяком случае, это философское движение не сказало своего последнего слова и было насильственно оборвано революцией, которая изгнала из России (1922 г.) почти всех представителей этого направления[74].

В заключение важно отметить, что революция застала русскую науку, в противоположность русской государственности, в состоянии наивысшего ее расцвета. И качественно и количественно второе десятилетие XX века было апогеем русской науки. Самые главные препоны, тормозившие ее развитие — политические — пали с первой революцией 1905 года. Новый университетский устав дал автономию[75], обеспечившую относительно, конечно, свободу академических корпораций. Пала цензура. Русская молодежь, как и большинство общества, перестала видеть в политике главное содержание жизни. Огромный запас интеллектуальных и моральных сил, которые расходовались, не считая, на дело революции, устремись по линии культурной, прежде всего, научной работы. В университетах процветали научные общества. Занятия производились по семинарскому методу, заимствованному из Германии. Университеты сделались, наряду с Академией, центрами научной работы, которая захватывает молодежь с первых лет ее сту-

денческой жизни. Петербургский и Московский университеты (последний, несмотря на политическую сецессию[76] профессоров в 1911 году[77]) стоят в ряду лучших высших школ Европы. Тысячи молодых ученых готовят в семинарах и лабораториях смену своих учителей. Революция нашла готовыми эти огромные кадры молодых научных работников и до сих пор живет за их счет. Их энтузиазм и самоотверженная энергия, преодолевая разрушительные тенденции революции, создают те научные достижения, которые составляют сейчас на Западе лучшую рекламу Советской России.

Примечания

В состав VII-го тома собрания сочинений Г. П. Федотова вошли его статьи из журнала «Новая Россия», выходившего в Париже под редакцией А. Ф. Керенского с 1936 по 1940 годы. (Всего вышло 84 номера.) В нем печатались многие деятели русской эмиграции. В литературной части принимали участие: Г. Адамович, А. Ремизов, М. Алданов, Ю. Фельзен, Б. Суворин, З. Гиппиус. В состав тома вошли статьи из журналов «Новый град» и «Современные записки». А также из третьего номера альманаха — «Круг» и статья из «Владимирского сборника», выпущенного в Белграде. Хронологически статьи Федотова охватывают конец 30-х годов прошлого столетия и завершают европейский период творчества мыслителя. Также публикуется статья Федотова «Заветы первохристианства», впервые увидевшая свет в ежемесячном религиозно-нравственном журнале, выпускавшимся Братством имени преподобного Сергия Радонежского при Православном Богословском Институте. Впервые публикуются ранее неизвестные работы Федотова, написанные им по просьбе русского дипломата Н. А. Базили для книги, предназначавшейся для иностранной аудитории.

И все же основной состав VII-го тома — статьи, посвященные событиям, происходившим в СССР. Федотов внимательно следил за всем, что происходило на родине и откликался на самые значимые события. Сегодня становится ясным, что советскость — это не принадлежность в той или иной степени к большевистской идеологии, а состояние души русского человека, угаданное еще в XIX столетии и ярко раскрытое Салтыковым-Щедриным, Достоевским и Лесковым. В состав тома также вошла основополагающая для культурологии статья Федотова из журнала «Новый Град» — «Эсхатология и культура». Публикуется также статья о Петре I, увидевшая свет лишь после смерти мыслителя.

В докладе, подготовленном к 125-летию со дня рождения мыслителя, профессор Сорбонны Н. А. Струве отмечал важную черту его публицистики: «После книг о русской святости Федотов отдался целиком своему изначальному призванию — публицистике — хотя опять-таки это слово не совсем точно выражает жанр, избранный Федотовым, точнее тот жанр, который

был присущ его гению. В нем он пожалуй не имеет себе равных, разве, что в лице моего деда, П. Б. Струве (кстати было бы интересно сопоставить их дарования в этой области: емкость, краткость, отсутствие повторений свойственны им обоим, но звучание языка у каждого иное, у Петра Струве более мажорное, у Федотова несколько мягче, мелодичнее). Большинство статей Федотова посвящены России, ее трагедии...

Но не только: есть в них и богословские перлы, которые не легко привести в систему. Федотов – анти-системник. Его мысль – действенна. Не случайно он был убежденным членом Русского Студенческого Христианского движения, а затем вышедшего из него «Православного Дела» и «Нового Града», уже детище самого Г. П. Федотова... Один мой родственник, еще его заставший в парижские годы, на мой вопрос каким он был в обществе, ответил «он молчал». Юрий Иваск, со своей стороны, писал в некрологе о нем: «если мы станем искать слово-ключ, слово символ, связующий характер и самосознание Федотова, то слово это уже найдено – молчание». Такова тайна и предельная антиномичность Георгия Федотова: молчальника в жизни, на людях, но написавшего столь много проницательных, глубоких, иной раз и пророческих слов, очевидно именно во внутреннем молчании и родившихся.»

Профессор Женевского университета, известный славист Жорж Нива заметил, что Федотов был недооценен как при жизни, так и после смерти не только в эмиграции, но и в новой, демократической России: «Надо сказать, что в русской мысли редко встречается такое уравновешенное, мудрое в христианском и в гражданском смысле понимание человека в обществе и общества в человеке. Замечательно, утверждая, что «свобода зарождается в средневековье, и достигает своего полного развития в XIX веке», Федотов приводит английскую Великую хартию и английское понятие «Habeas corpus» (название закона о свободе личности, принятом английским парламентом в 1679 году – по первым словам текста: «Вы будете иметь...») как первые ростки свободы.

Федотов видит в двоевластии (церковь-империя) и в двоеподданстве (республика небесная – республика земная – как это блистательно определено в знаменитом анонимном «Послании к Диогнету») залог настоящей свободы, христианской свободы. «Церковь брала себе душу, королевство тело». Федотов видит зарождение свободы в современном, демократическом смысле этого понятия в феодализме, в отношении вассала к сюзерену, то есть в ограничении власти сюзерена. В современных обществах весь народ унаследовал права баронов, взбунтовавшихся за Magna Charta (Великую хартию).

В итоге Федотов видит два необходимых начала для осуществления свободы: плюрализм власти и абсолютный характер норм (религиозных норм). Это в русской историософии весьма редкий и оригинальный подход. Также оригинальна его хронология русской истории: Москва как «двухвековой эпизод русской истории окончившийся с Петром» с точки зрения культуры и политики, но продолжившийся еще до 1861 года для народа, купечества и духовенства.

Смелость этих взглядов, их независимость от общей шаблонной философии русской государственности и от навязчивой «мегаломании», до сих пор между прочим, бытующей у немалой части русского общественного мнения, выделяют Федотова, как первооткрывателя русской политической мысли

и для русской религиозной мысли. Он стоит рядом с Владимиром Соловьевым и с Василием Ключевским. Но его мысль более целостна (и наверно чуть менее гениальна), чем мысль Соловьева; она более европейская, чем мысль Ключевского. Некоторые аспекты и ключевые понятия западной мысли и западного христианства использованы им и реабилитированы. В эмиграции его роль выделяется особенно.»

Составитель приносит благодарность всем, кто помогал в работе над томом — внучке мыслителя Татьяне Рожанковской-Коли, доктору исторических наук А. В. Антощенко (Петрозаводск), игумену Игнатию (Крекшину) (Роттенбург), Н. А. Струве (Париж), Ричарду Дэвису (Лидс, Великобритания), писателю и поэту Н. К. Бокову (Париж), А. Н. и Л. Б. Пановым (Москва).

Особая благодарность — доктору философских наук В. К. Кантору (Москва), обратившему внимание на досадную оплошность, допущенную нами в VI томе. Статья «Германия проснулась», опубликованная в «Новом Граде» № 7 за 1932 год без подписи и внесенная вдовой мыслителя в Библиографию его трудов, принадлежит Ф. А. Степуну, который в то время проживал на территории Германии.

Судьба одной «гнилой концепции»

Первая публикация в журнале «Новая Россия», № 1, 1936 год. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Тяжба о России», Париж, 1982 год. В газете «Известия ЦИК СССР» № 18 (5875) 21 января 1936 года была опубликована статья Н. И. Бухарина, посвященная годовщине смерти В. И. Ленина. Статья называлась — «Наш вождь, наш учитель, наш отец» (С. 2.) Н. И. Бухарин в то время был ответственным редактором «Известий». 10 февраля 1936 г. «Правда» поместила статью «Об одной гнилой концепции». Вероятнее всего автором ее был Сталин. В ней давалась острая отповедь утверждению Бухарина о том, что в России до 1917 года «господствовала нация Обломовых». Автор статьи стремился опорочить Бухарина. И давал ему в приказном тоне совет исправить свою концепцию «в кратчайший срок и с необходимой четкостью».

[1] Внимание Сталина привлек отрывок из статьи Бухарина: «Какие нетерпимые! Какие фанатики!» — кричали со всех сторон и в либеральной среде, и в среде революционного подполья. Но нужны были именно большевики — нетерпимые, стойкие, закаленные солдаты революции, ее стальные вожди, соединение последнего слова науки с последним словом практики, чтобы из аморфной, малосознательной массы в стране, где обломовщина была самой универсальной чертой характера, где господствовала нация Обломовых, сделать «ударную бригаду мирового пролетариата!»

Фельдфебеля — в Буало

Первая публикация в журнале «Новая Россия», № 2, 1936 год. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Тяжба о России», Париж, 1982 год.

[1] 28 января 1936 года вышла редакционная статья «Сумбур вместо музыки» в газете «Правда» об опере Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского

уезда». В ней были высказаны такие суждения: «Некоторые театры как новинку, как достижение преподносят новой, выросшей культурно советской публике оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Услужливая музыкальная критика превозносит до небес оперу, создает ей громкую славу. Молодой композитор вместо деловой и серьезной критики, которая могла бы помочь ему в дальнейшей работе, выслушивает только восторженные комплименты. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный, сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, и снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой «музыкой» трудно, запомнить ее невозможно. <...> Это музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот», — так, чтобы ничто не напоминало классическую оперную музыку... Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. «Леди Макбет» имеет успех у буржуазной публики за границей. Не потому ли похваливает ее буржуазная публика, что опера эта сумбурна и абсолютно аполитична?..»

Одному из своих адресатов Шостакович писал зимой этого же года: «26-го (января) я приехал в Москву.<...> Шла «Леди Макбет». На спектакле присутствовали товарищ Сталин и тт. Молотов, Микоян и Жданов. Спектакль прошел хорошо. После конца вызывали автора (публика вызывала), я выходил раскланиваться... Со скорбной душой... поехал на вокзал... У меня неважное настроение».

[2] Марр Николай Яковлевич (1864–1934) — российский и советский востоковед, филолог, историк, этнограф и археолог, академик Императорской академии наук (1912), затем академик и вице-президент АН СССР. После революции получил известность как создатель «яфетической теории» происхождения языка.

[3] Морозов Николай Александрович (1854–1946) — русский революционер-народник. Член кружка «чайковцев», «Земли и воли», исполкома «Народной воли». Был участником покушений на Александра II. В 1882 году был приговорён к вечной каторге, до 1905 года находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Почётный член Академии наук СССР. С 1918 года и до конца жизни — директор Естественно-научного института им. П. Ф. Лесгафта. Автор ряда книг, в которых пытался пересмотреть проблемы всемирной истории, «сместив» всю хронологию истории, в частности истории христианства — «Откровение о грозе и буре» (1907), «Пророки» (1914), «Христос» (в 7 т., 1924–1932). Эти произведения подвергались резкой критике со стороны профессиональных историков ещё в дореволюционное время.

Лен зеленой

Первая публикация в журнале «Новая Россия», № 3, 1936 год. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Тяжба о России», Париж, 1982 год.

[1] Альтман Иоганн Львович (1900–1955) — советский литературовед, литературный и театральный критик. Главный редактор газеты «Советское искусство» (1936–1938) и первый редактор журнала «Театр» (1937–1941).

[2] СНК — Совет народных комиссаров РСФСР (Совнарком РСФСР, СНК РСФСР) — название правительства Советской России с 1918 до 1946 года.

Первоначально был сформирован декретом II Всероссийского Съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов как Совет народных комиссаров. В состав СНК входили народные комиссары, руководившие народными комиссариатами (наркоматами).

[3] Керженцев Платон Михайлович (настоящая фамилия Лебедев) (1881–1940) – советский государственный и общественный деятель, революционер, экономист, журналист. С 1936 по 1938 годы был председателем Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР – знаменит тем, что закрыл театр Мейерхольда.

[4] Веснин Виктор Александрович (1882–1950)– русский и советский архитектор, преподаватель и общественный деятель, представитель авангардного и неоклассического направлений в архитектуре. Главный архитектор Наркомтяжпрома (1934), председатель Союза архитекторов СССР (1937–1949), первый президент Академии архитектуры СССР (1936–1949), действительный член АН СССР (с 1943).

[5] Гинзбург Моисей Яковлевич (1892–1946)– советский архитектор, практик, теоретик и один из лидеров конструктивизма.

[6] Кирпотин Валерий Яковлевич (1898–1997)– советский литературовед, критик, заслуженный деятель науки РСФСР (1969). Был секретарём Максима Горького, затем заместителем директора Ленинградского отделения института литературы и языка Комакадемии, членом редакции журнала «Проблемы марксизма». В 1932–1936 гг.– заведующим сектором художественной литературы ЦК ВКП(б) и, одновременно, секретарём оргкомитета Союза писателей СССР. Один из самых яростных гонителей всего талантливого, что появлялось в литературе советского периода

[7] Павлов Иван Петрович (1849–1936) – учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии (1904).

[8] Леонов Леонид Максимович (1899–1994)– советский писатель.

[9] Лосев Алексей Федорович (1893–1988) – русский философ и филолог, доктор филологических наук (1943). В 1915 году окончил историко-филологический факультет Московского университета по двум отделениям – философии и классической филологии. Сблизился со многими религиозными философами. Был собеседником Семёна Франка, Николая Бердяева, Валентина Асмуса и учеником Павла Флоренского. Поскольку философию ему преподавать не разрешалось, занимал должность профессора Нижегородского университета и Московской консерватории (1922). После ареста и однолетнего пребывания на Белбалтлаге получил разрешение на преподавание античной эстетики во 2-м МГУ и Государственной академии художественных наук; научный сотрудник Государственного института музыкальной науки (1922), работая в котором, внёс большой вклад в развитие философии музыки.

В 1929 году вместе с женой Валентиной Михайловной Лосевой был тайно пострижен в монахи одним из афонских старцев. Супруги Лосевы приняли монашеские имена Андроник и Афанасия. Из монашеского облачения носил только скуфью – шапочку на голове. После смерти Сталина у Лосева вновь

появилась возможность публиковать работы. В его библиографии более 800 произведений, более 40 из них монографии. Учёный также сотрудничал с «Философской энциклопедией» и 3-м изданием БСЭ; позднее — с энциклопедией «Мифы народов мира» и «Философским энциклопедическим словарём».

[10] Вельфлин Генрих (1864–1945) — швейцарский писатель, историк, искусствовед, теоретик и историк искусства.

[11] Рождественский Дмитрий Сергеевич (1876–1940) — русский советский физик, основатель и первый директор (1918–1932) Государственного оптического института (ГОИ), один из организаторов оптической промышленности в СССР, академик АН СССР (1929). В 1908 году женился на Ольге Антоновне Добиаш, впоследствии известном историке и палеографе, члене-корреспонденте АН СССР (1929).

[12] Иоффе Абрам Федорович (1880–1960) — российский и советский физик, организатор науки, именуемый «отцом советской физики», академик (1920), вице-президент АН СССР (1942—1945). Крупнейшей заслугой А. Ф. Иоффе является основание уникальной физической школы, которая позволила вывести советскую физику на мировой уровень.

[13] юные спартанцы... — намек на монархическую организацию «Молодая Россия», созданную в эмиграции Александром Казем-Беком. Младороссы афишировали свой патриотизм и приверженность к дореволюционной России.

Более подробно см. М. Массип «Истина-дочь времени, Александр Казем-Бек и русская эмиграция на Западе». М., 2010.

Защита России

Первая публикация в журнале «Новая Россия», Париж, 1936. № 4. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — русский историк, общественный деятель и публицист.

[2] Трубецкой Павел (Паоло) (1866–1938) — скульптор и художник. В Петербурге Трубецкой участвовал в выставках художественного объединения «Мир искусства». Вскоре после приезда в Россию Трубецкой принимает участие в конкурсе по созданию памятника Александру III, где, неожиданно для всех, получил первую премию. Трубецкой за неделю вылепил полноразмерный глиняный образец конного памятника. Для этой статуи мастеру позировал фельдъегерь Павел Пустов, грузным телосложением напоминавший царя. Многие члены императорской семьи были против установки памятника, считая его карикатурой. Сам же скульптор шутил: «Моя цель — изобразить одно животное на другом». Лишь благодаря неожиданному благоволению вдовствующей императрицы работу было дозволено довести до конца. Памятник был установлен в Санкт-Петербурге в 1909 году.

Что должен помнить возвращенец?

Первая публикация в журнале «Новая Россия», № 5, 1936 год. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] нансеновский паспорт — международный документ, который удостоверял личность держателя, и впервые начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства. Этот документ был разработан в 1922 году норвежцем Фритьофом Нансеном, комиссаром Лиги Наций по делам беженцев. Вначале он выдавался россиянам, а впоследствии и другим беженцам, которые не могли получить обычный паспорт. Был введен по решению созванной в Женеве конференции. Лица, имевшие нансеновский паспорт пользовались правом перемещаться в странах-участницах конференции и в их отношении не действовали ограничения, предусмотренные для лишенных гражданства лиц. Решением Лиги Наций 12 июля 1924 года нансеновские паспорта получили около 320 000 армян, спасшихся от геноцида 1915 года и рассеявшихся по многим странам. В 1941 году этот паспорт признали правительства 52 государств, и он стал первым документом для беженцев.

Конец педократии

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 6, 17 мая 1936 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Косарев Александр Васильевич (1903–1939) — советский комсомольский, партийный и государственный деятель 1920–1930-х годов, 7-й первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1929–1938). Осенью 1938 года был арестован, а в начале 1939 года расстрелян.

[2] Миланский эдикт — 13.06.313 года императором Константином Великим издан Миланский эдикт о веротерпимости, ознаменовавший победу христианства над язычеством и начало христианизации Римской империи. Упоминая Миланский эдикт, Г. П. Федотов говорит о решительной перемене в области внутренней политики СССР, предпринятой Сталиным.

На смерть Горького

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 9, 1 июля 1936 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] наибольшая общественная активность Горького проявилась в основанной им газете «Новая Жизнь». Газета поддерживала демократию и призывала к удержанию завоеваний Февральской революции 1917 года и развитию социалистического общества во главе с Советами. В своих статьях Горький осуждал бессмысленность войны и разоблачал стремление Временного правительства к победному концу войны. Столь же беспощадно он обличал репрессивную политику большевиков во время Гражданской войны, что привело к закрытию газеты. В начале 20-х годов Горький вынужден был покинуть Россию.

[2] посетив вместе с группой советских писателей сначала первый концентрационный лагерь на Соловках, а затем Беломоро-Балтийский канал, который строился силами заключенных, Горький так писал о беломорских заключенных: «Там было порядочное количество деревенских кулаков. Это были наиболее «трудновоспитуемые» люди. В сопротивление законным требованиям государства они доходили до мрачной жестокости. Один из них, спрятав 450 пудов

зерна, допустил умереть от голода двух детей своих и жену и сам отощал до полусмерти. Но и в этих полулюдях, идолопоклонниках частной собственности, правда коллективного труда пошатнула зоологическое индивидуальное».

Максим Горький. Соловки. Очерк. Журнал «Наши достижения», 1929.

Оттуда

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 11, 1 августа 1936 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] «Гетевские ванны» — Федотов поднимает одну из важнейших проблем русского мировоззрения: жизнь мыслящего человека без веры. Далее он развивает свою мысль: «Гете для натур пассивных (всеединство) и Гегель для натур активных (диалектика) в нашу эпоху дают возможность жить людям, не имеющим веры. Гете и Гегель снижают трагедию, освобождая от сознания добра и зла.» Он словно напоминает знаменитое откровение Паскаля о необходимости живой и действенной связи человека с Высшим: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых».

[2] Academia – книжное издательство Петербургского философского общества при университете, существовавшее в 1921–1937 годах в РСФСР, затем СССР. Известно великолепными изданиями с иллюстрациями известных художников классической литературы. С издательством сотрудничали многие известные переводчики и художники.

Шестнадцать

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 12, 15 сентября 1936 года.

Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Томский Михаил Павлович (настоящая фамилия – Ефремов) (1880–1936) — советский партийный и профсоюзный деятель. В 1922–1929 годах — председатель ВЦСПС. В 1925 году совместно со Сталиным, Бухариным, Рыковым выступал против «Новой оппозиции» Зиновьева и Каменева. В январе — феврале 1929 года Томский вместе с Бухариным и Рыковым выступил против свёртывания НЭПа и форсирования индустриализации и коллективизации. 9 февраля 1929 года Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и М. П. Томский направили совместное заявление Объединенному заседанию Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ЦКК. На апрельском Пленуме ЦК в 1929 году Сталин объявил эту позицию «правым уклоном». Пленум принял решение снять Томского с поста председателя ВЦСПС. Это решение было исполнено в мае того же года на пленуме ВЦСПС. В августе 1936 года в ходе судебного процесса «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра» Г. Зиновьев и Л. Каменев неожиданно стали давать показания о причастности Томского, Рыкова, Бухарина к контрреволюционной деятельности. 22 августа 1936 года А. Вышинский заявил, что прокуратура начала расследование в отношении этих лиц. Прочитав сообщение об этом, опубликованное в газете «Правда», Томский застрелился у себя на даче в подмосковном посёлке Болшево.

[2] Абдул-Гамид – имеется в виду Абдул-Хамид II (1842–1918) – султан Османской империи. Правил в 1876–1909 годах. Пытался установить режим единоличной власти и сохранить территориальную целостность империи, опираясь на идеологию панисламизма. Упоминается Г. П. Федотовым как символ неограниченной власти.

[3] Висконти – речь идет о Лукино Висконти (1287 или 1292–1349)– представитель дома Висконти, правитель Милана с 1339 по 1349 годы (совместно со своим братом Джованни). Будучи талантливым полководцем и правителем, Лукино был человеком жестоким, подозрительным и злопамятным.

[4] Раковский Христиан Георгиевич (настоящая фамилия Станчев, урождённый болгарин Кръстьо Раковски) (1873–1941) – советский политический, государственный и дипломатический деятель. С января 1919 по июль 1923 года председатель СНК и нарком иностранных дел Украины. В 1927 году был снят со всех должностей, исключен из ЦК и на XV съезде ВКП(б) исключён из партии в числе 75-ти «активных деятелей оппозиции». Особым совещанием при ОГПУ приговорён к 4 годам ссылки и выслан в Кустанай, а в 1931 году вновь приговорён к 4 годам ссылки и выслан в Барнаул. Долгое время отрицательно относился к «капитулянтам», возвращавшимся в партию для продолжения борьбы, но в 1935 году вместе с другим упорным оппозиционером, Л. С. Сосновским, заявил о своём разрыве с оппозицией. В 1936 году был вновь исключён из партии, а в начале 1937 года арестован.

Содержался во внутренней тюрьме НКВД. В течение нескольких месяцев отказывался признать себя виновным, но в конечном счёте был сломлен и в марте 1938 года предстал на процессе по делу «Антисоветского правотроцкистского блока». Признал себя виновным в участии в различных заговорах, а также в том, что был японским и английским шпионом. 13 марта 1938 года оказался в числе трёх подсудимых (наряду с Бессоновым и Плетнёвым), кто был приговорён не к расстрелу, а к 20 годам тюремного заключения. В последнем слове заявил: «Наше несчастье в том, что мы занимали ответственные посты, власть вскружила нам голову. Эта страсть, это честолюбие к власти нас ослепило». Наказание отбывал в Орловском централе. После начала Великой Отечественной войны Раковский, как и осуждённые вместе с ним Бессонов и Плетнёв, был расстрелян.

Преображенский Евгений Алексеевич – (1886–1937) партийный и государственный деятель, экономист, соратник Ленина, член большевистской партии с 1903 года. После октябрьского переворота 1917 года работал председателем Главпрофобра, был членом коллегии Наркомфина, возглавлял Финансовую комиссию ЦК РКП (б) и Совнаркома, созданную по предложению Ленина для разработки вопросов финансовой политики в связи с переходом к НЭПу. В годы правления Сталина неоднократно арестовывался и подвергался ссылкам. Последний раз был арестован в начале 1937 года. 13 июля этого же года уголовное дело по обвинению Преображенского в руководстве «Молодёжным троцкистским центром» и участии в контрреволюционной террористической организации было рассмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР. Он был приговорён к расстрелу, и в тот же день приговор был приведён в исполнение.

Тучи над Францией

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 13, 1 октября 1936 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Блюм Леон (1872–1950) – французский политический деятель, лидер социалистической партии. Родился в богатой еврейской семье, окончил аристократический лицей и Высшую школу, начинал как театральный и литературный критик. Дело Дрейфуса привело его в ряды социалистического движения. Блюм выдвинулся во время Первой мировой войны, став начальником кабинета министра социалиста Самба. В 1919 году был впервые избран в палату депутатов. С 1920 года – бессменный председатель социалистической партии. По отношению к Советскому Союзу занимал враждебную позицию. Победа фашизма в Германии и нарастание фашистской опасности во Франции усилили среди французских рабочих стремление к созданию единого фронта. Под давлением левого крыла социалистической партии Блюм согласился на переговоры с коммунистической партией о единстве действий против фашизма, 27 июня 1934 пакта между коммунистической и социалистической партиями было подписано соглашение. На выборах 1936 года Народный фронт одержал победу, и было создано первое правительство, опирающееся на Народный фронт, во главе с Блюмом.

[2] new deal – «Новый курс» – название экономической политики, проводимой администрацией Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 года с целью выхода из масштабного экономического кризиса, охватившего США с 1929 по 1933 годы. Часть нововведений Рузвельта, например, программа социального страхования, Федеральная корпорация по страхованию вкладов и Комиссия по ценным бумагам и биржам действуют до сих пор.

[3] Fata nolentem trahunt (лат.) – «желающего судьба ведёт, нежелающего – тащит» – фраза, впервые высказанная греческим философом Клеанфом, впоследствии переведённая Сенекой.

Пассионария

Первая публикация в журнале «Новая Россия» №14, 15.10.1936 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год. Эта статья является наиболее спорной в публицистическом наследии Г. П. Федотова. Она вызвала ярость в лагере российских монархистов. На митрополита Евлогия было оказано давление с тем, чтобы он уволил Федотова из числа профессоров Свято-Сергиевского богословского института. Началась травля мыслителя в парижской эмигранткой прессе. Более подробно эти моменты его творческой биографии освещены в томе XII собрания сочинений.

[1] Ибаррури Долорес Гомес, партийная кличка – Пассионария (исп. «страстная»), (1895–1989) – член международного коммунистического движения, активный участница республиканского движения в годы Гражданской вой-

ны 1936–1939 годов. Длительное время жила в СССР (в начале 1960-х годов получила советское гражданство), а её единственный сын, Рубен, вступил в Красную Армию и погиб в битве под Сталинградом в 1942 году. С 1960 года до конца жизни – председатель Коммунистической партии Испании. После смерти Франко и легализации партий при Хуане Карлосе I вернулась в Испанию и в 1977 году избрана депутатом кортесов.

[2] Маццини, точнее – Мадзини Джузеппе (1805–1872) – итальянский политик, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в Италии в XIX веке.

[3] Фельзен Юрий (настоящее имя – Николай Бернардович Фрейденштейн) (1894–1943) – русский писатель, прозаик, литературный критик, представитель «литературной молодежи» в русской эмиграции. Погиб в нацистском лагере смерти Освенциме.

[4] защитники Ируна – речь идет об одном из эпизодов Гражданской войны и о городе на севере Испании. Защитники Ируна получили подкрепление в виде нескольких сотен милиционеров из Каталонии, которые добрались до Басконии через юг Франции. 8 августа французское правительство закрыло границу с Испанией. Город был осаждён националистами и после упорного сопротивления капитулировал в сентябре 1936 года. При этом значительная часть города была уничтожена отступающими республиканцами.

[5] Де Ля Рокк Франсуа (1885–1946) – французский подполковник, участник боевых действий в Алжире и Польше. Он признавался, что слово «демократия» его всегда изумляло, ибо правительство, управляющее от имени народа и формируемое в ходе волеизъявления каждого гражданина, которое не несет при этом никакой ответственности за содеянное, кажется ему опасным. С первых лет создания организации «Огненные кресты» де Ля Рокк был активным участником, а в 1932 году стал президентом ассоциации. Под его руководством аполитичная организация бывших фронтовиков превратилась в ультраправую лигу.

[6] Сид Кампеадор, более известный как Эль Сид Кампеадор, настоящее имя Родриго Диас де Вивар (1041–1099) – кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля.

Испания и Россия

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 15, 1 ноября 1936 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Майский Иван Михайлович (настоящие имя – Ян Ляховецкий) (1884–1975) – советский дипломат, историк и публицист. В 1932–1943 годах был чрезвычайным и полномочный послом в Великобритании. 23 октября он официально объявил одному из идеологов «невмешательства» английскому дипломату лорду Плимуту о фактическом отказе СССР от участия в политике невмешательства в гражданскую войну в Испании.

[2] Плимут Айвор Майлс Виндзор-Клайв (1889–1943) аристократ, политик-консерватор, особую известность получил как сопредседатель Международного комитета по воспрепятствованию иностранной интервенции во время Гражданской войны в Испании.

[3] Радек Карл Бернгардович (настоящее имя Кароль Собельсон) (1885-1939) — советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения. В 1936 году исключён из ВКП(б) и 16 сентября того же года арестован. В качестве одного из главных обвиняемых был привлечён к открытому процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Стал центральной фигурой процесса, давал требуемые подробные показания о якобы «заговорщицкой деятельности» — своей и других подсудимых; при этом отрицал применение пыток на следствии. По официальной версии был убит в Верхнеуральском политизоляторе другими заключёнными.

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) — советский партийный и государственный деятель. Как один из главных обвиняемых привлечён к процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». 30 января 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к смертной казни. Расстрелян.

[4] tremblez tyrans (фр.) — тираны трепещут.

[5] Дорио Жак (1898–1945) — французский политик. В 1924–1934 годах — член политбюро ЦК Французской коммунистической партии. В 1936–1945 — лидер ультраправой Французскрй национальной партии. Жак Дорио вошёл в историю как антикоммунист, фашист и коллаборационист. Однако коммунистический период его политической биографии продлился 14 лет, фашистский — менее 9 лет.

[6] Аксьон франсез (буквально — «Французское действие») — монархическая политическая организация, возникшая во Франции в в 1899 году под руководством Шарля Морраса и организационно оформившаяся в 1905 году. Под этим названием просуществовала до 1944 года.

«Вместо предисловия» к книге Андрэ Жида

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 17, 1 декабря 1936 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] итинерарий (лат. *itinerarium* — «описание путешествия») — род античной литературы, представляющий географическое описание в прозе какого-либо пути со всеми его особенностями, существенными для путешествующего. Включал в себя необходимые исторические комментарии и указания на местные достопримечательности. Прообраз современных путеводителей.

СССР и фашизм

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 18, 20 декабря 1936 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Литвинов Максим Максимович (1876–1951) (настоящее имя — Меер-Генох Моисеевич Валлах) — советский дипломат и государственный деятель.

[2] этатизм – идеология, абсолютизирующая роль государства в обществе и пропагандирующая максимальное подчинение интересов личностей и групп интересам государства, которое полагается стоящим над обществом.

[3] педология (от греч. pais – дитя и logos – слово) – течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже XIX–XX вв., обусловленное проникновением эволюционных идей в педагогику и психологию, развитием прикладных отраслей психологии и экспериментальной педагогики. В 1930-е годы началась критика многих положений педологии, приняты два постановления ЦК ВКП(б). В 1936 году педология была разгромлена, многие ученые репрессированы, судьбы других искалечены. Закрылись все педологические институты и лаборатории в СССР.

Восстание масс и свобода

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 19, 10 января 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Либкнехт Карл (1871–1919) – деятель германского и международного рабочего и социалистического движения, один из основателей (1918) коммунистической партии Германии.

Бебель Август Фердинанд (1840–1913) – деятель германского и международного рабочего движения, социал-демократ, один из основателей социал-демократической партии Германии.

[2] ферейны – различные союзы в Германии. Входящие в них физические лица были связаны членскими правами и обязанностями.

[3] trahison des clercs (фр.) – измена интеллигенции.

[4] Клагес Фридрих Конрад Эдуард Вильгельм Людвиг (1872–1956) – немецкий психолог и философ, сторонник идей Шопенгауэра и Ницше, один из пионеров характерологии и графологии.

Гейдекер – точнее Хайдеггер Мартин (1889–1976)– немецкий философ. Создал учение о Dasein (Бытии) как об основополагающей и неопределимой, но всем причастной стихии мироздания.

Пушкин и освобождение России

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 21, 7 февраля 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] «дева-Эвменида» – одна из трех девственных древнегреческих богинь, мстительница за всех оскорбленных и обиженных. «Девой Евменидой» в стихотворении «Кинжал» Пушкин назвал Шарлотту Корде.

Александр Невский и Карл Маркс

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 22, 21 февраля 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Наркомпросс – Народный комиссариат просвещения – государственный орган РСФСР, контролировавший в 1920–1930-х годах все культурно-гуманитар-

ные сферы: образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры и кино, клубы, парки культуры и отдыха, охрану памятников архитектуры и культуры, творческие объединения, международные культурные связи.

Февраль и октябрь

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 23, 14 марта 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) – русский нигилист и революционер XIX века. Один из первых представителей русского революционного терроризма, лидер «Народной Расправы». Осуждён за убийство студента Иванова. Этот случай послужил для Достоевского поводом для создания гениального романа «Бесы».

[2] «Для этого и февралю придется повозиться, как Николаю-угоднику, над завязшей в грязи телегой русского мужика...» – русская народная легенда, объясняющая, почему память святителя Николая-угодника отмечается дважды в году, а преподобному Иоанну Кассиану Римлянину – раз в четыре года. Ехал мужик осенью по бездорожью и его телега застряла в грязи. Проходил мимо преподобный Иоанн Кассиан. Мужик просил его помочь, но тот отказался, поскольку направлялся к престолу Божию и боялся измарать в грязи свои одежды. Затем проходил мимо Николай-угодник. Мужик обратился и к нему с просьбой о помощи. Тот не отказал и помог вытащить телегу. Легенда отражает почитание на Руси святителя Николая. Память преподобного Иоанна Кассиана отмечается 29 февраля, т. е. раз в четыре года.

Рецидив безбожия

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 24, 28 марта 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878–1943), член партии с 1898 года, член ЦК в 1921–1923 годах. Входил в состав редакционных коллегий газеты «Правда», журналов «Большевик», «Историк-марксист», «Безбожник», был редактором «Исторического журнала». Ярославский по проручению Ленина и Сталина стремился стать организатором широкомасштабной, агрессивной атеистической кампании. На самом деле в 1922 году была создана секретная Антирелигиозная комиссия при Политбюро, в состав которой входили все видные большевистские деятели – в печати была развернута травля церкви, осквернялись храмы, вскрывались раки с мощами святых. Ярославский возглавлял Союз безбожников.

[2] Ежов Николай Иванович (1895–1940) – советский партийный и государственный деятель. Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1935–1939), секретарь ЦК ВКП(б) (1935–1939), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1937–1939). Народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), народный комиссар водного транспорта СССР (1938–1939). На посту наркома внутренних дел СССР Ежов стал главным исполнителем сталинских массовых репрессий (1937–1938). Расстрелян в 1940 году.

На распутьи или в тупике? Методы выкорчевывания и разгрома

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 25, 11 апреля 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Флагеллантство – движение «бичующихся» (лат. flagellare – «хлестать, сечь, бить, мучить», лат. flagellum – «бич, кнут»), возникшее в XIII веке. Флагелланты в качестве одного из средств умерщвления плоти использовали самобичевание, которое могло быть как публичным, так и келейным.

[2] Постышев Павел Петрович (1887–1939) – советский государственный и партийный деятель. Постышев известен как один из активных организаторов сталинских репрессий, позднее сам ставший их жертвой. В 1932–1933 годах Постышев, во время работы секретарем ЦК партии на Украине выступил инициатором завышенных зернопоставок из села. Вскоре после этого на Украине и в южных районах России начался массовый голод. Это время получило название «голодомор». Перегибы в проведении продовольственной политики были настолько очевидны для центрального партийного руководства, что в 1937 году Постышева отозвали в Москву и направили в Куйбышев. За то время, что он руководил Куйбышевским обкомом (с июня 1937 по январь 1938 года), к уголовной ответственности привлекли 34540 человек. И около пяти тысяч расстреляли. Вскоре он был арествоан, а в феврале 1939 года его расстреляли.

Ягода Генрих Григорьевич (Енох Гершенович Ягода) (1891–1938) – советский государственный и политический деятель, один из главных руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), нарком внутренних дел СССР (1934–1936), генеральный комиссар государственной безопасности. С 1920 года член Президиума ВЧК, затем член коллегии ГПУ. С сентября 1923 года – второй заместитель председателя ОГПУ. Со смертью Дзержинского в июле 1926 года ОГПУ возглавил Менжинский, занимавший до того момента пост первого зампреда и будучи начальником Секретно-оперативного управления – в последней должности его сменил в июле 1927 года Ягода. Из-за болезни председателя ОГПУ В. Р. Менжинского Ягода фактически возглавлял это учреждение.

В июле 1934 г. был образован НКВД СССР. И новый наркомат, и Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) возглавил Генрих Ягода. Под руководством Ягоды был учреждён ГУЛАГ и увеличилась сеть советских исправительно-трудовых лагерей, началось строительство Беломоро-Балтийского канала силами заключённых. Ягода официально носил титул «первого инициатора, организатора и идейного руководителя социалистической индустрии тайги и Севера». В честь заслуг Ягоды по организации лагерных строек был даже воздвигнут специальный памятник на последнем шлюзе Беломорско-Балтийского канала в виде тридцатиметровой пятиконечной звезды, внутри которой находился гигантский бронзовый бюст Ягоды. Его обвинили в совершении «антигосударственных и уголовных преступлений», затем в «связях с Троцким, Бухариным и Рыковым, организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД, подготовке покушения на Сталина и Ежова, подготовке государственного переворота и интервенции». Весной 1937 года он был арестован и вскоре расстрелян.

[3] Шевло Олав Андреас (1883–1943) – норвежский политик-коммунист.

[4] Суварин Борис (настоящее имя – Лифшиц Кон) (1895–1984) – французский политический деятель русского происхождения; историк. Один из основателей и руководителей коммунистической партии Франции. Представитель Французской компартии в Коминтерне, член Исполкома Коминтерна. В 1924 году исключен из партии за поддержку Л. Троцкого. В дальнейшем отошел от троцкизма.

[5] Фишер Рут (1895–1961) (настоящее имя – Эльфрида Эйслер) – немецкая коммунистка, один из лидеров Коммунистической партии Германии, а затем – Ленинбунда. В 1926 году Маслов и Фишер поддержали Объединённую оппозицию в ВКП(б), после чего были вместе со своими сторонниками исключены из партии. В мае 1928 года Маслов вместе с Рут Фишер и Гуго Урбансом создали Ленинбунд.

[6] Маслов Аркадий (настоящее имя – Исаак Ефимович Чемеринский) (1891–1941) – немецкий коммунист, подданный Российской империи, один из лидеров Коммунистической партии Германии, а затем Ленинбунда.

[7] Урбанс Гуго (1890–1946) – вступил в германскую социал-демократическую партию еще до Первой Мировой войны, и в Германскую компартию в 1920 году. За поддержку «левой оппозиции» Урбанс был исключен из компартии в 1926 году и стал одним из основателей Ленинбунда в 1928 году. Член Международной «левой оппозиции» до 1930 года. В 1933 году эмигрировал в Швейцарию.

[8] Истмен Макс Форрестер (1883–1969)– американский журналист, писатель, поэт, литературный критик и радикальный политический активист. Первоначально социалист, троцкист и один из ведущих представителей Гарлемского ренессанса, под конец жизни стал антикоммунистом.

[9] экспургация (лат.) – чистка.

[10] ad usum delphini (лат.) – «для использования дофином». Учебная библиотека греческой и латинской классики, предназначенная для воспитания Людовика – великого Дофина, сына Людовика XIV.

Потерянный писатель

А. И. Герцен. 1812–1870

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 26, 25 апреля 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Родичев Федор Измайлович (1854–1933) – российский политический деятель. Член Государственной думы I, II, III и IV созывов (1906–1917).

[2] Ткачев Петр Никитич (1844–1886)– русский литературный критик и публицист. Идеолог якобинского направления в народничестве.

Неизбежна ли революция в России?

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 28, 23 мая 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Вишняк Марк Вениаминович (настоящее имя – Мордух Веньяминович Вишняк) (1883–1976) – российский юрист, публицист. Член партии социалистов-революционеров с 1905 года. Известный деятель культуры русского зарубежья. Один из редакторов парижского журнала «Отечественные записки».

Где выход?

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 29, 13 июня 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] coup d' État (фр.) – государственный переворот.

Страшные дни

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 30, 27 июня 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Война и мир

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 32, 4 сентября 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] objection de conscience (фр.) – отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям.

[2] ...толстовско-соловьевский спор... – см. «Три разговора» В. С. Соловьева (1900), в котором обсуждается позиция христианина во время войны.

Как Сталин видит историю России?

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 33, 10 сентября 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Шестаков Андрей Васильевич (1877–1941) – советский историк, специалист по аграрной истории России. Профессор (1935), д-р ист. наук (1937), член-корреспондент АН СССР (1939).

[2] Жданов Андрей Александрович (1896–1948) – государственный и партийный деятель СССР 1930–1940-х гг.

[3] Датов Сарымани – скорее всего, речь идет о Срыме Датове, предводитель восстания в Казахстане в 1783–97 годах.

Иманов Амангельды Удербайулы́ (1873–1919) – руководитель народного восстания 1916 года против царизма и активный участник установления Советской власти в Казахстане.

Возвращенцы и активисты

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 34, 24 сентября 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] rue Grenelle - на этой улице в Париже находилось полномочное представительство СССР. Именно отсюда в 1929 году бежал и стал невозвращенцем Григорий Беседовский (1896–1963), первый советник полпредства СССР в Париже.

[2] скорее всего речь идет о полковнике С. Кондратьеве, участнике Белого движения. Он принимал участие в боевых действиях во время Гражданской войны в Испании на стороне Франко, а затем во время Второй мировой войны на стороне нацистов.

[3] Скоблин Николай Владимирович (1894–?) – генерал-майор. Участник Первой мировой войны. В Русской армии генерала Врангеля – начальник Корниловской дивизии; в ней же был произведён в генерал-майоры. Вместе с женой, известной певицей Надеждой Плевицкой, был завербован органами НКВД. По его заданию сфабрикованы фальшивые документы совместно с немецкой службой безопасности во главе с Гейдрихом о «заговоре» в Красной армии (во главе с Тухачевским). Организовал похищение в 1937 году председателя Русского Общевоинского Союза генерала Миллера в Париже, которого с помощью агентов советских спецслужб – на советском пароходе «Мария Ульянова» доставили в Москву. Генерал Скоблин с помощью и при поддержке агентов советской разведки, включая генерала Кусонского и других, бежал в Испанию, где (по одной из версий) был уничтожен агентами НКВД.

[4] резиньяция (лат.) – полная покорность судьбе, отказ от жизненной активности.

Октябрьская легенда

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 35, 7 ноября 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] октябристы – в данном случае Федотов говорит о большевиках, а не о дореволюционной либеральной партии «Союз 17 октября», основанной в октябре 1905 года. В просторечии их называли «октябристами».

Торквемада Томас де (1420–1498) – основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании.

[2] каптировать (фр. capter) – отводить, заключать воду источника в трубу.

Тяга в Россию

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 36, 23 ноября 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] «ам слав» (фр. âme slave) – славянская душа.

[2] гирше да иньше (укр.) – хоть горше, да иначе.

Советский павильон

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 37, 7 декабря 1937 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] апатрид (фр. apatride) – лицо без гражданства или подданства.

[2] Салазар Антониу ди Оливейра (1889–1970) – португальский государственный и политический деятель, председатель Совета министров Португалии (1932–1968).

После выборов

Первая публикация в журнале «Новая Россия». № 38, 21 декабря 1937 года.

Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Певец империи и свободы

Первая публикация в журнале «Отечественные записки» № 63 за 1937 год. Вторая – в сборнике «Новый град», Нью-Йорк, 1952 год. Третья – в двухтомнике «Судьба и грехи России», Санкт-Петербург, т. 2, 1992 год.

[1] Кагульский памятник – Кагульский обелиск – установлен в парке Большого Екатерининского дворца по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1771 году – в честь победы в Кагульском сражении. Надпись на обелиске гласит: «В память победы при реке Кагул в Молдавии июля 21 дня 1770 года предводительством генерала графа Петра Румянцева российское воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турецкого визиря Галил Бея с силою полтораста тысячною».

[2] Цицианов Павел Дмитриевич, князь (1754–1806) – российский военный деятель грузинского происхождения, генерал от инфантерии (1804), один из покорителей Закавказья.

[3] Котляревский Пётр Степанович (1782–1851) – генерал от инфантерии, покоритель территории современного Азербайджана.

[4] Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) – русский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии (1818) и генерал от артиллерии (1837). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской войны (до 1827 года).

[5] révolution incarnée (фр.) – «воплощенная революция».

[6] vertutes cardinales (лат.) – основные добродетели.

[7]ertutes theologales (лат.) – богословские добродетели.

[8] Давид Жак-Луи́ (1748–1825) – французский художник, основоположник французского неоклассицизма.

[9] Беньян Джон (1628–1688) – английский писатель, баптистский проповедник. Он написал «Путешествие Пилигрима» (также переводится «Путь Паломника») в двух частях, первая из которых была опубликована в Лондоне в 1678 году, и вторая – в 1684 году.

[10] Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – русский историк, переводчик, литературный критик, издатель «Вестника Европы» (1805–1830), профессор Московского университета, родоначальник «скептической школы» в русской историографии.

[11] niveleurs (фр.) – уравнители.

После Оксфорда

Первая и единственная публикация в журнале «Отечественные записки» № 64 за 1937 год. Статья особенно ценна потому, что Г. П. Федотов вместе с протоиереем Сергием Булгаковым представлял Русскую Церковь в эмиграции на съезде в Англии. Он имел возможность не только наблюдать, но и принимал участие во многих собраниях и дебатах.

[1] Седерблом Натан (1866–1931) – шведский архиепископ Упсалы, выдающийся христианский деятель, нобелевский лауреат мира (1930).

[2] Бриан Аристид (1862–1932) – французский политический деятель Третьей республики, неоднократно премьер-министр Франции, министр иностранных дел, внутренних дел, военный и юстиции. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 года (вместе с Густавом Штреземаном) за заключение Локарнских соглашений, гарантировавших послевоенные границы в Западной Европе.

[3] Штреземан Густав (1878–1929) – немецкий политик, рейхсканцлер и министр иностранных дел Веймарской республики. Лауреат 1926 года Нобелевской премии мира (вместе с Аристидом Брианом) за заключение Локарнских соглашений, гарантировавших послевоенныеграницы в Западной Европе.

[4] Локарнские договоры – семь договоров, ставших итогом переговоров, проходивших в швейцарском городе Локарно с 5 по 16 октября 1925 года и подписанных 1 декабря в Лондоне. Они вступили в действие 10 сентября 1926 года, когда Германия стала членом Лиги Наций. Локарнские договоры разделили европейские границы на два вида: западные границы, которые по договору были незыблемыми, и восточные (для Германии), в отношении которых никаких гарантий выдано не было.

[5] Келлог Фрэнк Биллингс (1856–1937) – американский государственный деятель. В 1925 году был назначен президентом Кулиджем Государственным секретарём США. На этом посту более всего прославился подписанием Пакта Бриана-Келлога, за что в 1929 году был награждён Нобелевской премией мира.

[6] prosperity (англ.) – процветание.

[7] C'est trop beau pour être vrai (фр.) – это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

[8] Нимейер, точнее – Нимёллер Мартин Фридрих Густав Эмиль (1892–1984) – протестантский богослов, пастор евангелической церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма, президент Всемирного совета церквей, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1967).

[9] Г. П. Федотов пишет об известном интервью, якобы данном митрополитом Сергием (Страгородским) в 1930 году иностранным журналистам, в котором он м созданнный им Синод отвергал факт гонений на христиан в СССР. На самом деле никакого интервью не было, а был в газете «Правда» опубликован текст, написанный Сталиным и его подручными – Ярославским и Молотовым.

Более подробно см. Курляндский И. А. «Сталин, власть, религия.» М., 2011 (история появления и публикации фальшивки подробно освещена в гл. 4).

[10] Quadragesimo Anno (В сороковой год) – энциклика Папы римского Пия XI от 15 мая 1931 года, посвящённая сорокалетию опубликования «Rerum Novarum» и развивающая католическую социальную доктрину. Энциклика «Quadragesimo Anno» представляла собой открытое письмо, адресованное епископам Римско-католической Церкви и опубликованное в сороковую годовщину «Rerum Novarum» (1891). В «Rerum Novarum» папа римский Лев XIII провозгласил новую социальную доктрину церкви. В своём письме он призвал улучшить условия жизни рабочих и учредил общественное движение, получившее впоследствии название «христианская демократия». Последовавшие

энциклики «Graves de Communi Re» папы Льва XIII и «Singulari Quadam» папы Пия X внесли уточнения в католическую социальную доктрину.

[11] Германос – скорее всего речь идет о греческом митрополите Фиатирском Германе (1872–1951) – одном из православных пионеров экуменизма, создателе теории «широкой Церкви».

[12] Цанков Стефан, протопресвитер (1881–1965) — видный болгарский богослов, историк церковного права. Доктор наук. Профессор кафедры церковного права богословского факультета Софийского университета св. Климента Охридского (1923). Декан факультета (1923). Настоятель храма-памятника св. Александра Невского в Софии в течение 35 лет. Оказывал содействие Свято-Сергиевскому богословскому институту в Париже. Один из основателей экуменического движения. Преподавал церковное право и христианскую социологию около 40 лет. Юрист, специалист в области семейного и государственного права. Академик Болгарской Академии наук.

[13] Булгаков Сергий, протоиерей (1881–1944)– русский философ, православный богослов и священник. Один из основателей экуменического движения.

[14] Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937) – британский политический и государственный деятель, трижды занимал пост премьер-министра Великобритании в 1924, 1929–1931 и 1931–1935 годах (в 1931 году подал в отставку с поста главы кабинета лейбористов и в тот же день был назначен главой коалиционного правительства). Один из лидеров и основателей Лейбористской партии. В годы Великой депрессии (1931–1935) сформировал коалиционное правительство с консерваторами, отдав последним большинство мест в кабинете, за что был исключен из Лейбористской партии.

Новый Год

Первая публикация в журнале «Новая Россия». № 39, 12 января 1938 года.

Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

О свободе валютных операций

Первая публикация в журнале «Новая Россия». № 40, 31 января 1938 года.

Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Шотан Камиль (1885–1963)– французский политический деятель, юрист, в 1930 и 1933–1934 годах премьер-министр Франции. Во время деятельности первого правительства Народного Фронта отошел от дел, но после отставки правительства Блюма непродолжительное время занимал пост премьер-министра с 1937 по 1938 год.

[2] volonté générale (фр.) – общая воля. Понятие, введенное Ж-Ж. Руссо. Оно описывает общую волю нации и является ключевым понятием в теории демократии.

[3] кагуляры – данное французской прессой и закрепившееся наименование членов тайной профашистской организации «Секретный комитет революционного действия», образованной и бывшей активной между 1935 и 1937 года-

ми. Название кагуляры получили от La Cagoule (капюшон, маска) — капюшон с прорезями для глаз, который надевали члены организации на тайных собраниях и при принесении присяги.

[4] ...Ван-Зеланд Поль Гийом ван (1893–1973) — бельгийский юрист, экономист, католический государственный и политический деятель. Ван Зеланд был профессором права, а затем директором Института экономических наук в Католическом университете (Лёвен), а также заместителем руководителя Национального банка Бельгии. В марте 1935 года стал премьер-министром правительства национального единства (коалиция в составе трёх основных партий: католики, либералы и социалисты). Смог уменьшить последствия экономического кризиса, переживаемого страной, путём девальвации национальной валюты и прибегая к экспансивной бюджетной политике.

...де Манн Хендрик (1885–1953) — бельгийский социолог, правый социалист. С 1939 года — председатель Бельгийской социалистической партии. Был министром труда (1935) и финансов (1936–1940) в правительстве национального единства.

Московский процесс

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 42–43, 21 марта 1938 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) — советский государственный деятель, юрист и дипломат, академик АН СССР (1939). В 1925–28 годах ректор МГУ. С 1931 года в органах юстиции, в 1935–39 годы прокурор СССР. В 1939–44 годы заместитель председателя СНК СССР, с 1949 года по март 1953 года министр иностранных дел СССР, с марта 1953 года заместитель министра иностранных дел СССР.

[2] Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) — советский политический деятель. В 1923–1926 гг. поддерживал «левую оппозицию». В 1926 году отошёл от неё. Полпредом (послом) в Германии был беспрерывно с 1922 по 1930 годы. В 1930–1937 годах Крестинский был первым заместителем наркома иностранных дел СССР. Вскоре был арестован и обвинён в связях с Троцким, с германской разведкой, в подготовке террористических актов против руководства партии. На процессе по делу «антисоветского правотроцкистского блока» единственный из обвиняемых в первый день процесса не признал своей вины, но после очередного избиения дал требуемые показания. Расстрелян в 1938 году.

[3] Кибальчич Виктор Львович, более известный под псевдонимом Виктор Серж (1890–1947) — русский революционер, деятель коммунистической партии и Коминтерна. Его отец Лев Кибальчич был унтер-офицером русской конной гвардии и участником боевой организации Народной воли. Дальним родственником Виктора Сержа был революционер и изобретатель Н. И. Кибальчич.

[4] Ульрих Василий Васильевич (1889–1951) — советский государственный деятель, генерал-полковник юстиции. Один из главных исполнителей сталинских репрессий на посту председателя Военной коллегии Верховного суда СССР.

Что происходит в России?

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 45, 23 апреля 1938 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] пивертисты – сторонники «революционного пацифизма». Получили название по имени лидера – Марсо Пивера (1895–1958), руководителя левой фракции во Французской Социалистической партии.

[2] Даладье Эдуард (1884–1970) – французский политик, государственный деятель, премьер-министр Франции в 1933, 1934, 1938–40 годах.

Pro pace

Первая публикация в журнале «Новая Россия» №45, 23 апреля 1938 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] pro pace – (лат.) – за мир.

[2] Л'Эведер – точнее Луи Леведер (1899–1946) – старший сын в крестьянской семье из 11 детей (Бретань). Преподаватель математики в лицее в г. Лорьен. Депутат-социалист и советник области Морбиан в 1928–29, депутат-социалист Лорьена в 1930, 1936 годах. Глава пацифистов в своей партии. 10 июля 1940 голосовал за передачу полноты власти Петэну. В января 1941 введен в Национальный совет в Виши. В августе 1944 года был арестован в Париже группой FTP («Франтиреры и партизаны», группа в движении Сопротивления, организованная коммунистами), подвергнут пыткам. Исключенный из SFIO (Французская секция рабочего Интернационала), был одним из организаторов партии социалистов-демократов.

[3] Жиромски Жан – (1890–1975) – французский социалист, стоял на левом фланге социалистической партии. руководитель SFIO (Французская секция рабочего Интернационала) между двумя войнами, потом член компартии.

Кладбище иллюзий

Первая публикация в журнале «Новая Россия» №49, 17 июля 1938 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Моррас Шарль (1868–1952), французский публицист, критик, поэт. В 1899 организовал монархическую группу «Аксьон франсез» («Французское действие»), а в 1908 – газету под тем же названием. Во время 2-й мировой войны был официальным идеологом правительства Петена, сотрудничавшего с немецко-фашистскими оккупантами.

[2] Герда Таро (1910–1937) – дочь еврейских эмигрантов из Галиции. Немецкий фотограф-антифашист. Первая женщина – военный фотожурналист. В 1933 году была арестована нацистами по обвинению в распространении антинацистской пропаганды. В 1934 году вынуждена была переехать из Германии в Париж, где в 1935 году встретила фоторепортера Эндре Фридмана. Они вместе изучали фотоискусство и придумали американского журналиста Роберта Капу, от чьего имени продавали свои фотографии. Погибла в Испании во время отступления республиканцев.

[3] Бенджамен – точнее Беньямин Вальтер (1892–1940)– немецкий философ еврейского происхождения, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик. Испытал сильное влияние марксизма (который своеобразно сочетал с традиционным еврейским мистицизмом и психоанализом), стоял у истоков Франкфуртской школы. Самая известная в России работа – «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости». Ему принадлежит идея об ауре, которую теряет тиражируемый шедевр.

Наш позор

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 55–56, 15 ноября 1938 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953) – русский публицист, исторический писатель и общественный деятель. Участвовал в Белом движении и антисоветском подполье. Бежал из концлагеря, жил в эмиграции в Финляндии, Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае. Издавал газету «Голос России» в Болгарии и «Наша страна» в Аргентине. Создал «народно-монархическое» движение, пропагандируя идею самобытной русской самодержавной монархии.

[2] a priori (лат.) – в данном случае – изначально.

О Мазепе

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 57, 1 декабря 1938 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Канонизация святого Владимира

Первая и единственная публикация: «Владимирский сборник. В память 950-летия Крещения Руси. 988–1938.» Белград, 1938. С. 188–196.

[1] Малышевский Иван Игнатьевич (1828–1897) – русский историк церкви, профессор Киевской духовной академии, славист, общественный деятель.

[2] docta ignorantia (лат.) – ученое неведение.

[3] Макарий (Булгаков), митрополит Крутицкий и Коломенский (в миру Михаил Петрович Булгаков) (1816–1882) – историк церкви, автор многотомной истории Русской Церкви, богослов. Ординарный академик Академии наук (1854).

[4] argumentum ex silentio (лат.) – доказательство, выводимое из умалчивания.

[5] terminus post quem (лат.) хронологическая граница, за которой предполагается начало, возникновение чего-либо; позже.

[6] terminus ante quem (лат.) – хронологическая граница, ниже которой предполагается возникновение чего-либо; раньше.

[7] Мансикка Вильо Йоханнес (1884–1947) – русский и финский филолог финского происхождения, диалектолог, фольклорист, исследователь русского и финского фольклора, древнерусского язычества. Известен своей работой «Религия восточных славян». Был действительным членом Академии Финляндии.

[8] Серебрянский Николай Ильич (1872–1940) – незадолго до революции, в 1916 году, ему присвоена степень доктора церковной истории. Он получил ме-

сто доцента в Московской духовной академии и переселился в Сергиев Посад. С 1917 года Николай Ильич — ординарный профессор академии. С 1918-го — профессор Православной народной академии, в 1919–1920 годах — профессор Воронежского университета. В 1921–1923 годах преподавал в педагогическом техникуме на родной псковской земле, в Пушкинских Горах. С сентября 1923-го — профессор по истории церкви в Московской Богословской академии. С 1923 года — член Славянской научной комиссии при отделении русского языка и словесности Академии наук, научный сотрудник Славянского отделения библиотеки Академии наук в Ленинграде. В 1929 году, после работы комиссии по проверке Академии наук, был уволен. Причина увольнения — хранение в Пушкинском доме в Ленинграде бумаг бывшего императора Николая II (всего было уволено 80 академиков). 22 декабря 1930 года Серебрянского арестовали. Он проходил по сфабрикованному делу академика Сергея Платонова. Привлекались 115 историков. Все они были признаны «врагами народа». Серебрянского приговорили к 10 годам лагерей с конфискацией имущества. В 1932 году лагерь был заменен высылкой в Судиславль Костромской области. В 1936 году ученый был прописан на окраине Костромы в Селище как свободный поселенец. В декабре 1938 года он вновь был арестован в связи с делом костромского епископа Никодима (Кроткова). С владыкой он был знаком еще по Псковской семинарии, где владыка был ректором. При аресте 27 апреля 1938 года были изъяты научные и церковные книги, переписка. Серебрянский отрицал антисоветский характер разговоров с епископом Никодимом и существование мифической организации. Николай Ильич Серебрянский 26 сентября 1938 года за контрреволюционную деятельность был приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Скончался в Сиблаге 23 мая 1940 года.

[9] Соболевский Алексей Иванович (1856–1929) — русский лингвист, палеограф, историк литературы, славист. Член Императорской Академии наук. Брат С. И. Соболевского, член Императорского Православного Палестинского Общества. Автор работ в области истории русского и старославянского языков, русской диалектологии, палеографии, этнографии, топонимики, ономастики, лексики, словообразования, этимологии. Среди многочисленных научных достижений Соболевского — описание и датировка большого фонда восточнославянских рукописей, открытие второго южнославянского влияния, изучение диалектных особенностей древнерусских регионов.

[10] Никольский Николай Михайлович (1877–1959) — русский советский историк, библеист, востоковед. Выпускник Московского университета (1900). Некоторое время преподавал в народном университете в Нижнем Новгороде. Академик АН БССР (1931), член-корреспондент АН СССР по отделению истории и философии; автор работ по истории религии, истории Древнего Востока. Филолог, специалист по семитским языкам и клинописи.

[11] Макарий, митрополит (в миру — Михаил) (ок. 1482–1563) — митрополит Московский и всея Руси (с 1542 года). Он венчал на царство Иоанна Грозного в 1547 году. В 1547 и 1549 годах созвал в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. В связи с прославлением новых святых под руководством митрополита была проделана большая работа по составлении житий. При нём, в 1551 году, состоялся знаменитый

Стоглавый Поместный Собор Русской православной церкви. Сочувствуя иосифлянам, митрополит Макарий не допустил принятия закона о секуляризации монастырских земель, предложенного протопопом Сильвестром. Немало усилий святитель Макарий приложил по организации на Руси книгопечатного дела. При нём была открыта в Москве первая типография для печатания священных и богослужебных книг. Канонизирован Русской церковью в 1988 году.

[12] Г. П. Федотов упоминает торжества 1888 года, когда отмечалось 900-летие Крещения Руси.

[13] Приселков Михаил Дмитриевич (1881–1941) — русский советский историк. В 1903 окончил Петербургский университет, с 1918 года профессор этого университета; в 20-х гг. работал в историко-бытовом отделе Русского музея. В 1936–41 профессор Ленинградского университета. Основные труды по политической истории Древней Руси на основе критического исследования летописных источников.

[14] Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) — лингвист, текстолог, историк древних славянских литератур и языков, организатор науки действительный член Императорской Академии наук (1899), впоследствии — Российской академии наук. Под руководством Шахматова Отделение русского языка и словесности Академии наук стало центром отечественной филологии. По инициативе Шахматова Академия наук издала монографии, словари, материалы и исследования по кашубскому, полабскому, лужицкому, польскому, сербскому, словенскому языкам. В 1897 году Шахматов возглавил работу над академическим словарем русского языка. Участвовал в подготовке реформы русской орфографии, осуществленной в 1917–1918 годах.

[15] Константин равноапостольный, по прозвищу Философ (827–869) — речь идет о брате святого равноапостольного Мефодия. Они происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были детьми воеводы, родом болгарского славянина. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл — его монашеское имя) — самым младшим. Создатели славянской азбуки.

[16] — эпистемонарх — означает начальствующего над науками или научными занятиями и знаниями, но в монастырской жизни этим именем назывался особый монах — надзиратель, в обязанности которого входило будить братию, начиная с настоятеля, к утреннему богослужению. Обходить во время службы кельи, чтобы в них не было спящих монахов, следить за тем, чтобы монахи не собирались для праздных разговоров. Из монастырской жизни этот термин был заимствован в XII веке для объяснения отношений между императором и церковью в Византии.

[17] — Вячеслав Чешский был внуком святой княгини Людмилы, которая воспитала его в христианской вере. Получив прекрасное образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, Вячеслав был всесторонне образован. Отец его, князь Ростислав (Вратислав) погиб в 920 году в бою с уграми , и 18-летний Вячеслав вступил на княжеский престол. Он заботился о христианском просвещении своего народа. Выкупая детей язычников, проданных в рабство, отдавал их на воспитание в христианском духе. Князь Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал храмы. Он перенес

мощи мученика Вита в Прагу, построил для них великолепный храм во имя святого Вита. Немецкое духовенство, преследовавшее святителя Мефодия, противодействовало святому Вячеславу, восстанавливая против него вельмож. Они стали интриговать против Вячеслава и уговорили его младшего брата Болеслава занять престол. Болеслав пригласил брата на освящение храма. Вячеслав отказался верить слугам, которые предупреждали его о заговоре. Он пошел в храм к утрене, и на пороге храма был убит братом и его друзьями. Это произошло в 935 году. Изрубленное тело святого Вячеслава несколько дней лежало без погребения. Мать, узнав об убиении Вячеслава, похоронила его тело в церкви при княжеском дворе.

Антонин Ладинский. «Голубь над Понтом».

Первая и единственная публикация в журнале «Современные записки» № 69 за 1939 год. Роман Ладинского был издан в Таллинне в 1938 году.

Это не первая рецензия на произведение Ладинского, к творчеству которого Федотов проявлял повышенное внимание. В 1937 году в этом же журнале была опубликована его рецензия на роман Ладинского «XV легион».

Антонин Петрович Ладинский (1896–1961) – русский поэт «первой волны» эмиграции и автор популярных исторических романов о Римской империи, Византии и Киевской Руси, был человеком необычной судьбы. Родился в Псковской деревне. После окончания гимназии в 1915 году поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Но уже через год был призван в армию. Принимал участие в Гражданской войне. На вопрос «За белых или за красных?» Ладинский отвечал «За белых, но не потому, что ненавижу простых людей, а потому, что люблю привычный уклад жизни». Воевал в составе Добровольческой армии Деникина. После поражения Вооруженных Сил Юга России тяжело раненый подпоручик армии Врангеля, Ладинский был эвакуирован в 1920 году из Крыма в госпиталь в Александрии. Из Египта в 1924 году перебрался в Париж. Во Франции пытался продолжать обучение в университете, но из-за тяжёлого финансового положения вынужден был его оставить. Работал в периодических изданиях русской эмиграции. Вместе с Владимиром Смоленским, Юрием Софиевым и Борисом Поплавским организовал в 1925 году Союз молодых поэтов и писателей. С 1926 года дебютировал как поэт и прозаик.

В 1950 году был выслан из Франции за симпатии к большевикам. Почти 6 лет жил в Дрездене, пока, наконец, в 1955 году не получил советского гражданства. Поселился в Москве. В период эмиграции вышло пять его поэтических книг, а также четыре исторических романа. При жизни Ладинского в СССР вышел только один его роман «Когда пал Херсонес», это было переиздание романа «Голубь над Понтом». В год смерти вышла трилогия «В дни Каракаллы» – переработанный роман «XV легион». После его смерти были опубликованы в СССР еще два его романа – «Последний путь Владимира Мономаха» (1966) и «Анна Ярославна – королева Франции» (1973).

[1] лупанар или лупанарий – публичный дом в Древнем Риме, размещенный в отдельном здании. Название происходит от латинского слова «волчица» (лат. Lupa) – так в Риме называли проституток.

Круг

Первая и единственная публикация в третьем номере литературного альманаха «Круг», изданного И. И. Фондаминским в Париже в 1938 году. Всего вышло три номера этого альманаха. На первых двух номерах не указаны даты выпуска. Хотя сообщение о выходе первого номера появилось в эмигрантской прессе в 1936 году. В первых двух номерах был опубликован роман покойного Бориса Поплавского «Домой с небес».

1 Сирин — псевдоним Набокова Владимира Владимировича (1899–1977) — русского и американского писателя, поэта, переводчика, литературоведа и энтомолога. Федотов имеет в виду роман Набокова «Приглашение на казнь», вышедший в 1936 году.

2 De profundis (лат.) — цитата из 130 псалма «из бездны...». В русском синодальном переводе «Из глубины взываю к Тебе, Господи...»

3 La Belle Dame sans Merci...(фр.) — «Безжалостная красавица» — баллада английского поэта-романтика Джона Китса. Название Китс позаимствовал у французского средневекового поэта Алена Шартье (1424).

Эсхатология и культура

Первая публикация в журнале «Новый град» №13, Париж, 1938 год. Републикация в сборнике статей Г. П. Федотова «Новый град», Нью-Йорк, 1952 год. Эта работа мыслителя остается одной из основополагающих в области христианской культурологии. Современная культурология по-прежнему чаще всего рассматривает проблемы культуры в отрыве от основных положений Священного Писания. Федотову удалось гармонически разрешить те противоречия, на которые постоянно натыкались культурологи как прошлого, так и настоящего времени.

1 парусия (греч.) — «присутствие, наличие», «прибытие, приход», «пришествие». Понятие, изначально обозначавшее как незримое присутствие Господа Иисуса Христа в мире с момента Его явления, так и пришествие его в мир в конце света. Со временем термин парусия стал рассматриваться только в эсхатологическом плане как обещанное пришествие Христа по окончании судьбы мира.

2 монтанизм — религиозное движение в христианстве II века. Бывший языческий жрец Монтан из Фригии (на границе с Мизией), обратившись в христианство (около 156 г.), стал проповедовать живое духовное общение с Богом, свободное от иерархии и обрядов и проявляющееся в особых дарах Святого Духа, преимущественно в даре пророческом. Последователи Монтана, между которыми выдавались особенно две пророчицы, Приска (или Присцилла) и Максимилла, признали своего учителя за Параклета (Духа-Утешителя), обещанного в Евангелии Иоанна. Движение распространилось из Малой Азии во Фракии; отголоски его достигли Карфагена, Рима и Южной Галлии.

3 Зиммель Георг (1858–1918) — немецкий социолог, создатель теории анализа социального взаимодействия, один из основоположников конфликтологии.

[4] Сетницкий. Об общественном идеале. Харбин, 1932 г. См. рецензию в «Новом Граде», № 9 – прим. Г. П. Федотова.

Сетницкий Николай Александрович (1888–1937) – русский философ. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1912). Испытал влияние философии «общего дела» Н. Ф. Федорова.

[5] Федоров Николай Федорович (1828–1903) считается основателем своеобразного философского направления, которое в истории философии получило именование «русский космизм». Федоров ставил перед человечеством глобальную задачу – телесное «воскрешение всех усопших» предков или, как он называл их – «отцов». Он был уверен, что люди настолько овладеют знаниями, что смогут «рассеянное собрать, разложенное соединить, то есть сложить в тело отцов», ибо люди уже будут уметь самосозидать свои тела из неорганических веществ.

[6] de mora finis (лат.) – в последний момент.

[7] апокатастасис (греч.) – «восстановление, возвращение, завершение». В христианстве учение о всеобщем спасении (букв. – восстановлении) грешников (людей и даже демонов). Это учение не было принято Церковью, оставаясь частным богословским мнением, которого придерживались Ориген и святитель Григорий Нисский.

Искания младороссов

Первая и единственная публикация в журнале «Новый Град» №13 за 1938 год.

В 1923 году на Всеобщем съезде «национально мыслящей русской молодёжи», прошедшем в Мюнхене, было решено образовать Союз «Молодая Россия». Его лидером стал А. Л. Казем-Бек (1902–1977). Позднее, в 1925 году, организация была переименована в Союз младороссов. Младороссы поддерживали великого князя Кирилла Владимировича, как претендента на российский престол. Он, в свою очередь, в 1935 году направил в партийное руководство младороссов своего представителя – великого князя Дмитрия Павловича. В основной массе эмиграция не поддерживала движение младороссов, которое искало связей с советскими властями, чем воспользовалось ГПУ. В 1942 году организация была распущена. А. Л. Казем-Бек вернулся после второй мировой войны в СССР, активно сотрудничал с видными иерархами РПЦ и властями страны. Более подробно о нем см. исследование: М. Массип «Истина – дочь времени». М., 2010.

[1] Попандопуло Сергей Антонович (1898–?) – участник Гражданской войны. Эмигрировал из России. В 1924 году поступил в Сорбонну на физико-математический факультет. Активист партии младороссов. В 1938 году читал лекции из цикла «Демократия, монархия, диктатура.» Во время Второй мировой войны участник Сопротивления, в 1942 году входил в Дурданскую группу. Был членом Союза советских патриотов с 1945 года.

Попандопуло Всеволод Антонович (1901–?) – младший брат С. А. Попандопуло. Учился в Харьковском универстете. В эмиграции сумел завершить высшее образование. Активный член партии младороссов. Во время Второй мировой

войны участвовал в движении Сопротивления. Вместе с братом входил в Дурданскую группу А. А. Угримова. В 1947 году был выслан из Франции в СССР.

[2] Закутин-Отоцкий Лев Григорьевич (настоящая фамилия Отоцкий) (1905–1970(?)) – философ и писатель русского зарубежья, экономист, филолог. В 1925 году окончил гимназию в Данциге. Затем жил во Франции. В 1937 году окончил Сорбонну. В 1936 году организовал в Париже социально-экономический семинар, читал на нём лекции. Член Союза младороссов. В 1964 году защитил диссертацию на тему «Теория познания у С. Франка и русских интуитивистов». Доктор Сорбонны с 1953 года. Публиковал с 1964 по 1973 годы статьи по экономике и философии в журналах «Возрождение» и «Новом журнале». Последние годы жил и работал в США.

[3] Горбов Л.И. – неустановленное лицо (м. б. ошибка в отчестве: Горбов Л.Н. – один из идеологов группы «Русского Временника», получившая название «монархистов-демократов». Отстаивала «права человека» и «демолиберализм).

От редакции

Первая и единственная публикация в последнем номере журнала «Новый Град» № 14 за 1939 год.

[1] Центрально-Европейская Ось – германо-итальянский договор о союзе и дружбе (дата подписания – 22 мая 1939 года, место подписания – Берлин) Другое наименование – «Стальной пакт». Название было призвано показать нерушимость союза Германии Гитлера и Италии Муссолини. Международный договор был подписан Германией и Италией с целью ещё раз подтвердить действие положений Антикоминтерновского пакта и оговорить союзнические обязательства. В 1940 году к пакту присоединилась Япония.

К смерти или к славе?

Первая и единственная публикация в последнем номере журнала «Новый Град» № 14 за 1939 год.

[1] речь идет о статье поэта и литературного критика Юрия Иваска (1907–1986) «Апология пессимизма», опубликованной в этом же номере «Нового Града».

[2] odi profanum vulgus – цитата из Горация «Оды», III, I, 1–4: Odí profánum vúlgus, et árceo (лат.) – презираю и прочь гоню невежественную...

[3] pecus mortuum (лат.) – мертвые скоты (???)

[4] Вульф Вирджиния (1882–1941) – британская писательница, литературный критик. Признанный лидер модернистской литературы первой половины XX века. Входила в группу «Блумсбери.

[5] fin de siecle (фр.) – конец века.

[6] tours d'ivoire (фр.) – башня из слоновой кости.

[7] Бенда Жюльен (1867–1956) – политический философ, общественный критик и моралист. Андрэ Львов, нобелевский лауреат по медицине, был его поклонником. Усилиями Львова и с его предисловием самая знаменитая книга Ж. Бенда «Предательство интеллектуалов» после долгого перерыва вышла третьим изданием в 1974 году.

[8] Георге Стефан (1868–1933) – немецкий поэт и переводчик. Создал знаменитый «кружок Георге», распавшийся после его смерти. В этот кружок, который недоброжелатели окрестили «клубом экстравагантных одиночек», входили многие знаменитые люди. После прихода национал-социалистов к власти в 1933 году Георге отклонил предложенную министром пропаганды Геббельсом должность президента новой немецкой Поэтической Академии. Он не участвовал в торжественном праздновании и факельном шествии, организованных НСДАП в честь его 65-летия. Тяжело больной, уехал в Швейцарию и через несколько месяцев, умер в клинике св. Агнесы.

[9] Авзоний Децим Магн (ок. 310 – ок. 394) – древнеримский поэт и ритор. Ставший в 364 императором Запада, Валентиниан I пригласил Авсония в свою резиденцию в Августе Треверов (Трире) воспитателем своего сына Грациана.

Сидоний Аполлинарий Гай Соллий Модест (ок. 430 – ок. 486) – галло-римский поэт, дипломат, епископ Клермона.

[10] facies hyppocratica (лат.) – маска Гиппократа. Медицинский термин, свидетельствующий о приближении смерти больного.

[11] сумерийские сумерки – точнее – шумерийские. Этот термин связан с проблемой национальности древних обитателей Южной Вавилонии. Она возникла во второй половине XIX столетия, когда ученые-ориенталисты Гинкс, Раулинсон и Опперт, независимо друг от друга, пришли к убеждению в несемитическом происхождении клинописи. Опперт первый назвал изобретателей ее сумерийцами. Ориенталист Ленорман употреблял для них термин «аккадяне». Оба исходили из титула «царь Сумира и Аккада», считая его за указание господства над двумя этнографическими элементами государства: несемитами и семитами. Первым из семитических царей, принявшим этот титул, был Хаммурапи после покорения несемитического Элассара. С этого же времени он стал высекать свои надписи на двух языках; очевидно, древняя культура покоренной области заставляла уважать свой язык наравне с государственным. Язык этот продолжал существовать как научный, религиозный и, может быть, богослужебный до самых последних дней вавилонской культуры.

[12] En composant des acrostiches indolents

D'un style d'or ou la langueur du soleil danse – цитата из стихотворения Верлена «Томление» из сборника «Давно и недавно». В переводе Бориса Пастернака они звучат:

Я – римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забытьи
Уже, как вечер, сдавшего порядка.

[13] vox clamantis (лат.) – глас вопиющего.

Заветы первохристианства

Первая и единственная публикация в «Сергиевских листках» № 102 за 1937 год. Они издавались в Париже с 1928 по 1939 годы. Издатели ставили задачу «освещения истин Православной веры и приноровленные к течению церковного года объяснения православного богослужения, ознакомление

с житиями Святых и сказаниями о чудотворных иконах, знакомство с творчеством Святых отцов и Учителей церкви и современных проповедников и т. д.». Журнал существовал только за счет средств подписчиков, но несмотря на постоянные финансовые затруднения, бесплатно рассылался для бедных и больных. Редакция журнала, идя навстречу нуждам православных людей, открыла в 1930 году справочный отдел, который давал разъяснения по всем церковным и религиозно-нравственным вопросам. К 1928 году издатели «Сергиевских листков» имели своих представителей более чем 15 странах: во Франции, Америке, Германии, Латвии, Польше, Югославии. С 1935 по 1936 годы журнал не издавался.

В 1935 году в № 1–2 «Сергиевских листков» (87-88) была опубликована статья Г. П. Федотова «Святой Филипп, митрополит Московский», в № 9–10 (95–96) за этот же год «Дмитровская суббота», а в 1936 году в № 1-2 (99–100) – «О стиле в проповеди». В последнем, 60 номере журнала «Путь» была опубликована рецензия Г. П. Федотова «Сергиевские листки. Новая серия.»

См. собр. соч. Г. П. Федотова, т. II. М., 1998.

Предисловие

Православное Дело № 1, 1939

Первая и единственная публикация в сборнике «Православное Дело». Объединение «Православное дело» – благотворительная и культурно-просветительная организация, основанная причисленными в начале XXI столетия к лику святых матерью Марией (Скобцовой) и священником Димитрием Клепининым, на улице Лурмель в Париже. Г. П. Федотов был членом этой организации и именно ему было доверено написать предисловие к сборнику. В вводной статье мать Мария писала о целях и работе организации: «...Мы собрались вместе не для теоретического изучения социальных вопросов в духе православия. Среди нас мало богословов, мало учёных, и мы тем не менее хотим поставить нашу социальную идею и мысль в теснейшую связь с жизнью и работой. Вернее, из работы мы исходим и ищем посильного богословского её осмысления. Мы помним, что «Вера без дел мертва», и что главным пороком русской богословской мысли, – была её оторванность и беспочвенность от церковно-общественного ДЕЛА. Этой ошибки мы не хотим повторять. Ошибки, конечно, будут и не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а Бог, да поможет нам видеть и исправлять их в неустанном нашем покаянии.

Ряд статей, вошедших в этот первый Сборник, связан одной темой, это религиозное обоснование пути «Православного Дела». Исключением являются две статьи отца Сергия Булгакова и Н. А. Бердяева. Статья Бердяева написана по частному поводу, но поднимает общую проблему: христианская совесть и отношение к этой острой политической злобе дня.

Статья отца Сергия Булгакова не имеет видимой связи с темой Сборника, но редакция дорожит ею из глубокого уважения к её автору, богословие которого так богато социальным вдохновением.»

[1] Одигитрия (греч. Oδηγήτρια – Указующая Путь), Путеводительница – один из наиболее распространённых сюжетов изображения Богоматери с младенцем Иисусом, по преданию, написанная евангелистом Лукой.

[2] zoon politicon (греч.) — животное политическое

[3] метанойя (греч. μετάνοια, «перемена ума», «перемена мысли», «переосмысление») — покаяние, глубинная перемена мыслей.

Торопитесь!

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 59, 1 января 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Одна из ключевых публицистических статей мыслителя. Горькая ирония Федотова была использована его врагами и не понята многими его коллегами по Свято-Сергиевскому богословскому институту. Монархические круги были не на шутку задеты сравнением Сталина с российскими императорами немецкого происхождения: «Все подозревают Сталина в расчетах на мировую революцию, в том, что он предает Россию испанцам, китайцам, не знаю кому. Какая слепота! Что может быть бесспорнее предательства Сталиным революции в Европе? Предательства республиканской Испании, предательства чешских коммунистов. Думают, что если тиран душит Россию, то обязательно в интересах Интернационала. Думают так единственно потому, что могут представить себе радикальное зло только в образе Интернационала и не догадываются, что служение Интернационалу тоже требует самоотречения, жертвенности, — тех добродетелей, на которые Сталин не способен. Быть полновластным хозяином страны, связать навеки свое имя с ее историей и пожертвовать этой страной в интересах человечества, братства трудящихся, поистине для этого требуется сверххристианская жертвенность. Всякий бандит, овладевший государством, перестает отделять интересы этого государства от своих собственных. Сталин, как немецкие императоры в Петербурге XVIII века, прежде всего хозяин России. Но хозяин хищнический, варвар, головотяп, который ради своих капризов или своей тупости губит землю, истощает ее силы.»

Митрополит Евлогий вынужден был созвать правление Богословского института и предложил вынести «порицание» публицистической деятельности Федотова, так как она приняла «характер опасный и угрожающий существованию института, вызывая смущение и соблазн в русском обществе». Федотов в это время находился в служебной командировке в Англии и тяжело переживал сложившуюся ситуацию. Правлению он ответил письмом, в котором указал на опасность ориентации Богословского института на правые круги эмиграции. В поддержку Федотова выступили студенты института, мать Мария (Скобцова), Н. А. Бердяев и другие члены Православного Дела.

Более подробно этот конфликт освещен в XII томе собрания сочинений Г. П. Федотова.

[1] Les Soviets partout! (фр.) — Советы везде!

Тушинские воры

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 60, 15 января 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год. Статья была откликом на раскол в среде казаков накануне Второй

мировой войны. Казачьих атаманов, которые подхватили лозунг генерала Шкуро: «Хоть с чертом, но против большевиков», Федотов сравнивает с теми казаками, которые вместе с поляками и литовцами в Смутное время грабили Русь, получив в народе прозвище «тушинских воров».

Прогерманскую позицию занял один из самых авторитетных казачьих вождей — П. Н. Краснов, переехавший из Франции в Германию в 1936 году. Еще в 1918 году он провозглашал донской суверенитет, в эмиграции руководил Братством русской правды и был сторонником монархии, подвергая критике сепаратистов. В Берлине он примкнул к «самостийникам», которые выдвинули гипотезу о происхождении казаков от германцев-готов, живших в Северном Причерноморье еще в III веке. «Самостийники» допускали создание независимого казачьего государства как переходного этапа, в случае если освободить всю Россию сразу не удастся. Краснов представил руководству рейха подробный доклад по истории казачества, став главным консультантом по казачьим вопросам.

Прогерманскую позицию занял и созданный в середине 30-х годов в Чехословакии «Казачий национальный центр» во главе с В. Г. Глазковым, отстаивавший идею казачьей самостийности. В конце 1939 — начале 1940 года началась реорганизация казачьих союзов, организаций и станиц на территории Третьего Рейха. В результате к 1941 году было создано Общеказачье объединение в Германской империи во главе с генерал-лейтенантом Донского казачьего войска Е. И. Балабиным. На территории Рейха большинство ранее существовавших самостоятельных казачьих структур было ликвидировано и на их основе созданы новые организации, но уже при жестком подчинении Балабину.

[1] Одинец Дмитрий Михайлович (1883–1950) — российский историк, общественный деятель русского зарубежья. Член ЦК Трудовой группы (1906–1917), министр великорусских дел в правительстве Украинской Народной Республики (1917–1918), председатель киевского комитета «Союза возрождения России» (1918–1919), профессор русской истории и истории русского права в Сорбонне (1922–1948), председатель «Союза советских граждан во Франции» (1947–1948), профессор Казанского университета(1948–1950).

Барселона и Россия

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 61, 1 февраля 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Кабальеро Франсиско Ларго (1869–1946) — испанский политик-синдикалист, глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и Всеобщего союза трудящихся после смерти их основателя Пабло Иглесиаса. В период второй республики занимал пост министра труда (1931–1933) и был председателем правительства (1936–1937).

[2] Негрин Хуан Лопес (1892–1956) — испанский политический деятель, премьер-министр в 1937–1939 (в период гражданской войны). Учёный-физиолог.

Над гробом Пия XI

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 62, 15 февраля 1939 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Пий XI (до интронизации – Аброджио Дамиано Акилле Ратти) (1857–1939) – папа римский с 1922 по 10 февраля 1939 года. В годы его понтификата было учреждено государство Ватикан. Начало понтификата было отмечено широкой благотворительной кампанией Католической Церкви в пользу голодающих в Советской России. 8 февраля 1930 года Пий XI в письме кардиналу Помпилию осудил христианские гонения в СССР. Ключевой энцикликой Пия была «Quadragesimo Anno» («В год сороковой»), отметившая юбилей знаменитой «Rerum Novarum» Льва XIII.

19 марта 1930 года Пий XI отслужил специальную мессу в поддержку преследуемых католиков СССР, осудил убийства священников и «моральное развращение молодёжи», что было расценено Москвой как объявление «крестового похода» против СССР и вызвало мощную пропагандистскую кампанию в советской прессе.

[1] Гильдебранд – папа Григорий VII (1020/1025–1085) – папа римский с 22 апреля 1073 по 1085 годы. Окончательно утвердил в католической церкви целибат– безбрачие духовенства. Боролся за политическое преобладание в Западной Европе с германскими императорами. Одного из них – Генриха IV, принудил явиться к себе с покаянием в тосканскую крепость Каносса. Но в конце жизни был изгнан из Рима и умер в изгнании.

[2] Иннокентий III (в миру– Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лаваньи) (ок. 1161–1216) – папа римский с 1198 по 1216 года. Инициировал 4-й крестовый поход (1199–1204), который в 1204 году положил начало Латинской империи в Константинополе. Покровительствовал созданию в 1198 году в Палестине Тевтонского ордена. Инициатор крестового похода против альбигойцев (1208). В 1212 году состоялся благословил крестовый поход детей, который завершился трагически. В 1215 году созвал Латеранский IV Вселенский Собор, который принял много важных решений. Взаимоотношения папы и Англии были сложными. После того, как папа наложил на Англию интердикт (1208) и низложил английского короля Иоанна Безземельного (1209), тот в 1213 году полностью покорился папе. Папа запретил Франции войну против Англии, на что французский король Филипп II Август заявил: «Папе нет дела до того, что происходит между королями». За это папа наложил интердикт и на Францию. Иоанн Безземельный добился от папы признания «великой хартии вольностей» (Magna Charta) (1215) недействительной и отлучения баронов от Церкви.

Вассалами папы признали себя также царь Болгарии (1204) и короли Арагона и Португалии. Являясь с 1198 года опекуном унаследовавшего сицилийский престол Фридриха II Швабского, папа временно подчинил себе Сицилийское королевство. В 1204 Иннокентий III безуспешно предлагал Роману Мстиславовичу Волынскому и Галицкому королевскую корону. В целях распространения влияния в Восточной Европе Иннокентий III в 1202 году санкционировал основание Ордена меченосцев. В 1215 году он организовал

крестовый поход немецких рыцарей против пруссов. Иннокентий III добился расширения Папской области до наибольшего объёма за счёт присоединения земель, ранее принадлежавших империи (но не перечисленных в даре Карла Великого). В 1209 году короновал императором Священной Римской империи Оттона, герцога Саксонского. Однако уже в ноябре 1210 года он отлучил его от Церкви за то, что тот занял Романью и решил напасть на Неаполитанское королевство. В 1212 году папа назначил императором его противника Фридриха, короля Неаполитанского, но не короновал его.

[3] Комб Луи Эмиль (1835–1921) – французский государственный и политический деятель. Изучал богословие и получил посвящение в викарии, доктор теологии (1860). Затем поступил на медицинский факультет; долго был практикующим врачом в разных городах. В 1885 году был избран, а в 1894 и 1903 годах переизбран в сенат, входил в группу радикалов. В 1895–96 годах был министром просвещения в кабинете Буржуа. После ухода в отставку кабинета Вальдека-Руссо, в 1902 году Комб сформировал кабинет из различных членов левых до радикалов-социалистов включительно, но без социалистов. Кабинет опирался на «блок» из всех левых партий, включая социалистов. Кабинет Комба прервал дипломатические отношения Франции с Ватиканом, провёл закон о конгрегациях, подготовил закон об отделении церкви от государства.

Дружеский ответ

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 64, 27 марта 1939 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год. Эта статья – ответ на статью в № 63 «Новой России» Ст. Ивановича «Кого судить?».

[1] Ст. Иванович – псевдоним Португейса Семёна Осиповича (Соломона Иосифовича) (1880–1944) – российского редактора, журналиста и публициста, публиковавшегося под псевдонимами Степан Иванович, Ст. Иванович, С. Ф. Иванович и В. И. Талин. Другие псевдонимы – Соломонов, Стива Нович, Ив., Ст., Иван., Ив-ч, Ст. С., Нович, С. И., Ст. И., Мартын Малый. С 1920 года – в эмиграции, один из основателей научной советологии.

[2] лаицизм – французское движение за секуляризацию общественной жизни страны. Процесс, в ходе которого религиозные догмы, институты и практики утрачивают высокое значение в жизни общества.

[3] cite (лат.) – соглашение.

[4] Пеги Шарль (1873–1914) – французский поэт, драматург, публицист, эссеист.

[5] английские индепенденты – (от англ. ndependent, независимый) – приверженцы одного из течений протестантизма в Англии и ряде других стран. Пользовались значительным влиянием во время Английской революции. Впоследствии оформились как религиозная община конгрегационалистов. Они стремились к созданию союза независимых общин верующих.

Политика изоляции и национальная политика

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 66–67, 30 апреля 1939 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] bonne mine à mauvais jeu (фр.) — хорошая мина при плохой игре.

[2] бутада (фр. Boutade) — фраза, сказанная в раздражении; выходка. В 16–17 вв. — веселый танец, небольшой импровизируемый балет. Позднее — инструментальная фантазия.

[3] Мехлис Лев Захарович (1889–1953) — советский государственный и военный деятель, генерал-полковник. Член ЦК ВКП(б) (1937–1953). В 1904–1911 годах работал конторщиком в Одессе и был домашним учителем. В 1907–1910 годах — член рабочей сионистской партии «Поалей Цион». С 1911 года в русской армии. Служил во 2-й гренадёрской артиллерийской бригаде. В 1912 году получил звание бомбардира (звание в артиллерии, соответствовало званию ефрейтора в пехоте и кавалерии). Позже получил звание фейерверкера (старшее унтер-офицерское звание в артиллерии). До 1917 года — в артиллерии. В 1918 году вступил в коммунистическую партию и до 1920 года был на политработе в Красной армии. В 1921–1922 годах — управляющий административной инспекцией в Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции (нарком И. В. Сталин). В 1922–1926 годах — помощник секретаря и заведующий бюро секретариата ЦК, личный секретарь и любимец И. В. Сталина.

[4] noblesse oblige (фр.) — положение обязывает.

[5] jus gentium (лат.) — международное право.

Демократия в СССР

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 68, 30 мая 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1945) — британский политический деятель, последний премьер-министр Великобритании от партии лейбористов (1916–1922). Близкий друг Уинстона Черчиля.

Фетида

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 69, 15 июня 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Статья написана под впечатлением от гибели английской подводной лодки «Фетида», которая затонула 1 июня 1939 года во время испытаний.

[1] Фетида в древнегреческой мифологии — морская нимфа. Она была послана Герой на помощь аргонавтам.

Памяти В. Ф. Ходасевича

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 70, 12 июля 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

Владислав Фелицианович Ходасевич скончался в Париже 14 июня 1939 года. Г. П. Федотов не называет свою статью о нем некрологом, поскольку она была опубликована почти спустя месяц после кончины поэта. Но не откликнуться на смерть крупнейшего российского поэта он не мог, хотя понимал, что мир уже стоит на пороге Второй мировой войны.

Польша и мы

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 72, 1 ноября 1939 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Стажинский Стефан (1893–1944) — родился в Варшаве, детство провел в городе Лович. За распространение антицарских писем попал в тюрьму. После освобождения окончил школу в Варшаве. Во время I Мировой войны сражался в рядах Польских легионов. В 1917 году был интернирован, а после освобождения был участником Польской военной организации и оставался в армии до 1921 года. Завершил службу в звании капитана, был награжден Крестом храбрых. По приказу Пилсудского принимал участие в разработке Рижского мирного договора. В 1934 году Стажинский стал мэром Варшавы, упорядочил вопросы самоуправления города, определил четырехлетний план развития столицы, построил более 100 000 квартир, свыше 30 школ. После начала войны отказался покинуть Варшаву и руководил в течение трех недель обороной города в сентябре 1939 года. 27 октября 1939 года был арестован и заключен в тюрьму Павяк, откуда его перевезли в Берлин. Стажинский был убит 19 марта 1944 года в лагере Дахау, во время работы в калиевой шахте.

[2] безнарядье — неурядица, беспорядок.

[3] Федотов не случайно упоминает 1619 год, поскольку именно в этом году было заключено между русскими и поляками Деулинское перемирие, по которому Польша хотя и удержала за собою Смоленск и Северскую землю с Черниговом, но польский король Владислав отказался от своих притязаний на русский престол и возвратил из плена отца царя, патриарха Филарета Никитича Романова.

В 1830 году в Польше вспыхнуло восстание против России, поскольку Польша тогда входила в состав Российской империи. Восстание было жестоко подавлено царскими войсками. В связи с этими событиями Пушкин написал известное стихотворение «Клеветникам России.»

[4] верховники — члены Верховного тайного совета — высшего правящего органа России в 1726–30 годах. В первый состав совета входили А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин, А. И. Остерман, Д. М. Голицын и зять Екатерины I герцог Голштинский Карл-Фридрих. Большинство членов Верховного тайного совета поддерживали императрицу Екатерину I, в то время как многие сенаторы стояли за внука Петра I, малолетнего Петра. Сенат был оттеснен на второй план и нити управления страной оказались в руках верховников. После смерти Петра II (1730) в состав Верховного тайного совета вошли М. М. Голицын, В. В. и В. М. Долгорукие. Верховники добивались ограничения власти будущей императрицы Анны Иоанновны, что должно было привести к установлению власти титулованной знати. Однако замысел верховников не удался: их «кондиции» были отвергнуты Анной Иоанновной. Вскоре многие верховники оказались в опале: Долгорукие были казнены, Д. Голицын кончил жизнь в казематах Шлиссельбурга.

Война и национальная проблема

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 73, 25 ноября 1939 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Impavidum ferient ruinae (лат.) – «Руины поразят, но не устрашат его...». Цитата из Горация, Оды, III, 3, 8.

[2] демония – точнее всего смысл этого термина раскрыт Герхардом Риттером (1888–1967) – немецким историком, профессором Гамбургского (1924–25) и Фрейбургского (1925–56) университетов. Для Риттера характерно религиозное понимание исторических явлений, которое изложено в книге «Machtstaat und Utopie» (München.–B., 1940; 5-ое издание под названием «Dämonie der Macht», Stuttg., 1947). Власть и государство рассматриваются им как непостижимая и неодолимая злая сила – демония, с которой могут совладать лишь редкие носители «государственного разума».

Скорее всего, Федотов мог читать какие-то статьи Риттера. Хотя, быть может, это пример того, как мыслители, не сговариваясь, в одних и тех терминах оценивают современные им события.

Гегемония и федерация

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 74–75, 20 декабря 1939 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

В этой статье Федотов вслед за австрийским философом Куденхове-Калерги предсказывает возникновение единой Европы. В 1939 году, когда Германией была развязана вкупе с СССР Вторая мировая война, предвидения мыслителя многим казались несбыточной химерой. Возникновение Европейского экономического сообщества в 1957 году, в которое поначалу входило 12 европейских государств, как единого государственгного организма не только подтвердило пророчество русского мыслителя, но и актуализировало его в свете последних, весны и лета 2014 года, событий на Украине. В Европейском экономическом сообществе создан единый внутренний рынок, сняты ограничения на свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы между странами, образована единая валютная система. С 1992 года ЕЭС называют Европейским сообществом.

[1] лейбницевский мир – Федотов употребляет этот термин, обращаясь к основным положениям системы немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716). Лейбницевский мир состоит из непрерывного ряда (континуума) монад, определяющих не только физический смысл мира, но и закономерности этого мира. Одной из которых является единство материи и духа, поскольку посредством монад образуется прочная связь между физической природой и духом, а также между бессознательным и сознанием. Благодаря учению о монадах Лейбниц первым начал развивать идею сложного строения психики у человека и животных, предполагающую наличие двух уровней – сознания и бессознательного. Бессознательное (перцепция)

есть внутреннее состояние монады, тогда как сознание (апперцепция) есть познание этого внутреннего бессознательного состояния. Сознание присуще не всем монадам. Основные пложения философии Лейбница изложены им в труде «Монадология».

[2] Pax Europaea (лат.) — европейский мир.

Федерация и Россия

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 76–77, 20 января 1940 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год. Эта статья была написана Федотовым во время советско-финнской войны.

[1] Керр Филипп Генри, 11-й лорд Лотиан (1882–1940) — английский дипломат, посланник Великобритании в США (1939–1940), сторонник федерализации Европы. В 1916 году, будучи личным секретарём Дэвида Ллойда Джорджа, принимал участие в работе Парижской мирной конференции. В марте 1920 года был награжден орденом Кавалеров Почёта. В 1931 году на протяжении четырёх месяцев являлся канцлером герцогства Ланкастерского.

[2] линия Мажино — система французских укреплений, на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Была построена в 1929–1934 годах (затем совершенствовалась вплоть до 1940 года). Длина около 400 км. Названа по имени военного министра Андре Мажино. В её состав входили 39 долговременных оборонительных укреплений, 70 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, 500 казематов, а также блиндажи и наблюдательные пункты.

Федерация и политический строй

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 78–79, 20 февраля 1940 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] Куденхове-Калерги Рихард Николаус (1894–1972) — австрийский философ, писатель, политик, основатель Панъевропейского союза. В 1922 году Куденхове-Калерги основал Панъевропейский союз, ставший первой организацией, стремящейся к объединению Европы. В число его членов входили Альберт Эйнштейн, Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Аристид Бриан и Конрад Аденауэр. Именно Куденхове-Калерги заложил основы нынешней европейской идеи, европейского самосознания и европейской идентичности, выдвинув идею «пан-Европы». В качестве принципов единой Европы Калерги назвал свободу, мир, экономическое процветание и культуру. Объединенная Европа, единая в политическом и экономическом плане, по его мысли, должна была стать экономическим, культурным и политическим противовесом США, России и Восточной Азии, а также способствовать предотвращению новой мировой войны.

После произошедшего в 1938 году аншлюса Австрии нацисткой Германией Куденхове-Калерги переехал в Чехословакию и Швейцарию, а оттуда во Францию. После капитуляции Франции в 1940 году он иммигрировал в США. С 1942 по 1945 год Калерги преподавал историю в Нью-Йоркском университете — сначала как внештатный преподаватель, а с 1944 года как

профессор. В США продолжал развивать панъевропейские идеи и сблизился с Отто фон Габсбургом, ставшим активным членом Панъевропейского союза. В 1943 году в Нью-Йорке состоялся Пятый конгресс Панъевропейского союза.

В 1945 году он вернулся в Европу. 19 сентября 1946 годам Уинстон Черчилль выступил в Цюрихском университете с речью, в подготовке которой принимал участие Куденхове. В ней декларировалась необходимость создания «Соединенных Штатов Европы» на основе панъевропейской идеи. В 1947 году с целью объединения европейских парламентариев Куденхове-Калерги основал Европейский парламентский союз (ЕПС). Первоначально ЕПС отвергал все предложения о слиянии с другими организациями, добивающимися объединения Европы. Лишь в 1952 году он вступил в Европейское движение, и Куденхове-Калерги был избран почетным президентом этого движения. 18 мая 1950 года Куденхове стал первым лауреатом Международной премии имени Карла Великого «за деятельность по объединению Европы, ставшую делом всей его жизни». Некоторое время спустя он представил в Совет Европы проект европейского флага, но из-за имевшегося на флаге христианского креста проект был отвергнут.

[2] Раушнинг Герман (1887–1982) — партийный деятель, затем противник национал-социализма. Участник Первой мировой войны. В 1932 году вступил в ряды НДСАП и стал одним из ближайших помощников Гитлера. В 1934 году, разочаровавшись в нацизме, покинул пост президента сената вольного города Данцига, вышел из НСДАП и в 1936 году эмигрировал в Швейцарию. Затем переехал в Великобританию. Автор большого числа работ: «Революция нигилизма» (1939), «Зов разрушения» (1940), «Зверь из бездны» (1940), в которых разоблачал античеловеческую направленность нацизма. Имя Раушнинга было внесено в список лиц, подлежавших немедленному аресту в случае, если они окажутся на территории подконтрольной германским войскам. В 1948 году выехал в США.

Доколе!

После финляндской победы Сталина

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 78–79, 20 февраля 1940 года. Вторая — в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] ликантропия — мифическая или волшебная болезнь, вызывающая метаморфозы в теле, в ходе которых больной превращается в волка. Наряду с волшебной ликантропией существует реальное психическое заболевание — клиническая ликантропия, при которой больной считает себя волком, оборотнем или другим животным. Ее упоминал в своей поэме «Недавнее время» русский поэт Н. Некрасов.

[2] Куусинен Отто Вильгельмович (Отто Вилле) (1881–1964) — родился в Финляндии, окончил историко-филологический факультет Хельсинкского университета (1905). В 1904 году вступил в социал-демократическую партию Финляндии, а через два года стал её лидером. В 1908–1917 гг. был депутатом финского сейма, принимал участие в Копенгагенском и Базельском Конгрес-

сах II Интернационала. На выборах в июле 1908 года был избран в депутаты сейма (1908–1909 и 1911–1913). В 1918 году О. В. Куусинен был одним из высших лиц (уполномоченный по делам просвещения) в Народном Совете Финляндии. Когда стало очевидно, что гражданская война в Финляндии проиграна красными, бежал в РСФСР. Сразу же после начала Зимней войны О. Куусинен был назначен главой правительства «Финляндской Демократической Республики», от имени которого 2 декабря 1939 года подписал «Договор о взаимопомощи и дружбе» с Советским Союзом, несмотря на то, что его правительство не контролировало столицу Финляндии – Хельсинки. К концу войны, в связи с отказом Правительства СССР от планов захвата территории Финляндии, правительство Куусинена было распущено. После образования Карело-финской ССР летом 1940 года, включившей в себя бывшую Карельскую АССР, а также земли Западной Карелии, отошедшие к СССР, Куусинен был избран в Президиум Верховного Совета КФССР. В 1940–1958 годах Куусинен был заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, а в период «оттепели» стал членом Академии наук СССР и был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Был старейшим по возрасту среди секретарей ЦК КПСС и членов его Президиума (Политбюро).

Опоздавшие

Первая публикация в журнале «Новая Россия» № 78–79, 20 февраля 1940 года. Вторая – в сборнике статей Г. П. Федотова «Защита России», Париж, 1988 год.

[1] ressentiments (фр.) – негодование.

[2] партикуляризм – стремление к частным моментам, обособлению.

Петр Великий

Первая публикация в парижском журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» №27 за 1953 год. Публикация предварена примечанием редакции: «Статья эта была найдена среди бумаг Г. П. Федотова после его смерти и появляется в настоящем номере впервые. Приурачиваем ее печатание к празднованию 250-летия со дня основания Санкт-Петербурга (май 1703 – май 1953).»

[1] «Он один в гору тянет, а под гору миллионы» – Г. П. Федотов ссылался на мысль И. Т. Посошкова об отсутствии у Петра Великого достаточного числа сподвижников. См.: Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951.

[2] «добра строитель чудотворный» – неточная цитата из «Медного всадника». В оригинале: «Добро, строитель чудотворный!».

[3] см. С. Ф. Платонов, Петр Великий, Париж, 1927. (прим. Г. П. Федотова).

[4] тягло – система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и посадских людей в Русском государстве XV – нач. XVIII в. Основная окладная единица тяглого населения называлась сохой. Помимо прямых налогов крестьяне и посадские люди исполняли и другие тяглые повинности («государеву подать», подводную, постоялую, ямскую гоньбу), нередко пере-

водившиеся в деньги («стрелецкие деньги» , «полоняночные деньги» (на выкуп пленных), «ямские деньги»). В XVII веке наиболее тяжёлыми налогами являлись так называемые стрелецкий хлеб, или стрелецкие деньги, ямские, данные или оброчные деньги. В 1679 году система обложения по сохам (посошная) была заменена подворной: важнейшие прямые налоги и мелкие сборы были объединены в один налог – стрелецкую подать. Термин «тягло» после введения в 1724 году подушной подати был заменён словом «подать», но употреблялся как условная единица обложения в XVIII–XIX веков. После крестьянской реформы 1861 года термин «тягло» исчезает.

[5] Гроций Гуго 1583–1645) – выдающийся голландский юрист и политический мыслитель, один из основателей учения о государстве и праве, рационалистической доктрины естественного и международного права Нового времени. Он был энциклопедически образованным и плодовитым автором, создавшим более 90 произведений по истории и теории государства и права, проблематике войны и мира, международного, естественного и канонического права. Его основной труд – фундаментальное произведение «О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права» (1625).

[6] Пуффендорф Самуэль, (настоящая фамилия Фрайхерр) (1632–1694) – немецкий правовед и историограф, профессор естественного и народного права в Гейдельберге, Лунде (Швеция), затем придворный историограф в Стокгольме и Берлине. Находясь под влиянием Гуго Гроция и Гоббса, Пуфендорф придал естественному праву ясную и доступную изучению форму. Подобно естественному нравственному закону, естественное право покоится на Божественной воле, но, несмотря на это, должно быть выведено из разума. Право обусловливается потребностью в блаженстве и стремлением к самосохранению.

[7] «на Петра ответила Пушкиным» – перефразировка известного высказывания А. И. Герцена: «Россия ответила на реформы Петра через сто лет громадным явлением Пушкина».

Приложения
(1910)

Работы Г. П. Федотова, хранящиеся в НИОР РГБ, обнаружены и подготовлены к публикации доктором исторических наук А. В. Антощенко (Петрозаводск). Эта ранняя работа Г. П. Федотова, предположительно датируемая 1910 годом, публикуется по рукописи, хранящейся в НИОР РГБ, Ф. 745. К. 4. Ед. хр. 33. Л. 1–12 об.

Впервые эти работы опубликованы в журнале «Диалог со временем», № 37 за 2011 год.

[1] plaidoyer (фр.) – речь адвоката защиты в суде.

[2] Августин Аврелий (354–430) – христианский богослов и философ. Изучением его творчества Г. П. Федотов занимался под руководством И. М. Гревса, результатом чего стало конкурсное сочинение ««Исповедь» бл. Августина как источник для его биографии и для истории культуры», отмеченное по отзыву руководителя золотой медалью. Г. П. Федотов опубликовал также статью

«Письма бл. Августина (Classis prima)» в сборнике «К 25-летию учебно-педагогической деятельности И. М. Гревса» (СПб., 1911).

См. I-ый том собрания сочинений Г. П. Федотова. М., 1996.

[3] bis an die Sterne weit (нем.) — до самых звезд.

[4] Федотов писал в одном из писем к Т. Ю. Дмитриевой: «У меня нет слуха. Я не способен, м[ожет] б[ыть], оценить игру великого артиста».

(см.: НИОР РГБ, ф. 745 (Дмитриевы), к. 4, ед. хр. 14, л. 27.

[5] Qui prouve trop, ne prouve rien (фр.) — кто доказывает слишком много, не доказывает ничего.

[6] Реньо Жан де Сегре (1624–1701) — французский писатель. Служил 24 года секретарем у Анны Марии Луизы Орлеанской, французской принцессы, герцогине де Монпасье, племянницы Людовика XIII. Затем поступил на службу секретарем к мадам де Лафайет. Первые издания её сочинений — «Принцесса Монпансье», «Принцесса Клевская» и «Заида» — были опубликованы под именем Сегре.

[7] Буасье Гастон (1823–1908) — французский историк античности, член французской академии (1876). Профессор Коллеж де Франс. Автор фундаментальных работ по истории римского общества, языческой религии, христианству.

[8] parti pris (фр.) — соучастие.

[9] шарманка доктора Фаустуса — ссылка на строки из «Фауста» Гете:

«Опять завел свою шарманку,
Отец сомнений и помех.
Тебе, чтоб веровать в успех,
Все нужно новую приманку.
Два-три заклятья прогнусавь...»
(перевод Б. Пастернака)

[10] Odi et amo (лат.) — «Ненавижу и люблю» — название одного из стихотворений римского поэта Гая Валерия Катулла, в котором выражены его чувства к неверной возлюбленной — Лесбии.

О гении

Публикуется впервые по рукописи, хранящейся в НИОР РГБ, Ф. 745. К. 4. Ед. хр. 33. Л. 13–28.

[1] mei gratia (лат.) — по моей милости.

[2] «Погреб Ауэрбаха» — ресторан в Лейпциге, ставший знаменитым благодаря И. В. Гёте, который использовал легендой о том, что именно в нем известный чернокнижник Иоганн Фауст не без помощи дьявола проскакал к выходу верхом на бочке с пивом, ввел его в первую часть трагедии «Фауст».

[3] dii minores (лат.) — малые боги.

[4] Федотов намекал на известную поговорку — «король царствует, но не управляет».

[5] pro salute populi (лат.) — для спасения народа.

[6] строки из стихотворения М. А. Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...».

[7] raison d'être (фр.) – разумное основание.
[8] Beati omnes esse volumus (лат.) – все мы хотим быть счастливыми.
[9] Cum flatus dulcis est hominibus? (лат.) – Когда сладко дыхание мужчинам?

* * *

Публикуется впервые по рукописи, хранящейся в НИОР РГБ, Ф. 745. К. 4. Ед. хр. 33. Л. 34–40 об.

[1] Deus sive natura sive Amor (лат.) – Бог или природа или любовь.
[2] окказионализм – философское учение, объясняющее взаимодействие души и тела посредством вмешательства Бога, то есть решавшее проблему взаимодействия протяженной и мыслящей субстанций и развивавшее дуализм картезианства. Основные представители – француз Жеро де Кордемуа (1626–1684), немец Иоган Клауберг (1622–1665) и голландец Арнольд Гейлинкс (1624–1669). До логического завершения учение окказионализма довёл француз Николя Мальбранш (1638–1715), сформулировавший тезис о невозможности влияния тела не только на душу, но и на другие тела.
[3] Зигфрид – персонаж цикла эпических сказаний о Нибелунгах и написанной на их основе одноименной оперы Р. Вагнера.
[4] Миме – персонаж оперы «Зигфрид», кузнец, воспитывавший Зигфрида и надеявшийся с его помощью овладеть золотым кольцом из сокровищ Рейна, но погибший от его меча.
[5] Франциск Ассизский (настоящее имя – Джованни Бернардоне) (ок. 1181–1226) – итальянский святой, проповедник евангельской бедности, основатель ордена францисканцев. Канонизирован в 1228 году.
[6] Уитмен Уолт (1819–1892) – американский поэт, журналист, эссеист.

Г. П. Федотов со времен юности был неравнодушен к поэзии. Любовь к Татьяне Дмитриевой, с которой он познакомился в Саратове, пробудила в нем поэтические чувства. Ею вдохновлены и ей посвящены публикуемые стихотворения. Поэзия влекла к себе мыслителя и в зрелые годы. Известны его поэтические переводы ветхозаветных псалмов. На склоне дней, переживая платоническую любовь к своей ученице – Зое Микуловской, он вновь обращается к поэзии и создает цикл стихотворений. В дополнительном, 13-ом томе собрания сочинений, переписка Федотова с Микуловской занимает значительное место. Там же предполагается опубликовать его последние стихи.

Публикуемые в 7-ом томе стихотворения были созданы в начале 1910-х годов XX века и хранятся в рукописном отделе РГБ Ф. 745. К. 4. Ед. хр. 32. Л. 22–22 об., Л. 22 об., Л. 24.

Русская культура

В статье «Россия Ключевского», опубликованной в «Современных записках» в 1932 году, Федотов критически отметил отсутствие проблем духовной культуры в знаменитом «Курсе русской истории». «Слушатель или читатель Ключевского ничего не узнает даже об утверждении на Руси христианства, и встречается с этим фактом на окольных путях, при анализе некоторых

юридических фактов. Нет и речи о влиянии Византии на русскую культуру <...>. В своем курсе он не нашел ни одного слова для характеристики <...> значения и даже для упоминания Сергия <Радонежского>», – сетовал автор исследования «Святые Древней Руси», вышедшего в свет за год до публикации его статьи о В. О. Ключевском. В заключительной части Федотов призывал к устранению этого недостатка, ибо без понимания содержания и смысла древнерусской культуры невозможно узнать, «чем была жива Россия и для чего она жила». Он сам всем своим творчеством стремился ответить на этот собственный призыв. Возможность представить общий обзор русской культуры появилась у Федотова в связи с предложением бывшего российского дипломата Н. А. Базили (1883–1963).

В начале Первой мировой войны он был сотрудником, а в 1917 году – директором дипломатической канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего. Во время Февральской революции Базили участвовал в составлении акта об отречении Николая II от престола. С июля 1917 года – был поверенным в делах в русском посольстве в Париже. После большевистского переворота эмигрировал во Францию. В 1919 году принимал участие в создании и деятельности Русского политического совещания. В 1922–1939 годы занимался банковской деятельностью, имел в Париже собственный офис. Был членом временного Комитета по организации Русского литературного архива в Тургеневской библиотеке (1938), оказал библиотеке активную поддержку в получении нового помещения (13, rue de la Bûcherie, 5-e). Собирал материалы по истории и культуре России. Опубликовал книгу «Россия под советской властью» (Париж, 1937), за которую (в переводе на французский язык, 1938) был удостоен премии Французской академии наук. В Англии была выпущена его книга по экономике: «Двадцать лет Советской власти», о первых годах социализма. Последние годы он работал над мемуарами «Дипломат российской империи» (вышли посмертно на английском языке в 1973 году).

В начале 30-х годов Базили задумал выпустить том по истории России. Скорее всего, он был рассчитан на западную аудиторию, поэтому Базили просил авторов быть предельно краткими. Публикуемые статьи Федотова напоминают конспекты. По каким-то причинам проект не был реализован, но среди бумаг Базили, переданных после его смерти в 1965 году в архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета (N. A. Bazili papers, 65017, box 14, folder 8), сохранились машинописные тексты под названием «Культура», «Церковь» и «Русская наука», созданные Федотовым. В них рукой автора был внесен ряд дополнений, которые должны были служить сжатым выражением основной идеи, заключенной в том или ином разделе.

Публикация подготовлена доктором исторических наук, профессором Петрозаводского университета А. В. Антощенко. Публикация подготовлена при поддержке РГНФ в рамках проекта «Апостол древнерусской святости Г. П. Федотов (1886–1951)» (грант 13–01–00170).

[1] кодекс Юстиниана – часть «Corpus juris civilis» (свод гражданского права), составленного в 529–534 гг. при византийском императоре Юстиниане Великом.

Церковь

Статья публикуется по машинописному тексту, хранящемуся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета (N. A. Bazili papers, 65017, box 14, folders 8–10).

[1] См. т. I, главу III «Московская управа». Нужно сгладить противоречие между этими местами и тем, что говорилось на ту же тему в «Московской управе» (прим. Г. П. Федотова).

[2] движение заволжских старцев во главе с преподобным Нилом Сорским. Они были представителями идущего с Афона мистицизма (практики «умной молитвы» — oraison mystique) — в то время были против государственного принуждения в делах совести (прим. Г. П. Федотова).

[3] приверженность к старым церковным обычаям нашла свое выражение в постановлении Стоглавого Собора 1551 года, который закрепил старый русский обряд в противовес греческому. В XVII веке обновление этого обряда и привело к расколу (прим. Г. П. Федотова).

[4] см. т. I, главу II «Начало русской культуры и русской государственности» (прим. Г. П. Федотова).

[5] Никон (в миру — Никита Минин (Минов) (1605–1681) — шестой московский патриарх.

[6] Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — реформатор, русский общественный и государственный деятель времен Александра I и Николая I.

[7] Арсений (в миру Александр Иванович Мацеевич) (1697–1772) — митрополит Ростовский и Ярославский. Начиная с 5 марта 1763 года митрополит Арсений подавал в Святейший Синод один за другим протесты против изъятия монастырских вотчин и против вмешательства светских лиц в духовные дела. Императрица Екатерина, узнав о поступках Арсения, повелела Синоду, чтобы он судил его «как своего члена и злонамеренного преступника». По приговору Синода, смягченному Екатериной, он был лишен духовного сана и сослан сначала в Ферапонтов, а позже — в Николо-Корельский монастырь. И в заключении Арсений продолжал критиковать политику Екатерины, в 1767 году он был расстрижен из монашества в крестьяне и переведен в Ревельскую крепость, где и скончался.

Прославлен в лике святых как священномученик на Архиерейском Соборе РПЦ (2000).

[8] Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — российский государственный деятель, правовед, писатель, историк Церкви. Обер-прокурор Святейшего Синода в 1880–1905 гг.

[9] Макарий, митрополит (в миру Михаил Петрович Булгаков) (1816–1882) — историк церкви, богослов. С 8 апреля 1879 — митрополит Московский и Коломенский. Ординарный академик Академии наук (1854).

[10] Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1783–1867) — митрополит Московский и Коломенский, первый доктор богословия в России, один из членов Библейского общества и переводчиков Священного Писания на русский язык.

Филарет, архиепископ Казанский и Симбирский (в миру Федор Григорьевич Амфитеатров) (1779–1857) — ректор Тобольской, а затем Казанской

семинарии. Выдающийся миссионер и переводчик Священного Писания на татарский язык. Причислен к лику святых в 2005 году.

[11] Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936) — митрополит Киевский и Галицкий с 1918 года. После Гражданской войны в эмиграции. Создатель и первый председатель Архиерейского синода Русской Православной Церкви заграницей.

[12] Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский) (1867–1944) — 12-й патриарх Московский и всея Руси. Богослов, автор богослужебных текстов.

[13] Подробность, которую, можно опустить (прим. Г. П. Федотова).

[14] Мёлер Иоган Адам (1796–1838) — немецкий католический богослов и историк церкви.

[15] Русские мистики начала XX века были сторонниками соборного начала в организации Православной Церкви. Вместе с тем они стремились не умалять догматическую и сакраментальную сторону православной религии, но, расширив и углубив ее, сделать из нее правильные выводы. Это течение имеет некоторые сходства с англо-католическим течением в Англиканской Церкви (прим. Г. П. Федотова).

[16] Поповцы — часть, старообрядцев сохранивших священство и таинства.

[17] Беспоповцы — одно из основных течений старообрядчества. Главной особенностью вероучения является идея об уже совершившемся воцарении Антихриста и связанное с этим представление о прервавшейся благодати священства и прекращении церковной иерархии.

[18] Хлысты — одно из старейших русских внецерковных религиозных течений, экстатическая разновидность духовных христиан, возникшая в середине XVII в. среди крестьян. Самоназвание — «люди Божьи», «Христова вера».

[19] Селиванов Кондратий Иванович (?–1832) — крестьянин, создатель секты скопцов, автор «Страд», выдавал себя за чудом спасшегося императора Петра III.

[20] Молоканство — разновидность «духовного христианства», возникшая в конце XVIII века и первоначально распространившаяся в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Астраханской и других губерниях Российской империи, а затем, вследствие религиозной политики самодержавия — на Кавказе и Украине.

[21] Штундизм (от нем. Stunde — час, для чтения и толкования Библии) — христианское движение протестантской направленности, получившее распространение в России в XIX веке в среде немецких колонистов, а также части населения южнорусских губерний.

[22] Баптизм — одно из направлений протестантизма, получившее развитие в начале XVII века. В Российской империи начало распространяться со второй половины XIX века. Основными центрами образования баптистских общин стали Кавказ, восток и юг Украины (Таврическая и Херсонская губернии). Близкое по вероучению движение евангельских христиан сформировалось в Петербурге.

[23] Пашков Василий Александрович (1831–1902) — гвардии полковник в отставке, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, основатель одного из направлений («пашковцы») движения евангельских христиан в России в 1870-е гг.

[24] Духоборы — пацифистская, общинная религиозная секта, возникшая в России в XVIII веке. Они исповедуются только Богу; пост считают воздержанием от злых мыслей и дел; богослужение совершают в комнате; брак не почитают таинством; не признают внешних отличий между людьми; не клянутся; отказываются от военной службы и присяги вообще.

[25] Гермоген (в миру Георгий Ефремович Долганёв) (1858–1918) — епископ Саратовский и Царицынский. Последовательно выступал в защиту традиционных православных ценностей, поддерживал черносотенцев, в письме императору Николаю II подверг резкой критике предложение ввести чин диаконисс в православной церкви и особый чин заупокойного моления об инославных, заявив, что последним оказывается «открытое попустительство и самовольное бесчинное снисхождение к противникам Православной Церкви». Выступил с критикой Распутина и его влияния в Синоде. 3 января 1912 года был уволен императором от присутствия в Синоде. 17 января 1912 года был уволен от управления епархией и направлен в Жировицкий монастырь. С 8 марта 1917 года — епископ Тобольский и Сибирский. Был обвинен большевиками в том, что пытался помочь освобождению заключенного императора Николая II и его семьи. Подвергся аресту и заключению. Был утоплен в реке Туре вместе с другими заключенными в июне 1918 года.

Причислен к лику святых на Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 году.

[26] Илиодор (в миру Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952) — иеромонах-расстрига. В 1905–1906 гг., будучи иеромонахом Почаевской лавры, принимал активное участие в деятельности «Союза русского народа», публиковал статьи в черносотенной печати — «Почаевском Листке», «Вече». Устраивал многолюдные митинги, на которых вел агитацию против евреев, инородцев и революционеров, с одной стороны, и критиковал высших должностных лиц на государственной и на церковной службе — с другой. Ему долгое время удавалось избегать исполнения налагаемых Синодом на его деятельность запретов, пользуясь покровительством Григория Распутина. Организовал одно из покушений на Распутина и, опасаясь уголовного преследования, в 1914 году бежал за границу, сначала в Норвегию, а затем в США. После революции вернулся в советскую Россию, сотрудничал с ВЧК. С 1918 по 1922 год снова жил в Царицыне, создав секту «Вечного мира» и именуя себя «патриархом Илиодором», однако вновь уехал за границу из-за боязни ареста теперь уже новыми властями. Жил и скончался в США.

[27] Феофан (в миру Василий Дмитриевич Быстров) (1872/1873–1940) — архиепископ Полтавский и Переяславский (1913–1919), был близок к царской семье. После октябрьского переворота в эмиграции. Принадлежал к Русской Церкви за границей.

Русская наука

Машинописные копии текста статьи находятся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета (N. A. Bazili papers, 65017, box 14, folder 9) и в коллекции рукописей Г. П. Федотова в Бахметьевском архиве российской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета (Georgii Petrovich Fedotov papers, box 4, folder

«Nauka v Rossii»). Статья публикуется по машинописному тексту, хранящемуся в Бахметьевском архиве. В текст рукой Г. П. Федотова внесены незначительные поправки, которые учтены при публикации.

Статья носит характер предварительного наброска. Опущен ряд значительных имен – не упоминается имя академика Н. И. Вавилова, профессора И. М. Гревса и многих его учеников. Бегло даны характеристики ученых, плодотворно работавших в области ядерной физики, генетики и химии, среди которых важное место занимает Н. В. Тимофеев-Рессовский, работавший в годы написания Федотовым этой статьи в Германии. Важно отметить, что среди философов-современников Федотовым не случайно отмечены только два имени – Н. О. Лосского и С. Л. Франка.

[1] Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) – историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный деятель, академик Петербургской АН (1914). В 1887 года по приказу министра народного образования И. Д. Делянова уволен из университета за «отрицательное отношение к русскому государственному строю».

[2] Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) – российский и британский историк. Специализировался по английской медиевистике. В декабре 1901 года подал в отставку после конфликта с министром народного просвещения П. С. Ванновским и уехал в Англию в начале 1902 года, где через год был избран профессором в Оксфордском университете.

[3] Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – российский политический деятель, историк и публицист. В 1895 году был отстранен от преподавания в Московском университете за чтение публичных лекций в Нижнем Новгороде, в которых полиция усмотрела призыв к конституционному устройству России и осуждение самодержавия.

[4] Эйлер Леонард (1707–1783) – швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик и астроном.

[5] Бернулли Даниил (1700–1782) – швейцарский физик, механик и математик, иностранный почетный академик Петербургской АН (1730).

Бернулли Якоб (1759–1789) – швейцарский ученый, механик, академик Петербургской АН (1787).

[6] Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) – российский и украинский мыслитель, признанный в России первым самобытным философом. Педагог, поэт, баснописец.

[7] Татищев Василий Никитич (1686–1750) – российский историк, географ, экономист и государственный деятель, автор первого капитального труда «История Российская».

[8] Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) – российский историк, публицист. Почётный член Петербургской АН (1776), член Российской академии (1783).

[9] Новиков Николай Иванович (1744–1818) – российский мыслитель, просветитель и издатель. В издаваемых им сатирических журналах «Трутень» и «Живописец» подвергалось критике крепостное право и велась пролемика с императрицей Екатериной II. Новиков публиковал собрание документов

по русской истории «Древняя Российская вивлиофика» — издававшиеся ежемесячно памятники русской истории. Материал для своих изданий памятников старины Новиков черпал из древлехранилищ частных, церковных, а также государственных, доступ к которым был разрешён ему императрицей в 1773 году. К своим трудам Новиков сумел привлечь выдающихся историков своего времени.

В 1779 году по приглашению Хераскова Новиков переехал в Москву. Быстро приведя в порядок и значительно расширив университетскую типографию, он за три года напечатал в ней больше книг, чем за 24 года её существования до его прихода. Наряду с издательской деятельностью, Новиков поднял значение газеты «Московские ведомости», число подписчиков увеличилось всемеро.

В 1792 году по приказу Екатерины II был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где провел 4 года. Был освобожден после воцарения Павла I.

[10] respublica doctorum (лат.) — государство ученых.

[11] Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) — российский математик, создатель неэвклидовой геометрии, выдающийся деятель на ниве университетского образования и народного просвещения.

[12] Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — российский историк-медиевист, заложивший основы научной разработки западноевропейского Средневековья в России. Профессор всеобщей истории Московского университета (1839–1855). Идеолог западничества.

[13] Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основоположник славянофильства, член-корреспондент Петербургской АН (1856).

[14] Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918) — российский историк-медиевист. Член-корреспондент Петербургской АН (1908).

[15] Кареев Николай Иванович (1850–1931) — российский историк и социолог. Член-корреспондент Петербургской АН (1910), член-корреспондент РАН (1917), почетный член АН СССР (1929).

[16] Тарле Евгений Викторович (1874–1955) — российский и советский историк, член-корреспондент РАН (1921), действительный член АН СССР (1927).

[17] Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — российский философ, историк-медиевист, поэт.

[18] Оттокар Николай Петрович (1884–1957) — российский и итальянский историк-медиевист.

[19] Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942) — российский и советский историк-медиевист, академик АН СССР (1929).

[20] Савин Александр Николаевич (1873–1923) — российский и советский историк, представитель социально-экономического направления в российской либеральной историографии. Основные труды по истории Англии XVI и XVII веков.

[21] Ранке Леопольд, фон (1795–1886) — немецкий историк, разработавший методику современной историографии. Вел в практику академические семинары, из которых вышли многие выдающиеся ученые. Официальный историограф Пруссии.

[22] Буслаев Федор Иванович (1818–1897) — российский филолог и искусствовед, академик Петербургской АН (1860).

[23] Братья Гримм Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859) — немецкие лингвисты, собиратели и исследователи немецкой народной культуры.

[24] Веселовский Александр Николаевич (1838–1906) — российский историк литературы, профессор Петербургского университета (1870), академик Петербургской АН (1877), брат литературоведа и академика Алексея Николаевича Веселовского.

[25] речь идет об объединении «ОПОЯЗ» — (Общество изучения поэтического языка или Общество изучения теории поэтического языка) — научное объединение, созданное группой теоретиков и историков литературы, лингвистов, стиховедов — представителей так называемой «формальной школы» и существовавшее в 1916–1925 годах. Сама «формальная школа» просуществовала до начала 30-х годов. В ее состав в разное время входили выдающиеся ученые и литераторы – В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, П. Богатырев, Р. Якобсон, Е. Поливанов и многие другие. Во второй половине 20-х годов «формальная школа» подвергалась резкой критике со стороны Л. Троцкого.

[26] Бодянский Осип (Иосиф) Максимович (1808–1877) — российский и украинский филолог, историк, археограф, один из первых славистов в России, писатель, переводчик, редактор, издатель древнерусских, древнеславянских литературных и исторических памятников, фольклорист, украинский поэт-романтик.

[27] Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) — российский филолог-славист, этнограф, палеограф. Академик Петербургской АН (1851).

[28] Шахматов Алексей Александрович (1864–1920) — выдающийся российский филолог и историк, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы.

[29] Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — российский историк, искусствовед, исследователь византийского и древнерусского искусства, археолог.

[30] Васильевский Василий Григорьевич (1838–1899) — российский византинист, академик Петербургской АН (1890).

[31] Васильев Александр Александрович (1867–1953) — российский востоковед, арабист, византинист.

[32] Радлов Василий Васильевич (настоящее имя Вильгельм Фридрих) (1837–1918) — российский востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов. Академик Петербургской АН (1884).

[33] Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) — российский и советский индолог, филолог и историк, исследователь фольклора и искусства Индии, Центральной Азии, Дальнего Востока, академик Петербургской АН (1908).

[34] Бартольд Василий Владимирович (1869–1930) — российский и советский востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог, академик Петербургской АН (1913).

[35] Крымский Агафангел Ефимович (1871–1942) — российский и украинский историк, писатель, переводчик, востоковед, тюрколог и семитолог. Один из организаторов (1918) Академии наук Украины. Академик АН Украины.

[36] Тураев Борис Александрович (1868–1920) — выдающийся российский историк, создатель отечественной школы истории Древнего Востока. Федотов слушал его лекции в 1912 году.

[37] Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) — российский и польский историк культуры, филолог-классик, антиковед, поэт-переводчик. Один из университетских учителей Г. П. Федотова.

[38] Роде Эрвин (1845–1898) — немецкий филолог-классик.

[39] Виламовиц-Мёллендорф Ульрих, фон (1848–1931) — немецкий филолог-классик, эллинист. Г. П. Федотов слушал его лекции в Берлинском университете в 1907 году.

[40] Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) — российский и американский (в эмиграции) историк античности, филолог-классик и археолог. Федотов сдавал ему магистерский экзамен в Петербургском университете в 1915 году.

[41] Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк, филолог-классик и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902).

[42] Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — российский правовед, философ, историк и публицист. Почетный член Петербургской АН (1893).

[43] Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — российский государственный деятель, ученый-правовед, писатель, переводчик, историк Церкви.

[44] Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — российский юрист, публицист и политический деятель.

[45] Гримм Давид Давидович (1864–1941) — российский юрист, ректор Петербургского университета в 1910–1911 годах.

[46]Пергамент Михаил Яковлевич (1866–1932) — романист, цивилист, профессор. Декан Высших женских курсов в Петербурге с 1907 года.

[47] Петражицкий Леон Иосифович (1867–1931) — российский и польский социолог и теоретик права, профессор кафедры энциклопедии и философии права Петербургского университета (1898–1918), после эмиграции в 1918 году профессор Варшавского университета.

[48] Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) — российский мыслитель, правовед, публицист, общественный деятель.

[49] Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — российский правовед, общественный и политический деятель.

[50] Конт Огюст (1798–1857) — французский философ, родоначальник позитивизма, основоположник социологии как самостоятельной науки.

[51] Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, экономист и политический деятель.

[52] Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ-позитивист.

[53] Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — российский социолог, публицист и революционер. Один из идеологов народничества.

[54] Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — российский социолог, публицист, теоретик народничества.

[55] Де-Роберти Евгений Валентинович (1843–1915) — российский социолог, философ-позитивист и экономист испанского происхождения.

[56] Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) — российский и украинский экономист, историк, видный представитель «легального марксизма».

[57] Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – российский общественный и политический деятель, экономист, публицист, историк, философ.

[58] Бюхнер Людвиг (1824–1899) – немецкий врач, естествоиспытатель и мыслитель.

[59] Молешот Якоб (1822–1893) – итальянский физиолог и мыслитель голландского происхождения.

[60] Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) – российский физиолог, ученый-энциклопедист.

[61] Павлов Иван Петрович (1849–1936) – российский физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии (1904).

[62] Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) – российский физиолог, основоположник школы физиологов растений.

[63] Мечников Илья Ильич (1845–1916) – выдающийся российский ученый-биолог.

[64] Пастер Луи (1822–1895) – французский микробиолог и химик, член Французской академии (1881).

[65] Лебедев Петр Николаевич (1866–1912) – российский физик-экспериментатор, создатель первой в России научной школы, профессор Московского университета (1900–1911).

[66] la tour d'ivoire (фр.) – башня из слоновой кости

[67] Марков Андрей Андреевич (1856–1922) – российский математик, внесший большой вклад в теорию вероятностей, математический анализ и теорию чисел, академик Петербургской АН (1896).

[68] Ковалевская (Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850–1891) – российский математик и механик, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1889). Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор математики.

[69] Чигорин Михаил Иванович (1850–1908) – выдающийся шахматист России на рубеже XIX–XX веков.

[70] Алехин Александр Александрович (1892–1948) – российский, советский и французский шахматист, четвертый чемпион мира по шахматам.

[71] Хемницер Иван Иванович (1745–1784) – российский поэт-баснописец и переводчик, член Петербургской АН (1784).

[72] Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) – российской религиозный философ, один из основателей направления интуитивизма в философии.

[73] Франк Семен Людвигович (1877–1950) – российский философ, религиозный мыслитель.

[74] Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).

[75] речь идет о депортации из Советской России летом – осенью 1922 года по личному распоряжению В. И. Ульянова (Ленина) многочисленной группы «инакомыслящих» интеллигентов, среди которых большинство составляли выдающиеся ученые, преподаватели вузов и представители науки.

[76] Федотов не совсем точно трактовал появление императорского указа Правительствующему сенату от 27 августа 1905 года «О введении в действие

временных правил об управлении высшими учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения», принятого в связи с начавшейся забастовкой высших учебных заведений. Им отменялись некоторые статьи университетского устава 1884 года и была восстановлена университетская автономия (выборность ректора и профессуры, самостоятельность в решении научных, учебных и административно-хозяйственных вопросов). Однако это не означало введения нового университетского устава, а только начало его разработки. После назначения министром народного просвещения А. Н. Шварца этот процесс был приостановлен. Разъяснения Правительствующего сената 27 ноября 1908 года Временных правил 27 августа, данные по инициативе А. Н. Шварца, ограничительно истолковывали полномочия университетских советов, особенно по части самоуправления, и подтверждали прежние прерогативы министерства.

[77] сецессия (лат. secessio, от secedo – ухожу) – в Древнем Риме демонстративный уход плебеев за черту города (на Священную гору или Авентинский холм). Сецессии являлись своеобразной формой борьбы плебеев против патрициев.

[78] речь идет о массовом увольнении в начале 1911 года из Московского университета преподавателей и сотрудников, подавших прошение об отставке в знак протеста против мер министра народного просвещения Л. А. Кассо, нарушавших университетскую автономию. Среди 130 уволенных преподавателей был 21 профессор.

Указатель имен

А

Б

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

R

Содержание

План собрания сочинений Г. П. Федотова

1. Абеляр, статьи 1911–1925 гг. (вышел в свет).
2. Статьи из журналов «Путь», «Православная мысль» и «Вестник РХСД» (вышел в свет).
3. Святой Филипп, митрополит Московский (приложение: «Житие митрополита Филиппа», билингва) (вышел в свет).
4. Статьи 30-х годов из журналов ВРХСД, «Современные записки, «Числа», «Версты», «Новый Град» (вышел в свет).
5. «И есть, и будет» (Размышления о России и революции) и другие статьи (вышел в свет).
6. «Стихи духовные» и статьи из журналов «Новый град», «Современные записки», «Новая Россия» (вышел в свет).
7. Статьи второй половины 30-х годов (вышел в свет).
8. «Святые Древней Руси» (вышел в свет).
9. Статьи американского периода (1942–1951 гг.) (вышел в свет).
10. «Русская религиозность: христианство Киевской Руси. X–XIII вв.» (вышел в свет).
11. «Русская религиозность: Средние века. XIII–XV вв.» (вышел в свет).
12. «Переписка с Татьяной Дмитриевой, И. М. Гревсом. Конфликт в Свято-Сергиевском богословском институте и другие материалы» (вышел в свет).
13. Письма и переписка Г. П. Федотова с Е. Н. Федотовой, священниками Сергием Булгаковым и Георгием Флоровским, Ф. А. Степуном, а также со многими выдающимися деятелями русского Зарубежья (готовится к печати).

Георгий Петрович Федотов

Собрание сочинений в 12 томах
Том 7:
Статьи из журналов «Новая Россия»,
«Новый Град», «Современные записки», «Православное дело»,
из альманаха «Круг», «Владимирского сборника»

Художник *И. Бурый*

Формат 60×88/16. Гарнитура Нью-Баскервиль.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 2354.

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”»
121099, Москва, Шубинский пер., 6